

Юрий МАЛЕЦКИЙ

Юрий
МАЛЕЦКИЙ



ПРИВЕТ
ИЗ
КАЛИФОРНИИ



ВАГРИУС



Юрий
МАЛЕЦКИЙ

ПРИВЕТ
ИЗ
КАЛИФОРНИИ

*Роман, повести,
рассказ*



ВАГРИУС МОСКВА 2001

УДК 882.3
ББК 84Р7
М 18

Дизайн серии Т. Гусейновой

**В оформлении переплета использована
картина М. Зайцевой «Без героя»**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

ISBN 5-264-00609-1

© Издательство «ВАГРИУС», 2001

© Ю.Малецкий, автор, 2001

ОНИКСОВАЯ ЧАША

Повесть

Женщину ограбили. Или это сильно сказано: квартирная кража — еще не грабеж?.. Важен не факт, а его переживание: женщина, увидев, что ее обворовали, почувствовала себя несчастной.

Это случилось так. Встав очень поздно даже для субботнего дня, в 9.30, женщина принялась за уборку. Ей нравилось пылесосить пол своей единственной комнаты и мыть пол на кухне, в коридорчике и совмещенном санузле. Она чувствовала резиновый рукав и полую щетку прекрасного пылесоса «Тайфун» как продолжение себя, и ей особенно нравилось, когда какая-нибудь скрепочка или кнопка, накрытая щеткой, чуть-чуть боролась за свое место, прижималась к полу, а потом все-таки отрывалась и летела в утробу пылесоса — позвякивая... Женщина чувствовала этот звяк словно бы стенками пищевода. Закончив, разобрала она пылесос, тщательно продувая каждую из соединительных трубок; затем налила теплой воды в тазик, чуть присыпала сверху стиральным порошком и вымыла пол. Затем промыла его холодной водой и вытерла насухо; затем вымыла таз.

Покончив с уборкой, женщина пошла за продуктами; но, подойдя к магазину, увидела, что уже закрыли на обед. Это ее удивило: не могла же она так долго убираться. С тех пор как в декабре 41-го в Малоярославце немец наставил на нее автомат — ей было тогда семь лет, она заслонила собой трехлетнего братишку, просто так запустившего в немца камнем, — и долго не снимал палец с курка, решая, выстрелить или нет, что-то раз навсегда произошло в ней: время как-то изменилось, то ли остановилось насовсем, то ли безостановочно расползлось во все стороны, петляя, то ли просто отодвинулось в сторону, и из-под него высунулась пустота. Женщина привыкла к этому ощущению и только удивлялась: почему опять опоздала на работу или свидание, вот ведь и часы у нее всегда с утра заведены по радио?..

Тут она с облегчением вспомнила, что скоротать обеденный час есть чем — ей надо было в комиссионку, закрывавшуюся на обед позже. Посмотреть, не продается ли коляска внука, сданная ею за 45 рублей. Не пойми какое время: брали за 27, сдали сильно пользованную за 45, и ведь еще возьмут.

А что ты думаешь — купили; и она получила на руки за вычетом семь процентов 41 рубль 85 копеек. И, начавшись, пошла полоса удачи. В одном магазине на 3-й Парковой выкинули масло, и не по триста граммов — по полкило, в другом месте — спинку минтая, в третьем она взяла сразу ряженку, три пачки «Геркулеса» и вермишель. В довершение всего в булочной она отхватила полкило подсолнечной халвы. Сама она халву не любила, но халву любил зять. Конечно, всюду надо было стоять, но ведь она не чувствовала хода времени, а значит, не чувствовала себя, и если бы не боль в ногах да очередь и продавцы не хамили бы, она слилась бы с очередью в одно приятное тепло и, не обнаруживая в себе противной отдельности, плавно струилась бы к устью, к конечному пункту отоваривания.

И вот так, от очереди к очереди отяжеляясь сумками, оттягивавшими ее руки до щиколоток, таким вот пингвиным манером переваливалась она навстречу ближайшему будущему, неизвестному ей, а думала о будущем более дальнем, но казавшемся совсем близким и вполне

известным. Женщина думала: послепослезавтра зять привезет ей внучка с Волги, с дачи от другой бабушки, и ее солнышко, ее ласточка, ее золотая рыбка наконец наполнит жизнью ее жизнь, сухую пустоту ее души. Она вспомнила, какую машинку удалось отхватить к его приезду, коллекционную «Чайку», и три пары колготок, и две фланелевые рубашечки, и думала, как встретит и подарит, и он обрадуется машинке, он больше всего любит машинки, а в холодильнике теперь всего полно; и ей стало хорошо, и все было хорошо, хорошо, и по-прежнему хорошо на первом этаже, и на втором, и на третьем... и тут она увидела свою дверь.

Тут она увидела взломанную дверь своей квартиры, и все в ней осело и надавило на ноги, и ноги сразу заболели жгучей, стреляющей болью. Одни врачи говорили, что у нее лимфостаз, другие — что это одно из следствий гипотериоза и надо лечить щитовидку. Как бы то ни было, началась закупорка сосудов, поднялся протромбин. Ей требовалось колоть троксевазин и перестать таскать тяжести; но троксевазин в ампулах исчез начисто даже в больницах, а тяжести таскать еще доставалось — если постоять как следует. Поэтому ноги болели так же, как она дышала: непрерывно. Но цепь сегодняшних удач настолько подняла ее дух над телом, что женщина забыла о боли, которая на самом деле конечно же была тут как тут, никуда не деваясь. И вот, нажатая упавшей душой, боль снова выстрелила из обеих ног — женщина поняла, что произошло, и еще поняла, кто это сделал. Бузлов.

Она почему это поняла — потому что дверь была подломана специфически. Был просто расковырян косяк, до дыры, и отжат обнажившийся язычок замка. А замок этот ставил Бузлов, плотник с ее работы, он один знал, что дверь под обивкой надежная, деревянная, и замок хороший, брежневского времени, и только одна слабинка есть — замаскированный валиком обивки полусломанный косяк, надставленный при ремонте тем же Бузловым дрянной крошливой рейкой — больше не оказалось ничего под рукой — как раз где крепилась вторая часть замка, держащая при закрывании язычок.

Конечно, он. Среди бела дня, в субботу, на третьем эта-

же без лифта. Риск! Только спяну, сдуру. Сдуру, а сразу сделал что надо. Он.

Она и дверь стояли друг напротив друга. Открытая дверь; но привычно рука потянулась в карман за ключом, стала совать его в замок болтающейся двери — и тут она поняла до конца, поняла опаздывающим, зазевавшимся по дороге остатком души: дверь уже открыта. Но женщина осталась на пороге. Ее не пускала войти надежда на лучшее. Привычка к надежде: всю свою жизнь она безотчетно надеялась на лучшее, и надежда не подводила ее. В 41-м ее чуть не застрелили, они жили на картофельных очистках, но ведь выжила; похоронила двух мужей, зато вырастила дочь; один из ее братьев умер от пьянки, второго задавило бетонной плитой на стройке, но жизнь продолжалась, у нее была еще младшая сестра, а главное, она растила внука... А собственно, дело было и не в причинах. Она не умела не надеяться, а надеяться почему-то можно только на лучшее, — и теперь, стоя у двери, она надеялась, что все как-то само собой обойдется, что это все только — открыта дверь, и все. Она понимала, что двери не ломают просто так и, значит, что-то произошло необратимо. Но женщина не могла сразу победить свою природу и перестать надеяться; а сохранить надежду возможно было, только не заходя в квартиру, где первый же взгляд грозил удостоверить беду.

Но не век же стоять на пороге, дожидаясь, как посмотрят и что скажут соседи. И она сделала шаг за порог, постаравшись по возможности прикрыть за собой дверь.

В коридорчике все оставалось, как было.

В кухне все лежало на своих местах.

В комнате все находилось в том же порядке. Ключи торчали в шкафчиках стенки, вмещавшей практически все, что она имела, кроме мягкой мебели и телевизора. Она открывала замки один за другим — все лежало как лежало.

Норковая шапочка, красный индийский мохеровый шарф, свитер из черной ангорки, привезенный дочкой из Германии, набор мельхиоровых ложек и вилок, подаренных дочерью же и зятем лет десять назад, чайный сервиз на шесть персон, «Золотая осень», за 93 рубля, но совсем как богатый, и колечко с аметистом, и янтарные

бусы — все было на месте, все сокровища ее драгоценного мира. И стояла большая рюмка, то ли маленькая вазочка из оникса, которая, если бы вор тут побывал, первая была бы взята: так она сама и просилась, красивая-красивая, зеленеватая, дымчато жмурящаяся, как кошкин глаз. И на месте была коллекция продуктов, сложившаяся исторически и доедаемая очень постепенно — из заказов, полученных за многие годы на предприятии или купленных по случаю в те недавние годы, когда в столице еще было чем затариться: несколько пачек индийского и круглая банка китайского чая, бразильский растворимый кофе, турецкая витая лапша и югославские тонкие макароны, болгарская баклажанная икра, венгерский горошек, польская фасоль, румынские помидоры в собственном соку, кильки в томате, горбуша в томате, камбала в томате, сайра, шпроты, исландская сельдь в винном соусе — всего понемногу, и даже по банке крабов, балыка и красной икры — черную дочка отвезла в Германию в подарок подруге...

Все было хорошо; надежда на лучшее не подвела ее. Конечно, это было чудо, но женщина восприняла его с тою же простой радостью, с какой восприняла бы, что на смену плохой погоде пришла хорошая. Ее сердце не отличало чудесного от естественного; то и другое было в равной степени возможно: происходило не то, что должно было произойти или, напротив, чего никак не могло произойти, а просто то, что происходило.

И уже на излете успокоения по инерции или для очистки совести повернула она ключ в последнем замочке; здесь стояло спиртное.

Пустота двух полок посмотрела на нее и, вытесняя ее взгляд, стала наваливаться на женщину. Но женщина усилием остаточной надежды преодолела страх и всмотрелась — так нырятьщик всматривается в пустую и плотную воду и может, невзирая на ее сопротивление и тусклую мутность, разглядеть, что вокруг нет ни одной рыбки. Женщина увидела теперь, что пустота была все-таки неполная. В глубине верхней полки оставались бутылка шампанского и бутылка албанского копыяка в соломенной оплетке, привезенного ей в подарок начальником из Румынии лет семь назад; в глубине полки нижней стоял

рижский бальзам, привезенный зятем тоже давно, и бутылка кагора.

Не было только водки. Вообще не было водки, ни одной; и значит, она точно знала, сколько: не было десяти бутылок водки.

И она окончательно поняла: Бузлов. И поняла, что знала это, знала, что именно он возьмет, с того момента, как увидела взломанную дверь, потому-то открывала эти полки последними: не для очистки совести — от страха увидеть то, что знала наперед. Чтобы оттянуть плохое.

Надежда на лучшее покинула ее; не снимая уличной обуви (что вообще было невозможно в обычное время), женщина села на кровать. Ей было обидно до слез. Она почти не пила, дочь вообще в рот не брала, а зять выпивал и понимал в вине толк, но не пил водку; остальные же гости заезжали к ней хорошо раз в месяц. Но ведь она и ела без особого вкуса, любила разве что кислую капусту с луком и постным маслом да вареное мясо на косточке, с жирком и хрящиками, а собирала все эти банки и пачки: во-первых, дать детям, а во-вторых, запас консервов и полный холодильник со времен голодного детства и полуголодной юности сами по себе были хороши, были даже не ценностью вроде сервиза или хрусталя, означавших достаток, но куда большим — удостоверляли наличие большого запаса жизни, отделявшего ее от самого худшего, и тем утверждали в ней покой. Водка не была едой, жизнью, но в тех слоях населения, к которым принадлежала женщина, водка давно уже стала тем, чем в слое более узком в последнее время стал доллар: твердым денежным эквивалентом, гарантом любых услуг, надежным помещением капитала — и одновременно ценностью самой по себе подобно песенному моряку, красивому «сам собою». И по мере того, как водка все более становилась красива сама собою, женщина все больше дорожила ею. Дорожила? Надо бы найти другое слово, сохраняющее смысл понятия: умножение дороговизны на бережную нежность, — и прибавляющее что-то еще, какой-то обертон, какую-то медовую капельку страсти, приклеивающую сердце коллекционера к собираемым им необязательным и оттого как-то особенно, коварно необходимым предметам.

Сначала она просто отоваривала талоны. На то и талоны, чтобы их отоваривать: дают по 10 то, что на углу стоит 40, нужно не нужно — бери, не думай. Тем более у них на предприятии водку давали в организованном порядке, без хамства, и стоять всего не больше часа; а повезет — так и минут десять. Но потом она втянулась. Она увлеклась, начала различать, отбирать и обменивать. За пять месяцев она собрала по бутылке «Столичной», «Московской», «Кубанской», «Славянской», «Зубровки», «Зверобоя», «Перцовки», «Лимонной» и две «Русской» по 0,7 в винных зеленых бутылках. Теперь ей было бы уже трудно представить, чтобы она открыла для гостей или дала сантехнику какую-нибудь из них, за исключением «Русской»: та была некрасивой, простой.

Она любила открыть дверцу шкафа, включив предварительно торшер: белое и желтое в бутылках тускло искрилось, звало в свою глубину. Что-то они вмещали в себя важное, эти цилиндрики, эта невкусная (а при чем тут вкус? если б для вкуса — пили бы воду «Лесная ягода»), но прекрасная жидкость, что-то вошло сквозь стеклянные стенки и латунные закупорки, что-то отделилось от души и облегчило ее, а при всем том не пропало, хранилось рядом, в шкафу, какой-то смысл... Она вспоминала с грустью, какие раньше были, в ее молодые годы, какие были бутылки, какие названия: «Померанцевая», «Калгановая», «Ерофеич», «Юрный дубняк», «Петровская» (это, правда, потом, но тоже давно), «Охотничья»... Ее первый муж уважал «Охотничью», кажется, она была крепче обычной, а второй ее муж, обрусевший армянин, уважал только белую водку за безвредность, а сам умер от рака печени; а зять говорил, что «никак не можно присобачить губы Никанора Ивановича да к носу Ивана Кузьмича. Да и возьмите в толк: когда все это стояло несусветными штабелями, потому как народ знал только «белое» и «красное», и значило это отнюдь не белое и красное сухие вина, но водку, как правило, «Московскую», и так называемый портвейн, тогда все эти архитектурно-алкогольные излишества не имели ни в чьих глазах никакой цены — и вам просто в голову не пришло бы собирать столько полной стеклотары; а теперь наше народное хозяйство столько разного добра не то что произвести не

может — у него денег не хватит столько разных этикеток заказать. Жалеть, что нельзя вклинить прошлое в настоящее, все равно как жалеть, что нельзя жить с первым и вторым мужем не только последовательно, но и параллельно. Пусть этим сюрсом занимается группа «Союз», они свои очки набирают, а вы живите себе спокойненько в настоящем, безо всяких ретроспективных загибонов». Зять у нее был умный, образованный, но говорил как-то... начнет вроде понятно, а заведет куда-то не пойми куда, а потом вроде опять понятно. Как Горбачев, хотя и другими словами; но Горбачеву так было положено. Она знала, что главным положено так говорить, чтобы не то что другие, а они сами себя не понимали; потому что главный язык — не для общения, а для управления и как-то непонятно (но ясно, что крепко) связан со всем, что делалось в стране: чтобы все как бы само собой делалось, кто-то наверху был должен (непонятно почему, но было привычно и потому как бы ясно, что — должен) точно так же, как бы сам собой, безостановочно говорить. Так было нужно, и Горбачев ей поначалу нравился даже больше предыдущих, потому что те читали по бумажке, а он умел от себя непонятно говорить часами, и, пока он все не развалил и она вместе со всем народом не заподозрила недоброе, ей было приятно его слушать и растворяться в общем потоке непонятного, но правильно налаженного процесса. Не то дело зять. И он и дочка — дочка даже сильней, потому что зять по крайней мере говорил добродушно, а дочка резко — вели речь не просто полупонятную, но с подковыркой, с вызовом, часто обидную, так что она вместо приятного растворения в общем семейном дыхании, в отдохновении, которого хотела всякий раз, ожидая их по пятницам, пока они проедут всю Москву и привезут на выходные внука, вместо этого женщина всякий раз получала от них, чего больше всего не любила: сильнейшее чувство своей отдельности, даже какой-то противопоставленности им, своим самым близким... К тому же дочь и зять изъяснялись длинно, развернуто, а она и на работе, и с соседями привыкла, чтобы с ней говорили коротко и ясно. Жизнь выучила вмещать лишь определенную длину речи, лишь часто повторяющиеся вокруг слова; поэтому от речи дочери она в какой-то момент отключалась начис-

то, а от речи зятя отключалась временами, слушая его пунктирно: он все-таки вставлял частенько слова знакомые, родные...

Сколько-то времени она не знала, что делала и что переживала, но, вдруг увидев перед собой цветной шумящий квадрат, поняла, что машинально включила телевизор, включилась в жизнь, так и не отдав себе отчета, что привычка, войдя в дом, первым долгом включать ящик, оказалась еще сильнее, чем привычка переобуваться.

Душе хотелось за что-то зацепиться, чтобы, натянувшись, оторваться от этой внезапной, непереносимой боли; но душа не знала, за что, не находила крючка. Она пробовала ухватиться за то общеизвестное, что все еще хорошо, все обошлось, могли бы взять... вообще все могли взять! Но, увы, никаких «могли бы» тут не было и в помине, а был вполне определенный Бузлов, он и взял — и взять ничего другого не мог, только *это*. И то, что вор — Бузлов, давало второй толчок боли. Тогда она попробовала зацепиться за то, что надо позвонить дочке, пожаловаться и получить сочувствие, — и тут же еще один укол боли напомнил о вчерашнем телефонном скандале, как дочь закричала: «Если ты будешь продолжать уродовать ребенка, превращать его в отъявленного эгоиста и домашнего деспота, ты его у себя больше не увидишь!» — и еще много всего несправедливого и психанутого. И так душа ее металась в узком пространстве тела, не находя выхода и опоры и возвращаясь к первой и главной боли, сначала возникшей внутри, а теперь пожиравшей и снаружи и все больше превращавшей в себя, в боль, ее всю.

И из-за чего? Из-за какой-то водки. Которая еще вчера стояла во всех магазинах — бери не хочу и которую она к тому же почти не употребляла! Глупо. Обидно, глупо.

Но боль не считалась с тем, находят ее умной или глупой. Она жила по своим законам: от уговоров она не унималась, а росла.

Женщина захотела тогда потеряться сама, чтобы боль ее не нашла. Способами, используемыми ею обычно, чтобы забыть себя, были: работа, очереди, домашняя уборка, стирка и готовка, растворявшие ее среди людей или вещей, пуще же всего — ванна. В ванне тело и верхние слои души, близкие к телу, распускались в воде, соединяясь с

ней, приобретали ее температуру, и, когда эта температура сливалась с температурой светящейся точки ее ровно теплящейся души, происходило то, чего не могли дать ни работа, ни очередь: она забывала, теряла себя всю, без остатка.

Бузлов! Вот ведь что. Бузлов, алкаш, которого жена и родные дети из дому гнали и только ждали, когда он загнется где-нибудь под забором; а она единственная привечала его, уважая за золотые руки, и отпускала с работы пораньше — подкалымить, и даже, когда она еще могла по дешевке доставать спирт на производстве, он подгребал к ней на огонек, пожаловаться на жизнь, и она наливала рюмку-другую разведенного — и борща; а он ценил ее такое к нему человеческое отношение и сам вызвался помочь в ремонте, и, когда она прилетела из отпуска из Адлера, а дети еще были в отпуске в Самаре, он встретил ее во Внукове, пер тяжеленные сумки до самого дома, маленький мужичонка, гнутый от пьянства, а тащил. Тихий и незлой... У, паразит, вор, гниль подзаборная! У!

Она должна была наказать Бузлова — и накажет. Но как?

А прежде всего — дотянуться до него, сказать все, что она о нем думает.

И вот уже в руке у нее оказалась телефонная трубка, и, глядя невидящим взглядом на следы ступней 36-го размера, отмечающие ее краткий путь от ванной до телефона, она услышала голос бузловской жены, злобный лай из подворотни, что-де ее забулдыги нет вторые сутки, муж обьелся груш, а уж водку, конечно, спер он, это сто процентов, и не сомневаться надо, а сажать. За такие дела. И посажу, сказала женщина в сердцах, твердо, от поддержки — хоть чьей — чувствуя себя на правильном пути. И правильно, ответила жена, давно пора, за всю мою поломатую жизнь ответит по справедливости. Зови милицию, а как этот причапает, я тебе дам сигнал.

По справедливости! Вот именно что. По справедливости. Ты мне ответишь, предатель, по полной справедливости. Ворье! И у кого? У единственного человека, кто к тебе... 02, дежурный?

Женщина сообщила, что ее обворовали со взломом, и

она точно подозревает — кто, только его сейчас нет дома, но он придет, а она даст сигнал. Успокойтесь, ответили ей авторитетно, он от нас не уйдет. Если это он, будет отвечать по закону. Но лучше будет, если вы подойдете... где вы живете?.. так это рядом, во дворе. Знаете? Вот и подойдите и оставьте письменное заявление, так нам действовать будет легче. Прямо сейчас.

Только положила трубку, как звонит бузловская жена: мой пришел, давай быстрее, а то... Женщина пошла и написала заявление, и сказала — он пришел домой, по адресу... Не волнуйтесь, ответили ей, все будет по закону. По закону... а водка? Это уже зависит не только от нас, ответили ей. Если он еще не выпил — будет вам ваша водка. А если выпил? Будет выплачивать стоимость. Спокойно, гражданка. Сообщим, когда будет что.

2

Звонок. Это конец. Угораздило услышать. За двумя дверьми на минимальной громкости. Какой паразит?! Не встану. Не встану. Буду спать, не встану. В тот же сон. Белое пятно — дом. Зеленое — лужайка. Красное... нет, бурое. Корова. Опять звонок! Нет. Проклятый дом. Проклятая жизнь. А сколько? Пятый. Двадцать — пятого. Вечера. Надо вставать. Все равно. Не знают, что за пытка. Никто. Его мать не понимает вообще. Сама встает в семь — значит, все должны. «Это безобразие — спать до трех дня!» Конечно, когда ты в десять в постели, одним глазом в книжку, а вторым уже спишь, а ты проваляйся ночь, в пять-шесть засни с тройной дозой да просыпайся каждые десять минут оттого, что ребенок сбрасывает одеяло, а дед сверху шастает, как слон, и я посмотрю тогда... И это накапливается, дни и годы, и жить уже нет сил, только спать. А кто даст? Раз бы в жизни — одиннадцать часов сна! Сказка. Амитриптилин+радедорм+элениум — и сначала все без толку, до утра, зато потом, когда какой-то паразит зво...

Не понимают, что люди — разные! Говорят, англичане понимают. А наши все не понимают, хотя сами все разные. Но все одинаковые. Мою я хоть выдрессировала. Не

понимает, но хоть считается. Предпоследний день, когда можно отоспаться. Послезавтра он его привезет — и... Опять звонит! Придется подойти. Так звонить! Нескончаемо. Тринадцать гудков или пятнадцать? Так может только моя. Терпения хватает. Времени не чувствует. Вот тебе — выдрессировала. Они все неисправимы — все их поколение. Или что-то? Опять что-то стряслось? С ней всегда случается. Горе мое. Как противно — говорить с нечищенными зубами. Гадость.

— Да, — сказала дочь. — Алло. Говорите.

Дышит. Молчит, боится начать. А не звонить не может. Господи, опять что-то натворила сдуру. Только у меня такая мать. Пятьдесят шесть, а я должна ей советовать! А не наоборот, как нормальная мать. Все сама. Всегда. Гадость во рту.

— Я же слышу, что это ты, — сказала дочь подчеркнуто тихо, спокойно. — Не молчи. Говори. Ну.

Так. Так, понятно. Обворовали. Взломали дверь. Правильно. План по валу. Если есть на свете какое-нибудь несчастье — оно случится именно с моей матерью. Стольких перехоронить, родить такую дочь, как я, на старости лет остаться одной в тыковкином домике, в однокомнатной хрущобе...

...И вот у нее-то и надо подломить дверь! Не в хороших домах, не там, где есть что взять, где это должно происходить по логике вещей, нет. У нее. Чушь. И плач. Вся ее жизнь — чушь и плач. И что же взяли, интересно? Неужели опиковскую рюмку? Ах, Бузлов. Ну ясно. Ах, только водку? Ну понятно. А ты больше имей таких друзей! Бузлов! Друг. Анекдот. Только у нее такие друзья. Все верно: сам ставил дверь — сам сломал. Сам пью — сам гуляю. Плач и чушь.

— Только и всего? — сказала дочь, стараясь попасть в участливо-бодряцкую тональность и неприятно чувствуя, что голос ее звучит все-таки слишком резко (нет, но где вот она выкапывает таких друзей?! в каком болоте?! и возится с ними! и так всегда! стыдоба! и как гнусно во рту!). — Так что ты переживаешь? Ты Богу свечку поставить должна, что так все обошлось. Ты понимаешь, какое это счастье? Ты понимаешь, что тебя обчистили на сто рублей, а сто рублей не деньги? Что такое в наше время

сотня? Тыфу! Плюнь — и разотри. Какая-то водка, которую ты и не пьешь!

Молчит. Сопит. Может так сопеть час. Неделю. О, как я не могу слышать это ее идиотское сопение. Скажи хоть: «Это да». Или: «Неправда». Скажи что-нибудь.

— Ты почему молчишь? — спросила она, еле сдерживаясь. — Почему ничего не отвечаешь? Ты что, не согласна?! — закричала она, уже не в силах сдерживаться больше. — Не согласна, что потерять пять литров водяры лучше, чем лишиться цветного телевизора, и зимних сапог, и.. Не согласна?! Да ты знаешь, как сейчас грабят? Дочиста, понимаешь? До-чи-ста! Выгребают комбигир из холодильника. Рожки и крупу «Артек». Так что ты молчишь?! Слушай, ты брось эту идиотскую привычку — или ты звонишь, чтобы поговорить, или — хочешь сопеть и молчать — молчи и сопи, но не звони. Не веди время. Не буди людей ни свет ни заря!

Бедная моя мамочка. Некому даже в жилетку поплакаться — одна у нее дочь и та не понимает. А как еще на тебя воздействовать, бедная ты идиотка? Для твоей же...

Говорит. Подействовало.

— Что делать? А я откуда знаю? Что остается, то и делать. Прежде всего — ни в коем случае не звонить в милицию... Надеюсь, у тебя ума хватило туда не зво... Что молчишь? Да или нет? Почему нельзя? Значит, звонила? Нет? И ты не врешь? А почему молчишь?

Наверняка звонила. Она же всегда — сначала сделает, потом советует. А потом удивляется, что ей вовремя умного не присоветовали.

— А потому. Потому нельзя, если ты сама не понимаешь, что, во-первых, не пойман — не вор. Он от всего отпрется — и все. Да не перебивай ты! Я тебе говорю — окажется, если не совсем... Но если даже совсем, и они его дождут, и дело это дурацкое дойдет до экспертизы и дактилоскопии — у них только такие дела и ведут по-серьезному, чтобы смешнее было, — даже тогда: где водка? Если он ее выпил? Где? В жи-во-те. Его просто посадят — и все. Понимаешь? Тебе что нужно — свое вернуть или человека посадить? Пусть такую мразь? За десять бутылок — в тюрьму. Ты представляешь, что такое — наша тюрьма? Ты такой грех на душу взять хочешь?

Ничего она не представляет. И в церковь ходит свечи ставить, чтобы Бог помог. Здесь. А про «там» она не понимает.

— А я тебе говорю — откажется. Или посадят. Так вот... Да слушай, пожалуйста, и не перебивай! Если вправду хочешь разумного совета! Твой единственный шанс — если, понимаешь, если он не выпил по крайней мере все десять... Но твоя надежда, что сколько-то он припас. И твой шанс — если он выпил не все и если придет домой ночевать — вызвонить-таки его и велеть принести все, что не допил... скажем, в течение часа, ну, полутора... но точно назначаешь срок, по истечении которого, если он не приходит с украденным — это ты ему говоришь, и уж постарайся сказать о-очень авторитетно! — ты тут же посылаешь к нему наряд милиции. Тут он, допустим, отпирается, а ты ему: не волнуйся, наследил ты достаточно, доказательств пруд пруди, у тебя нет выхода! Повторяю еще раз, специально для тебя, ты должна только угрожать милицией, а не вызывать ее. Раз. И ты должна говорить так, чтобы он поверил: ты можешь посадить его — и ты это сделаешь. Два. Ты все поняла? Тогда действуй.

Бедная неразумная мама. Как они все. И все, как она. От простых до с дипломом. Что этот телефонный мастер, которому русским же языком: «Не приходите, я должна потерять весь день, ожидая вас. У меня с аппаратом все в порядке. Poiщите поломку на линии». Так нет, переся, специально чтобы я встала в одиннадцать, посмотрел и: «У вас все в порядке. Надо искать на линии!» Что та врач в роддоме: «Женщина, я вас уже боюсь, по коридору иду боком. Почему вы все время обо всем спрашиваете? Почему никто ни о чем не спрашивает, кроме вас?» Откуда я знаю, почему они не спрашивают о самых элементарных... и почему ей кажется, что нежелание знать азы, чтобы уберечь себя и ребенка от Бог знает каких... что это и есть самое нормальное и правильное? Или они все рожают по сотому разу и всему обучены? Но я-то — первый, она должна бы, кажется, знать. Тупые. У, тупые. Но хитрые. Как что стянуть и перепродать — сразу сообразят и мобилизуются. Тупые и хитрые — это сочетание дорогого стоит. Да кто купит?.. Моя-то не хитрая, вот беда.

Не надо было его заводить. Как можно в наше время,

будучи элементарно ответственным... Дура! Бессовестная! Как можно было пускаться в эту авантюру? Да, а попробуй-ка, когда ты венчанная жена. Когда ты — в Церкви. Тогда — живите, как брат с сестрой. И он и батюшка: «Самое время рожать, Бог в помощь!...» Бог-то Бог, да и сам не будь плох. Надо было себя слушать, себя. К таким, как я, должен быть индивидуальный подход. Теперь тяни — и сдохни. Говорила же им, говорила. Бедная я. И бедная моя мать. И обокрал ее бедный придурок.

Всю жизнь для других! Как лошадь. Для меня, для папы, для Сурена. Для сестры. Своей жизни нет. Не то что не хочет — хочет! А без толку. И сейчас нам последнее несет. Ей уже давно: «Возьми деньги. Мы теперь богаче тебя. Его начали печатать. Он нашел работу». Нет, не берет, а сама на последнее покупает и тащит. Но не в простоте — из принципа: мать должна, старшая сестра обязана. Это она самоутверждается: пусть жизнь не задалась, но она — Мать и Сестра. Только внука любит просто, беспринципно. Нет, какие претензии — чем бы она ни руководство... ва... — а она нам всю жизнь отдала, а мы не подарок, что я, что папа, что Сурен с раком печени. До рака печени надо было еще добаться — и он это делал с толком. Приличный человек, юрист, любил оперу.

И сейчас тянет с ее ногами, вместо выходных мы ей его... Надо совесть иметь. А если сил нет? И разве мне ее не жалко? Кто ей звонит каждый день, слушает по часу ее глупости, лишь бы она выговорила за день? Кто ее пытается выволить из всех переплетов, куда она по своей же... Ну да, у меня мало сил, мало денег, но я ей душу отдаю!

Послезавтра великий праздник. Завтра воскресенье. Наши уже все со вчера там, кто мог. Надо бы и мне, да куда мне? Метро, автобус, еще автобус, билеты с боем, а там полем, как заяц. Куда мне, мне бы до прачечной добраться, хлеба бы купить. Наши молодцы, духовные.

Уж всенощная — так всенощная — на всю ночь! Переходящая в обедню. Наши девушки ремешком подпоясывали шинели.

Бесформенность. Бесформенность и безотчетность; как я это ненавижу, Господи Боже мой. Можно мириться с нищетой, хамством, бумажным рублем, невозможностью

поехать в Париж и Неаполь, как простая белая, желтая, черная женщина. Но не с их безотчетностью! Всякая попытка спросить: «Зачем? Почему вы делаете то, а не это? Дуром делаете, а по уму — никогда? Почему не хотите отдать себе и другим отчет в смысле и последовательности своих действий?» — вызывает злобу! О своей уж не говорю: лечится папаверином от пониженного давления — уже тридцать лет; так ей кто-то когда-то брякнул на работе, как же, слушает только своих Серенек и Витюшек, а ведь образование высшее, инжэ-нэр, — и оценки в дипломе хорошие, это кто может понять, сколько лет ей должно: папаверин понижает давление, понижает, а не повышает, расширяет сосуды! Нет, все делает себе во вред, как все они. Что нормальному во вред, то им на пользу, глядишь — и папаверин помогает!

Все их поколение такое. Или два поколения, три, целиком. А я одна. У них главное, лучшее — компанейскость. Задушевность. Простота и задушевность. Когда неизвестно, что за душой, но душа — нараспашку. А я не хочу им душу открывать, мне это не в радость — и застолье это, и песни их, и простецкое это наплеватьство на себя и другого, которого судишь по себе. Это полное нежелание положить себе предел: ни в своей территории, ни в общении этом якобы доверительном, ни даже в еде. Это их любимое мясо с жирком, на кости, у всего этого поколения. «Тебе же вредно». — «А жить вообще вредно!» Безотчет... И тоже эта ее манера каждый день закупать еды, на последние, а спроси: ну и почему брала то или то? «Да я и не спрашивала, взяла полкило того и полкило сего, да кило этого», — как при Брежневе, а потом сама удивляется: через три дня от зарплаты — пять рублей. Всю жизнь в долг. Ничего не считает, и ничему ее жизнь не учит. Как их всех. Нет, ты для чего жила на свете пятьдесят с лишним лет? Чему научили? А эти ее постоянные опоздания, ее вечное: «От меня до «Киевской» на метро — двадцать минут», — когда каждая собака знает: от нее до «Киевской» — чистого времени на метро полчаса. А это радостное: «В нашем районе все есть!» — «Что все? — «Как что? Все: сметану выкинули, постное масло дают, сыр...» — «Какой сыр?» — «Какой сыр? Сыр!» — «Ты понимаешь, что значит — все есть?

Я не говорю уже, что, когда все есть на самом деле, как там, где ты не была, это значит — есть пятьдесят сортов сыра и пятнадцать видов постного масла, но даже то, что ты видела еще лет десять назад, должно бы тебе, кажется, подсказать: когда все — есть, то его не вы-ки-дывают, не да-ют, а оно стоит на прилавке, а сыр все-таки выбирают, российский он или пошехонский, менее или более вонюч. А ты радуешься — все есть? Чему ты радуешься-то? Чему? Плакать надо, понимаешь?!» Не понимает. Народ безмолвствует.

Русская женщина, кто тебя выдумал? Не то плохо, что они тупые. Они проживут как умеют. Плохо, что сама не такова. Может, меня родили в Германии и забросили в русский роддом? Может, я немецкий шпион? Резидент? Жду связи? Так объявитесь же, скажите пароль!..

...Вода комнатная. И еле идет. Ну нет жизни, нет, а с них что спросишь? Ты им: «Почему нет горячей воды?» А они: «Скажите спасибо, что есть холодная. В соседнем доме и холодной нет». Ты им: «Почему нет холодной воды?» Они: «Авария на трассе». С кого ни спросишь — от него не зависит. Они все такие — сами по себе такое и устроили и сами себе за это деньги платят, и за весь этот цирк — чтобы я им говорила спасибо? И хотят, чтобы я у них что-то приватизировала: чтоб за те же мучения да впятеро платить? Тех же щей да пожиже влей. Не пожиже — гуще. Все наоборот; даже поговорке своей — и то вопреки. А от них по-прежнему не будет ничего зависеть: приватизировала-то я квартиру, а авария-то на трассе. Чтоб они сдохли все, если жить не умеют и другим не дают! Если от них ничего не зависит!

Теперь молиться — и за лапшу. Этот пост еще ничего, с постным маслом. Лапша с постным маслом — это финиш. Нет, дорогая, это старт — до конца поста еще десять... мамочки, целых десять дней лапши, и макарон, и картошки, и овсянки! От постного масла тошнит, а без масла макаронина в горло не проходит. Наши все любят фасоль, горох, свеклу. Почему я не люблю фасоль? Почему я не такая, как они все? Хочу поститься, как там: с бананами и авокадо, и киви, и манго. Покрошить все это, полить кокосовым маслом и... А там на всем этом сидят и не постятся. Поститься должны мы — на гнилой картошке, пестицидной

свекле и серой лапше. В мире все так — у кого что есть, тому не нужно, и наоборот. Это Бог так устроил, чтобы посрамить нашу ученость. Чтобы жизнь медом не казалась. Теперь молиться. Молиться, молиться!.. А как молиться, когда на душе только злость. Прежде примиришься с врагом своим. А как? Как я с ним примирюсь, когда я не знаю, кто он. Ведь его — одного кого-нибудь — нет. И в то же время он — везде. Все они, вся эта публика из жэка, все эти бандюги-слесарюги-сантехники (опять на кухне в раковине засор, а мужа нет, но нет же сил их вызвать, их пережить. Зайдет, руки-крюки, морда ящичком, как тот, еще на той квартире: в сапогах в мокрой глине залез прямо в ванную и давай ее прокачивать тросом, прокачал да прямо в сливную дырку, в крестовину и воткнул окуроч, и так и вышел молча — и потом за ними грязюку вывозить), и аварийщики, и уборщицы, которых нет, и истопники, и техники-смотрители, и соседи по лестничной клетке, коренная лимита, заплевавшая окурками всю площадку, и верхние соседи, регулярно протестующие и стучащие молотком по голове и стучащие каблуками, и семилетние дети-матерщинники во дворе (и это у них еще прекрасный район, из самых менных!) — все они, от которых ничего не зависит, кроме моей жизни и смерти, по большому счету не могут же считаться врагами. Ведь они не желают мне зла и даже не подозревают, что творят его ежеминутно. Они просто — такие. Но моя жизнь ими превращена в ад.

...Всякий раз заново, как прыжок с парашютом. Всякий новый окуроч, плевок, матерное слово, удар молотком. Только легла — он задолбил. Только задремала — пошел топтать. Почему они такие? За что меня обижают? Им вежливо: «Извините, у меня маленький рсбеноч. Вы не могли бы поменять свои сандалии на те мягкие тапочки, которые я вам...» — а они захлопывают дверь.

...Как прорезалась посогоубная справа. Лицевая асимметрия — плохой признак... Нижние веки все в мелких трещинках. Плохо: лучше лучики. Через два-три года буду как старуха. Джейн Фонда — чуть ли не моложе. Двадцать лет разницы! «Зодиак», «Люкс», «Идеал», «Ромашка», на худой конец, — куда все это исчезло? Были же приличные кремы — десятка полтора — и сразу все как в воду. А пар-

фюмерная фабрика «Свобода» работает. Все работают — и ничего нет.

Дети. Народ малых детей. Стар как млад. Бедные, бедные старички и дворовые детки, бедная, бедная Лялечка, просто тебя папа с мамой не учили, что, коль уж ты продаешь в коммерческом магазине сапоги за три тысячи, надо по крайней мере отвечая на вопрос покупателя, повернуться к нему — ко мне — не попой. Подумать, что я тоже *есть*, раз уж плачу деньги. Бедные вы мои бедняжки, как же я вас... Эту скотскую жизнь. Интересно, сколько бы: «С жиру бесится. Двухкомнатная в Москве, любящий муж, ребенок как ребенок, на работу не ходит. Нам бы ее мучения, а ее бы к нам в Нижневартонск, в Бузулук, в Урюпинск, в школу, в цех, на швейную фабрику — и чтобы муж гулял налево, когда просыхает»? Миллионы. И будут трижды правы. И четырежды неправы. И что мне до их слепой правоты, когда я спать не могу и жить, когда все внутри ухает — и проваливается, и тошнит, и нет сил, и все вокруг ранит и бьет, и топчет, и даже не понимает, что бьет и топчет, и стыдно жить с ними, а вырваться нет ни сил, ни — уже — желания. Потому что все это — годами. Кто из них, здоровых гастритиков и нормальных сердечников, это поймет, будь он четырежды доктор богословских наук? И православные туда же, братья, так сказать, и сестры: «Все мы дети Иова, неси свой крест и радуйся, и благодари Бога!» А что они могут знать о чужом кресте, даже те, кто и вправду выстрадал право вообще об этом говорить?.. Даже и те, кто знает, почему свой фунт лиха, что знают они о чужом?.. Только Он один. А уж никак не эти. Был толстокожий невер, как все они, — стал толстокожий неопит, как они все. Извне. Что можно знать извне?

...Почему в ноздри — этот запах? Это... это духи «Анаис-Анаис». Шесть лет назад. За шестьдесят рублей. Почему сейчас? Почему лапша? Почему тошнота? Почему бедность? Эта страна? Эти люди? Это бессилие? Удивительный все-таки запах, ни с чем не... И так ясно пахнет. Ниоткуда. И низачем. Как я сама.

Какая бы я была хорошая! Я знаю, я могу быть очень хорошая — если не гнобить меня ежеминутно двадцать лет подряд. Проклятая жизнь. Пропади ты пропадом.

И ты пропади пропадом, жалкая, злая, психованная идиотка. Какая ты жена и какая мать? Вот придут мои родные — и загнусь. Не надо было его заводить. Слишком его люблю. Какой смысл? Ведь во всем, во всем, что Он посылает, во всем без исключения должен же быть какой-то смысл. Но я не... я не понимаю!..

3

— Почему это он отойдет? Ничего он не отойдет, — проворчала женщина. Вот почти и все, что нашла сказать за время разговора с дочкой. Еще она нашла сказать насчет милиции: «Нет, не звонила», — но не сразу. Но уж стоило сказать, как тут же уперлась и только повторяла: «Не звонила». Она, как всегда, хотела, чтобы дочь дала ей совет, и, как всегда, не хотела его выслушивать. Она и сама чувствовала, что сделала что-то не так, но — чтобы при этом ее не тыкали носом, как маленькую, а просто присоветовали бы, как быстро и легко изменить все к лучшему, и чтобы она сама не выглядела при этом душой, а оставалась бы какая есть. Какую уважают все на производстве и вообще все, кроме родной дочери, которая по ровом вся в отца. Всякий раз, когда она просила у дочери совета, она заново надеялась, что та даст его по-человечески, без грубости и крика, — и всякий раз надеялась напрасно. И всякий раз с первых же грубых слов или злого тона она отключалась и в сам совет уже не вслушивалась, а потому и выполнить его — хорош он был или плох — не могла. Так и теперь, обиженная, она лишь наполовину поняла сказанное дочерью; впрочем, достаточно, чтобы уразуметь: сделанное ею необратимо (понять это она могла лишь умом, сердце же ее по-прежнему отказывалось верить в необратимость чего-либо, кроме смерти), и остается лишь ждать, когда милиция возьмет Бузлова, а там будет видно. Женщина категорически не верила, что Бузлов станет отпираться, не тот он был человек, одно дело обворовать (ах, ворюга, предатель!), это каждый нынче ворует или подворовывает, а другое — врать: тут хитрость нужна, а у Бузлова одна извилина если и была, то он ее уж пропил. Она лучше его знала, чем дочь, та его вооб-

ще два раза видела, тогда как она работала с ним два года, с тех пор как по пенсионному возрасту пошла на понижение, на простую работу, но все равно она была его начальником, а начальству виднее, какой человек. И то, что дочка так уверенно говорила, что Бузлов отопрется, так уверенно и плохо судила о ее знакомых, которых и знать-то не могла, обижало сугубо.

И более всего огорчало отношение дочери к ее горю. Не нашла других слов, кроме: «Твое горе — не беда». Да это она и сама себе говорит. Подумаешь, мол, водка! Это и чужой скажет. Ты вот пойми, что материнская-то душа все равно не на месте, ты пойми, чего и не скажешь словами: вроде и ерунда, а болит прям до смерти... Женщина сама не понимала, по-прежнему не понимала, отчего так ноет душа из-за пустой кражи, ведь душа не подводила ее, выдерживая и куда более тяжелое, тяжелое по-настоящему. Она не понимала, что душа ее вела себя так потому, что все прискорбные, действительно горестные обстоятельства жизни, включая смерть родных и близких, воспринимались ею именно как *обстоятельства жизни*, как слепые удары судьбы, бьющие извне, от нее ни в малейшей мере не зависящие, как внешняя необходимость. И оставалось только — принять. Собранная же ею коллекция водки была тем немногим, что зависело от ее произволения, была убогим и драгоценным уделом ее свободы — и вот теперь у нее отнималось самое интимное, сокровенное достояние, ее сокровище. Женщина смутно, но очень остро, болезненно ощущала это, и ей хотелось, чтобы умная дочка точнее поняла ее состояние, чем она сама, выразила бы его в душевных словах и тем дала бы ей утешение.

...Да, дочка сказала неправду: Бузлов обманщиком не был; но — вором и предателем он был. Он ее не обманул, но он ее ограбил! И в то время, как одна половина ее души все никак не могла успокоиться, защищая Бузлова перед дочерью (а тем себя: не такая она плохая, раз не такие плохие у нее друзья), приводя на память все новые случаи его честности, другая половинка возмущалась, требуя скорейшего наказания мерзавца, и не понимала, как это дочь, не меньше ее любящая справедливость, боится за Бузлова, что его призовут к ответу правоохрани-

тельные органы. Две половины души, говорящие то порознь, то вместе, громко, не слыша друг друга, подняли в ней такой кавардак, что женщина совсем изнемогла в поисках успокоения, — и вот тут-то раздался звонок, и чей-то солидный, надежный голос сказал, что все в порядке: Бузлов взят и во всем признался (а я что говорила! то-то! я знаю, что говорю!), но так как завтра воскресный день, то денек придется подождать, а в понедельник с утра к ней привезут Бузлова на следственную экспертизу. Не волнуйтесь, сказали ей, все будет в порядке. Спасибо, благодарно сказала она, радуясь, что дело делается, что полдела уже сделано, что Бузлов оказался честным, как она и думала, а главное — что она обратилась куда надо и ей помогли в беде, не оставили без помощи. До свидания, сказали ей, и положили трубку.

Да, а водка-то? Что ж она забыла? Всего впопыхах не упомнишь, так неожиданно. Позвонить? Нет, неудобно! Заставила людей работать на ночь глядя, они все сделали и еще ей позвонили, чтобы успокоить. А она опять будет им надоедать, скажут, мало что неблагодарная, так еще и бестолковая. Ладно, чего стоит подождать день. В войну больше ждали.

4

Следующий, воскресный день состоял из вещей совершенно неинтересных, каких-то вялых и почти неконтролируемых бытовых действий, совершаемых в пределах однокомнатной хрущевской квартиры и в основном повторяющих действия вчерашние, с теми или иными незначительными вариациями. То же, что действительно интересно — то всецело, непрерывно изнурительное чувство ожидания, заполнившее весь день и половину ночи, то простое чувство ожидания, распора, вытеснившее из души женщины многочисленные сложнейшие чувства и мысли, ибо самая простая душа необычайно дробна и многосоставна в своей органически, разветвленно мыслящей и чувствующей жизни, — это чувство своей неопишуемой простотой выходит за пределы описания. За весь день женщина так и не позвонила дочери, с

одной стороны, не набравшись мужества признаться, что все же заявила в милицию, и, более того, это возымело серьезные последствия, а с другой, ожидая и надеясь, что завтра-таки приведут Бузлова не пустого, а вместе с водкой, и тогда она окажется на коне и утрет дочке нос: ее способ действий будет правильнее и умнее всех умных советов, раз именно он принес нужный результат.

5

А утром, очнувшись от самой сильной из дочкиных таблеток, которые принимают даже не половинками, а четвертинками, чтобы провалиться внутрь себя, каждый в свое и каждый на свой срок, утром она опять извелась: Бузлова все не везли, ни в 9, ни в 10, ни в 10.30... Только в первом часу в дверь позвонили и вошли: человек, назвавший себя, кажется, председателем-экспертом, с ним фотограф, а потом уже Бузлов и сопровождающий его милиционер. Бузлов был в вечном своем черном пиджачишке и клетчатой рубашке и шел, как всегда, бочком; увидев ее, он криво же, краем рта ухмыльнулся. Его слегка трясло. Председатель-эксперт сказал: «Показывайте, как все делали». Бузлов стал показывать. Председатель сел писать; фотограф временами щелкал аппаратом. Бузлов показал все и застыл посреди комнаты, кривобокий и кривошей. С предметов, о которых Бузлов показал, что брал или трогал их, стали снимать отпечатки пальцев. «Серьезно работают», — подумала женщина. Это ей понравилось, вселяло спокойствие. Бузлов трясся. Вдруг он тихо и быстро сказал:

— Петровна, дай хлебца пожевать, а? Кусочек.

Вот обормот, еще есть просит; не дожدهшься. У, кривобокий.

— Можно, я его покормлю пока? — спросила она у пишущего быстро председателя, почему-то тоже тихо, почти на ухо.

— Ладно, только быстро, пока я пишу, — сказал тот тоже тихо, без выражения.

— Пошли, дам поесть, — сказала она Бузлову. Сопровождающий двинулся за ними.

— Ладно, оставь, — сказал ему председатель.

Женщина налила в миску борща, отрезала здоровый ломоть черного и в сердцах шваркнула все это перед Бузловым на стол, так что борщ перелился через край миски. Бузлов быстро-быстро принялся есть, угодив локтем в лужицу борща. Ничего не может по-людски сделать, уродина.

— Слышь, Петровна, — сказал Бузлов, чавкая и всасывая назад валившуюся изо рта гущу, — лучше бы я у тебя пухляк выпил — и все, а то ведь как. Веришь — нет, я у тебя здесь грамм двести отпил, все в сумку сложил, черную, знаешь, из-под инструментов, все запихнул, вместе с недопитой, и думаю — дай, думаю, поем теперь, когда поправился маленько, с утра во рту ничего. Ну, не буду же я тебя объедать — пошел в «Домовую кухню» на углу. Знаешь? Сумку поставил у столика на пол, пошел за едой. Прихожу с подносом — а сумка-то тю-тю. Там еще мужик один стоял. Ворюга!.. В общем, не пошла мне твоя водка в кон.

— Ворованное добро впрок не идет, — сказала женщина торжествующе: есть все-таки на свете справедливости! — Не идет, — повторила она. — Бог тебя наказал.

Бузлов молчал доедая. И тут до нее дошло, что для нее значили его слова и какой ценой восторжествовала справедливость. Водка исчезла, исчезла с концами, исчезла вся!

Все торжество ее, сколько его в ней было, обратилось в гнев.

— У, гад! — пальцы ее сжались. — Гад! гад! гад, га... — Маленький кулак замолотил по бузловской лысине. Бузлов прикрыл голову рукой, продолжая жевать; вторая его рука занята была ложкой с выплескивающимся от ударов борщом. Бузлов пытался донести хоть что-то до рта, но удавалось это ему плохо.

— Ладно, Петровна, дай доесть, — покорно сказал он. — Меня уж били.

Кулак ее остановился, сердце сжалось.

— Били? — сказала она. — Как били?

— Слышь, Петровна, — забормотал он, не отвечая на вопрос, чтобы не задерживаться на пустяках, — ты бы забрала заявление, а? Я те все отдам, отработаю, куплю и

принесу. Ты ж меня знаешь, а? Ну, ей-Богу, просто душу девать некуда было. Закрутилась во мне, как волчок, — давай огня! Забери, а? Я те дверь поставлю. Новую.

— Где ты новую-то возьмешь?

— Где-где... На складе.

— Я ж говорю — ворье. Одно слово.

— Ладно тебе. Что, никогда со склада ничего не брала?

— А водка?

— Сказал же — куплю. Какая ни есть, все ж она не дороже денег.

— Ладно, — сказала женщина. — Посмотрю на твое поведение, — зачем-то сказала она, как дочь говорила внуку. — Доедай, — сказала женщина, подливая в пустую миску еще борща, и вышла из кухни.

Председатель кончил писать и теперь читал написанное.

— Товарищ следователь, — сказала она снова тихо, подойдя вплотную. — Товарищ следователь, а можно, я иск заберу? Он вроде все осознал. Вроде он больше не будет.

— Детский сад, — сказал тот. — Это не баловство. Это кража со взломом. Поскольку взлом налицо, отпечатки взяты, акт составлен, дело на полном ходу, заявление забирать поздно. Это надо было делать — если уж разводить гуманность к преступникам — до нашего прихода. Теперь дело будет передано в суд в любом случае. Все, что могу для вас сделать, — не брать его под стражу до суда. И то...

И они увели Бузлова, сказав, что своевременно оповестят о дальнейшем. «О чем о дальнейшем?» — «Как это о чем? О суде. Вы же понадобитесь на суде. Тем более если хотите, чтобы ему дали меньший срок. Кое-что будет зависеть от вашего выступления». — «А... сколько... ему?» — «Это решит суд. Но вообще его статья предусматривает от двух до семи». — «До се-ми-и! А может, дадут условно? Он же нечаянно». — «За нечаянно бьют отчаянно. Нечаянно! Будет отвечать по закону! Теперь каждый будет отвечать по закону. Допрыгались. Приехали! — он вдруг улыбнулся, широкой, открытой улыбкой Юрия Гагарина. — Теперь все будет в порядке». Женщина не поняла, но спрашивать больше не стала. Она не умела, как дочка: не тушеваться и спрашивать, что ей надо, пока человек не опустеет.

Она осталась одна; ей было не по себе, хотя и легче, чем накануне: все было уже не впереди, а позади, и она начала привыкать. Женщина включила телевизор. Какой-то знакомый балет. Было жалко Бузлова и жалко водку, но к потере бутылок она начала привыкать. Она включилась в процесс привыкания, в новую полосу жизни — и прошлая стала потихоньку мертветь, подсыхать и отшелушиваться. Бузлов получит по заслугам, правда победила, и слава Богу, и нечего жалеть всякое... Завтра придет внук. Женщина вспомнила, что ничего не ела с утра. Завтра придет ее солнышко. Она поставила кастрюлю с борщом на огонь. Ее золотая рыбка. И тут сохранившееся в пустых руках ощущение веса, легкости кастрюли спустя несколько секунд дошло до ее мозга, и она осознала, что весь борщ до капли налила Бузлову. Она поспешно выключила газ и стала соображать, что бы такое себе приготовить и чем бы завтра порадовать внука. А Бузлов пусть скажет спасибо, что пока сыт, жалеть его еще. Думать сразу о себе и о внуке было неудобно, не с руки, и женщина сосредоточилась на мысли более интересной — о внуке. Порадовать его было непросто, во-первых, потому, что он плохо ел и не очень-то интересовался, что суют ему в рот, а во-вторых, потому, что он ехал от той бабушки, с дачей, и та бабушка закармливала его всем, что на даче росло: ягодками, помидорчиками-огурчиками и прочим прямо с грядки. Что лучше сделать, оладушки или куриные котлетки? Лучше то и другое. И еще можно картошечку в сметане в горшочке; и тут зазвонил телефон. Не хотелось прерывать приятные мысли, но телефон все звонил, кто-то знал, что она сразу не подходит к аппарату, и на каком-то противном гудке она все же взяла трубку. «Алло, это я. Чего не звонишь два вечера? Ты его нашла?» Женщина поняла, что хотя и неприятно, но придется все рассказать: придумывать она не умела, а просто уклоняться и заматывать было поздно. Дочь молча выслушала, не перебивая (всегда бы так! Но оказалось, что это отдает зловещей тревогой), ее длинный и сбивчивый рассказ — и еще помолчала. Потом трубка заговорила, сначала спокойно, но медленно разгоняя голос: «Так. Понятно. Водки нет и не будет. Человека ты посадила своими руками. В советскую тюрьгу. Ты и тут осталась в дураках. Вот на

таких, как твой Бузлов, руками таких, как ты, они делают свою отчетность. Очень удобно. Своими руками, ты и только ты. А все потому, что мне наврала. Ну, ладно, у тебя не хватило ума сначала посоветоваться, а потом уже делать. Это трудно, я понимаю. Но ты хотя бы не ври! Сколько раз говорила: не ври, врать себе дороже. Почему вы все врете — и так глупо? Если бы ты не соврала, можно было отменить милицию, позвонить и сказать, что ты ошиблась и все на месте. И уж во всяком случае не ходить и не писать еще для них заявление! И потом давить на него, как я предлагала. А теперь поздно. Теперь ты подумай о душе, а мне тебе сказать нечего!» И трубка зло хлопнулась на место.

Вот зачем она? Зачем она так? И так всегда — родной матери, когда ей и без того тяжело. Всю жизнь ей отдала. Смутно тяжелая тень вины, неправоты по отношению к Бузлову, вороновым крылом покрывшая угол ее вымученной души, теперь послушно (слишком послушно и поспешно) ушла, отогнанная новой обидой и болью непонимания. Всю жизнь для нее, на нее. Женщина переключила телевизор на другую программу. Там тоже играли какую-то знакомую скучную музыку. Ей, впрочем, было все равно, что там идет: она большей частью использовала телевизор для подзвучки, подцветки, подогрева своего зябкого и тихого существования. Он работал всегда весь вечер, до конца самой поздней программы, а она занималась своим делом — и только иногда, если говорил Ельцин, или Попов о бесплатном метро для пенсионеров, или вдруг появлялись актрисы ее молодости, Хитяева или Клара Лучко, включалась и смотрела внимательнее. И женщина ушла на кухню готовить оладушки для своей ласточки, своей единственной отрады, и куриные котлеты, а себе по ходу лепя котлеты из розоватого государственного фарша, смешав его с таким количеством лука и перца, чтобы можно было думать: фарш не тухловатый, а просто задохнулся. Она думала так, как можно, чтобы жить, а не так, как нельзя, чтобы век маяться, как дочка; она умела жить...

Дочь ее между тем, накануне дав себе программно полный отдых, то есть проведя день в постели, а вечер в ванной, с Агатой Кристи и у телевизора, спешила теперь за-

кончить домашние дела к завтрашнему приезду мужа и сына. Разумеется, им было совершенно безразлично, приведена ли квартира в порядок или нет, но это было необходимо ей самой. Уже сейчас она видела, что всего не успеет, отнести белье в прачечную, например. Вдобавок с позавчерашнего вечера ей не давало покоя чувство, что у матери что-то неладно, что та темнит и делает все не так, во вред себе. Но она решила не звонить первой, не портить себе нервы уж чересчур, все равно все будет так, как будет, так лучше уж не знать, лихо пускай лежит себе тихо. Конечно, это не способствовало засыпанию, она вскочила сегодня во втором часу дня — и уже не могла не звонить. Это меня лукашка толкает под локоть, думала она, снимая трубку; ну и пусть. Разумеется, подтвердились самые худшие ожидания; но беда ее была в том, что по паничности своей натуры она никогда не могла подготовиться к тому, чего, казалось бы, сама же и ожидала, имела время на подготовку. Услышанное выбило ее из колеи; она продолжала чистить, стирать пыль, менять постельное белье, пришивать новые метки на место истертых, но мысль, что ее мать ни за что посадила человека в тюрьму, а она этого не предотвратила, эта мысль все как-то расклеивала у нее внутри, распускала душу, как свитер, и, тормозя работу, не давала ее закончить вовсе. Она пыталась, она с головой ушла в ненавистную уборку, зарылась в нее до дна и еще глубже, так что уже и чувствовать могла только бесконечную усталость... В отличие от матери она терпеть не могла ничего отвлекающего, нелюбила никакой фоновой музыки и тем более слов, потому что пустые слова бесили ее более всего, а серьезные и дельные — слушать не могла иначе, как серьезно. Поэтому до конца нескончаемой работы, до часу ночи, когда уже надо было готовиться ко сну — поезд прибывал в 10.57 утра, — она так и не включила ни радио, ни телевизор.

6

«Сорок пятый» поезд «Самара» был во всех отношениях хуже, чем «девятый», фирменный. Грязный, душный, с раз навсегда сломанными кондиционерами. К тому же у

него был тот недостаток для большинства командированных и всех без исключения отоваривающихся, что прибывал он в Москву не в 7.35, как «девятка», а в 10.57, то есть не к открытию магазинов и контор.

Муж не был ни отоваривающимся, ни командированным; в Москве он просто жил и вез домой ребенка после летней волжской дачи.

Все 18 часов дороги будут заполнены тяжелой и однообразной повинностью обихаживания четырехлетнего ребенка в тесном купе с неизвестно еще какими попутчиками (СВ был теперь не по карману, тем более что детских, половинных, билетов в СВ не продавали), и поэтому главный недостаток этого поезда — его позднее прибытие — становился решающим достоинством, искупающим грязь и духоту: если поезд прибывал на три с половиной часа позже, то он и уходил позже почти на столько же. Время сдвигалось к вечеру, до ночи ждать становилось меньше, да и утром не надо было будить сына ни свет ни заря.

Еще утром он был доволен: билеты достали на нужный поезд, ребенок взял от лета свое, слегка порозовел и пополнел, и сам он за неделю, проведенную в родных местах, наговорился, навывивался, накупался в Волге, досыта напился родными душами и отдал должную часть своей. Больше было бы уже лишнее. Все в порядке, они ехали домой, везя с собой августовские дачные трофеи — овощи-фрукты, варенья-соления, три литра домашнего плодово-ягодного — да купленный на местном книжном рынке, куда более дешевле, нежели московский, десяток желанных книг. Он вяло, но приятно чувствовал: все, что могло удасться, удалось; чего же еще хотеть? Настроение портила только мысль о том, что ребенка придется в поезде сажать на горшок, просить соседей по купе выйти и все дальнейшее. Он не любил этих карманных мелочей жизни.

Днем сели за дачный стол, выпили по паре рюмок, закусили варениками с картошкой и вишнями, после чего погрузили шмотки, включая складной велосипед «Дружок», в видавшие виды отцовские «Жигули», сели сами и покатали к вокзалу, и как-то набили вещами половину купе, а «Дружок» сунули наверх... Было 16.40, ровно семь

минут до отхода поезда; и тогда еще было все хорошо, и все распрощались с чувством выполненного долга, грусти и облегчения...

Дорога Самара — Москва сформулировала всю его жизнь как изменение души — через проживание времени. От детских, с родителями, поездок в город чудес с лестницей-чудесницей и серебряными эскимо, картиной «Аленушка» и миндальными пирожными в буфете Третьяковки к юношескому городу Театра на Таганке, вермута «Чинзано», ресторана «Арагви» и дамских сигарет «фемина», чей золоченый мундштук считали за счастье сунуть в угол рта провинциальные ребята с понятиями, через взрослые, но еще первой молодости посещения столицы с целью продышаться, проветриться, прибахаться и приобщиться — вплоть до нынешнего скучноватого возвращения домой, в брюхо чумазого, но родного чудовища, какого бы то ни было, но мегаполиса, не хухры-мухры, с его неизбыточной, всепоглощающей, безразлично азартной психологией всегда задворочной, но всегда мировой столицы. Через всю его жизнь проходили эти 1100 километров всегда одного и того же пространства и 17—18 часов всегда разного времени. Пространство зависело от времени, одни и те же точки остановок фиксировались в нем, расстояния же между ними обнажали свою иллюзорность. Подобно офицеру спецназа, стреляющему без промаха в темноте на слух, навскидку, по бегущей крысе (так он по крайней мере слышал от одного тридцатилетнего майора-афганца), муж с закрытыми глазами, еще не проморгавшись от поездной дремоты в темноте зимнего вагона, мог сказать, проезжают ли они Обшаровку, Барыш или Сасово, стоят в Налейке или Рузаевке... Он знал уже, что у разных отрезков времени нет постоянных характеристик, время было коварно, стоило, например, привыкнуть, что самым невыносимым является начальный отрезок, первые полтора часа пути, и припасти Агату Кристи, как именно первые полтора часа оказывались вполне быстрыми, легкими, съедобными, а вот стоило проводнице вечером врубить полусвет, когда не больно-то считаешь, и тут оно, времечко, накидывалось на него всей силой своей тягомотины, тоски, нескончаемой пустоты; ты бежал в ресторан, а там уже кончилась дешевая

выпивка, оставался один скверный и неподъемный марочный дагестанский коньяк, и путешествие, приключение шло наперекос с самого начала... и так далее, и тому, и другому подобное, и ничему не подобное, возникшее впервые.

Не ползай, пожалуйста, не елозь по полу и не бери с грязного пола. Ты обещал маме, что будешь слушаться, а я обещал маме, что доведу тебя чистым, без контактов с полом. А ты в грязь залез и рад. Ты видел, чтобы я елозил коленками по полу? Не видел? И не увидишь. И я чтоб не видел.

...А все равно оно — время — победит в конце. Оно тебя уложит в гроб как миленького. Никто не может победить время по-настоящему; кого угодно, что угодно, только не его. Самое непонятное в этом непонятном мире — это время. И еще вечность. В сущности, что еще может интересовать по-настоящему любопытного человека, если его не интересует, как это под одеждой все женщины по-разному одинаково голые? Только время и вечность. Но в вечности смыслят только Исаак Сирийский да преподобный Серафим; только святейшие из святых, которым уже открыто сокровенное — или хотя бы прикровенное. А вот во времени чуть-чуть, кое-что понимать могу и я. И теща.

Странная штука, человек может быть семидесяти семи пядей во лбу, притом специально заниматься временем и заслуженно считаться великим умом, величайшим и стоять в буке диких денег за семь томов, как Кант, а на самом деле толком так ничего и не понять в своем предмете. Ведь что он несет? «Положение о том, что различные времена не могут существовать вместе, непосредственно содержится в созерцании времени и в представлении о нем». И это умный человек! Какова же цена философии, если князь философов городит такую чепуху? Да я доподлинно *знаю* — и я ли только? — что все совсем не так и «в созерцании времени» содержится совсем, совсем другое, и грош тому цена, кто, созерцая время, только и видел, что пустую коробочку в прямой перспективе, как Паоло Учелло видел пространство, и достоин он только того, чтобы жители Калининграда по времени его прогулок проверяли часы, это ему лучший памятник,

но время его не сохранило, не стало старого профессора — не стало сверки часов, и это правильно и уныло, как его же категорически императив.

А можно быть фантастическим тугодумом и вообще страдать умственной непроходимостью, как моя теща, а во времени кое-что смыслить. Ведь как это она поняла — или как это ее так проняло? — что все именно *наоборот*, что «различные времена» именно *могут* «существовать вместе», а могут и отдельно, что время живое, непредсказуемое, может распознаться, съезжаться, разъезжаться и вообще вести себя так, как ему удобно. И как это она гениально сформулировала *практически*, просто и гениально, что от нее до «Киевской» двадцать минут, хотя все знают, что 45 минут, а она *знает* доподлинно, что двадцать, и это правда, на которой она настаивает, и правильно делает. А моя не понимает, что время у всех разное, вообще оно разное, как все живое. И ну на нее кричать! Не может, когда люди глупее ее. Или хуже ее. Или черствее ее. Вообще хуже, чем они должны быть. И сама от этого нетерпения хуже, чем должна быть. Но так и жить нельзя — люди всегда хуже, если только думать о них хорошо. Так ведь она и не живет. Тяжело же ей и с ней, и тяжело им обоим — одна не может понять, почему люди такие и ее мать такая (а ведь уже поняла, что люди разные; видать, поняла, да не приняла), а другая не может понять, чего от нее еще надо, когда она всю душу отдала и больше у нее все равно ничего нет, и почему дочь ее не уважает. Беда! Это уже до гроба, и сейчас, поди, опять какой напряг, и мне завтра с разгону тоже пить этот громокипящий кубок без закуски. Беда. Теща у меня — золото, таких тещ не бывает, хоть бы раз на меня взъелась или дочку начала настроплять, вообще как-то отделять меня от своей дочери в сердце, мы для нее — это всегда «мы», «они», «дети», это драгоценность неопишуемая, ценить надо, я и ценю, а — не легче от этого. Потому она — как Россия, ее ценить можно и любить, а поживи в ней да еще порадуйся, да отыщи концы, да свяжи мысль, да пойми, почему так, а не наоборот, когда дураку понятно — нужно наоборот! Поживи с человеком, который тебя любит и которого ты любишь, а от поступков его балдеешь, а от мыслей шалесешь, а от слов дуреешь, и только все хочется спро-

силь, да понимаешь: не спрашивай лучше, хочется — перехочется...

Мысль о теще мгновенно выкинула его из самарского «теперь», где Москва казалась далеким пятнышком света, световой воронкой в некое будущее, куда следовало только влить в качестве долговременного топлива все запасы, затаренное, в том числе накопленное в душе, перекинула, сбросила в московское «теперь», совершенно иное *поле настоящего*, незримо огороженное место с совсем, совсем иными заботами, реалиями, счастьями и несчастьями, иными стимулами и характером жизни, чем то, что было, считалось, растворено было в воздухе в качестве удач, несчастий, стимулов, нормы здесь, в индустриальном центре (для кого-то) и родном дачном доме (для него) на берегу большой реки. И ощущение удавшегося отрезка жизни мигом сменилось постоянным его московским фоновым чувством общей неудачи и чреватым, всегдашним, с хронической отрыжкой и изжогой, вкусом несчастья — несварения жизни.

Опять-таки топливом для несчастья могли быть вещи самые, как говорили в тех кругах, где любили такие слова и пополняли их копилку, гетерогенные: не перестающая ни на день уже 12 лет непонятная тягостная болезнь жены (после 22 лет ее совершенного — во всех смыслах — здоровья), многолетняя бедность, столь же хроническая немочь его литературной карьеры, видоизменившейся в последнее время — от полного непечатания к умеренному печатанию с полным незамечанием, — но идеально сохранившей свой статус тотальной неудачи, и многое еще мелкое или крупное, как смотреть... Топливом могло служить все, что хочешь, только подбрось в топку, но он знал: это топливо — только топливо, не причина. Причина крылась в нем самом: душа его, некогда, уже при действующей болезни жены и большей, чем сейчас, бедности, собственно, нищете, вполне справлявшаяся с жизнью, с некоторых недавних-давних пор перестала вырабатывать гормон нормального самочувствия по всей амплитуде, от спокойной печали очередного поражения до радостной эйфории праздника. С недавних-давних пор муж подобно небезызвестному герою Г.Г. (герой Г.Г. — это уже три «гэ»!) стал человеком внутреннего сгорания, но в от-

личие от упомянутого героя на то не было никакой внешней причины, никакой нимфетки, никакой лакомой конфетки; это было абсолютное внутреннее сгорание — пожирание самого себя и самоотравление всеми выхлопами работающего на собственной энергии двигателя. Душа его вырабатывала отныне только гормон горечи и угара, подобного похмельному средней величины. Некоторое время, правда, ему удавалось получать недостающую эйфорию и настрой на жизнь из самого чувства неудачи, этакий садомазохистский перевод энергии неудачи в горделиво стойкое чувство: я знал и предсказывал это, я — Человек Неудачи, и этот свой экзистенциальный опыт не променяю на Нобелевскую премию и «Мерседес-500». Трансформация энергии из пустого в порожнее. Потом и это прошло; ничего не осталось, кроме...

Кроме жизни вместе с потерей вкуса к жизни. И это удивительно совпало во времени (опять во времени!) с тем, что совершилось на самой глубине души. Он вдруг ясно — не понял, не осознал, но увидел, чем кончается всякая жизнь и все в жизни: смертью. Подобно тому, как сейчас, в 20 минутах езды от Самары, он *уже* был в Москве, так, еще будучи в жизни, он *уже* оказался в смерти, и оттуда, из смерти, все, что было жизнью, ее смыслом, удовольствием, ставкой, удачей или неудачей — слава, деньги, имя, дело и все-все-все, — лишалось какого бы то ни было значения.

Все, множимое на нуль, равнялось нулю, и это оказалось вдруг так безусловно и страшно ясно, так не-о-чем-говорить... Он больше не мог жить ни волею простого вкуса к жизни, ни волею ее смысла и толка: не чувствовал первого и не видел второго. Он не хотел жить, но жить было надо; может быть, он хотел умереть, но сам не знал этого, потому что боялся смерти, которой, может быть, хотел. *Потому что живу я все время, а не умирал еще ни разу; мне это непривычно.*

Все в его жизни было удачей и неудачей. Театр одного актера ищет одного актера. Из множества вещей, которых ему, как и всякому другому, хотелось, получал он лишь немногие, видимо, главные, во всяком случае, те, о которых просил постоянно, даже бессознательно, должно быть, даже во сне — судя по содержанию снов, при-

хотливо варьирующих одни и те же навязчивые темы. Но получал тогда, когда уже и просить переставал, когда уже, кажется, и не нужно было. Когда надоедало хотеть. Так он переехал в Москву — когда уже приготавливался оставить молодые глупости и доживать в Куйбышеве ненужную жизнь. Так он получил в Москве жилплощадь — когда уже вынес свои пожитки из восьмой по счету снимаемой квартиры и не знал, где и на какие шиши снять девятую. Так ему дали веру — когда он устал просить о ней и, продолжая просить, устремился к распаду, превращению в исходное ничто. Так он попал в Париж, именно так, как только бы и согласился туда попасть, не советским туриком на заводы Рено и кладбище Пер-Лашез с двумя ангелами в штатском за спиной — когда уже окончательно понял, что по гроб жизни не увидит даже Софии или занюханной Варшавы и не узнает, есть ли они на самом-то деле или только нарисованы на глобусе. Он не знал, чем купил все это, но догадывался, что это как-то связано с его внутренним согласием перебиваться с хлеба на квас, слушать только свой внутренний голос и не делать того, что ему претит, и делать то, что ему делать хочется, хотя и не хочется совсем, а только надо, неизвестно зачем...

Но почему всегда давали сегодня то, что нужно было — вчера? Ведь Ему ли не знать, что дорого яичко ко Христову дню? Но ведь дал, даровал — Он, знающий точно, что, когда и кому дать, и, значит, так было надо, чтобы всегда — на следующий день, когда уже поздно, уже не греет... В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота. Неправда. Его сердце смолodu было и восторженным, и пустым сразу, а это труба. От такого человека только давай Бог ноги. А она связалась. Зачем она со мной связалась? Зачем любит? Зачем вынуждает меня ежеминутно чувствовать свою плохость и на нее же выплескивать гадкое чувство своей гадости — на кого же еще, как не на самого ближнего с краю, самого крайнего из ближних, кого так хочется любить...

И тут с шипением, как бы заламыванием рук, словно бы навзрыд от перепадов уровня громкости, врубилось поездное инвалидное радио; и проезжая мимо нефтегазовых факелов ужасного 116-го километра, предвещаю-

щего столь же ужасный Новокуйбышевск, муж с некоторой оторопью узнал (теперь он догнал задним числом свое же дневное, не осознанное вовремя ощущение, что весь день, даже на даче, на отшибе, со всех сторон шла какая-то тихая Виннипухова шумелка, какая-то мышья беготня, какая-то людская молвь, и хорошо еще не конский топ о том, вокруг того, что сейчас прорывалось сквозь всхлипы измученной пыткой электротоком аппаратуры), что произошло нечто в некотором роде нетривиальное и, кажется, все — и он со всеми — живут уже в другом мире, без Горби... нет, вот это здорово, чтоб я сдох, да нет, быть того не может, чтоб это серьезно, не бывает без Горби, Urbi et Gorgbi, не может он проиграть, не знаю, как у него выходит с его данными, но он выигрывал у них у всех, наших и не наших, всегда, без одного поражения уже шесть лет, он чемпион, как Суворов и Каспаров... Он — гений, а они кто, чтобы без него... а кто — вместо? какое такое ЧП? или ЧК? или КПЧ? у них всегда сначала ЧП, первым пунктом, потому, следственно, и нужна ЧК, чтобы справиться с ЧП. Да нет, как это без Горби, это они что-то крутят, а мы не понимаем, по этому вот радио — пунктиром. Да брось, как им на такое пойти — вон они радио наладить не могут, из пяти слов — три слышно, два в уме, чтобы свои же указы довести хотя бы до нашего сведения, не говорю — исполнить, и сами это знают, не глупее нас, будут они еще такой огород городить без него, хозяин — барин, будут они на царя руку поднимать, тоже мне братья Орловы, граф Пален, Игнатий Гриневецкий, это все были люди, а не эти серо-буро-малиновые из КПЧК, брось, ничего не будет, ничего *не есть*, это очередной указной указ или пленарный пленум, просто из-за радио имеет нестандартный вид, радикальный, а на самом деле это все радио, а Горби был, есть и будет, и мы с ним тихо-мирно загнемся, без ЧП, а если чуток и не так — не горюй, прорвемся...

А если бы и КПЧ и К°, и те два из пяти, которых не разберешь — по худшему варианту, — то и что? Разве это много прибавит к тому чувству неудачи, к тому пеплу сердца, который похмельно стучит в уцелевший остаток сердца — и его, и всех-всех? Разве я не жил в рабстве? и мне оно не знакомо как свои пять пальцев? и разве знакомое

зло страшной незнакомого? Видел я и рабство, и полусвободу, и почти свободу, и догадываюсь, что страшной всего в России — полная свобода, потому — рабство делает человека скотом, свобода — зверем, а зверь страшной травоядного скота... Чего еще я не видел, чтобы сказать авторитетно: ничто не идет мне и нам впрок, все хуже всего по-своему, и это интересно и поучительно, что в этой стране всегда чем хуже — тем лучше, а чем лучше — тем хуже, и так до без конца. Путь этой страны и мой путь — это всегда кольцо вокруг планеты Сатурн, кольцо жуткой жизни вокруг ядра Святой Руси, и это кольцо всегда огромно, а это ядро всегда маленькое-маленькое; и это кольцо всегда — петля Мебиуса; и это всегда — мертвая петля. Как у Амброза Бирса: иначе — не лучше. Чем пугать собираются? Мы диалектику учили не по Гегелю. Мы проживем. Мы умеем. Плюнь ты на КП и Ч. Завтра доберемся — разберемся. Завтра Горби проснется и скажет им, как император Александр атаману Платову: «Не порти мне политики, мужественный старик!» Тут ребенок под ногами и на руках — вот это серьезней, это насущней. Господи, дай силы управиться с ним и довезти его без простуды и инфекции. И если можно, чтобы он не ходил сегодня побольшому.

Плюнь на свободу, плюнь на рабство, трижды плюнь на капитализм с нечеловеческим лицом и на социализм с человеческим. Будь выше. Выше своей неудачи, и неудачи России, и удачи Германии. Ибо все, множимое на нуль, есть нуль.

Прорвемся. Скажу тебе в ретро ранних шестидесятых: держи хвост пистолетом. Скажу тебе, дядька, еще я сильней, в ретро ранних восьмидесятых: не кайфа для, так понта ради. Хочешь яблоко? И не надо. Сам съем яблоко. Захочешь еще яблочка года через два — не будет. Будет по цене ананасов. Ты ел ананас? А я в твоём возрасте ел. Они стоили, как яблоки. Тогда я хотел попробовать кокос. Ты ел кокос, тебе мама привозила из Германии, я помню. Мало ли что я ем немытыми руками. Мне можно, я взрослый. А ты не бери с меня дурной пример. Тебя как-то выборочно воспитали: руки моешь, а по полу ползаешь. Не хочешь смотреть картинки — смотри в окно. Отстань на пять минут. А чего ты хочешь? И я хочу к маме. Мы и едем

к маме. Вся страна хочет и едет к маме. Раньше она туда шла, а теперь катит полным ходом.

Но что бы там ни случилось на самом деле и чем бы ни кончилось, пусть и ничем, а солидная доза невероятной, не отведенной прежде гадости, выплеснутой ветераном электрического труда, успела уже, как бы муж ни старался, хорохорясь, перекрыть ей доступ в душу, войти внутрь, инфицировать, ширнуть, умножить перманентное чувство несчастья, выведя его из поля неопределенности и доведя до нехорошей, критической остроты. Все хорошо в меру, например, несчастье.

Тем более что был тут один пустячок... Как ни убеждай себя, что воля и неволя — все одно и хрен редьки не слаще в стране, где воля — это пугачевщина и чеченщина, а был тут один пустячок: их с женой уход в 83-м из Церкви Московской Патриархии, принадлежность к тому, что до перестройки называлась катакомбной Церковью, ожидание изо дня в день три года подряд того, что — придут и заберут, в лучшем случае — обыск и увольнение... Только вздохнули свободно — оказывается, рано вздохнули, напрасно расслабились, все досье на месте, снова-здорово, заметут по списку за милую душу. Новая метла чисто метет.

И некоторые другие подобные пустяки вспомнились ему, литературные и не только; есть изначальная опасность как условие игры, и есть опасность изжитая, вытесненная из жизни безопасностью — и вдруг нечестно вернувшаяся, когда ее не ждали. Руки опустились; сын сидел у него на коленях, поезд трясло, но он не мог даже придержать ребенка, потому что руки опустились в буквальном смысле слова: повисли как плети. Сгорбившись, сидел он с ребенком на коленях, слегка раскачиваясь, в оцепенении. Он делал отчаянное усилие — собраться: на нем был малый, сын, сынок, и еще 17 часов дороги. И даже не выпей для поднятия духа! Расслабляет. Домашнее вино тормозит. Поить, кормить, на горшок, читать книжку, разговаривать, смотреть, чтоб не разбил лоб, играя в коридоре, не елозил по полу — она клятвенно просила. Тянуть нельзя. Одно к одному. Все не слава Богу. Стране, понимаешь, карачун — а ты не тяпни с горя. Ребенок сейчас определенно лишний.

Лишний. А это все, что у него есть. Сын и жена — все, что у него действительно *есть*.

Сын был рядом, мешал ему жить и помогал выжить. Ребенок нуждался в нем, а он нуждался в своей необходимости кому-то — доказательстве своей неслучайности.

От жены его отделяла тысяча километров. Они плохо расстались неделю назад, поругавшись из-за чего-то мало-значительного, однако само чувство неприязни, раздражения сохранилось и, убеждая своего хозяина — или раба — в собственной правоте, навинчивало-накручивало на себя все всплывшее в памяти плохое, питалось любой мелочью — и не угасло, выжило и даже увеличилось, пополнило за эту неделю. Но сейчас, по некоему закону поглощения меньшего чувства большим, это чувство раздражения и злобы, как и все другие мало-мальски серьезные чувства, протекавшие сквозь него и удерживающиеся в нем на протяжении недели, были подавлены, и только одно чувство любви высвободилось и пламенело в нем посреди наступившей тьмы, не то чтобы борясь с ней, а как-то, напротив, зажигаясь, подпитываясь от нее... Муж уже знал это парадоксальное свойство любви, угасающей от маленьких передрыг и увеличивающейся от больших потрясений, но никогда это знание не было столь ясным. Он вспоминал жену, поразительную ее чувствительность, быстроту и тонкость понимания, выражавшую себя в крайне нетерпеливых, панически резких формах, изматывающую себя и других ответственность, требовательность к себе и другим, сильнейшую нелюбовь к жизни и неприязнь к большинству знакомых (следствие нелюбви к себе; в сущности, она делала то, что и предписывала заповедь: относилась к ближнему, как к самой себе, но только негативно, ибо именно так она и относилась к себе) — и сильнейшую, до полной самоотдачи, любовь к двум-трем своим близким (следствие любви к себе, когда-то полыхавшей в ней, здоровой и сильной, — и затем, после слома, болезни, вывернувшейся наизнанку, в ненависть, но не до конца, но уцелевшей остаточно под слоем ненависти), прозрачную красоту ее лица, слишком правильного и тонко малокровного (а когда-то — того редкого смугло-розового, сочащегося теплом яблочного тона, столь любимого Буниным и Мандельштамом — и им, их

недостойным собратом по перу, но вполне полноправным собратом по человеческим пристрастиям), не имеющего ни малейшей примеси той дешевой демократической яркости и животной крупности черт, той до невинности откровенной сексуальности, что ныне повсеместно отождествлена с красотой и женственностью; он вспоминал ее, и все это странное, слишком серьезное, раздражающее, болезненное, вышедшее из моды и, пожалуй, вообще из жизни — все это безмерно одинокое отзывалось в нем болезненной нежностью. Вся их невыносимая совместная жизнь, постоянно держащая в напряжении, никогда не дающая расслабиться, вспоминалась сейчас как отрада... Чувство любви и жалости к жене, высвобожденное вдруг столь неожиданным и страшным поворотом жизни, множилось на всю тысячу верст, отделявших от нее, от Москвы... а вдруг *они* перекрыли все пути где-нибудь под Коломной... или в Рязани... и тормозят все составы? Почему нет? Меньше народу — больше кислороду. На Олимпиаду было же так. Зачем лишние глаза и рты? Тихомирно — главное дело у них. Точно. Их тормознут. Их, значит, тормознут в Рязани, а того хуже — где-нибудь в часе от Москвы, в Краскове или Кратове, и он не успеет ей позвонить — она уже выедет на вокзал. Точно. Или пропустят? Ты не узнаешь об этом, пока не доедешь. Пока не доживешь до завтра. Пока не переживешь это несократимое время.

Вещи, казавшиеся ему раньше тягостной повинностью: ездить, например, по пятницам к теще, отвозить ребенка на метро с двумя пересадками, больше часа пути, два грязных, заплыванных перехода с избыточным количеством нищих и доморощенных музыкантов, терзающих усталый слух, — представились теперь в ином свете, свете милого очага, радушия, уюта. Теща, злившая его частенько своим тугодумием, несообразительностью, замкнутостью на бытовом и лежащем непременно близко к телу, сейчас умиляла своей несколько программной, но непреклонной самоотверженностью; вспомнилась почему-то ониксовая чаша, стоявшая у нее в серванте, полупрозрачная, мучнисто-белая с розоватыми и зеленоватыми прожилками, той формы, что можно увидеть на иконах, и ему особенно сильно захотелось того, чего он

хотел всегда, но так ни разу и не сделал: налить в слабо светящуюся чашу темно-красного густого кагора — и даже не пить, а так, смотреть. Посмотреть-посмотреть, а потом и...

И еще не умолкал сын, просивший то шоколадку, то попить из термоса, то — еще и еще прочесть и в самом деле прелестные стихи, промелькнувшие на самодельном жестяном плакате в районе Безенчука: «Камнем в окно — людям беда. Помни об этом, школьник, всегда»; и соседи по купе, как на грех, попались хуже некуда: молодая мать (ситцевое платье, евроазиатское лицо, сложных кровей, но простого склада и смысла — из местных, безымянских или микрорайоновских) с полуторагодовалым ребенком, слишком маленьким, чтобы занять надолго его сына, но вполне живым для того, чтобы неустанно горланить, пищать, лопотать — и, разумеется, справлять нужду в пресловутый горшок... хорошо еще, что молчала сама мамаша, по крайней мере никак не комментировала услышанное по радио; будучи настоящей частицей народа, она несла в себе его замечательные традиции: в высшей степени своевременно и прекрасно безмолвствовала. Второй сосед, командированный средней или почти большой руки (тот тип человека компанейского, но с годами матерееющего, набирающего физический и должностной вес, в молодости предлагающего расписать в купе «сочинскую» пульку, в тридцать пять-сорок заговорщически вынимающего из кейса бутылку апробированного, со сбалансированными ценой и качеством, трехзвездочного армянского, а к пятидесяти уже суховато держащего дистанцию, требующего два стакана чаю и носящего высококачественный шерстяной спортивный костюм), как раз не против был высказаться, но, по двум-трем словам мужа сразу поняв, что тот — человек не то что другого круга, а другого измерения, замолчал, переоблачился не спеша, как и предполагал муж, в спортивный костюм «Адидас» и, в неожиданном несоответствии с возрастными характеристиками вытащив, не таясь, бутылку коньяка «Белый аист», отправился к своему сослуживцу или приятелю, угодившему в другое купе, отправился, к счастью, надолго — должно быть, пили за *нашу победу*... Муж вынул из нагрудного кармана рубашки заветный пакетик цейлон-

ского — ненавидя поездной «женатый» чай, он всегда брал с собой свою заварку. Но сегодня все было не в радость, не в жилу, как говаривали когда-то, не по кайфу, как выражались ныне. Зато и наоборот — то, что его доставало обычно: самому стелить поездную постель, раскатывать и укутывать пыльный вонючий матрас, всовывать грязную подушку в тесную и едва ли более чистую наволочку (ведь наверняка же застилать постели должна проводница!) — сегодня даже приятно отвлекало от навязчивой мысли: за что нам, за что все это? За что Господь покарал Россию — это более-менее ясно; но за что Он покарал ее так *надолго*, так безысходно и почему именно сейчас, когда она начала вылезать из болота, попускает сунуть ее в трясины опять? Почему опять то же самое, не другое? Почему нет развития сюжета?..

Да, ведь сегодня же Преображение! И сегодня оно и... Ну, так тем более ясно — это не просто так. В этом смысл. В этом судьба.

Как давно мучаемся. Забыли, когда и радовались. А ведь не хуже других. Но нам дано *это*, а им другое — и только, и больше человекам не вместить. Почему, зачем — пойдем только там. А здесь пойдем только то, что в этом есть смысл. А не просто так. И я хочу, как в Швейцарии, и нечего тут про духовность, но — в *этом есть смысл*. И нравится он нам или нет, а мы от него не уйдем. *Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма.*

Одна, другая постель, и ребенок уложен и, наконец, ему прочитан «Карлсон», а время все тянулось, длилось, лилось тонкой струйкой, как из пробитой банки сгущенного молока, до Сызрани, да знаменитой Налейки, где об эту пору ведро грибов стоило копейки (Налейки-копейки — недурная рифма, да ты еще и поэт — и поэт истинный!) — самое время покупать грибки и везти в Москву! — время все жило своей проклятой, несократимой, неускоряемой жизнью, и не то что Агата Кристи — Чейз падал из рук; и стучало, било, грохало что-то за окнами, и хлопало где-то в простенках купе, неведомо что хлопотало в разошедшемся вагоне, а он лежал внутри стука и грохота, уже час как приняв радедорм, и все не мог уйти от себя, от чувства несчастья... и тут он понял: просто у нас другое построение сюжета. Другой его вид. Сильный западный человек вторгается

в жизнь и меняет ее, оставаясь тем же, что и был. У нас все наоборот: всесильная жизнь вторгается в человека, не могущего ее изменить. Все, что он может, — измениться сам. Это как разница между картиной и иконой: либо ты входишь в глубь изображенного, либо оно входит в глубь тебя. Сюжет происходит, но он протекает внутри — и кто правильно поймет, правильно впустит в себя жизнь и правильно изменится от того, с пониманием искусства, тот на этой земле будет жить в соответствии с замыслом Автора. Нам не хуже, чем им, нам...

И тут, уже за Рузаевкой, тут, на полумысли, он заснул, сон забрал его — и все смешалось: наши танки прямо по Петровке, через мост по-над Самаркой входили в Париж, где он жил на крыше собора Нотр-Дам, и директор Измайловского ПКиО, полковник танковых войск в отставке, вбежал к ним на крышу, где они сидели за столом, посреди которого стояла светящаяся ониксовая чаша с кагором, и возмутился: «Как вы можете распивать в рабочее время, когда наши освободили Париж?» — и они сорвались и полетели над городом, над Эйфелевой башней, над ГУМом, на ту сторону Волги, к чешскому посольству, чтобы успеть улизнуть от наших, а за ними гналась ребятня из их двора и швыряла вдогонку снежками, и снежки взрывались, но осколки ложились ниже, не достигая...

7

На Казанском вокзале в Москве, на холодном ветру дрянного утра августа 1991 года 20 дня на перроне у 7-го вагона прибывшего ровно в 10.57 поезда № 45 встретились четверо: женщина, ее дочь, муж дочери и их сын.

— Все, — сказала женщина радостно, протягивая зятю цветы, хватая внука в охапку и суя ему машинку. — Турнули Мишку! Теперь эту говорильню кончат.

Дочь высвободилась из объятий мужа и внимательно посмотрела на мать; потом повернулась к мужу. Он увидел муку в расширившихся зрачках, глаза без подкраски, черновато-голубые круги под ними.

— Ты знаешь, — сказала она тускло, — в стране переворот. Говорят, на Манежной танки.

Он кивнул, продолжая молча смотреть. Никогда не видел он лица грустней и прекрасней. Родившаяся во сне мысль о Чехословакии теперь всплыла из подсознания. Он вспомнил, что у них есть человек, делающий приглашения в Прагу. Туда не нужна была въездная виза, можно быстро отчалить.

— По «Свободе» передали утром: Чехословакия не будет впускать людей по приглашениям, помеченным позднее позавчера. Или вчера, плохо было слышно, — так же тускло сказала жена, пристально глядя на него.

Раз она все равно знает, что он скажет, можно пропустить пару фраз. Странно, в Самаре лето в разгаре, а здесь уже осень. Можно сразу выдать последнюю. Не я, так она сама скажет.

— Что ж, — сказал муж. — В самом худшем случае мы наконец окажемся в симпатичной компании. Тех, кто мешает тебе жить, ты там не увидишь.

— Ты так думаешь? — сказала жена. — Стоит только поближе с теми, кто тебе симпатичен, и они помещают тебе жить похлеще любой лимиты. Не все, конечно, но на нас хватит. Большой, а дурной.

— Мама, — говорил ребенок, — мама, мамочка, смотри, какую мне бабушка машинку купила. Настоящая «Чайка», как у Горбачева.

ПРИВЕТ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Рассказ

Приглашает меня как-то к себе один знакомый из деловых и говорит:

— Ты уехать хочешь? В Америку.

— О чем речь, — говорю. — Да пока я собирался, самолет улетел.

— Не совсем. Появился один вариант... Словом, оттуда звонил мой деловой партнер. Там образовалась какая-то община евреев-христиан, ну, сам понимаешь, американцы ищут своих собратьев по всему миру, в том числе здесь, чтобы помогать. Культурно-гуманитарная программа и прочее. Как тебе?

— Интересно, — отвечаю. — Очень интересно.

— В перспективе — эмиграция. По крайней мере для активистов.

— Еще интереснее, — говорю.

И в самом деле, стало мне так интересно, как давно уже не было. Надо сказать, что те два года, когда у нас уже выпускали, а там еще принимали, я промаялся, решая для себя вопрос: обязано ли православие быть патриотичным, а патриотизм осуществляться лишь на специально отведенной для этого территории? А потом, когда я понял, что воп-

роса этого однозначно решить не смогу, но все равно ехать надо, поскольку жизни такой душа больше не принимает, дорога на Запад повсюду была уже перекрыта: если не считать Западом Ближний Восток. Но для таких, как я, не существовало и этой дороги.

— Вот ты и стань этим активистом.

— Я?

— А кто же? Ты — христианин?

— Надеюсь.

— Еврей?

— Смотря что считать еврейством.

— По паспорту?

— Это уж будь благонадежен. Порок не скрыт.

— И прекрасно. Тебе и карты в руки. Через две недели от них прилетает человек. Организуй ему программу.

— Я?

— Ну не я же. Я и здесь проживу, как в Америке. А ты нет. Так что давай. Спик инглиш?

— Э литтл бит.

— Ну и вперед. Смелее.

— В смысле — театры, музеи?

— Это тоже. Но главное — дело. Встречи с людьми. Евреями-христианами. Пойми, это американец. Ему нужно чувствовать, что он делает нужное и важное дело. У тебя есть такие, как ты?

— Кто-то есть... человек пять...

— Найди двадцать. Вызови из других городов. Знакомых знакомых. Чтобы он чувствовал — доллары на поездку потрачены не зря. Работай. Да, как можно быстрее собери у всех анкетные данные и давай мне — я решлю с оказией. Это для вызовов.

— А тебе-то зачем все это? Какая выгода?

— Это бедный ищет во всем выгоду. А богатый может позволить себе бескорыстный поступок. Мне приятно делать людям приятное. Потом в этом почему-то заинтересован мой американский компаньон. В общем-то это ведь благотворительность; а благотворительность у них — лучший бизнес. Он просил меня устроить хороший прием, я и устраиваю. Но я не еврей, не хрис-

тианин и не знаю спепифики. Мне нужен ты, а тебе нужна Америка. Так что вот. Машину, ~~люфера~~, переводчика для встреч с людьми и деньги на прием в рублях я дам. Вот тебе стартовая тысяча — и держай... Да, не забудь, в программе обязательно должен быть биг-диннер.

— Куда столько? Даже если учесть биг-диннер...

— Старик, ты свалился с ~~лунд~~. Мой опыт серьезных приемов говорит, что через два-три дня тебе понадобится еще. Я дам... Да, вот тебе телефон одной девицы, сестры моего американского компаньона. Янки остановится у нее. Она тоже...

— Христианка?

— Не знаю. Но уехать хочет очень. Работайте на пару.

И стал я активистом, каким отроду не был. Начал кому-то звонить, кого-то агитировать по междугороднему телефону, кому-то обещать матпомощь, кого-то манить эмиграцией. Собрал и выслал кучу анкетных данных. Я им всем хотел добра, совершенно искренно.

— Старик, — сказал мне очередной абонент, — какая Америка? Это все Свидригайлов выдумал, после того как ему очередное привидение явилось, чтобы русскому человеку, чуть чего, сразу в Америку натыриваться, ну, с тех пор и пошло. Только сам-то он, если помнишь, проблему выезда решил по-другому. Потому что был не дурак и понимал: нечего там нашему брату делать.

А другой сказал:

— Тебе опять захотелось большого и чистого. Так я тебе уже говорил — пойди в зоопарк и попросись вымыть слона.

Такой остроумный. Но поскольку он мне это действительно говорил, и не раз, а значит, мы это уже проходили, я продолжал работать. И сам удивился: у одного меня — а я последние лет десять вел жизнь довольно уединенную — оказалось более десятка знакомых православных из евреев. Сколько же их было по всей стране? Вряд ли меньше, чем правоверных иудеев в Израиле.

Потом позвонил я этой девице. Настоящая такая, выпуклые темные глаза, грустно поникший нос, пышноватая фигурка — и имя соответствующее: Катя Бочкаре-

ва. Так, говорю, и так, мои люди готовы прибыть по первому зову, и если у нее вербовка тоже идет полным ходом, то не пора ли нам встретиться и разработать план кампании.

— Прекрасно. Давайте хоть сегодня.

— А как ваши люди?

— Ждут сигнала.

— И много вас?

— Да человек двадцать пять в Москве, пятнадцать в Питере да десяток в Харькове.

— Что вы говорите. А у меня народ из Самары, из Рязани... Нет, я никогда бы не подумал, что кругом сплошные евреи-христиане, даже в Харькове.

— А чего тут удивительного? Евреев в Харькове всегда хватало, даже сейчас. А насчет христианства — мои люди поверят в то, во что надо поверить.

— Вы хотите сказать, у вас — люди неверующие?

— Я хочу сказать, у меня — люди, интересующиеся эмиграцией. Причем в Штаты. А неверующих людей, я думаю, вообще нет. И поскольку все мы верим в одного Бога, только по-разному Его называем, так почему не назвать Его Христос? Это имя не хуже любого другого, даже лучше, если за него дают Америку. Вы что, не согласны?

— Нет. Но будем считать, что мы попутчики. И мы разработали план, исходя из того, что у американца на все про все десять дней. Эту декаду мы расписали по часам. Здесь были: Большой театр, соборы Кремля, поездка в Троице-Сергиеву лавру, прогулка по Арбату, закрытый ресторан (по ее каналам) — и, конечно, встречи с людьми, общее собрание для всех и отдельно по секциям: Москва, Питер, Самара, Рязань, Харьков; наконец, двухдневная поездка в Питер для осмотра тамошних sights и встречи с тамошней колонией потенциальных христиан.

— Одно меня смущает, — сказала Катя. — У тебя и твоих действительно есть, с его точки зрения, серьезный повод для контакта с ними и всего вытекающего. А у меня... если он нас копнет... ведь мы в этом ни бум-бум.

— И-да... Слушай, а зачем тебе эти сложности? Если я

правильно понял, у тебя в Америке брат? Так чего же проще...

— Брат-то он мне брат, да не родной, а троюродный.

— Все-таки.

— Кабы это было «все-таки», я была бы уже в Бруклине. И даже родной брат, заметь, это много, но это не стопроцентное прямое родство. Хуже формалистов, чем янки, нет. Не считая немцев, австрияков, французов, швейцарцев, голландцев и англичан.

— Ты пробовала там остаться?

— Агентурные данные. Я уже пол-Москвы отправила разными путями, а сама все сижу. Сапожник без сапог. Замужество не задалось, родство не прямое, в отказе была, но без репрессий. Хочу попробовать нетрадиционное решение.

— Понятно, — сказал я. — Ладно... Я, конечно, вранья не одобряю, особенно по части веры, но теоретически вы можете замотать это дело, мотивируя плохим знанием языка. А переводчик скорее всего плохо знает религиозную терминологию.

Кстати о переводчике. Сним, а точнее, с ней, у меня тоже состоялся разговор.

— Мое дело — переводить, — сказала она. — Я все переведу, мое время оплачено... но все-таки любопытно... Скажите, я правильно поняла — речь идет о каких-то евреях-христианах?

— Совершенно верно.

— Но, простите, никаких евреев-христиан нет. Есть выкресты.

— М-м... Вы — иудейка?

— Ну... когда я была в Израиле и зашла в синагогу, я испытала что-то особенное. Какое-то... больше, чем чувство. И я поняла, что еврей должен быть евреем.

— То есть иудеем?

— Это одно и то же!

Я крестился в сознательном возрасте и не с бухты-барахты; стало быть, я прокрутил в уме и сердце все доводы pro и contra выбора христианства вообще и крещения евреев в частности. Я мог спроста вообразить себя ею и привести пять, пятнадцать, пятьдесят пунктов об-

винения от лица иудея выкресту, а затем опять стать собой и ответить на все пятьдесят. Но знал я и то, что разговор наш совершенно бесполезен, поскольку вера — дело интимное, а в интимных делах верно всегда одно: не по хорошу мил, а по милу хорош. Выкресты были ей немилы, и оставалось только спросить:

— Так вы работать будете или отказываетесь иметь дело с выкрестами?

— Почему? Работа есть работа. А мое время оплачено.

Ладно. Короче говоря, беру я три отгула да неделю за свой счет и в одно прекрасное утро прибываю на своей временно служебной «Волге» в наше замечательное Шереметьево-2. И жду прибытия рейса Нью-Йорк—Москва, имея на груди, как и положено, опознавательную табличку на английском и чувствуя себя в некотором роде партизаном или помогавшим оным.

Минут через двадцать один из толпы прибывших бросается ко мне, и мы говорим друг другу: «Найс ту мит ю». Вид у него несколько взъерошенный, и, с трудом разбирая его речь, я узнаю, что таможенники, увидев у него кучу брошюр, решили пошмонать его детально. Первый обыск в жизни — понятно, что он был ошеломлен; но держался бодро — американец: геройское столкновение с Кей-Джи-Би входило в его культурную программу.

С виду Роджер был не похож на еврея совершенно: светловолосый крепыш с аккуратно подстриженной бородкой. А с собой он волок Бог знает что, помимо кейса и большего саквояжа: некий квадратный рундук с окованными железом краями, вызывающий в памяти картину классика московской живописи Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом», и длиннющий узкий мешок из потрепанной рыжей кожи, который он тащил на плече за петлю. Мешок этот, почти в человеческий рост, меня ужасно заинтриговал.

И повез я его к Кате, постаравшись использовать те сорок с чем-то минут, что мы ехали, с толком, то есть объяснить ему, что не берусь говорить за всех, но, в частности, я и несколько моих друзей поставлены самой жизнью в такое положение, что нам выехать сам

Бог велит. Для этого понадобилось охарактеризовать и Церковь Московской Патриархии, в которой мы больше быть не могли, и Зарубежную Русскую Церковь, с которой хотели бы соединиться, и проблему антисемитизма в церковных кругах, и наши сложные житейские ситуации... Сделать это на английском языке мне было нелегко, и я накануне написал себе шпаргалку.

Одним глазом я глядел в нее, вторым — на Роджера, чтобы увидеть, понимает ли он меня, а сам думал: что же такое у него в рыжем мешке? А он все кивал головой и время от времени вставлял сочувственно: «О!»

Когда я закончил, он сказал: «О'кей». И добавил, что всю жизнь мечтал увидеть Россию, но только теперь, несмотря на продолжающиеся происки Кей-Джи-Би, это стало возможно.

— В какое интересное время мы живем! — закончил он жизнеутверждающе, глядя в окно на русский снег. Снег был грязный, но у них в Калифорнии и такого не было. Все было, а этого не было. Да еще, говорят, бородинского хлеба. Наше время представлялось ему интересным, а мне — гадким и страшным; но я не стал спорить и только лишний раз утвердился в своем убеждении, что на свете как минимум пять миллиардов параллельных пространств и времен, существующих вполне объективно.

Короче, приезжаем к Кате, и после дежурных слов и улыбок провожает она Роджера в его комнату, провожая одновременно взглядом его окованный баул и длинный мешок. Как я и думал, они произвели на нее впечатление. Роджер начинает располагаться, а мы с Катей деликатно выходим на кухню, где стол уже накрыт и ломится от всяких еврейско-русско-украинских штучек, всяких там баклажанов по-домашнему, печеночного паштета со шкварками, соленых огурчиков и всего прочего, что моя бабушка называла суммарно «цимес мит барбулькэн». С той приятной оговоркой, что самого-то цимеса, с детства мною ненавидимого, тут, слава Богу, и нет, а вместо него вынимает Катя из духовки с пылу с жару горшочки с мясом и опять же баклажанами и снимает с них крышечки.

— Ух ты, — говорю я, нюхнув. — Здоровски.

— Мне звонил оттуда брат и сказал, что Роджер любит домашнюю кухню с национальным колоритом.

— Так сделала бы фаршированную щуку.

— Милый мой, где ты раньше был? Достань щуку, я сделаю. Я и так открыла все банки и сгоняла на рышок за печенкой. Надо было тебя послать, ты на моторе.

Тут вышел американец и, увидев стол, сказал: «О!.. О'кей!» И, пробормотав нечто по-своему (вероятно, молитву), сел за стол. Мы последовали его примеру, но догнать его не смогли. Я слышал, что американцы равнодушны к еде, но это был не тот случай.

— О! — сказал он наконец. — Вери тэйсти! Сэнк ю, Кейт. Ю ар эн экселлент кук!

Мы поинтересовались, не хочет ли он теперь соснуть. В принципе на вечер назначен был общий сбор, но мы предполагали, что после двойного перелета Лос-Анджелес—Нью-Йорк и Нью-Йорк—Москва он вырубится до утра. Тогда сбор отменялся. Наши люди были на подхвате. Но Роджер продемонстрировал высокие бойцовские качества: попросил разбудить его ровно через два с половиной часа, после чего он будет готов приступить к работе.

Мы разбудили его, как он просил. Он прошел в ванну, откуда вышел почему-то с мокрой головой, и спросил:

— Должен ли я переодеться ко встрече? Сменить галстук и пиджак?

И расстегнул мешок.

Боже правый, это оказался специальный футляр для пиджаков и плащей! Сколько там было первых, сказать не берусь, но последних было точно три. С этим он приехал в ноябрьскую Москву 1990 года на десять дней. Поистине, хотя Роджер был человеком моего возраста, он был человеком другого поколения, неизвестно только, предыдущего или последующего.

— Не надо, — говорю, — оставайтесь в этом пиджаке и в этом галстуке. У нас очень демократичное общество.

Он наморщил лоб в попытке понять, и я почувство-

вал, что у нас с ним разные представления о демократии.

Но спорить он не стал, надел куртку, нахлобучил на мокрую голову невообразимую — то ли совсем дешевую, то ли очень дорогую — ушанку (сработанную, как потом выяснилось, в Шри-Ланке специально для холодных стран) и вытащил классные, каких я еще не видел (а что мы видели?), черные то ли кожаные, то ли резиновые сапоги, но такого размера, что я присвистнул. У меня самого размер 43,5, но такие сапоги подошли бы и снежному человеку. Я посмотрел на его ноги. Ноги как ноги.

— Простите, это ваш размер? — осторожно спросил я.

Он улыбнулся, вместо ответа надел полуботинки и уже в них влез в сапожищи и застегнул молнию. Это были такие мокроступы! Мы уж и забыли, что в сырую погоду хорошие господа ходят в галошах. Я окончательно почувствовал себя дикарем с дубиной в руках, только вчера слезшим с ветки. Я, представитель многотысячелетней еврейской мудрости и тысячелетней русской культуры. Это было неприятное ощущение.

Встреча была назначена на шесть часов и должна была происходить в конференц-зале поликлиники в соседнем с Катей дворе. Главврач этой поликлиники был из Катиной компании; а день был воскресный.

Весь еврейский бомонд, люди, все имеющие и заинтересованные только в одном: чтобы отвалить, да еще и не в Израиль, а непременно в Штаты, — уже собрался. Еврей, пусть самый корыстный и потому якобы очень хитрый, относится серьезно по крайней мере к своей корысти, а потому и к делу, и к людям, от которых дело зависит. Потому-то ему и можно верить, и сам он доверчив, меряя другого по себе. Вот и сейчас, только услышав о весьма гипотетической возможности эмиграции, народ энергично поднялся, надел свое лучшее и пришел с женами и детьми, как во времена исхода из Египта.

С моей стороны тоже подгребаали; но, во-первых, пришли не все, во-вторых, шли вяло, подтягиваясь по-

одиночке. Но все-таки. Чего мне это стоило, знал один я. Еврей, принявший крещение, то есть сознательно или бессознательно пошедший на нарушение некоего фундаментального духовно-нравственного запрета, веками выдерживавшегося в крови, как правило, немного не от мира сего. Он немного... не то чтобы полоумный... и не то чтобы полудурок... Как замечательно сказал прп. Симеон Новый Богослов, христиан многие считают сумасшедшими, и те, кто так считает, правы: христиане действительно сходят с ума; но с какого ума? Христиане сходят со светского ума на духовный. Вот именно. И когда человек еще сходит с одного ума на другой, но совсем еще не сошел, с ним как бы что-то происходит. Он как бы не очень точно знает, чего хочет, и его надо долго убеждать, что он хочет того, чего хочет на самом деле. Но и потом не знаешь, можно ли на него положиться, что он своего не упустит, — словно, нарушив запрет, он лишился какой-то важной части своего национального характера, какой-то характерной мимики своего национального лица. Вот почему, глядя на иных своих сотоварищей по сумасшествию в обществе людей сутобо нормальных, я немножко стеснялся, причем не знал, чего именно: перед своими — собственной рудиментарной быстрой хватки и сметки или перед Катиными — юродства своих братьев и сестер во Христе?

И тут выходит на сцену Роджер, встречаемый волной аплодисментов, выражающих чувство единодушного одобрения, что ему, понятно, нравится. Засим водворяется самая заинтересованная тишина, и американец приступает к делу.

Он начал с того, что представляет здесь церковь или общину «Врата Израиля», основанную его покойным отцом и руководимую ныне им, Роджером, и еще кем-то. Просто захотел — и основал церковь, не более не менее, замечательная у них вообще житуха! Как хорошо родиться вчера, чтобы все слова о преемственности, предании, традиции были для тебя — неосязаемый чувствами звук. Эта церковь или община соединяет в себе основные верования, обряды и обычаи иудаизма с ве-

рой в Иисуса как истинного Мессию еврейского народа. Посему ими празднуется не только суббота, но и воскресенье, еврейская пасха, а равно и христианская (блестяще — вся жизнь праздник; нет, не мы, но американцы рождены для того, чтобы сказку сделать былью). Всего их по Америке насчитывается около десяти тысяч. У них большие планы, например, разнообразные гуманитарно-культурные программы. Так, они привезли большую партию музыкальных инструментов в дар бедным детям в Израиле и помогли голодающим в Парагвае (или Уругвае, не помню; но все равно молодцы). И так далее.

Так вот, в мае этого года до них дошли слухи, что в далекой России распространяется антисемитизм (быстро же шли эти слухи!). Затем они узнали, что в России есть их единомышленники — евреи, верящие в Иисуса. Их братья по крови и вере нуждаются в помощи; вот почему сегодня он здесь. Одиннадцать часов лёта — и он здесь, чтобы познакомиться с нами, узнать, так же ли мы празднуем свои религиозные праздники, как они, показать нам видеофильм «Иисус» и...

...Я неприятно почувствовал всеобщее, но разнонаправленное напряжение: одному крылу не понравилось то, что будут расспрашивать о праздниках, о которых оно почти поголовно понятия не имеет, другому — явная еретичность американца, то есть очевидная, с православной точки зрения, вздорность самой идеи церкви, основанной по внезапному изволению чьего-то папы...

...и помочь, чем возможно. При этом размеры материальной помощи будут подробно оговорены, исходя из точного подсчета количества нуждающихся и возможностей их общины. Но желающим эмигрировать — а они слышали, что есть и такие, — они могут помочь уже сейчас: он привез бланки приглашений для тех, на кого они получили анкетные данные.

И Роджер открыл свой кейс.

Напряжение достигло высшей точки. Только теперь оно переменяло знак, из неприятного сделавшись вдруг радостным. Как-то мгновенно мы оказались в преддверии

рии счастья, не решаясь, однако, поверить ему до конца. Неужели то, чего мы так долго хотели, за что многие так долго и безуспешно боролись, произойдет просто так, за здорово живешь? Здесь и сейчас? И если они и впрямь посылают нам приглашения — у янки ведь все просчитано, — то, вероятно, они будут и нашими гарантами? Теоретически это вполне возможно, ведь за ним — организация в 10 000 человек, а организация в Штатах — это... Но практически — этого не могло быть.

Но он их вынул. Это была целая пачка вызовов. На Святую Землю. В государство Израиль.

Что тут сказать? У каждого второго из нас была своя небольшая коллекция вызовов в Израиль; у меня лично их было пять, в Хайфу, Беэр-Шеву, Иерусалим и два в Тель-Авив. Самых настоящих. Но такие, штатовские, мы тоже знали. Это были липовые вызова, с позволения сказать; кто-то в Америке лепил их в больших количествах. Тот, кто, как я, имел такие и долго решал: ехать — не ехать — и потому ходил в консульство продлевать просроченный поддельный вызов, видел, как их мгновенно распознавали, разрывали пополам и метали в корзину.

Что сказать? Когда не во сне, а наяву идешь на посадку и уже видишь статую Свободы — и тут оказывается, что это все-таки сон, а наяву ты сидишь там, где сидел, в безотрадном районе Отрадного, и просидишь до морковкина заговенья — что тут скажешь? Говоря на настоящем, давно прошедшем, русском языке, — благоволи́те сообразить.

Да, а тем временем Роджер, думая, что самым деятельным образом возлюбил своих ближних, чем, помимо прочего, содействовал установлению контакта, принялся расспрашивать каждого поочередно о его семейных традициях, особенно же — какие праздники и какие блюда еврейской кухни кто знает. В кухне он толк понимал, это я уже усвоил.

Но контакта не получалось, народ приуныл — те и другие не видели больше смысла в общении с ним, одни — практического, другие — духовного. А он, бедняга, все никак не мог взять в толк, в чем дело: он ехал с

открытой душой, он так всех нас любил, как только может любить человек, у которого все есть и для которого любовь есть часть его гуманитарного бизнеса.

Я понял: надо спасать положение. И не нашел ничего лучшего, как прямо объяснить свою ситуацию, распространив ее на всех присутствующих.

— Уэлл, — сказал я через переводчика, — мы рады были бы уехать в Израиль, но, увы, это невозможно. Мало того, что еврей-христианин, то есть выкрест, подвергается там моральной дискриминации, ему еще и трудно устроиться на приличное место. Но главное то, что мы просто не можем туда въехать. Как сказали мне в консульстве, еврей, изменивший вере отцов, по израильскому закону не является евреем, а стало быть, закон о возвращении на него не распространяется.

— О! — сказал американец, выслушав переводчицу, переведшую последнюю фразу с легкой улыбкой удовлетворения.

— Более того, — продолжал я, глядя на нее, — мне было сказано недавно, что по таким, как я, весь израильский народ должен носить траур.

— О!! — сказал Роджер. — Такое я слышу впервые. Я очень огорчен.

Видно было, что так оно и есть — у них ведь все на лице написано.

— Мы тоже. И поэтому, — вырулил я куда надо, — мы хотели бы знать, не могли бы вы, учитывая рост антисемитизма в России и плохое отношение к нам в Израиле, помочь желающим эмигрировать в Америку?

Я смотрел в презрительное лицо переводчицы, говорящее примерно так: «Мне заплатили, чтобы я это перевела, но я не собираюсь скрывать свое отношение ко всем вам», — или так: «Как в России жить, так вы христиане, а как в Америку ехать — еврею», — и слушал тишину. Тишина наступила полная. Все ждали, что он скажет. Мы понимали, что ему надо подумать: как американец и честный человек он не мог давать безответственных обещаний. Наконец он сказал, что их община впервые имеет дело с такой проблемой, но постарается сделать все, что можно, а именно: свяжется с иммиграци-

онными службами США и узнает, что в таких случаях делается.

Это был дохлый ответ — уж мы-то знали, что иммиграционная служба США — если это все, что они могли нам предложить, — покажет нам шиш с маслом. Но все же это был ответ: нам обещали сделать все, что могут, а могли они — если бы захотели — пригласить нас и стать нашими гарантами. Спрашивать об этом прямо я не мог — это значило бы дожимать, то есть нарваться на возможную и окончательную грубость. Но надеяться этот ответ позволял, а что нам еще оставалось? Все как-то слегка облегченно вздохнули, разговор-таки пошел-пошел-пошел — и завязалась искомая непринужденная беседа. Кто-то вспомнил свое киевское детство, как его бабушка делала пасхальный куриный бульон с кнейдлах из мацы, кто-то — как праздновали пурим и нарезались в дымину, а заедали традиционными треугольниками гоменташ с маком. Роджера это потрясло — надо же, по обе стороны океана, в Москве и Лос-Анджелесе, эти штуки с маком не только делались одинаково, но и одинаково назывались! Словом, пошла тут такая мир-дружба, что, когда прощались и американец каждому дарил по приятному пустячку, я его спросил, доволен ли он, и он ответил:

— Не то слово. Я — счастлив! Какие люди!.. Но почему никто не хочет смотреть фильм?

— М-м... Дело в том, что этот фильм у нас недавно шел... Но мы еще поговорим об этом.

— О'кей.

Тут меня поймала Катя и говорит:

— Клиент сказал, что готов к просмотру балета «Камешный цветок».

— Нет, серьезно?

— Виолне. Мы успеваем на второй акт. Если ты, конечно, дашь своего шофера.

— Шофер не мой, а Роджера. Только мне надо договориться на завтра. Как думаешь, даст он мне поспать?

— Безусловно. Не двужильный же он. До двенадцати будет дрыхнуть как миленький. Я после перелета в Нью-Йорк спала четырнадцать часов.

— Тогда скажи ему, чтобы, как встанет, позвонил мне — и я появлюсь, как Сивка-Бурка. И вот тебе 150 рублей, дашь ему. Пока ему хватит на карманные расходы.

Засыпаю я обычно не раньше трех, а чаще позже, и, проснувшись раньше одиннадцати, долго не чувствую себя человеком. Я и работу себе долго искал такую... не скажу какую, все равно там свободных мест нет. Но слова ее меня успокоили, я лег в три и в четыре заснул. А в 8.30 зазвонил телефон.

— Монинг, — услышал я знакомый голос. — Ай'м рэди. Ай'м вэйтинг фор ю.

Что было делать? Прочитал я утреннее правило, короткое по необходимости, после чего, как нынче говорят, вызвонил шофера, и помчались мы на сломную голову по ноябрьскому грязному снегу из Москвы в Москву.

Мы радушно поздоровались, улыбаясь до ушей, — он искренно, я — чувствуя себя профессиональным дипломатом, то есть думая про себя: «А сидел бы ты, друг, у себя в Калифорнии и не мешал приличным людям спать».

— Слушай, — сказала мне тем временем Катя, — он встал в шесть, два часа шастал, ждал, что я сама встану, потом-таки разбудил меня — и попросил есть. Все умял, что осталось со вчера, ты представляешь — все, что я на три дня наготовила, и говорит: «Вери, вери тэйсти. А не пора ли позвонить?» Так что извини, я его держала сколько могла, но...

— Спасибо и на том.

— Нет, но ты не расстраивайся, это у него парадоксальная реакция. Такое иногда бывает при акклиматизации. Вот увидишь, сегодня он вырубится по-настоящему и раньше середины завтрашнего дня не встанет.

Забегая вперед, скажу сразу: она ошиблась. По-настоящему он не вырубался до конца своего визита и аккуратно звонил между восемью и девятью. Спал я по-человечески лишь те два дня, что он был в Питере. При этом, что интересно, он все время встречал меня с мокрой головой, наскоро обсушивая ее потрясающим пор-

тативным феном, в итоге мы выяснили, что в Америке голову моют каждый день, то есть изобрели такой шампунь, от которого волосы не портятся, хоть тресни. От незнания этого факта современной цивилизации, а главное, оттого, что своим вопросом я это незнание обнаружил, я закомплексовал еще больше.

В общем, пошла у нас с ним красивая жизнь, и вскоре понял я, что Онегин, может быть, и лишний человек, но далеко не бездельник. Потому что быть профессиональным светским повесой, то есть изо дня в день вести такую жизнь, где одно развлечение в правильном порядке сменяет другое и все расписано по часам с утра и до утра, — это тяжелый и однообразный труд. Я помню все лишь суммарно, некий собирательный день. Но отдельные моменты выделились в памяти.

Помню, он вдруг высунулся в окно машины да как закричит:

— Смотрите, эти люди ар стэндинг ин лайн!

Как будто увидел трехглазого человека.

— Да, — отвечаю, — ну и что? У нас все стоят в очередях. На том стояла и стоять будет наша земля.

— Но почему?

— Ит'з нот коррект. Не почему, а за чем.

— За чем?

— За всем.

— Что значит «за всем»?

— То и значит. За мясом, за хлебом, за молоком, за ботинками, за рубашками, за мебелью...

— За какой мебелью?

— За любой мебелью!

— Даже за плохой?

— А за какой же еще? В общем, за всем, что дают.

— Как это — дают?

— Продают.

— О!.. Дают и продают — у вас одно и то же?

— Считайте, что так.

— О! — сказал он растерянно, но тут же добавил: — О'кей, — и выхватил видеокамеру.

К концу нашего знакомства я понял, что, если привязать его к столбу, чтобы поджечь, его последним сло-

вом, заключающим последнюю в его жизни молитву, будет не «Аминь», но «О'кей».

Дальше, помню, причалили мы к Красной площади, отпустили часа на полтора нашего кар-драйвера; Роджер повернулся да как заорет вдругорядь:

— Эти люди опять стоят в очереди!

— Ну да, — говорю, — это мавзолей.

— А здесь что дают?

— Здесь, — говорю, — не дают, а показывают.

— О! Это шоу?

— Пожалуй. Вери экзотик энд эксклюзив шоу. Шоу без шоумена. То есть он — есть, но как бы... в страдательном залоге. Он здесь, но он, некоторым образом... мертв.

— О! Но как же тогда... шоу? Что показывают?

— Так его и показывают! Знаете, пирамиды, фараоны, мумии?..

Честно сказать, я не люблю это расхожее сравнение. Во-первых, мавзолей архитектурно напоминает не пирамиду, а зиккурат. Маленькая такая, трогательная Вавилонская башенка. Во-вторых, фараона хоронили как царя-Бога, а тот, кто лежал здесь, был цареубийца и безбожник. И если уж быть настырным по большому счету и копать дальше, мумию хоронили в закрытом саркофаге, а частично открытые мощи — это уже нашенская, православная традиция. Но вот мумия или поддельные мощи, в пиджаке и галстук — это уже не имеет аналогии в истории религиозной мысли, это уже выше крыши. Как писал поэт, это рассказать нельзя. Но рассказать-то как раз было надо, как-то объяснить ему попроще.

— О! Маами! Хи'з мамификэйтид! У вас распространен этот обычай?

— Видите ли, в случае с Лениным...

— О, Ленин! Я слышал это имя. Это, кажется, псевдоним Достоевского?

— Не совсем. Но он тоже великий человек. Он сделал революцию. При нем Россия зажила новой жизнью.

— О, да, я слышал, до революции вы жили гораздо хуже...

— Ну вот еще. Вы сами-то подумайте: разве можно жить хуже? Разумеется, Россия жила много лучше.

— В чем же величие Ленина?

— Ну... он был великий мафиозо. Крестный отец всех последующих коммюнист мафиози.

— О'кей. Это ваш Аль Капоне.

— Я бы сказал, даже покрупнее. Возможно, он величайший преступник всех времен и народов.

— И он здесь лежит?

— Угу. За бесплатно.

— Вери интересинг! — и он навел камеру на очередь у мавзолея и залопотал в раструб, комментируя. До меня доносилось что-то вроде: «Совет фараон — большевик-коммюнист-кремлин бандит — ред скверс бриллиант фэнтэстик шоу ин рашн стайл», разбавляемое змеиным шипом всех этих «зи», «зыс», «зэт» и пр. И потом вдруг вскрик: «Фри оф чадж!» Наконец он заявил, что хорошо бы пройти внутрь мавзолея и там продолжить съемку. Эта мысль мне не показалась, что называется. Я там, внутри, ни разу не был, о чем в детстве очень жалел, но уже и тогда не мог позволить себе простоять пять часов, чтобы попасть в мавзолей. Не родился еще тот человек, из-за которого стоило бы, по-моему, простоять несколько часов в очереди, чтобы узнать, похож он на себя самого или нет. Я бы и за пивом долго стоять не стал. Кроме того, можете думать обо мне что хотите, обзовите каким угодно словом, но я просто боюсь мавзолея. Что-то зловещее видится мне, когда я представляю, как внутри этого скромного, но значительного здания лежит полое тело главного богоборца всемирной истории: полое тело, оболочка, идеальное место для вселения сюда, как в пустую квартиру, легиона бесов... Я знаю, знаю все, что можно сказать в ответ, — и все же... Но как ему объяснить? Я сказал, что мы простои́м здесь несколько часов. Но это только подлило масла в огонь: очевидно, жизнь для него не была полна без преодоления препятствий. Тогда я сказал, что съемки в мавзолее строго запрещены, а кто будет нарушать, того посадят в тюрьму или отправят в Сибирь. Слово «Сайбириа» произвело надлежащее впечатление; все-таки кое-что да и они о нас знали.

Только успокоился он, как вдруг откуда ни возьмись заплясали вокруг нас две темные личности в темных же кожаных куртках. Что же это, думаю, такое — неужели снова за Ленина забирают? Опять двадцать пять. А почему бы, думаю, и нет — Ленина же еще не отменили. То есть сажать за него пока приказом не запретили. А все, что не запрещено, — разрешено.

Но чекисты не собирались нас брать, а стали провоцировать на спекуляцию: продай, говорят, видеокамеру. На таком языке, что по сравнению с ними я говорю, как Рональд Рейган. Я почему думаю, что это были чекисты, а не фарцовщики — потому что фарцовщики, разумеется, занижают цену, но по уму, то есть понимают, что дураков нет. Чекиста же узнать можно, в частности, по тому, что, каков он сам есть, таковым и тебя считает; вот и цена, названная этими двумя, была занижена до полной дурости. Впрочем, может, они и не провоцировали, может, и вправду хотели купить камеру: главные же перекачивают кассу в совместные предприятия, почему бы и шестеркам не быть по совместительству фарцовщиками?

Увел я Роджера от греха подальше — в Кремль. Вожу его по Успенскому и Благовещенскому соборам, толкую как могу на языке о Феофане Греке и Дионисии, и что икона — не картина, мир ее не зрительный, но умозрительный, ибо она есть свидетельство мира горнего, и про обратную перспективу, и что святой на иконе изображен не как в жизни, но — во славе, и плоть его есть здесь преображенная плоть; и что иконописец перед писанием образа долго постится и молится для очищения духа... Слушал он меня вежливо, долго. Слушал-слушал, да и говорит.

— Да, — говорит, — это все очень замечательно, что вы тут рассказываете, но человек больше верит, когда сам может потрогать и убедиться, как апостол Фома. Или увидеть фильм «Иисус», где Господь показан во всей жизненности и его играет очень хороший артист. И мне бы все-таки очень хотелось показать вашим людям этот бриллиант филм. Когда бы все-таки мы могли это сделать?

Начал я тут в двадцать пятый раз заматывать этот больной вопрос; я уже устал объяснять ему, зануде, что фильм этот прошел у нас сначала по ТВ, а потом еще и широким экраном, и кто хотел, его уже посмотрел, а кто не хотел, тот, значит, и сейчас не станет. Но он уперся рогом и ни в какую: это, говорит, важнейший пункт его программы, а он с детства ставит себе целью выполнять все намеченное. Похвальная черта, конечно, у меня ее напрочь нет. Наконец я сдался и пообещал ему постараться загнать всех на просмотр этого фильма.

Но что интересно: он всерьез был убежден, что наглядное пособие, актерский оживляж Евангелия лучше — и сильнее действует на человека, — чем икона Дιονисия «О тебе радуется», на которую, когда смотришь, в душу входит нечто ледовитое — и пламенеющее. И я подумал, что еще неизвестно, кто из нас больше дикарь, слезший с ветки и забывший закинуть дубину в кусты. Только я ведь не ехал в Америку — даже если бы и мог — проповедовать аборигенам православие; не ехал, хотя митрополит Илларион уже 900 лет назад, когда не то что Соединенных Штатов Америки, но Америго Веспуччи на свете не было, написал «Слово о законе и благодати». А вот Роджер — да он ли один — ехал сюда точно так же, как если бы это были острова Самоа. Они ехали к своим меньшим братьям, честно выполняя свой религиозный долг, ибо сказано в Писании: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Они как бы даже не подозревали, что едут во вчерашнюю величайшую христианскую империю, больше того, Святую Русь, их не впечатляли соборы Кремля и даже действующие храмы, потому что вокруг они видели стаи небритых людей, одетых в звериную кожу и без конца плюющих себе под ноги, людей, считающих золотом все, что блестит и стоит хотя бы четверть фунта стерлингов. Я понимал американцев; но себя я тоже понимал; и, глядя, как Роджер раздает детям жвачку и как к нему стягивается толпа детей и их родителей, а он извиняется, что больше у него с собой нету, я ощутил вдруг дикую тоску. Не побоюсь высокого слова, скорбное чувство охватило меня.

— Я слышал, что русские едят мороженое зимой, — сказал он, морщась от холода и потирая кончик носа. — Но я не думал, что это правда. Мы, американцы, закаленный народ; но вы — еще более закаленный народ.

«Ты даже не представляешь, насколько более закаленный», — подумал я и сказал вслух:

— Тут дело не в закалке, а в том, что мороженое — единственное лакомство, доступное нашим детям... да и нашим взрослым без особых проблем.

Повинуясь какому-то внезапному импульсу, я вдруг спросил:

— Скажите... вы не поститесь, не молитесь, не причащаетесь... однако вы говорите о постоянной связи с Богом, которую вы ощущаете. Как вы ее ощущаете?

— О! О'кей, я скажу. Я просто чувствую, что Бог всегда со мной. Во мне. Что Он помогает мне во всех делах.

— В бизнесе?

— Да, прежде всего. У меня дом в Калифорнии, две машины, хорошая семья. Все это дал мне Бог. И я знаю, что, если я буду вести себя хорошо и всегда благодарить Бога, Он даст мне еще больше.

— Скажите... А если бы вдруг Он вас оставил?

— Как это?

— Если бы вы разорились, стали жалким неудачником, аутсайдером? Если бы ваши знакомые перестали приглашать вас к себе, а за вашей спиной говорили бы: «Это конченный человек»? Если бы, кроме того, вокруг вас торжествовала несправедливость, богатели бы и правили только такие, как Саддам Хусейн и Аль Капоне, а умные, честные и предприимчивые люди жили бы в нищете? Что тогда? Вы бы и тогда продолжали верить в Бога? Чувствовали бы постоянную связь с Ним?

— О... — лицо его вытянулось, — тогда... Тогда... я не знаю... Но ведь этого же не может быть! — он хлопнул меня по спине и засмеялся. — Этого не может быть. Так бывает, когда люди живут неправильно. А правому всегда помогает Бог. Поэтому я живу так, как я живу. И поэтому я в Него верю.

Я вспомнил Катино утверждение, популярное в ши-

роких кругах интеллигенции, что все верят в одного Бога, хотя и называют Его разными именами, и подумал, что в данном случае все как раз наоборот: мы верим каждый в своего Бога, хотя и называем Его одним и тем же именем.

Стартовая тысяча, которой должно было быть мало для хорошего приема, жгла мне карман. Я добросовестно тащил его есть в ресторан. Но Роджеру это не нравилось. Ему нравилось есть у Кати. «Я предпочитаю домашнюю еврейскую кухню, — добродушно пояснял он. — У нас тоже не любят готовить дома, а приглашают друг друга в ресторан. Но Кэйт прекрасно готовит. О, Лорд, по сравнению с ней жена просто морит меня голодом».

В это можно было поверить, глядя, как он уничтожает ее припасы, затем (как она мне объяснила) припасы ее матери, а потом и припасы ее тетки.

— Ладно. Любишь поесть — хорошо. Но ты вынь хоть банку из своего баула. Представляешь, у него половина баула — банки и пачки. Мясо такое, мясо сырое, липтонский чай, кофе и так далее. И он открывает баул и хвалится. Я, говорит, предусмотрительный, я думал, в России нечего есть, и взял все с собой. А оказывается, в России отлично можно покушать, хо-хо. Уж я ему и так и этак, но он намеков не понимает. Нет, мне не нужно, я не умру без банки консервов, но ты-то — ты достань хоть пачку печенья к кофе... Весь мой кофе выпил, а больше растворимого в стране, говорят, не будет. Чем я гостей встречать стану? И главное — ему не жалко, он кучу подарков навез, раздавать на встречах, кофе в том числе. Но у него в голове все расписано, что, когда, кому и за сколько; и он от своей программы не отступает.

Я сочувствовал ей, хотя и на него не мог бы заставить себя рассердиться. Он, конечно, будил меня слишком рано и по нашим меркам вел себя у Кати не компанейски, но что-то было в нем симпатичное, наверное, улыбка прежде всего — не американская, не во все тридцать два зуба, а какая-то наша, застенчивая ухмылка в бороду.

Но все же нашлась такая общепитовская точка, кото-

рая произвела на него хорошее впечатление. К сожалению, только под занавес мне пришлось в голову сводить его в «Макдоналдс».

Роджер был счастлив. Доедая резиновую котлетку с прозрачным кусочком сыра и листиком зеленого салата сверху, он сказал, что наконец-то чувствует себя как дома. «Вот же ты Штирлиц калифорнийский», — думал я, глядя, как он, видимо принимая как руководство к действию рекламу «Enjoy Coca-Cola», наслаждается бурой кока-колой. Я предпочел бы сейчас «Арагви», где не был с перестроечной золотой лихорадки, охватившей внезапно ставшие мне не по карману московские кабаки; сидеть в подвале подальше от жизни, за те же деньги, которые нынче в «Доналдс» стоит котлета, пить «Мукузани» и есть горячий сулугуни и шашлык с соусом «Ткемали». Днем, пока с оркестрового балкончика еще не полилась «Сулико»...

— Сколько здесь стоит «Биг Мак»? — поинтересовался он, открывая записную книжку.

— Девять рублей.

— О'кей. А Кэйт сообщила мне, что билеты в Большой театр стоили десять рублей за два.

— Что вы говорите? Я помню, лет... семь назад, когда я был в Большом, билет стоил два с чем-то... Да, все дорожало.

— Но у нас билет в такой театр... то есть у нас в Эл-Эй нет такого театра, но в Нью-Йорке билет в «Метрополитэн опера» стоит несопоставимо дороже, чем котлета в «Макдоналдсе»!

— А у нас дороже стоит котлета. Наши люди любят мясо.

— Х-м... А если вашему человеку предложить на выбор билет в Большой театр или «Биг Мак», что он выберет?

— Девять из десяти выберут не то что «Биг Мак», а простой гамбургер, — ответил я, не раздумывая.

— О, — причмокнул он, досасывая кока-колу. — О'кей.

Он все хотел купить жене и детям что-то такое русское, и главное — игрушечного медведя, почему-то белого (наверное, представлял себе, что в заснеженных бе-

лых лесах живут тоже белые медведи), и мы обошли весь Арбат и Измайлово, пока не купили какие-то косыночки и матрешку на Даниловском рынке. Не то чтобы мне было жаль чужих денег... но, по-моему, в каждой вещи должен быть заложен свой принцип, свой эйдос, с позволения сказать, включающий все качества этой вещи, в том числе и ее максимальную цену, — и, глядя на все это занюханное, но нахальное арбатство, выдающее безо всякого стеснения самую ленивую и неряшливую самодеятельность за Палех и Федоскино, заламывающее немыслимую цену за иконы, похожие на матрешки, и матрешки, вообще ни на что не похожие, хотелось сказать: «Господа плебеи! Лучше вам было бы оставаться товарищами рабами; потому как, имея руки-крюки, симпатичнее быть застенчивым, нежели наглым». Короче говоря, такую точно матрешку из восьми персон, какую нам втюхивали на Арбате за 450, мы купили у тамбовской бабы на рынке за 35. Роджер хотел купить ее сам, но я опередил его. Он сказал:

— Вы мне уже дали в первый день сто пятьдесят рублей.

— Ну и что же? Понадобится, дам еще.

— О'кей, — сказал он, что на сей раз выражало несогласие. — Скажите, у вас все дарят друг другу деньги?

— Ну... вы — наш гость.

— О'кей. Думаете ли вы, что, если вы приедете в гости в Америку, хозяева начнут дарить вам деньги?

«Неплохо бы», — подумал я и сказал:

— У вас свои обычаи, у нас — свои.

Я ожидал, что он скажет: «О'кей», но он сказал твердо, с отчетливым чувством собственного достоинства:

— Мы считаем оскорбительным получать деньги просто так. Деньги платят только за работу. Поэтому я бы хотел купить у вас русские деньги, включая те сто пятьдесят, которые вы мне уже дали. Я слышал, доллар стоит по реальному обменному курсу двадцать рублей.

Вот они, иностранцы. Кто такой Ленин, не знают, икону от картины не отличат, а курс зелененьких где-то уже успели уточнить.

— Точно, двадцать, а говорят, уже и двадцать два.

— Я вам очень благодарен за хороший прием и предлагаю вам самые выгодные условия, — серьезно сказал он. — Я покупаю у вас... для начала триста рублей, по курсу 1 к 19. О'кей?

— Нет, — сказал я тоже твердо. — Мы с гостями не торгуем.

— Тогда я у вас ничего не возьму. Даже этой матрешки.

Создалось идиотское положение. Видно было — американец, что называется, пошел на принцип, а я уважаю чужие принципы. Но посудите сами, не мог же я продать чужие деньги. И за какие-то смешные 16 долларов без скольких-то центов!

— Роджер, — сказал я, подумав, — эти деньги входят в счет культурной программы. Как и ваше содержание у Кэйт. Все обговорено с вашим нью-йоркским знакомым. По всем финансовым вопросам обращайтесь к нему.

— О'кей! — улыбнулся Роджер и взял деньги; и я еще раз подумал, что у него хорошая человеческая улыбка.

Я спал по пять часов в сутки, говорил только на деревянном английском, относившемся к моей полновесной, но, увы, только внутренне конвертируемой русской речи, как 20 к 1. Я глотал какое-то кооперативное пойло под названием «Напиток клюквенный (клубничный, вишневый)» и носился с этим малым на нашем кар-драйвере по мерзкой демисезонной Москве. И каждый день я вез его на очередную встречу с людьми из разных городов, сплоченных готовностью поверить в то, во что будет надо, лишь бы вырваться отсюда.

И все это время одна фраза чаще других озаряла вспышкой мой утомленный мозг. Она являлась мне перед засыпанием и при пробуждении, когда сама хотела. Телевидение влило ее в мои уши, без усилий внедрило в мой разум, расстроенный недосыпом, — тем ликующим голосом, которым у нас всегда сообщается все самое главное. Это была самая удивительная, самая непонятная фраза, слышанная мною когда-либо на русском языке: «И все это практически за рубли!»

Я устал. И спросил Роджера, во сколько тот встает

дома. «В 5.30» был ответ. В семь ему надо быть в своем офисе в Эл-Эй, а до города час езды. Во сколько же он уходит из офиса? «В 17.30». Это был настоящий человек. Он хорошо ел и хорошо работал. Я так не мог. Катя тоже.

Наконец пришел последний вечер, вечер запланированного биг-диннера. Катя по своим блатам заказала стол в ресторане Дома композиторов, куда явились Роджер, Катя, я, женщина-переводчик и по одному делегированному представителю харьковского, питерского, самарского и рязанского кланов. Это был хороший стол, в легендарных традициях застоя, хоть и не без прорех, нанесенных перестройкой. Тут была и икра, правда, уже только красная, и рыба, и язык, и карбонат. Многих вин уже не было, стояли только шампанское и коньяк, но коньяк — «Энисели», а шампанское, правда, не новосветского, а московского завода, но — брют. Для гостя из солнечного Лос-Анджелеса специально приготовили фаршированную рыбу. Роджер глядел на стол во все глаза.

— Кавьяр, — восклицал он, — салми, шампэйн! О! О'кей! — и врубил видеокамеру. Она плавно панорамировала вдоль самобранной скатерти, а мы тем временем занялись делом, которое все советские люди умеют делать одинаково хорошо: начали накладывать закуски на тарелочки и приступили к закусыванию.

Тогда поднялся Роджер и, держа в руке единственную рюмку коньяку, выпитую им за весь вечер, выразил желание сказать спич. Все стихло. Он говорил, а женщина-переводчик переводила высокопрофессионально, слово в слово. Он говорил о том, что он в восхищении от Москвы, от древних памятников ее архитектуры, но еще больше — от русского гостеприимства, от того внимания, которое уделили ему — обычному американцу. Затем он охарактеризовал персональные заслуги в деле его приема: Катины, мои и переводчика, а также принимавших его в Ленинграде. Затем он воздал должное всем остальным присутствующим. Он сказал, что счастлив встретить так много евреев, верующих в Иисуса, и заверил, что они, со своей стороны, сделают все воз-

можное, чтобы помочь нам. Он сказал также, что хотя, говоря «биг-диннер», он имел в виду то, как это понимают в Ю-Эс-Эй: большой стол, на котором стоят бутылки с минеральной водой и кока-колой, вазочки с орешками и еще, может быть, небольшие сэндвичи, и много гостей и разговоров, — но русский обычай устраивать биг-диннер тоже можно признать отличным, и он обязательно покажет своим видеозапись.

После горячего он принялся раздавать подарки. Каждому досталась плитка жвачки, пакетик соленого арахиса, маленькая шоколадка и еще какая-то вещь. Кате достался плеер, которых у нее и без того было два, а мне — четырехсотграммовая банка растворимого кофе, который я не пью. Харьковский кооператор с миллионным оборотом получил штампованные электронные часы. Роджер раздал также брошюры, знакомящие с деятельностью их общины, и просил распространять их среди возможных единомышленников. Все обещали... Один из наших подарил ему белого плюшевого мишку, которого он безуспешно искал. Роджер прослезился.

Мне кажется, вечер удался.

На следующее утро я отвез его в Шереметьево. На прощанье он подарил мне свою зимнюю шапку, сделанную в Шри-Ланке, и прекрасные теплые рукавицы, сработанные на Филиппинах. Я отказывался, но он сказал, что не любит, когда вещи пропадают и не используются по назначению. Шапка и перчатки совсем новые, а у них в Калифорнии температура редко опускается ниже 15°. Расстались мы по-братски, и я подумал, что если с их подачи кого-то пустят в Америку, то уж меня не в последнюю очередь.

Шофер Сережа — пока еще, последние сорок минут, мой личный шофер — сказал:

— Вот жлоб этот янки. Я его десять дней катал, вещи ему поднес, а он дал всего 5 долларов. Стэйтсы все такие. То ли дело бундеса, когда датые. Я как-то у «Интуриста» оказался под вечер — вылезает один оттуда, совсем вдрабадан. Отвези, говорит, в Шереметьево, только быстрее, опаздываю. Я отвез, а он мне — сто марок. Это, я понимаю, человек.

Дома я отключил телефон и лег спать. Мой сон был сном человека с чистой совестью. Мне поручили организовать хороший прием, и я его организовал. В нем были все ингредиенты, я бы сказал, приема большого стиля. Мне не в чем было себя упрекнуть, я проспал тринадцать часов.

Пару недель спустя мне позвонила Катя.

— Мне тут с оказией пришло письмо из Нью-Йорка. Брат имел беседу с Роджером. Вот слушай...

Этот тип, оказывается, был крайне недоволен приемом. Ему не понравилось то, что его все время таскали по театрам и музеям, вместо того чтобы работать с людьми (Боже мой, сколько же еще людей нужно было этому живоглоту?). А главное, ему не понравилось вот что. Он ехал с серьезной миссией — оказать бедным, преследуемым братьям посильную помощь. Он потратил деньги, собранные общиной, — и полетел. И что же он увидел? Он знает, как живут бедные люди, он был в Мексике и Пуэрто-Рико. В Москве он увидел прилично одетых людей, живущих в домах с очень грязными подъездами, но в приличных, хорошо обставленных квартирах. Эти люди говорят, хоть и плохо, по-английски. В ресторане они позволяют себе заказывать икру, лососину, шампанское. У него приличный заработок, но икру в ресторане он заказывает нечасто. Он ехал помогать людям, а вместо этого они сами взяли его под опеку. Ему давали деньги как маленькому, все дарили, не давали самому купить жене и дочкам матрешку и медведя.

Очевидно, эти люди не столь уж и нуждаются в помощи. Тем более когда им эту помощь предлагаешь, они ее совершенно не ценят. Они почему-то не хотят ехать в Израиль, а ведь, казалось бы, куда и ехать еврею-христианину, как не в Израиль? Разговорам о том, что в Израиле иудеохристиане якобы подвергаются дискриминации, он совершенно не верит (хотел бы я, чтобы он там пожил с годик! Показали бы ему честные евреи, как после субботы праздновать воскресенье...). Больше же всего разозлило его то, что ни один человек не изъявил желания посмотреть фильм «Иисус». Оказывается, это был его небольшой бизнес: он собирался про-

катывать фильм за плату и частично окупить поездку (это сколько же людей должно было, по его прикидкам, посмотреть фильм, и какой должна была быть входная плата, чтобы окупить — хотя бы частично — его затраты в твердой валюте? Он, наверное, представлял себе толпы жаждущих иудеохристиан. Вот зачем ему нужны были люди!).

Одним словом, говорилось в письме, теперь ставить вопрос об американской помощи крайне затруднительно.

Нет, но что это значит, что вот ты хочешь как лучше, а непременно оказывается как хуже?! Не знаю, что это значит вообще; хотя и догадываюсь. Но в данном случае это значило вот что. Что американцы вовсе не такие бодряки-простаки, какими я их представлял, а такие же точно люди, как и я: себе на уме, со вторым и третьим дном. Объемные. Люди как люди. То значило это письмо, что мы все одинаковые. И еще то оно значило, что все мы безнадежно разные. И все, что мы понимаем так, они понимают прямо наоборот.

А значит, если хочешь жить у них и не тужить (потому как зачем же ехать туда специально, чтобы тужить?), нужно вывернуться наизнанку, чтобы стать как они. Потому что это только говорится так: Америка — страна эмигрантов. На самом деле Америка — страна американцев. И эмигранты едут туда, чтобы стать американцами. А если эмигранты едут в Штаты, чтобы оставаться эмигрантами, значит, они заведомые дураки.

Я хотел оставаться русским по своим взглядам и привычкам, а вести жизнь американца по своим возможностям и стандарту. Я был заведомым дураком. Мне нечего было делать в Америке.

Но мне и здесь нечего было делать! Я и здесь такой, как я есть, был не у дел, и чем дальше, тем больше. Я и здесь должен был измениться, как-то переучиться — и войти в рынок; либо — отмереть. Мой вид не был предусмотрен в будущем. И там и здесь я должен был бороться за жизнь, работая локтями. А я этого не умел — и не хотел учиться. Может быть, кому-то это и подходило, может быть, на этом и стояла мировая цивилиза-

ция — на своекорыстии, стимулирующем трудолюбие, создающее все остальное; стало быть, если человек случайно лишен своекорыстия, не совсем, но в решающей степени, — пусть пеняет на себя: как говаривал классик, Россия без него обойтись может. Не говоря уже об Америке. Но Бог без меня обойтись не пожелал... А я и хотел жить тихо, молиться Богу, бродить по свету, глядя, что там наворочали люди всех времен и народов, — и больше ничего.

Я взвесил все и окончательно решил: не поеду я ни в какую Америку. Туда нужно еще попасть, и с большими усилиями, а сюда я уже попал. Конечно, если бы отец моего отца не уехал из Варшавы в Ковно, а потом в Астрахань, быть бы мне сейчас уже гражданином свободной Польши. Однако в этом случае с куда большей вероятностью могло стать, что сама возможность появления на свет некоего «меня», внука моего деда, была бы пресечена где-то в районе Варшавского гетто. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. По несчастью или к счастью, я — был, и я был там, где был; по крайней мере в этом отношении не надо было делать лишних движений.

Все же я благодарен судьбе, что встретился с Роджером. Как-никак он подарил мне приличную зимнюю шапку и теплые перчатки; теперь я мог спокойно пережить зиму. Если, конечно, этой зимой не отключат отопление.

Да, забыл сказать, мы с Катей совершили бартерную сделку: я ей отдал фунтовую банку американского кофе, чтобы было чем принимать гостей, она мне — ненужный ей плеер, чтобы я мог совершенствовать свой английский. Дело, конечно, решенное, да мало ли что. Всяко может быть.

ЛЮБЬЮ

*Fugue in fusion**

*Фуга в стиле фьюжн (англ.).
Стиль фьюжн (от англ. «сплавле-
ние», «слияние» — направление в
современной музыке, характери-
зуемое синтезом различных му-
зыкальных стилей (джаза, рока и
др.).

...И падшестъ к милым
призывал.

*Оговорка моей жены Любы,
которой и посвящается все
нижеследующее, имеющее к
семейной жизни автора еще
более далекое отношение, чем
можно себе представить...*

И бѹдетъ яко древо, насажден-
ное при исходящихъ водъ, еже плодъ
свой дастъ во время свое, и листъ
его не отпадетъ, и вся, елика аще
творитъ, успеетъ. Не тако нечести-
винъ, не тако, но яко прахъ, его же
взмываетъ вѣтръ отъ лица земли...

Тьма во тьме темнит, и свет
не победитъ ее. Сердце тьмы —
кто? где? Я, слева. Пусти мне
сердце. Переместиться вовне.
Из кро— на кухню —вати чрезъ
коридоръ. Колидор-валидор.
Вали в дол! Не тяни, пусти мне
сердце. Просни мне.

Встать, прейти чрезъ дверь,
чрезъ колидор — куда? на кух-
ню. Назадъ, в тот сон-париш;
купи мне ван-вэй-тикетъ в па-
риж з большой буквы. С-н, сОн
истьк-кай-ет, ис парижа на кух-
ню. Назадъ в сон-париш, в сон-
париш! Пусти, б.

— Тошнит. Прости. Тош-
нит.

Не вышло назад. Бы не
ткнуться в дверь. Не зажигай,
неси сон в. Иди-во-сне. Есть

время спать и время просыпать сон. Только лбом не в дверь. Бы не синяк. Тьма, я твое сердце. Влажное сердце сухой ть...

За дверь и прямо. И налево вот тут еще ступай мимо тьмы налево. Свет-окно. Открытое кухни окно. Ок-но: око ночи. Так стремился в центр: москву з большой буквы — и из москвы в центр-центр-москву. Здесь, у окна в центр центра стою и не могу иначе.

Все. Разгулялся. Разгуляй у раздолбая неприличное оттрыз. (Весна больно входила в тесный кишечник самого центра, размораживая запахи бензина, СО₂, шашлыка из углового ресторана. Ядовитые всходы весны. Цветы зла. Души прекрасные позывы. Душит мутное под-утро Москвы.)

Здесь, на холо — церукал и эта — дильнике — перазин. То или то? Сначала церу. Сначала церу. Еще из ГДР. Цээр из гэдээр. Штази. Штази в экстазе. Пусти, не тяни душу. Назад, ис сна-сама-ры ф тот сон-париж. Удрать из сна в другой. Поздно. Тогда вообще проснись. Все лучше чем. Как во сне жалко Ту. Как наяву не жалко Эту. Как просто не любить — только разреши. А может, и уснешь. Не расплесни в себе. На всякий — вдруг еще? Есть время. Пошел! не зажигая света. Все королева Маб. За ночью ночь катается в мозгу любовников — и снится им любовь...

— Все. Уж не спать от жизни ничего мне.

— Прости. Я не нарочно.

— Кто, я? Тебе? Попрекаю? Какая разница, нарочно или нет. Важно, что я спал два с половиной часа, мне ехать два часа электричкой 6.15 и час по полю зайцем. А мог бы поспать еще целых три — два с половиной плюс три! — если бы не. Теперь фига с два-сс (голос так и звенит, как комар, налился кровью. Брось, ты что? не есть достойно).

— Прости. Ну прости, пожалуйста, — готова заплакать. (При чем тут ты? Это Та меня разбудила, прищемила сердце. А я жульничаю, раз уж ты меня тоже будишь. Но не дам понять.)

— Замнем для ясности. Снявши волосы, по головам не ходят (знать бы самому, что брякнул; а свалил-таки с большой головы на здоровую, снял-таки ей голову, тварь бесстыжая).

— Что это значит? Ты в чем-то меня винишь? — взле-

тевший голос понесся, развернулся лавой (шашки наголо! ты ее все время недооцениваешь, думаешь, теперь-то она смирилась до конца, самое время заушать; не тут-то было! Не так надо: оставить ей молчанием место виноватить саму себя, а ты молчи, действуй, только на ее совесть, а не на... не дожидай.

Однако уж не спать всерьез и надолго. Как ни болела, а умерла. До чего ж мясом-шашлыком. Идоложертвенные мяса. Демоноговойные. А ехать натошак — служба. С добрым утром, тетя Хая).

Господи, что ся умножица стужающие ми? Мнози встают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Аз уснух и спях, востах яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя.

Время. В ночи. Round midnight*. Добро бы midnight, а то полтретьего. Время. Каплет струйно или по капле; оптом, в розницу и на экспорт. Довлеет минуте злоба ее. Sic transit всякое время. A way of the all flesh**. Путь всякой секунды: вот она была — и нету. Была — и нету? есть, но во вчера: Вчера-бытие. Жалко их, все до одной секундочки истекают кровью, стекающей о вчера; вот последняя кап — и ты вместе с ней? А то нет. А вот: попробуй каждую на зуб (не рви мне сердце, аминь, аминь, рассыпья!), определили своим словом эту пробу — и время не остановится, так растянется. Подольше с тобой побудет, ф-сегодня-бытии.

Начни с этой.

Эта минута пуста. Кругло пуста, как поэзия Вознесенского. Чудище обло, озорно стозевно. И лояльно.

Как я стремился, лез вот в этот в центр На перекресток двух вот этих улиц Сюда — и вот я здесь, чтоб сдохнуть От выхлопа до выброса плюс блева лопнувшей трубы Навеки. — А там, в Измайловском лесу, уж лось поди завыл, Весной на небо глядя. Брось, лось не воет, а кричит весенним брачным криком. Брось, не кричит он, а молчит, молчком весенним счастлив Навеки. Там, в лесу, токует и курлычет и бурлит Ручей, оставшийся от речки

*«Около полуночи» — известная джазовая тема Т. Монка.

**Путь всякой плоти (англ.).

Серебрянки Навек. Там дед и баба только и живут, И с ними сразу впуск — без папы и без мамы заведенный: Там взрослых нет, лишь старики и дети, — Да велосипедист лихой навек. Как я туда хочу, в тот дивный лес, но я... Я, чтобы сдохнуть, здесь — и не могу иначе.

Едва ядовитые зубы памяти-змеи вонзились в душу, как уже вошел туда, в давнее прошлое, в Измайлово, и оказался тогдашним собой, тем, кто, изнемогая, переживал тогдашнее близкое прошлое — драматическую рокировку или размен фигур: разрыв с Той и уход к Этой, и одновременно — вторую жгучую боль: измену Той в давнем, давно-давно прошедшем, черную измену, о коей не подозревал, живя с Той во время измены ее, в Самаре — ах, главное в Той была ее программная верность-преданность-любовь до-гроббба, — а узнал только здесь (в Измайловском прошлом), глухой ночью, от самого наглого и жалкого — так наглого или жалкого? — от самого жаглого из самарских приятелей (а сейчас, говорят, процвел, забурел, размордел), упившись с ним в лоскуты, в дупель, в дым, вдребадан, в дребезину, до соплей, в зюзюку — и так ненужно, так смешно и ненужно услышав вдруг его расколовшуюся безо всякой надобности, тьяньбы за язык бормотцу: «Хочешь, я тебя насмешу? У меня с Той было дело. Ну когда там у вас что-то произошло, я не знаю, и она собиралась от тебя уйти. Ну, я, ты не переживай, я как мужчина оказался не на высоте... Ты чё, ты чё? Смешные вы оба, в наше время таким пустякам придавать значение, ёкорный бабай»).

...исцели, Господи, яко смятошася кости моя. И душа моя смятется зело: и Ты, Господи, доколе? Обратися, Господи, избави душу мою: спаси мя ради милости Твоя. Утрудишься воздыханием моим, измыю на всяку ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу.

Такаяй бол-ль, тк-кайя. Почему? Только же прошлое. Я здесь. Уже не с Той, а с Этой. А то, что тогда узнал — еще в более дальнем «тогда». В еще более долгом ящике. Прошлом прошлого. *Plusquamperfect*. Тень тени. Откуда эта боль — здесь? Сечет, как кнут, свистя. Душу на дыбу вздерг: виска, — и сразу — сразу — кнутом: встряска! То и есть: н а д ы б а л... А забудь! А как, когда такаяй боль... Вскачь, наотмашь и навзничь. Душу надвое, и еще выворачивает, и тянет, и скребет. И передергивает, и все в

порядке — и новая стрась, а в любви закон — тайга, кто смел, тот и бросил, будь здорова и не кашляй; а когда откликнулось — больно до-не-могу? Терпи, браток, за дело, на небесах невинных не наказывают, а Эту не трогай, не мучь, не дай понять, это твой срок, а она тут — чистый ангел. А это еще как сказать. Брось, не вывертывайся. Но чтоб так-кайя боль. Ууу... Но я ей честно сказал, в упор: ухожу, теперь впервые, наконец ухожу без бэ, раз и навсегда, я — честно, а она мне — в спину из прошлого, когда я думал: я князь Мышкин навыворот, любовь-страсть к одной и любовь-жалость к другой, но я ухожу к Аглае, это драма, но еще не трагедия, быльем порастет, и пусть я мерзавец, но не она, в настоящем все мутота, но в прошлом все чисто-цельно-высоко з большой буквы (кроме как с моей стороны, но не с ее!), а это главное: тыл, я родом из детства и всякая штука — и вдруг оттуда, с тыла, спустя три года (или четыре?) кнутом шаррах, и я в говне, а прошлое неизменно, вся прожитая жизнь в говне навеки. Все, о чем ты с умилением: покинутый город, восемь вместе прожитых лет первой молодости, ее домик, честная бедность, ее карий взгляд, гульба до рассвета, Волга, ваш детский чистый бред о фу-ты-ну-ты Мастере, чтоб его намочило, и Маргарите, еж ее двадцать, Модильяни и Жанне Эбютерн, пес их заешь, Ланселоте и королеве Джиневре, я вас умоляю, Тристане и Изольде, сладкая парочка — все в карем говне. Да, когда взрывается настоящее — это только пол-столько. Потому что есть надежда-незнание-завтра. Но когда динамитится прошлое — вот это траги-квази-комедия. Квазимодия. Потому что тогдашнее завтра уже случилось и ушло навеки в неприступное проклятое прошлое. Пусти, б. Все королева Маб в упряжке из мельчайших мошек катается у спящих по носам. На колесах со спицами из паучьих лапок.

Рече бо в сердце своем: не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста его полна сущь, и горести и лъсти, под языком его труд и болезнь.

— Послушай... я знаю, как тебе это важно, — из тьмы засветился голос в 16 свечей. — Но... не езд сегодня.

— Пуссти-и (кому из двух?) — что? (опомнися) прости, что ты сказала (прости-пусти пусти-прости: простипустия)?

— Не езд сегодня. Пожалуйста.

— То есть как? Ты же знаешь, — голос сжался, разжимаясь затем толчками, забирая в фальцет (*сам себе неприятен*), — это уже третье воскресенье, что я не был в храме! Меня по не помню номер канону Пято-Шестого Вселенского собора, иже в Трулле царских палат, пора отлучать на десять лет!!

— Брось. Канон не подразумевал, что в приход придется ездить за сто верст. Канон создавался тогда, когда приходской храм был за углом. Всему своя мера.

— Это ты так думаешь. А я готовился, читал каноны и чинопоследование, вспоминал и записывал свои грехи, и ждал, что наконец очишусь за долгое время... Это как три недели не мыться... Да я по-хорошему должен был уехать накануне с ночевой, быть на всенощной, но я остался, чтобы тебе не было страшно ночью и тревожно вечером, я опять должен буду оправдываться как маленький, что-де я больше не буду — и... и после всего этого еще и не ездить!!!

— Пожалуйста, не кричи, пожалуйста. Он начинается.

Похолодеть, услышав эти слова, этот матовый голос, квази-безразличный полушепот, выдающий смертный страх кролика перед удавом (а за этим слинявшим голосом — ее безвидное, упрятанное во тьму, но наверняка посеревшее лицо). Похолодевшее сердце внезапно и в то же время замедленно покатилося вниз: опа. Против лома нет приема. Сама ничего не может против приступа, уже побелела, скрутило страхом, а потом совсем, до неподвижности, обвяжет своим приступом, и тогда... шприц? Теперь не уедешь, по техническим причинам, куда ты денешься, не бросишь же человека в таком состоянии. Мало того, может, придется везти в больницу, как тогда. Но тогда — это было когда? когда просто по благу. А теперь плати деньги за хорошее место, не в Ганнушкина же, не в Кащенко, где здоровый с ума сойдет. Хорошие деньги за хорошее место, а их нет и не будет. Сколько собирался, наконец сфокусировался, три дня картошки на вонючем постном с осадком, свеклы и капусты при больном брюхе — на три дня долой все послабки по здоровью в великий пост, — читки, читки и читки — и вот все коту под хвост. Уже горé имел сердце — и вот. По техническим причинам...

А если?.. Попытка — не пыт... Что она говорит?

— ...меня не оставишь? Одну? — вплелось робко-тускло. Плохо ей. Не тускли меня. Не боячь.

— Конечно, нет. Не оставлю. Что значит оставлю? Не грусти, не плачь, жена. В конце концов, штурмовать не столь уж далеко море отправляет нас страна.

— Если ты уедешь, а у меня начнется настоящий приступ, меня заложат в больницу (*заложат мое словцо, я научил, ну, и чему хорошему научил, даже пить не выучил*).

— Заложат? Кто?

— Они.

— Послушай, но они о тебе не узнают, пока ты им не позвонишь. А ведь ты им не позвонишь?

— Нет.

— Тогда чего ты боишься?

— Приступа. И больницы.

(Вот тебе здарсье. Пошла по кругу. Уже не соображает. Уже забрало. Брать не отдавать — ее уж нет, а ты далече. Собрался далече. Приехали. С добрым утром, тетя Хая.)

— Послушай, — раздраженно-терпеливо, — с больницей мы ведь только что разобрались.

— Нет.

— Нет?

— Да. Потому что если ты уедешь, а он начнется, я сама позвоню. Лучше больница, чем он.

— А если я не уеду?

— Тогда ты что-нибудь придумаешь. Что-нибудь. Придумаешь?

(Брось, что я могу, когда... когда э т о. Что я могу. Как помогу.)

— Хорошо. Давай проведем психоаналитическую работу (самое время; как же трещит башка; недосып хуже похмелья). Давай разбираться. И с больницей, и с приступом.

— Давай (без надежды, но с ней — а то бы не согласилась).

— Почему ты так боишься больницы? Подчеркиваю — хорошей больницы.

— Лучше смерть.

— Лучше смерть, чем больница, и лучше больница, чем приступ?

— Да.

— Хорошо. Эту цепь уяснили. Но что же тогда — в двести пятьдесят пятый с четвертью раз — что же тогда есть твой знаменитый приступ?

Суетная глагола кийждо до ко искреннему своему: устне льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая. Потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеглаголющий. Словеса Господня, словеса чиста, серебро раждено, искушено земли, очищено седмерицею.

(Аэта минута быстра; обрывается в небо, где заходит солнце и заходится сердце, как гитара Сантаны, сходя на нет в запредельи или сгущаясь из него, из положительного ничто, как сказал один, из нуля форм, как называл другой; Сантана, надо же такую санскритскую фамилию не сочинить, а родиться с ней, что остается, как с такой не податься к гуру: Девадип Карлос Сантана и Турия Элис Колтрейн. А вот высший класс: Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Свами с вами. А Стас с нами. И Бог с ними.)

Там, за окном, не видно их, «Чикит», Кожурков от бананчиков, но зрю Сквозь мглу немалу кучу их. Там, на углу, у урны, ими сорят — И все не уберут. Вот почему всегда Так: взял бананов килограмм-другой — И сразу съел-пожрал, нейдя до дома, И все стоят и жрут — да на углу. А как могли бы есть на кухне, дома: Помыв, отслоив кожуру счастливо, И дальше — с чувством, с толком, с расстановкой, Кус за куском, читая «Монте-Кристо», Но нет, спешат и жрут здесь, на углу — и шлеп Отбросы их — а смысл? Да в том и смысл, быть может, что — не странно ль? — создан Для счастья человек, что птица для полета — И лишь услышит где иль подглядит, Как жить уже без счастья не может, А жизнь идет, а счастья нет и нет — и вдруг тебе бананчики «Чикита»: Жри, пылкий московит, зажрися счастьем, пришедшим с Эквадора Иль с Юнолулу — глядь, душа счастлива, Под небом чистым места хватит всем Счастливымцам...

Такая боль. Почему? Изменила — и что? Я не с Той, а с Этой. Прошлое замарано — плюнь: нигил. Нуль форм. Цепляйся за здесь и теперь. Не выходит; почему? Не молчи, спрашивай о приступе, о больнице. Спрашивай пристально; слышал двести двадцать раз, но спрашивай: то и есть «психозанализ»: не анализ, но — серия серезов: психическая атака вни-

манием. Ты не есть, но лишь — она. Внимай. Серьез и серьез. Ей тоже плохо, вот и займись, отвлечешься. Как трещит с недосыпа. Подлечишь ее — отпустит. Уедешь. Настрой голос — выговорится, ее отпустит — и тебя отпустят. Давай.

— Послушай... что ты молчишь? О чем думаешь?

(Не успел. Поймала-таки. Говорил же: включайся быстрее. Работай по системе «бекицер». Но не скажи о чем, проговоришься — убьешь. Поймала. Раздели и стали пытаться. Но девичьи губы шептали: «Не выдам я... сто двадцать пять». Но и врать не хочу. А ты подсунь другую мысль, о чем ты тоже думал. Зачем объяснять, что расслоение мыслей у тебя — обычное дело, как у больного грибок — расслоение ногтей.)

— О том, что мечты юности сбываются в старости, как говорил Киркегор. Примером чему приводил Свифта, который, по его словам, в юности придумал сумасшедший дом, а в старости сам туда попал. Так и я. Когда меня в десять лет впервые привезли в Москву — и привели сюда, на вот этот перекресток, в магазин «Восточные сладости», и купили невиданной вкусноты, сказочной, понимаешь: козинаков трех сортов, и нугу, и сливочное полено, и вышли на этот самый перекресток ловить такси, а был вечер, летний вечер в Москве 62-го года, холера ясна! — я тогда подумал: счастливее московских детей нет никого — жить в сказочном городе, огромном, чистом, кататься на лестнице-чудеснице, смотреть картину «Три богатыря», есть всякие такие штуки... да, там были еще миндальные пирожные, помнишь, они были только в Москве, тогда еще такие клейкие, чисто ореховые, почти без муки или овса... да, вот это настоящее счастье. И с тех пор я заболел Москвой, да. И не просто «в Москву», а вот именно сюда, на этот перекресток, где я однажды задохнулся от чужого счастья. И вот теперь я здесь, именно на этом самом месте, в ста метрах от него, и проклиная эту несусветную вонь, этот дикий шум 24 часа в сутки, эту центровую грязь, мышекрыс, лопнувшие навеки допотопные трубы — и думаю: куда я рвался? что потерял? Сидел бы себе... ну, не в Самаре, зачем дурака валять, но в Измайлове, в лесу, кто мешал? Нет, обмен! Какое счастье, с нами

меняются из самого центра, центр-центра! Вот она дурь — родом из детства... Да, и так же я сейчас хочу в Париж, а окажусь там — взвою.

— Это уж можешь не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь. Но ведь и здесь больше нельзя... Да, но так и что же все-таки есть твой приступ?

— Я пыталась объяснить тебе тысячу раз.

— Попробуй в тысячу первый. Может быть, получится?

— Мне плохо. Я не могу объяснить. Мне плохо.

— Вот и отвлечись. Это единственный способ. Попробуй описать — полегчает.

— Хорошо *(не верит, но все-таки)*.

— Понимаешь, от твоих описаний у меня в глазах двоится. То ты говорила, что это как в самолете при воздушной яме...

— Только сильнее.

— То — что это душевное, но физическое. Прости, это как?

— Ты не понимаешь. О н о меняется. О н о — о н — всегда одинаково ужасный, но у него разные формы. Чтобы я не могла с ним бороться. Сначала — помнишь, когда э т о началось — это были воздушные ямы, когда душа ухает и падает, и нет сил перенести. Потом, когда я было подобрала лекарства — или меня просто задолбили капельницами в Институте — о н изменился, понимаешь, спустя несколько лет от начала, и тогда уже пошло вот это.

— Душевное, но физическое?

— Да.

— Все же как тебя понять? Что это — страх, тревога, тоска?

— Нет... То есть может быть и страх, и сердцебиение, и тоска, и очень сильные... но они всегда только сопутствуют, а о н — отдельно, он вычленяется... Как я тебе объясню, когда все эти светила смотрели на меня как баран на новые ворота?.. ну, понимаешь, из тебя канатом тянут душу, и все — понимаешь? Физически тянут, со страшной силой.

— Не понял. Душу — физически?

- Да.
- Как это? Не въезжаю.
- Ну... что тут не... ну, хорошо. Тогда еще так...

Доколе, Господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице Твое от мене? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь? Призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: укрепихся на него.

— ...а потом и это изменилось: что-то осталось, но еще добавилась какая-то раскоординация движений: когда о н приходит, у меня внутри каждая поджилоча, каждый нервик трясется — и все по-разному, понимаешь, и руки, и ноги каждая по-разному управляются, а то не управляют-ся совсем: одна рука сгибается, а другая за ней не поспевает, а только потом, отдельно, и с усилием. Ну, это я так, по-простому, чтобы ты хоть как-то понял, вот как я им объясняла: упрощенно, дальше они не въезжают, да дальше словами и рассказать нельзя...

— А что, есть и «дальше»?

— А то; и дальше, и глубже, и хуже. Понимаешь, я это все называю одним словом «приступ», потому что не знаю, как назвать в нем самое главное, всегда одинаковое, как бы он ни менялся — а он еще десять раз изменится, потому что он живой: когда он приходит, я — жить-не-могу. Вот кто-то входит в меня, и я собой не владею, и жить с этим нельзя, до смертного страха, до кровавого пота, понимаешь?!

— Приблизительно... Но почему бы все-таки не лечь? Ведь тогда же тебя задолбили, ты же сама признаешь? На год хватило. Помнишь, как тот: «В лице Вашей жены отечественная психиатрия сегодня празднует триумф»?

— А ты помнишь, что со мной было на следующий день после этого «триумфа»? Как меня выводили из «зубчатки»? Уже на свободе?

— Да... И все-таки, если нет другого пути. Я не говорю — в психушку, а в Институт. Первое отделение — это же санаторий.

(Сто пятидесятый раз. Каков вопрос — таков ответ. А что

остается? Заученно, как в школе: «Обещаешь исправиться? Обещаю».)

— Кто говорит, что это санаторий, пусть полежит с недельку... По существу. Первое: не могу не спать. А там как везде. Вдесять загружают таблетками. В шесть подъем. Якобы восемь часов сна. Но, во-первых, если ты на ночь принял то, что там дают, тебе нужно не восемь, а больше. Во-вторых, о каком сне можно вести речь, когда соседи говорят чуть не до утра. Медсестры орут у себя и из конца в конец. О какой гадости они между собой говорят, ты представить себе не можешь.

— Почему. Я когда-то видел датское порно.

— Ну разве что. Я не видела, но наверно. И всегда на полной громкости. Не то что Генри Миллер, Лимонов бы покраснел, если такое вообще возможно. Затем — трудотерапия. Это отечественное ноу-хау. Бьешь человека с утра до вечера колесами и капельницами — а с утречка пораньше посылаешь его мыть полы и ведрами чистить картошку. Это, по-вашему, санаторий? Я понимаю: некому работать, но это, по-вашему, санаторий? Третье: соседи. Одна все время молчит, другая тихо плачет, просто промокает от слез, так, что сердце от жалости надрывается — но тоже ни гу-гу. Третья, наоборот, трещит без умолку, то есть перманентно — обо всех своих любовниках, у кого какого размера и сколько он может за ночь, думаю, все больные фантазии, а она вообще девушка. Четвертая хочет покачаться на люстре, да все до нее не достанет, ростом не вышла, но беспрестанно прыгает.

— Ну и пусть прыгает.

— Это тебе пусть. А я ко всему этому подключаюсь с ходу.

— К чему к этому? К разговору о любовниках?

— Не валяй дурака. Не к их разговорам. А к ним самим. К тому, что от них исходит... Там старушка старенькая была, смиренная, в сером платке, смиренно ходила по коридору, как тихая, неделями смиренно ходила — и вдруг однажды как шарахнет кулаком по подоконнику, как заорет — все сбегутся... Пойми, они все разные, но от них исходит о д н о. Оно живое и страшное. И я его всегда слышу, как оно от них в меня входит, и оно... оно очень тяжелое, поверь

мне. Оно непереносимо тяжелое. И вообще, сколько я могу тебе рассказывать одно и то же!

(Четко излагает. Вообще всегда четко излагает. Слишком четко, как ее профиль. Как ее холодный голос. Никакая болезнь не в силах. Как легко не любить — только отпусти себя. Да, четко. А не скажи — все же в конце голос потух, матовой лампочкой вспыхнул — и потух, как... как воспламеняется, вздыбливается, взрывается гитара Хендрикса в «Hause burning down»* и облом, обрыв — об-рухх: «Тяжо-оное. Не-перее-носи-мо». Да. Достало ее.)

— И третье — врачи. Ты помнишь Мулевича?

— Я помню Мулевича (что это? А-а: «Вы знаете тетю Хану? — Я знаю тетю Хану. Дальше»).

— Помнишь: «И не бойтесь увеличивать дозу. Дайте ей одиннадцать таблеток хлорпротиксена»? А это: «А еще, профессор, — это мой лечащий врач, — она верит в Бога. Она верит в Иисуса Христа». — «Да что вы? Это как же, голубушка? Что же это Вы?»

— Ну, это уже времена архаики и героики: вера тире религиозный бред тире шизофрения. Теперь наоборот. Теперь пужно иметь безумие сказать: я атеист.

— Не важно, это все не важно. По существу ничего не изменилось. А ведь Мулевич еще из лучших. У них он считается как-бы-бог. А если я на этот раз попаду к не-до-богу?

Таккая боль. Как — что? как... крышка от консервной банки, жестянка с рваными краями, проворачивается по оси грудины. Все там рвет. Все трещит. За что? Ты знаешь. Но почему так долго? И: что мучит? В чем ядро муки? Разберем. Сколько можно, тысяча разборок — и все без застеек. Внезапно задул какой-то Аквилон — и снова ржавая крышка с зазубринами вертится по оси. И все равно — что остается? Снова и снова разбирай. Если точно определить причину, назвать словом — на время, но утихнет. Если последовательно, не отвлекаясь, разобрать, врубиться, уже невротически следить тему до конца, не съезжая — утихнет. На время. Выиграть время, и снова, снова — а там все время пройдет: почва, их мать-сыра земля?

*«Догорающий (спаленный) дом» (англ.).

Могила. Та рождает — эта хоронит, та разверзает ложесна — эта втягивает в пещеру. Те когда еще до наших жили, а уже были куда умней: их почва, их Гёя что еще и породить могла, когда не кошмарных титанов, киклопов и сторуких, жуткого стоглавого Тифона да седых старух эриний с песыими башками? Да, вот тебе и родная почва: не terra ferma*, но сыра земля, черви, глина, грунтовые воды. Сырая смерть, грибная. Ну, давай.

Однажды вечером, увы, Упал он посреди травы, Немного сбоку от мордвы, Но в целом к югу от Тувы, — Упал и больше не дышал. Вот так он крупно оплошал.

Ну, давай. Больно. В ту же рану. Ну. Отчетливо, с усилием, мысля в словах, чтобы не было недобора до дна, не оставляй там ничего, как учил нечестивец Джиду Кришнамурти. Ну. Но и ее слушай, а то нечестно. Двоись, как умеешь.

— Ты понимаешь, — голос окреп, как цепкие руки, схватил за горло, сейчас вытрясет душу: сама с собою говорит, сама себя трясет, не удержать — больное место, больная мозоль, — ты понимаешь, что все психиатры, самые лучшие — костоломы-душегубы-медвежатники? Потому что их сейчас могли и приучить допускать, что Бог есть, но все они по выучке давнишней и по истинной склонности — материалисты. Для них душа — ящик, сейф, к которому только нужно подобрать фомку. Для них, правильной сказать, вообще нет души, а есть якобы понятная «психика», а ее нужно бомбить, как фраеров. Лепонекс-эглонил-амитал-мажептил. Ты прошел сквозь 26 капельниц? (Двадцать шесть их было, двадцать шесть!) Тебя — амиталили? У нас один азербайджанец кричал: «Дай еще амиталнатрий, пажалста! Лучше бутылки водки — и бесплатно!» А я водки не переносу, тем более без закуски. Ты представь: тебе колют водку в вену, а? А ты знаешь, что такое улстеть всего от четвертушки лепонекса в черную дыру и там превратиться в жгут, а потом разорваться на обрывки? Это вам смешно, когда вы слышите: «Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца», — а ему было не до смеха.

*Твердая почва (лат.).

- Да и мне, в общем.
- Ну и зря. Может, он-то хотел, чтобы тебе как раз стало смешно, он это уже переварил, чтобы тебя рассмешить. А не то еще — чтобы с е б я рассмешить.
- Хорошо, мне смешно.
- Устал?
- Что ты, и не думал. Устают после трудового дня. А у нас ночь. Я отдыхаю. Мой лоб приятно прохладен.
- Устал от меня.
- Что ты, любимая. Разве от тебя можно устать?! Я от тебя отдыхаю. Я с тобой отдыхаю. Отдыхаю с тобой от тебя.
- Я ведь уже просила прощения. Зачем издеваться?

Не с начала. С того места, которое уже. До которого докопал. Напрягся? Да. Вероятно, этот привкус особой, остро-дурной боли оттого, что, представляя э т о, я все время раздваиваюсь, смотрю на Т у своими и — и одновременно е г о глазами. Конечно, в глазах двоится, тошнотно, и между двумя полюсами взглядов высоковольтный ток бежит по душе: пытка, виска и встряска. Что же вижу (видел) я — и что видит (видел) он?

Я — одушевленное существо-вещество, свое «ты», вообще с в о е, лучшую часть себя, переливчатое душетело, душело, где изъяны формы (местами повторяющие мои и потому интимно дорогие мне, как и некрасивые, но похожие на них дети дороги родителям) как-то криволинейно подходят к миндалинам глаз и излучине улыбки, придавая всему живительно-неправильный «изгиб».

Он — только внешнюю вещь, предмет, лишь «это», которое при раздевании лишается всей своей недоступности, а значит, как и каждый предмет, теряет интерес, понижается в цене. К тому же: неправильное тело было скроено так удачно неправильно, что его недостатки: слишком худая и узкая верхняя половина при широком тазе, неразвитая и вместе с тем высоко расположенная грудь, несколько странно, параллельно поставленные ступни — в платье делали ее горделиво-стройной, чему способствовала доморощенная прическа а-ля Ренессанс, с пробором посередине и узлом на затылке, и длинные платья, шившиеся ею самой Бог весть из чего, из старых,

вынимаемых из каких-то допотопных рундуков, кусков тафты, шелка, креп-жоржета, а то и простого ситца или из старой скатерти, ворсом и зеленовато-бутылочным глубоким цветом отсылающей к старому двойному венецианскому бархату-оксамиту; но при раздевании обнажалось ее излишне худое, слабое, голубовато-белое (я, смешная сволота, не разрешал ей загорать, страдая от ее публичного раздевания, выявляемых тайных изъянов сокровища, выставляемого напоказ), в чем-то жалкое тело... И эти перепады между тем, какова она была одетой — и нагой, эта горделивость, мгновенно скатывающаяся в убогость, стыдобу, — это все должно было быть известно только мне. Потому что для меня ее телесное — и было мне лишь одному открытое и тем символически значимое, некий пропуск-пароль в столь же неправильную и столь же прелестную бесконечность ее души. А для него, моего друга-врага — существовала лишь ее телесная конечность, обнаженный, очищенный, как яйцо от скорлупы, от ореола Прекрасной Дамы, созданного вокруг Той мною же, — и тем уцененный кусок живого мяса не самого высшего сорта... Тут — лишь душа, осененная лунной улыбкой, в прозрачной рубашке тела; там — лишь тело, по случайности имеющее еще и душу, твердое непроницаемое тело, добраться до которого, со всеми его некрасивыми подробностями, пупырышками и волосками, добраться, налечь и ужраться и значит для постороннего, внешнего (крошечного) — обладать. Разве мной можно обладать, моим безграничным «я», которым не обладаю до конца я сам? Бред. А ею, ее «я», зримо уместившимся в ограниченном теле, — можно? А как же. Вполне. Весомо, грубо, зримо. Другой-другая — весь на стыке глаза и точки, куда смотрит глаз, на кончиках осязающих пальцев, острие вонзающегося конца. «Я» — всегда внутри: бесконечность, выходящая за пределы всякого воспринимающего меня другого. «Она» — всегда извне, небольшая голая частица, целиком уместяющаяся в бесповоротно захватившем, раз навсегда зафиксировавшем ее в сознании другого, необратимом сознании снисходительно-рассеянного, а то и презрительного владельца, хозяина своего воспоминания. Добраться бы до его души — стереть. Хрена лысого. Это — до гроба, это — всегда не в твоей, но в его власти: вспомнить по случаю — и приятно ухмыльнуться. Но тогда твоя боль — это просто гордыня. Все ясно с тобой:

смиряться и будь спок. Да, диагноз ясен, но и что? Попробуй вылечись. А ты попробуй. По крайней мере теперь ты знаешь, ты не как когда впервые услышал, ты с тех пор не первый год в Церкви. Знаешь что? Иди ты в баню. Без тебя тошно. Смири гордыню. Легко сказать. Антоний Великий не достиг помысла александрийского сапожника, а ты туда же? А что тебе еще остается. Не сможешь — будешь бредить во снах до могилы. *Tertium non datur*. Отлично. Скажи еще: *dum spiro, spero*. Этому тебя и учили. *Sic transit* — и вся недолга, а венец образованности просто — *sic!* Дешево и сердито. Меньше пены. Отнесись к себе *cum grano salis*. Во-во.

Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя. И внемлет скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от Храма Святого Своего глас мой, и вопль мой пред ним внидет во уши Его.

(Что она говорит? Точно уже не догнать, по тону — возмущена невниманием. Что нужно — сказать? протянуть руку? учти еще, на чем кончил слу-: «Не издевайся!» — Говори. Же. Ну. Безотказное, неотразимое для нее: забота. Заботаестьзаботаестьзабота. И о чем? О том-о чем-надо. Ну. Ну!)

— Подожди-подожди. Тебя мугит (это всегда, это сто процентов) от перепада давления. Ты видишь, что там делается (стоя у окна)?

— Как я могу видеть (чуть оттепело, верной дорогой идете, товарищ; дави ж!)?

— Жуткая мокротень, сечет то ли дождь, то ли снег (через два, если отпустит, идти до метро, перестанет течь-сечь?) Смерить давление (с2-с4: всегда готова мерить)?

— Давай.

Еще теплее: внимание украшает мужчину. Внимай. Всем сердцем. Ее сердцу?

Взять черную кожаную сумочку с приборчиком из шкафа наощупь, навскидку, и там же фонендоскопчик, обернуть черную липучую ленту вокруг вялого со сна округлого — а ты еще и чувственный, думаешь про Ту, а тянет к Этой, и как тебя хватят с недосыпа, парень, брось, какое тянет, брось — предпле-

чья, и закрепить на липучке, и качать грушу (а тем временем мысль, которой приказали: отлипни от Той и думай сюда, — капризно, своевольно воспротивилась грубому нажиму приказа и пуще прилепилась к предмету мышления, так, что не было внимания отслеживать пульс по туканью в ушах и оставалось лишь глазами следить за стрелкой прибора, когда она задержается толчками от верхнего до нижнего порога).

— Твое классическое.

— 80 на 60?

— Да.

— Естественно (удовлетворение: кого, как не меня, краше в гроб кладут?), так я и знала.

Эта минута похожа на предыдущую, но и отличается; так водка в бутылке подобна воде, но отличается: прозрачна, но сверкает: другая густота — другое преломление света. И это блистание обещает рай, а ведет в ад. И всякий раз это знаешь доподлинно, и всякий раз покупаешься на знакомый обман; и всякий раз приманочный рай все раешнее, и всякий раз ад все страшнее, все подлиннее, ergo: обещание земного рая — обман по определению, зато ад земной и преисподний связаны неподменной связью. Сатана — лжец и отец лжи, но его ад не обманчив. Странная штука.

...Но ведь и впрямь еще — я любил в Той не ее... не столько ее саму, сколько ее причастность — может быть, мнимую — к потустороннему, высшему, тот отпечаток, оттиск — наверное, кажущийся — Логоса в его женской ипостаси — Софии (тоже софианец доморощенный, еретик-баловник!) — Девы Марии (Осторожнее! игра с огнем!.. нет, но он-то как не побоялся, как посмел это вывести, ведь православный священник, понятно же, что так нельзя, что это умножение ипостасей; нельзя, но изящно, прелестно нехороший, но красивый, это кто глядит на нас? это кто ударил в таз и вскричал: «Карабарас», получив промежду глаз?), зримо оттиснутый на ней, напечатлевшийся на ней, как сказал бы еще один... Да, мнимый, да, прелесть, соблазн, как скоромимоходящая красота, как нос Клеопатры и всякая штука: случайность улыбки, выражения глаз, плюс-минус полмиллиметра конфигурации, величины и сочетания бровей, век, губ, переносицы и крыльев носа, — ты принимаешь случайные величины подробностей, наплывов и затеков

затвердевшей слепой материи за намеки, отсыл, подсказку, вещей шепот. Чуть глуше и ниже тембр голоса (случайные особенности гортани) — слышится что-то глубокое, чудится некий подтекст; чуть темнее зрачки — и взгляд обретает пристальность, впитывает, приклеивает к себе, обещает что-то, рожденное в года глухие, испепеляюще годы... Но ведь — видится же, чудится же, мнится же! Случайна ли эта случайность? Или и в самом деле любовь к женщине — лишь подлунная ступенька лестницы подлинного Эроса, этап восхождения к Вечной Женственности, рифма, ожидающая разрешения в появлении перворифмы Прекрасной Дамы (все же ты православный или католик? или платоник? а если я по убеждению один, по данной интуиции другой, а по вкусу третий? тогда что — если я мученик душевного расстроя?!) Я же не нарочно, я нечаянно. — А за нечаянно бьют отчаянно!), а все эти случайности — знаки, буквы для умеющих читать не слова, написанные буквами, но сами буквы (так; ты еще и каббалист)? и не такой ли знак уже сама похожесть, удивительная несуразная похожесть самарской девочки на Симонетту Веспуччи (похожесть, запаканная, закулёванная во что-то степное, волжско-калмыцкое, косо- и широкоскулое, невеликоглазое, чуть раззявлено большеротое, но выглядывающая из фирменной местной упаковки так, что непонятно было, она ли, местная степь, дышащая близкой Азией, пытается, как может, — но до конца не получается — загримировать, замазать, растворить в себе невесту откуда взявшуюся Флоренцию или, напротив, волжско-калмыцкое это начало — никакая не упаковка, а самое что ни на есть ее естество, лишь случайно и лишь для чьего-то личного взгляда выказавшее сходство с Флоренцией, подобно тому, как облако кому-то может показаться совершенно похожим на слона или человеческий профиль, а кому-то — самым обыкновенным, ничего кроме облака не напоминающим облаком), ее очевидно-невероятная пристегнутость к боттичелли-прусто-модильяниевской парадигме (как тогда в Питере, кажется, в 69-м, кто-то — тому глуховатому продавцу в буке на Герцена: «У вас Боттичелли есть?», а тот: «Модильяни? Давно не было», ха, это не просто общее место), ее небольшие, но увеличенные темными зрачками мицдалевидные глаза, всегда сложенная набок голова на изогнутой длинной шее, удлинённый нос, скользящий к чуть великова-

тым мягким губам?.. Но ведь сам Боттичелли отталкивался от местной теории, уж читал он там Марсилио Фичино или просто ловил со слуха, что в воздухе, что-то такое вот: «Тело и красота различны», что-то как-его-там: «В ангеле и в душе божественная сила произвела совершенную конфигурацию создаваемого человека; но в материи мира, как наиболее удаленной от Творца, строение человека отклонилось от его чистой формы». Во! Ведь если материальное и красота различны, то как еще изобразить высшую красоту в низшем мире телесности, когда рас-телесниванием, не искажением очертаний искаженных материей мира форм? Минус на минус = плюс. Воплотить через рас-плотнение. Деформация среднетипической формы тела как уродливой, неправильной есть восстановление первородной формы. Отклонение от отклонения — только так. И через эти выющиеся слишком-шеи, эти бескостные ноги, горгонье змеенье волос, асимметричные лица, полые тела, блекло-белесые краски, лишенные сочности, цветовой плотности мира, тел, а ргоіі имеющих вес — туда, ввысь, в умопостигаемый, нуменальный мир красоты з большой буквы, той красоты, что не спешит спасать мир, будто ей больше делать нечего. Но то, что Боттичелли-Модильяни (потому что последний — аватара первого, да?.. так, ты еще и это приплел? ты хоть от чего-нибудь откажешься? хоть какую-то духовную диету соблюдать будешь?) делал на холсте сознательно, здесь случилось во плоти, от случайного зачатия, от случки двух случайных русских (значит, еще и татарских) кровей, — но уже ли от этого менее существенно? Да пусть Та сама потом сто раз оказывалась не такой, ниже, обычнее, сто раз уклонялась, изменяла тому, что знаменовано было на ней, знакам, на ней начертанным — но что с того: знаки эти б ы л и! Возможно, даже очень, сейчас это раздобревшая, отражавшая свое молодая тетя, но я-то имею дело с Той тогда, когда они — были! Что с того, что евреи неизменно уклонялись от Закона, — Закон был им дан, и Закон был дан и м! Возможно, ей самой было и тогда, и по сию пору неведомо, что было через нее поведено мне — умеющему читать. Это значит только, что она субъективно неповинна в измене своему образу, доверенному ей посланию-для-меня. Но это не значит — неподсудна: незнание законов не освобождает от ответственности.

Так кто же, спросим теперь, имел право эксклюзивного со-

игния с софийственно-прекраснодамно-боттичеллиевомодильяниевым существом (слушай, парень, серьезно, кончай ты со вторым неоплатонизмом, с гемистплифонщиной, бляха-муха, Гемист Плифонич с Иван Италычем их всех невесть куда завели, ну как ты, церковный чудакачеловек, вдруготрядь тебе говорю, хочешь, ни от чего не отказываясь, наворотить на полный обед еще сверху кусок-другой, духовный ты чревоутодник да еще прелюбодействуешь помаленьку в помыслах, скребешь втихаря по сусекам — и где ищешь себе оправдание — у Марсилио Фичино, елки-мotalки! А ты проконсультируйся у Игнатия Брянчанинова: сдался нам этот Фичино? ну его к лешему, этого Фичино!). Только я. Только. Достойный. Умеющий читать. А тот, мой приятель-враг, что он мог понимать в письменах? Что свинья в апельсинах. Но зато он знал: она — чужое сокровище и моя тайна, я поднял ей цену в их глазах — и вот удача: и чужое сокровище — цап-царап, и тайны никакой: под одеждой все бабы как бабы.

Эта минута бесконечна, зане состоит не из шестидесяти условных, а из тьмы — тьма во тьме = тьма — действительных минимигов, и каждая составляющая в свою очередь ограничена пятидесятишестикратно, как черный бриллиант на бархате почи, и каждая грань микровремени, как звук Паркера, то ли летит, то ли тянется кантиленно, то ли врезан в миг и в нем застыл навсегда, но — е с т ь, пребывает, вышел из условного «времени» в реальность, где трехминутная композиция никогда не кончается, потому что не имела начала; так вышел из условного «пространства» в реальность и там пребывает (сказал бы — навеки, если бы мог бросаться словами, смысл которых таким, как ты, еще и не приоткрыт) пейзаж Сезанна, его земля и гора, отсылающие к словам мудрого Шломо о том, что нет ничего нового под солнцем, словам, в которых старый царь Израиля, занятый своими делами, сам того не зная, впервые, то есть как раз п о - н о в о м у, вопреки своему опыту, поставил проблему новаторства, над которой будут биться всю первую половину далекого XX века, и проблему прямого высказывания, над которой будут биться всю вторую его половину.)

— Накапай мне валокордина, пожалуйста. Пятьдесят капель.

— Стучит?
— Просто вываливается. Только сильно не разбавляй.
Чуть-чуть.

Валокордин! Хотя имя дико, но мне ласкает слух оно. А паچه — цитрамон. Чистая антика. Амон, играющий на цитре. А почему нет? Тоже солнечный бог, как и тот. Фармацевтический эллинизм. Тахикардия у нее. Сердце выскакивает, мучается. А мы в двадцать лет пили кофеин из ампул и кодсинили, именно чтоб сердце выскакивало, а мы бы от того кайф ловили. И чифируют для того же, а она мучается. Поди разбери; что одному здорово, другому — смерть. Какие все разные — а всё едино: никто-не умеет-быть-хорошо...

Полный свет: по звуку не отсчитаешь пятьдесят. И сразу жидкий неон за окном померк: это тебе не Бродвей. Запах густой до тошноты. Мята — от тошноты. А от этого сгустка ментола наоборот. Все дело в мере. Десять, одиннадцать. Гуще, чем запах, нет ничего. Даже вкус. Не случайно и Василий Великий, и Василий Розанов каждый по-своему, типа того: запах есть посредник между землей и Небом, единственное земное, как-то потребляемое Богом — значит, какой-то особый род материи, напрямую связанный с Духом. Собственно, запах и есть дух: дух, уютный или неуютный Духу. Ладан восходит к небесам. Табачище смердит преисподней — буквально так. Здесь какая-то возгонка вещества в тонкое вещество. В мире, но не от мира (да-да: вонь выхлопных газов, конечно, неотмирна, ха-ха). Потому-то духи так дорого стоят: концентрат тайны. Тайна номер пять. Или номер девятнадцать. Рассел: как пахнет роза, когда ее никто не нюхает? Думает, нет ответа. Парадоксалист-самоучка. Его же соотечественник за триста лет до него его отбрил: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». И, перефразируя Августина, скажем: «Роза пахнет таково, каковой обоняет ее Бог». Он ее насадил. Он и обоняет. Он не ест, не пьет, не спит, не осязает, но Он — обоняет. Может ли быть? *Credui, quia absurdum est* — одна из самых умно-безумных, самых глубоких фраз, когда-либо обвиненных в глупости.

...Интересно, что прустовский Сван не отдал себе отчета, почему на него так, до желания укусь, подействовало сходство Одессы с героиней боттичеллевой фрески: что он не

просто увидел прежде обычную женщину в преображающем, удорожающем свете искусства, но, думаю, ощутил, пусть бессознательно, что отсыл к Боттичелли ведет к дальнейшим отсылам по восходящей, делает живую плотскую женщину держательницей высшего смысла, доверенным лицом тайны, которую бесконечно интересно и мучительно разгадывать — а потом поймешь ненароком, что мухи отдельно, а котлеты отдельно, что доверенность была фиктивной, сходство побочным, а сама-то женщина вовсе и не в твоём вкусе, — но и потом не отделаешься просто так от уже введшегося за многие годы в душу морока, прижавшей к ней привычке разгадывать, соотносить, видеть в возвышающем свете. Интересно, даже моя мать понимала, далеко-далекая от тонких материй — насчет духа она всегда была не в духе — даже она понимала, что в Той было что-то такое, говорила: «Она похожа на святую». Что-то такое угадал, схватил, воплотил этот хрен Боттичелли, что-то общее, присущее коллективному бессознательному не только западного столетия, но и нашего, общее представление о высоком, о святом, свойственное человеку, далекому, так скажем... от практической духовности (не говорю — от духовной практики): такие вот салонные картинки среднезападной и среднероссийской руки, восходящие к той же неоплатонической парадигме: тонко-исправительные черты, изогнутые линии, тихая грация, обаятельная задумчивость (почему вдруг вмиг — двадцатилетней давности: трамвай с дачи в город, между Солнечной и 6-й просекой на полном ходу — и тут мужик, сидящий сзади, жене или не-жене: «Смотри, вон баба в кустах села, штаны спустила, юбку задрала!» — «Да где? я не вижу». — «Все, проехали! Эх ты, вечно ты так — самого главного никогда не сечешь!») ...Тогда как представления людей, входящих в церковь, т.е. как-то укорененных в духовной традиции, едва ли не программно проще: среди людей, причисленных к лику святых (взять хотя бы святых XIX столетия, хорошо запоретрированных или сфотографированных), или почитаемых близкими к святости среди живущих, или вообще духовно авторитетных, почти не встретишь лиц с тонкими чертами. Что далеко ходить: та баба, именно деревенская баба лет 45, словно сработанная топором, весьма почиталась большинством прихожан Никольского храма, куда я тогда похаживал; ее имиджу грубая внешность

не только не препятствовала, но, пожалуй что, и содействовала — хотя зиждился этот имидж прежде всего на прозорливости, выдаваемой опять же самым грубым (русский, в особенности московский вкус, стиль православия) способом: вбегала в храм посреди службы и громко обличала первую попавшуюся: «Стоишь на литургии верных, а сама — неверная! изменяешь мужу-то!» или: «Евангелие читают, а ты о чем думаешь? Как будешь огурчики с помидорчиками солить». Видимо, она попадала в цель — молва приписывала ей безошибочное чтение мыслей, ни разу не раздавалось ни одного возражающего голоса. А интересно, что лукавый и в самом деле ловит тебя в главные моменты долженствующего сосредоточения духа чаще всего не на каком-то выдающемся падении в помыслах, нет, но так-себе-паденьице, именно на каких-нибудь огурчиках-помидорчиках, на чем-нибудь таком ладно-уютном, на закатывании банок или там приготовлении плова, такое долгое хорошее дело, сначала прокаливает масло, тем временем режешь лук-морковь-мясо: зирвак, запускаешь в кипящий жир, потом соль, зиру, барбарис, красный перец, можно изюм или курагу, еще спустя засыпаешь промытый рис, лучше длинный, тихо, ненасильственно льешь воду, чтобы покрыла пальца на полтора, досаливаешь, убавляешь огонь, ближе к концу втыкаешь головки чеснока, а то еще азербайджанский плов — каурма, рис совсем сухой, повозиться, сделать двухцветный — окрасить половину риса шафраном, да потушить мясо в гранатовом соусе с каштанами, стой, куда тебя повело, еле пой — и так всегда — мал, утливаешь на какой-то ерунде, дряблые ментальные мышцы, где уж тебе вдогон за подвижниками благочестия, и все равно нужно — что? — нужно пытаться подвизаться, ну, пытайся, кто мешает, базаров ист...

Боже, Боже мой, воими ми, вскую оставил мя еси? Далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощи, и не в безумие мне. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Да не остыпиши от мене, яко скорбь близ, несть помогаяи ми.

— Твои капли.

— Спасибо. Убери, пожалуйста, прибор на место.

Теперь приборчик в темноте на место. Навскидку не ошибь. У всякой вещи есть свое место. Так она меня учит уже столько лет — и чему-то — таки выучила же: навскидку не ошибь. Положь. Сюда. Вот. Кляля с прибором. На полку сюда вот. Тут пластиночки-сиротинушки. Забвенные. Сколь вас не слушал я. С как окрестился — с тогда, да. От Букстехуде до позднего Колтрейна, от Палестрины до «Оркестра Махавишну»: все сплошная ересь и ересью погоняет. Положим, оно и духовно, но это другие духовности или другие модусы духовности, а музыка сверхпитательна — и все то же: если идешь по одному пути, можно ли питать себя тем, что — от другого? Все мне позволительно, но не все полезно. Конечно, при серьезе: если и впрямь куда-то идешь, а не болтаешься, как дерьмо в проруби. Не вернее ли — отсечь? Отказ всегда — жертва, жертва всегда хороша: убивает самость. Верное дело — путем зерна: не умрешь себя — не воскреснешь. 3 Божьей помощью. Но — так ли? Отказываться от всей мировой культуры — верное дело? Только так и угодно Богу? А? Сто пятьдесят дисков тут или двести. Сколько еще есть музыки. Сколько ж добра эти ереси породили. Или зла? Сами они ведь — зло. Латинская ересь, лютеранская и так далее, чем далее — тем хуже, до сюрэкуменического беспредела, до самого вуду и его дитяти, твоего самого любимца*.

По плодам их узнаете их. Лютеранство — зло. Но плод его — бах з большой буквы. А плод латинства — моцарт и шопен. Зло-нравия достойные плоды. Каково? Так, ты определенно сочувствуешь ереси. Беги ж. Уклонися зла и сотвори благо. Не слушай. А и не слушаю. Упругий винил. Некомпактный растопыра винил. Потерянное поколение любящих пластмассу и картинную обложку. Любящих си-би-эс, полидор, ар-си-эй, айлэнд, импульс, эппл, крисалис**! Даешь. Это все денежки, между прочим. Сколько ж я скопил зря-дорогого винила на копеечную зарплату в года глухие. Не грустися, все путем. Совлекай ветхого человека. Сестра, морфину***! Забудь о них, сочувствующих дьяволу****. Даром, что их надо понимать наоборот.

*«Voodoo Child» («Колдовское дитя» или «Дитя-колдун») — программное произведение Джими Хендрикса.

**Известные фирмы грамзаписей.

***Искажающая первоначальный смысл аллюзия на песню «Sister Morphine» группы «Ролинг Стоунс».

****«Sympathy for the Devil» — песня «Роллинг Стоунс».

Скосить глаза. Налево. Там она, а дальше за-окно. Подутро Москвы. Светит недобитая звезда. В том напротив справа всегда свет. Какая-то богема недоделанная вроде меня, остальные спят. Коммуналка у них. Коммунальщики — дети коммунаров.

А евреи — дети Европы? Или отцы? Но уж кто скурвился — тот и курвуазен? Безусловно. Тот и пьет «Курвуазье». С недосыпа сипит в мозгах. То есть в горле. То есть в мозгах, попрошу без поправок. Что хуже недосыпа? Перепой. А хуже перепоя? Перепой с недосыпа с последующим недосыпом.

Темнота темнот — все темнота. От времени глаз привыкает к темноте или проникает в темноту как в особый вид света? Осваиваясь или осваивая, в любом из двух начинаешь полувидеть. Ее профиль, изъятый некогда наставшей темнотою, появляется в тонком виде: свечение контура. Правильный греческий профиль. Слишком правильный, медально чистый. Такова же и тело: слишком пропорционально, без прельстительных отклонений. Такова же и речь: без грамматической ошибки. Четкая, отчетливая. Таким должен быть человек прежде всего — чтобы не заплевать всего вокруг. Все остальное потом, но это — прежде всего. То, чего я так хочу от своего народа. То, что мне не по плечу в собственной жене. Не по плечу, не по зубам, не по карману — значит, и не по вкусу. Я человек нечеткий, что скрывать. Как Розанов: «Нет хорошего лица, в котором не было бы чего-то некрасивого». Остался в чем-то я одной ногою. Не по вкусу? Но не это ли лицо, не это ли тело потянули тогда магнитом? Тогда — были по вкусу? Не тяготились их правильностью? не считал их — слишком? Розанову розаново, а Богу Божье. В сущности, правильная красота Этой была таким же положительным искажением падшей человеческой нормы, таким же отсылком к норме истинной, такой же идеализацией материи, как и неправильная красота Той. Тот же Фичино ничуть не противоречил себе, когда писал: «Вид и форма стройно сложенного человека лучше всего соответствуют понятию человеческого рода, которое наша душа воспринимает от Творца всех вещей и удерживает в себе». Он понимал, что совершенно правильное самой своей редкостью уже перестает быть пресным и приобретает символический акцент, не менее явственный, чем харизматическая неправильность. Поликлет столь же символически, как и Ботти-

челли, и фаланга пальца его канона так же отсылает к высшему началу, если к Афродите (это уж, правда, по части Праксителя, но не будем цепляться к именам, не в той же точности дело), то Урании, не Пандемос. Почему же оживший, раз-бронзовленный греческий канон, живым дыханием согретый и увлажненный смугловатый паросский мрамор, инкрустированный лазуриком зрачков, так безвозвратно и непреодолимо утянувший когда-то от Той, теперь кажется с л и ш к о м правильным, не препятствует больше обратной тяге? Потому, что Эту, сообразно начертанному на ней же, люблю канонически, как должно (ой ли?), а от Той — щемит. Пусты мне сердце. Потому что греческая красота равна себе, тело равно духу, а там — вывих, тайна. Бойтесь женщины с тайной. И тайна-то у нее будет ерундовая, не Божья, а то даже и не лукашкина, с в о я, мелкая, по пояс, а утянет по шею! Потому что Эта была — здоровье, а Та — болезнь. Человек идет за солнцем. Волк воет на луну. И ты захотел быть человеком, а не степным Гарри Галлером (сколько же в XX веке героев Г.Г., выдуманных и реальных, мать честная?). Ты захотел ожить, а не замереть, и побежал за греческим солнцем-здоровьем от болезни Той. Но болезнь была в тебе самом, и ты забрал ее у Той и принес Этой. Теперь Та, по слухам, исцелилась аб-со-лют-но, а Эта абсолютно больна. Все повернулось вокруг тебя-оси, все строго симметрично. Кроме одного, вот это-то и есть смех и грех, шурум и бурум, шум и ярость, бред без брода, незнанный Гог и совсем уже гадательный Магог: ты по-прежнему жалеешь Ту, исцелившуюся, не нуждающуюся более в твоей жалости, и глух к болезни собственной жены, любимой жены, тщетно к твоей жалости взывающей. И так ты, бедняга, и живешь, только успевай поворачиваться семо и овамо...

Нейтронной бомбой предрассвета Очищен город от людей, И жизнь его, свинцом одета, Идет-бредет сама собой. Из темноты темно-мышинной Неброско продолжая путь, Как медленная пуля, крыса Пересекает Тишину. Тяжелая, как пуля, крыса, всю жизнь на мостовой — Над нею кот идет по крыше, Не ведая о крысе той. Запела птица — неужели, О, пет, не здесь, в юдоли сей Лоскутного асфальта, хлюпу Воды с мочою вопреки... Чу, птица бодрая, лети, лети, Слепая ласточка, в чертог теней вернешься? Так улетай же, чем скорей, тем лучше, Встречай меня в долине Глен Зеленой (вари-

ант: ...в долине Дагестана)... Какая ночь, седые стогна града Псты, но чу! ща будет дождь, Ща громния ударит — хрустнут хляби Разверстые...

— Так ты не едешь? (жалобно, пленительно, как: «Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней?») Пленительно, если бы не тембр и тон. Как такие пустяки меняют все; уже и жалобность не жалобна, и ни одна звезда не говорит. Органы чувств — убийцы чувства: какой-то слух застит молчаливую музыку ее души. Какая-то случайная напряженная или просто холодноватая интонация мгновенно отключает ток любви и жлости. Свинство, но что поделасшь. Да, она режет слух. Но никогда — обоняние. Вся постель мокрая от испарины, и ни малейшего запаха пота. Такое устройство, понял. Худшее, что бывает — горьковатый, слегка луковый запах, и то если совсем зарыться носом в подмышку. Даже приятно. Родное, теплое. Луковый запах подмышек. Я думал, мое наблюдение. Как же! Кажется, Набоков или еще до него, забыл. А думал, мое. Жалко. Хорошее. Но надо быть честным хоть в чем-то).

— Зачем сразу «не поедешь»? Это грустно. Поставь вопрос по-женски, обиняком.

— А я не хочу обиняком. Я давно хочу спросить тебя, если на то пошло — зачем тебе туда ездить? Зачем туда продолжают ездить все, я понимаю. Но ты, кажется, отдашь себе отчет в своих действиях.

— Не понял. Тебя интересует, зачем я хожу в церковь?

— Почему ты так любишь прикидываться дураком?

— Добавь — с недосыпа. Я понимаю: я должен быть предельно серьезен, когда меня будят среди ночи и подвергают допросу третьей степени, чтобы узнать, почему рано утром я собираюсь поехать туда, куда собирался накануне.

— Ну, это уже нечестно. Ты передергиваешь почище любой женщины. Ты же понимаешь, о чем я.

— Представь себе, нет.

— Да? Хорошо, я тебе объясню... Зачем... зачем вы продолжате, во главе с батюшкой, мотаться по невесть каким всям, делая вид, что не прошли еще славные времена катакомбной Церкви? Что — вас продолжают преследовать? Не дают жить? Собираются припаять статью 70

или хотя бы 190? Вам трудно освятить домовый храм в чьей-то удобной для всех квартире, если уж...

— Продолжай Что — если уж?

— Если уж мы не хотим жить по-людски, вернуться в нормальную Церковь...

— А, прости пожалуйста, «нормальная» — это..?

— Ну да, да, Церковь Московской Патриархии. Нормальная московская Церковь.

— Ага. Московская особая.

— Однако...

— Согласен, перебор. Впрочем, я погрешен только в том же... условном благоговении, что и «нормальные». Стоит что-то или кого-то вывести за воображаемые узкие скобки сакрального — например, нас, зачатых «карловатов», отщепенцев — и чего только они ни наговорят! и владыки наши — не владыки, а люди с песьими головами, и вообще чего тут выбирать выражения... Это, видимо, общее свойство тривиальной челове...

— Извини, я не об общем. Ты мне ответь, почему мы не можем вернуться, молиться со всеми вместе, у памоленных икон, в чудесных памоленных стенах? Нет, хорошо, раньше это имело смысл, но сейчас... Почему вы цепляетесь за вчерашний смысл? Ну ладно они, но ты, повторяю, в состоянии отдать себе отчет, что вы цепляетесь за вчера, что все уже изменилось, что... ну, я не знаю. Но я чувствую. Вам хочется чувствовать свою избранность, свою выделенность? Не на что опереться в себе самих, так опираетесь на «правильную» Церковь?

— Кто-то, может быть, да, я — нет.

— Или ты по-прежнему считаешь, что Московская Церковь возглавляется христопродавцами?

— Положим, так и ты считаешь. Бывшие чекисты до сих пор даже не признали, что они чекисты, а туда же — призывают к некоему «всемирному покаянию». Кстати, ты не знаешь, что оно такое — «всемирное покаяние»? Как должно совершаться? По каким дням? По какой чину? Какие епитимьи будут на всех налагать?... Ладно.

— И тебе мешает их бывший чекизм?

— Пожалуй, уже нет. По большому счету я должен думать, что, молясь и причащаясь из единой чаши с ерети-

ком, я сам становлюсь еретиком; по той же логике, если додумывать до конца, поминая на Великом входе христопродавца-архиерея, я сполна разделяю с ним грех христопродавчества. Теоретически это неоспоримо, елки-палки, смотри правило, номер не помню, собора не помню какого, но помню, что оно есть. Но практически, если мыслить прецедентами, надо признать, что при последовательном следовании букве канона и так далее — русской Церкви, может быть, вообще нет, она, может быть, безблагодатна или есть лже-Церковь после соглашения при Феофане Прокоповиче под нажимом Петра в некоторых случаях разглашать тайну исповеди. Но тогда наши претензии к московскому Патриархату следует отнести и к более ранним временам, и в Московскую Церковь нельзя ходить не с 1927-го, с Декларации Сергия, а с 1720-го, с Духовного Регламента Феофана, пункты, если правильно помню, 55, 11 и 12. А то и с 1589-го, с не совсем каноничного, очень мягко говоря, учреждения патриаршества на Руси. Однако это соображение еще никому — мне в том числе — не мешало. Значит, и сейчас вполне можно быть снисходительнее и к себе, и к Церкви, и сопригать, как учил великий еретик. Проще надо быть и не надмеваться, умствуя. И конечно, надо согласиться, что нечестие в «нормальной» опустилось ниже уровня головы, той отпетости уже нет, в смысле — Брежневых не отпевают, бороться за мир не зовут, далее — сама. В принципе ты права, можно позволить себе послабку ради церковного единства. Вообще я себе не враг, а в Илье Обыденном так хорошо стоялось...

— Тогда что же? Чего ради...

На месте злачне, тамо всеми мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. Аще во и пойду посреде сене смертыя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица твоя, та мя утешиста.

— Ну, если хочешь знать (если я хочу знать, я ведь сам недодумывал это до конца, надо же, как трещит голова; так самое время думать, когда она трещит, зато от нее никто ничего не ждет, никто ей не заказывает: напрягись и думай, тут-то мысли и

слова какие сами текут от изнеможения, такие — самые правильные и есть)... если хочешь знать, у меня сейчас больше тяжелых вопросов к Церкви, чем было тогда. Тогда все было просто, я сам мало что понимал, и единственное, что меня волновало, — честная это Церковь или в ней все то же, что я ненавижу за ее стенами: подлость и вранье. Ладно. Теперь — допустим — теперь она честная, допустим, никто не мешает ей свободно говорить. И что она свободно изрекает? В основном: даешь монархию и симфонию, инославных запретить, все беды с Запада, долой цивилизацию, в этом смысле — уйти от мира (но от всех брать не мешает), конец света, думать только о спасении, ни секунды без спасения, а где оно — известно, поэтому ни шагу за ограду, а все прочее, все сверх необходимого, то есть монастыря в миру по существу, с необходимыми добавками для продолжения рода et cetera, продолжи сама (как трещит! *темнота темнот, и свет не одолеет ее; раскавычено, но не раста-можено*). И это еще лучшие, это серьезные люди, о других не говорю, иже либо воздвигают брань противу масонства среди шароварных казаков, прибывших прямоком со свадьбы в Малиновке на Даниловский рынок черных масонов-продавцов пороть, либо, наоборот благословляют на святое дело эстрадных певичек взять свои три аккорда без греха, чтоб в тексте было, по крайней мере, про Русь и Андреевский флаг, чтоб если тренькали, то на электробала-лайке, а если дринкали, то рашн стронг водку, запивая водой «Святой источник» с благословения Святейшего, ед-ритская сила... А уж выступают-то они, словно павы, и те и другие, и говорят-то с амвона и по телевизору специальным голосом, «вторым», «в чине», слышимо-благодатные; это тебе не какой-нибудь Билли там Грэхэм, «человек, который говорит с людьми» — якобы от полноты своей души; нет, эти говорят не от себя, а якобы от полноты Церкви; а что там, за фасадом профессионального бесстрастия — есть ли там что кроме того, что в Моссельпроме? что вот он, лично он, может сказать — не о «народе русском», не об «Отечестве православном», а о Христе? по-простому то есть, без положенных инверсий, без этого вот: «Вчера паломническая делегация в полном составе вылетела на Афон»... Как же надоело-то, а?

— Но ты так жил. Много лет ты о конце света слышал и в нашей Церкви, и обо всем прочем, и это тебе не мешало.

— А теперь мешает. То есть оно мне мешало и раньше. Но раньше я в себе это глушил. Я думал, я хотел думать, что так вполне можно: исповедовать уход от мира и чтение исключительно «Добротолюбия» и писем Феофана и Дэвиса и читать Джойса. Водку же вот пить можно при проповеди ухода от мира, а если нельзя, то исповедуешь как грех — и ладушки. Главное — не возникай, не нарушай программного послушания. Вкус, батюшка, отменная манера. И так и жил. Но ты же сама говоришь, я способен к самоотчету. Я даже склонен к нему. И это меня погубило. Чем больше я его глушил, тем больше внутри меня оно стучалось, копилось. И вот сейчас пошел разворот — я выпал в осадок. Ты понимаешь?

— Может быть. Не знаю. Говори.

— Ладно, попробую... Или так... Ну, так... Скажем, средневековые создали единую цивилизацию. В смысле — все отправлялось от одного начала. И этим началом было даже не Евангелие, а Церковь. Это была та часть целого, которая не то что регулировала и регламентировала все остальное — нет, она даже разрешала чему-то выйти за ее пределы, она могла на что-то закрыть глаза, что-то потерпеть — но она всему давала смысл, она была солью мира, а соль солит все блюдо — и сверху, и на дне. Были явления, автономные от Церкви, но не было с м ы с л о в, автономных от нее. И потому она не соотносила себя с цивилизацией, могла не соотносить, но и не убегала от нее — она и была — цивилизация, цивилизирующая сила. Впрочем, это банально. То, что я говорю, банально. Небанально одно — как жить с этой банальностью. Слушай дальше. Современная цивилизация секулярна. Это факт. Но она — цивилизация. Это тоже факт. Она ушла от Церкви, пусть вообще от Бога (что уже менее ясно), но она смогла себя наладить, осознать свою секулярность, пережить это и жить дальше. Она уже в состоянии обойтись без Церкви, а если будет не в состоянии, она что-то придумает. Сама! У нее есть свой собственный смысл — или она так думает; мы можем обличить неподлинность этого смысла, но это уже — наша проблема, понимаешь? Она

нас слушать не собирается, ей на жизнь — хватает. Ей вообще на многое хватает, больше, чем мы думали.

Словом, мир без нас обходится. В этой ситуации — Церкви что делать? Можно окончательно уйти от мира: «Не хотите нас слушать, туда вам и дорога». Тут ты: Христос же не уходил, наоборот — посылал учеников в мир проповедовать. А тебе на это: так, но — блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. А мир нечестив. И опять же апостол Павел учит: «Что общего между Христом и Велиаром?» Словом, есть возможность маневра. Можно уйти, а можно искать пути разговора с миром, присутствия в нем, меру соотнесенности с ним. То есть как минимум понять, что проблема — есть. Поставить ее хотя бы и пытаться решить. И дать возможность решать ее разными способами. У нас по второму пути не шли никогда. При коммуни Церковь шла по первому — отвергала мир пассивно. Но теперь она имеет возможность действовать — и что она предлагает? А все то же, только вывернутое наизнанку: монастырь как а к т и в н а я сила. Сила, ненавидящая мир, организованная иначе, чем современный свет организован. Не просто авторитарная, но: абсолютное послушание, отсечение самости поголовное, по-пустопочное и по-помышленное. И вот эта сила отныне не уходит от мира, но приходит в мир. Ненавидя и не понимая его. Приходит не чтобы его одухотворить исподволь, не для того, чтобы «для всех быть всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Монастырь приходит со своим уставом в чужой антимонастырь. Организованный по своим пусть не всегда хорошим, высоким, но сложным, тонким, а главное — давно работающим законам, основанным отнюдь не на послушании, а на свободе, не на бескорыстии, а на разумном своекорыстии, не на приказном благословении, а собственном деловом доверии... Понимаешь, некоторые люди умеют мыслить только по аналогии, но это бы полбеда, хуже, что аналогичны, по их мнению, килограммы и километры. Монах, уходя от мира, упрощает, хотя и утяжеляет во многом свою жизнь: принимает логику солдата: отсекает от себя всякую собственную мысль как греховную, всякое сомнение как искушение, всякую заботу о житейском как ненужную, хотя бы

уже потому, что состоит на довольстве монастыря. Упрощая собственную жизнь, если он делает это по призванию, он поступает правильно — в отношении себя. Но когда он экстраполирует упрощение на весь окружающий мир, желая упростить и его до логики монастырского уклада, он не просто берет на себя то, на что его никто не уполномочивал, он совершает колоссальную ошибку против самого устройства мира — Богом, пусть из самой пламенной любви к Богу же. Ведь это, казалось бы, самоочевидное, что мир устроен не принципиально просто, а принципиально сложно — и не в силу отягощающего мир греха, а изначально: все, от атома, клетки, устройства человеческого организма, совсем не похожего на организм червя, хотя, кажется, кто мешал создать червя в человеческий рост, поместив в нем свободный бессмертный дух? — до законов движения планет, устройства-обустройства целых галактик — все это необычайно, на мой вкус, избыточно сложно и тонко. Мне хватило бы одного сердца, чтобы оно болело — нет же, есть еще печень зачем-то, две — две! — почки, пять метров кишок! трахеи, бронхи, какой-то вообще ненужный аппендикс, какое-то еще «дугласово пространство» — и все это имеет способность болеть, зачем? а крыльев, как у птички малой, нет; почему? а пальцев почему-то пять, а не четыре, и не шесть; с какой стати? Но на мир природы они не замахиваются, принимают как Божью данность, зато — в устройстве общества они собаку съели, в культуре они все понимают, какая паша, какая нет, им только дай — они устроят Святую Русь, живи не трусь... тут я, допустим, вру, я, понятное дело, только и делаю, что вру в словах, но ты не слова слушай, а между слов... да, вру, это все т а м, развитая цивилизация, а монастырь пришел по н а ш у душу, сюда, где нет цивилизации, а есть только ерунда с искусством, и все еще больше запуталось-заквасилось, и вместо внятно расставленных акцентов, вместо точных слов об о т н о с и т е л ь н о й правде монастыря и относительной хорошеи цивилизации, о важности этих относительностей и относительности этих важностей мы имеем... ах ты, Боже мой, какие пустяки мы имеем!.. Но все равно — свет, мир есть и у нас — и существует небеззаконно, то

есть незаконно-законно, то есть по-русски, то есть совсем грубо, но и совсем тонко, и вот сюда приходит монастырь, сюда приходят... лаврствующие и пещорствующие, чтобы этот мир — воцерковить, как они понимают, то есть — во-монастырить, то есть обезмирить, то есть — разрушить.

— А ты не допускаешь, что в процессе разрушения этого плохого мира — ты же согласен с ними, что он погряз во зле — они создадут новую христианскую цивилизацию на новом витке?

Эта такая правильная, а Та нет, и что же? это хорошо? не хорошо и не плохо, а — как сказать?.. Не умела пить, то есть совсем, то есть после третьей рюмки все просилось наружу; но пила, уже опытно боясь, что я, тяпнув, опять решу, что меня не понимают, стрезва-стервозно отказывают в том, чего я именно сейчас изволю: слушать с всепоглощающим интересом, или немедленно лечь в постель, или насладиться совместным прослушиванием на полной громкости какого-нибудь Фрэнка Заппы, вызывающего у нее зубную боль — и брала разгон со мною вровень, строго беззаветно, без учета и контроля, чтобы хотя бы до времени совпасть в общем захлебе мнимого взаимопонимания, мнимой душевной и сексуальной сим-фонии, согласия при помощи спиритуальной энергии спирта. И надо признать, она, методически работая над собой, со временем приобрела некоторый навык, но тогда, в первые годы, на ранних поездках, тогда... Это когда в темноте у того, куда набилась в 15 метров вся честная компания, битком, по метру на рюлю, что это было, кажется, первое прослушивание Эмерсона «Картинки с выставки» безнадежно устарело, а ведь в каком благоговении слушали, рок-Мусоргского, мое вам почтение, это да, но все в конце концов напились, одно слово Мусоргский — и тут ее возьми и вырви, да как, большая часть попала на распущенные волосы, сетью свалившиеся со склоненной головы и облепившие лицо, в том числе разумеется рот, хорошо она сидела в самом углу за дверью, а свет вырубили, да и слышать никто не мог из-за музыки, пущенной ватт минимум на пять, но в любую минуту кто-то мог подойти, могли врубить свет... надо было немедленно линять, но она не давала себя увести, по неспособности встать, да и просто понять, чего от

нее хотят; она не то чтобы противилась: но как-то тянулась, зависала, ниспускалась долу, растекаясь меж пальцами, как тяжелая вода; уйти, стало быть, не получалось, и я с пьяно-протрезвевшего отчаяния, от большого ума принялся руками счищать рвоту с ее спутанных волос, собирать пальцами, стряхивать на пол, собирать и стряхивать, секунда за секундой, и этому не было конца, бег на месте, и от напряженного отчаянного вглядывания тьма для меня стала полутьмой, и я различал остатки рвотной массы на ее волосах, от долгого моего старания скатавшиеся в мелкие шарики-шарушки, и, казалось, что это не тьма сама собой просветлела от приглядки, а что это ее исподволь освещают белесые шарики, елочной гирляндой висящие на ее волосах, светляки в темной спутанной траве, злоуханные блевотные жемчужины... Но вот что было дальше? как я ее увел? ведь как-то же я ее увел, я помню, что все обошлось, но как именно обошлось? убей Бог, не помню; почему? Помню навсегда: это была одна из десятка-полтора вершинных, пиковых точек нормального житейского ужаса моей жизни, ужаса позора, унижения, или когда бьют ногами, или еще перед операцией, это должно было остаться на крупном плане памяти — а осталось где-то в потемках ее, иногда выходя на свет, но без важнейшего: финала, концовки, выхода, и только светятся в темноте перловые рвотные светляки — а почему? а всякая шелуха помнится де-таль-но — почему? по кочану! Сколько житейской материи пошло на эту память, дешевой и дорогой — а всплывает на поверхность на 90% то, что обычно всплывает на поверхность.

Да; а Эта не пьет, хоть ты ее озолоти (впрочем, этого не пробовал, врать не буду). Сама не пьет и за мной следит, зная, что я этого не выношу, что я сам знаю, что все мне позволительно, да не все полезно, что я сам должен назначить, что суть лишнее, а что — необходимое и достаточное. Ей чихать на то, что худой мир лучше доброй ссоры. Ей лучше умереть стоя, но меня поставить на колени... Вернемся. Не тяни, пока не забыл вопрос. Отвечай.

— Допускаю, я все допускаю, даже и новое средневековье. Но одно дело допускать, а другое видеть, что реально делается, слышать, что говорится. Если могут, пусть построят. Пока что я слышу либо обскурантов, говорящих,

что Толстой — не есть великий русский писатель, потому что он неправославный, либо углубленных фундаменталистов, подавляющих своей эрудицией и логикой своего дискурса, роющих в направлении «сакральных обществ», противопоставляемых «мондиализму» и «атлантизму», т.е. льющих те же щи да погуще и не вмещающих то, что мысль XX века уже давно уяснила в физике, логике, философии: целое вообще принципиально не уместится в единую логическую систему, единый дискурс, взгляд на целое должен определяться принципом дополнительности или пусть антиномичности мышления — и поэтому прекрасно может сочетаться духовная вертикаль и социально-политическая горизонталь, церковность и демократия, отсечение самости в одном измерении духовной практики и свобода воли в другом, и тому подобное, и вовсе не обязательно пронизывать все одним сверху до низу, и если на небе — Бог, на земле вовсе не обязательно — Царь и так далее, вера в творца может быть неуклопна, но это не имеет прямым следствием кодекс шариата, и это не страшно, это — прямое следствие почитания образа Божия в ближнем и самом себе, что... что приведет ли в конце концов хоть когда-нибудь — или если это «когда-нибудь» не наступило после Треблинки и Колымы, Энтеббы и Деир-Ясины, оно уже не наступит никогда?! — к трепетности, тонкости, нелинейности мысли и интуиции — или нет? Поймем ли мы наконец, что такое бережность? что значит — прикоснуться, а не падавить? что надо научиться логике алогизма не меньше дзенистов, не теряя при этом из вида, что есть истина? Или останемся до морковкина заговенья угрюмы и человекоубийственно последовательны — от невежества или парапоидального сверхвежества?! А?!!

— Не кричи так. Что ты кричишь?

(Действительно. Что это я? Полегче. Take it easy. Лив супер ин «Ли Купер». Истерик.)

Здоров ты только ханку жрать, Здоров ты только плотку драть. Суров ты был ты в молодые годы. Ты молодец против овец. Жнец, швец, да и в дуду игрец. Но и тебе придет конец: закон природы.

— Прости. Словом... словом, я понял, что Московская Церковь и наша бывшая катакомбная тут, а Зарубежная там — близнецы-братья. Только та себя не запятнала коллаборационизмом. Хотя о себестоимости тамошней невинности и здешней запятнанности можно бы еще поспорить, но факт есть факт. Во всем же прочем — один в один: Русь державная — Русь православная со всеми составляющими и вытекающими плюс неустанная борьба с масонством и экуменизмом, под коий подводится любая попытка поговорить-обсудить-устаканить хоть что-то с инославными, признание того, что у них хоть чему-то стоит поучиться. Ну, и, конечно, венец венцов — антисемитизм. А мне, понимаешь, мало антисемитизма. Антисемитизм — это всегда хорошо, понимаешь, это никогда не помешает, но антисемитизм, понимаешь, еще неисчерпывающий ответ на мои вопросы, как это раньше важнецки выражались, на последние запросы моего духа.

— Поняла. Ты недоволен и теми и другими. Но признаешь и тех и других.

— Да вот, не дерзаю. Я на всякий случай в последних выводах смиренен, а не дерзновенен. На всякий случай. Мало ли что. Мало ли кто меня обуял. Кто я такой, чтобы различать духов?

— И я о том же. Раз тебе, стало быть, все равно, куда ходить за неимением лучшего, то не вернуться ли пока чего — домой?

— Не знаю... Именно потому, что я недоволен, я хочу зацепиться хоть за что-нибудь. Здесь община, с которой я пол-России по-пластунски пропахал. Конечно, они дуют в ту же дуду — последние времена, уйдем от мира, будем плести корзины, а дети чтоб «Трех мушкетеров» не читали, но тебе легче, ты все это время проболел... то есть прости, пожалуйста, опять же не цепляйся к словам, я в другом смысле... но я-то с ними в каких только деревнях, в каких — буквально — подпольях только ни сидел. Я с ними породнился, хотя мысленно не с ними. Наконец, там батюшка, и хотя мне все труднее находить с ним общий язык, но с ним я по крайней мере съел пуд соли, он меня знает как облупленного, и искать другого духовника,

ждать, пока он тебя не узнает так, чтобы с полуслова, с четверть-греха... или вообще переходить на духовное самообслуживание, жить своим умом, а в храме только исповедоваться и причащаться... Я к этому не готов. Может быть, потом... но сейчас меня еще что-то гонит в спину: езжай, пора. Ну пойми ты меня — гонит!

— Я... понимаю. Я больше не буду. Но сегодня... сегодня ты можешь не поехать? Последний раз.

Надо что-то придумать. Нельзя ехать надо. Вкус сосульки во рту, прекрасно-пресный, как дао, единственный предикат льда-во-рту: льдистый. Когда я впервые вложил лед в рот, в четыре, в пять? Чистый вкус льда, до-большой-химии-в-воздухе, волжский крутоворот воды ф природе. Экологически чистый фкус. Чистое жжение памяти во рту. Кай, где твоя Герда? Вдруг приступ пройдет? Еще есть время. Но и ты не лежи сложа руки. Ты давай ее люби: единственное, что от тебя. Говорит, от этого много зависит. Умей любить изволь. Должен соответствовать без дураков. *Ars amandi* — это тебе не девок охмурять по язычнику Овидию, это дело серьезное. Сумей включить любовь по команде, активизируй пассивный запас, актуализируй потенциальное, выгати ее из приступа — и она отпустит твою душу на покаяние. Что у тебя есть? Голос, слова, прикосновение. Со-кровенное, при-кровенное и от-кровенное прикосновение: коснуться крови вен? По Библии — в крови душа. Тогда да...

— Там видно будет (дать надежду). Там видно будет, родная.

— Когда?

— Что когда?

— Когда будет видно?

— Есть еще время, родная. Целых полтора часа. Или даже два.

Эх, зря. Все равно что сказать: еще пройдет твой приступ. За полтора часа. В смысле (так она поймет) — приступ твой пустяковый. А это оскорбление. Теперь она упрется бессознательно в: нет, не пройдет! не пройдет ни за что! Хоть чем-нибудь сними, что можно: прикоснись. Вруби всю нежность. Рука горяча, суха. Прикосновение в ночи. В простоволосых

жалобах ночных. Наука расставанья, одолеешь — отпустит расстаться на время. Температура субфебрильная: рука горяча. Почему у нее держится температура, если из дома не выходит? Нуль иммунитета, род СПИДа — немотивированный. Жалко ее. Вот за это и держись, это усиль: посыл-в-нежность. Проведи по руке до ямочки. А то. Так проникай, нежность проникновенна. Это когда твое-ее-смешение по краям, до почти перестанешь различать. Это нежность. Вторичное упрощающее смешение. Это не о том. Скинь ментальный шум и работай. В тебе есть нежность, и она должна быть на кончиках пальцев. Почувствуй, какое родное рядом. Едина плоть. Слабая беспомощная прекрасная плоть духа. Возгревай. Ее не проведешь. Они все настоящую нежность не спутают ни с чем, и она тиха. Не говори ничего. Сбрось ментальный шум и вложись весь. До пронзительности чтобы — надо просто. Просто, но неслышанно. Впади, как в ересь. И это скинь. Сними с э т о г о слова — тогда сделаешь э т о.

— Приятно?

— Да... Он не пройдет за полтора часа. Не надейся. Хочешь ехать — езжай, но не надейся, что он пройдет. Езжай т а к спастись.

(Ну уж нет. На свободу с чистой совестью. Зачем так? Зачем обострять, зачем обнажать чужую совесть? Это уже навязчиво. Не чини претительных докук. Никто из нас другим не пластин*. Хотя поползновения, смею заметить, зловещи.)

— Если не пройдет, я не поеду, родная. Договорились?

(Тихо. Знак согласия? Родная — как-то не звучит. А что лучше? Родная, милая, любимая — какие есть лучше слова? Но они маркированные. Родная — это уже «родная», а не родная, и милая — не милая, а «милая». Оу, дарлинг! Что ж тогда — солнышко, зайныка, рыбонька? Фонетически ближе всего — лапушка. По смыслу все же — родная. Родненькая. Ближе, чем

*Здесь и далее по тексту — вариации известной строки Бродского, принадлежащие ленинградцу И. Константинову, в середине 70-х поставившему цель доказать таким образом, что настоящая поэтическая строка есть сверхсловесное единство, где от замены слова на фонетически и ритмически сходное с ним ничего не изменится. Вариаций этой строчки у него было, кажется, около пятнадцати; привожу лишь те, которые запомнил — а то и (кто сейчас разберет?) добавил сам. — Авт.

русского роду-племени, не мужского-не-женского-не-среднего, какого-то совсем-совсем-только-моего-рода. Но как сказать «родная», чтоб так и было, чтоб дошло, вспыхнуло: р о д - н а я?)

— Ну, улыбнись, родная, ну, поцелуй, родная...

— Что?

(Не дошло, не вспыхнуло; а ты что думал, ты будешь шутки шутить, а она ловить каждое твое слово?)

— Это я так. Ну договорились?

— Да.

— Не боишься больше?

— Нет. Поговори со мной. Пока ты говоришь, мне не так плохо.

— О чем?

— О чем хочешь. Все равно.

— Ну да, телевизор еще не работает, кто-то же должен фонить (но-но, обижаться — это роскошь, много себе позволяешь; просто раздражен, вот то-то и оно, потому и не могу полюбить в нужную силу: непробиваемый щит раздражения, его тыком не взять, а только в обход, оно само должно истаять-отпустить).

— Нет-нет (торопливо-извинительно), я хотела сказать, мне все одинаково интересно, что ты говоришь. Ты же знаешь, я люблю, когда ты говоришь серьезно. Только говори серьезно.

Помилуй мя, Господи, яко скорблю; сметеся яростию око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в въздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. Забвен бых, яко мерта от сердца, бых яко сосѹд погѹблен.

— Серьезно... Пожалуйста. Поговорим серьезно о серьезности говорения. Именно же... Ну, так... или так... словом, вот это я и имею в виду: стоит что-то сказать, как в тот же самый момент — тут же! — догоняю, что сказал не то, что нужно другое слово... Понимаешь, и вправду чувствую, что мысль, изреченная вправду, всегда-всегда! — есть ложь! Я без конца сам себя догоняю, но никогда не догоню — ибо я сам свой предел, — не успеваю предотвратить, а если бы и успел, то сказал бы только д р у г у ю

ложь, понимаешь? и могу только внутренне морщиться и совать голову под мышку от стеснения за фальшь, как когда я в 7 лет видел поцелуй на экране или когда поэты с выражением вслух читают стихи — потому что стихи нельзя читать вслух, нельзя их немую полноту звучания искривлять одним только с о и м озвучиванием! — и я понимаю, что времена Толстого прошли, что ничего почему-то, не знаю почему, но — нельзя, уже нельзя сказать прямо — и чтоб тебя так прямо же и поняли, на полном серьезе, что нельзя сказать вообще что-то, не сказав при этом чего-то совсем другого, что настоящее слово с каких-то пор, хочешь не хочешь должно стать каким-то боковым, обходным, должно как-то непонятно-ладно возникать из тишины, не разрушая тишину, и так же уходить в нее, тихо сходя на нет; но так мог только Мандельштам, да — не всегда — Пастернак, в стихах, но в жизни и они лепили, что под руку попадет, не те, д р у г и е слова, жизнь в отличие от искусства — как будто она уж и совсем не важна — загажена-запружена-засклизнена д р у г и м и словами; оно и понятно, мы привыкли, что в жизни нельзя же ежесекундно напрягаться, как за листом бумаги, ища каждое слово в простом разговоре, но... ты вспарываешь тишину, чтобы слово произ-неслось, с-неслось, ты пускаешь ракету в темноту, чтобы догнать реальность, родить вещь-слово, вещество слова, ствол слова, а оно-то пустое, оно — мимо вещи, а тогда — на хрена оно? и ты? ты зачем взял на себя плюнуть в мир лишним пустым словом, не из пламя и света, а дурно пахнущим мертвым словом? Свалка слов и без тебя переполнена, мир загрязнен ими более, чем песок Крымского побережья — фекальными массами, и тут еще — ты, затем-то ты и явился, голуба... И вот когда я узнал православие — не там, где византийство риторики, где витии многовещанная и плетение словес, а там, где тоска по молчанию, по тишине, этому б е л о м у з в у к у — с его целомудрием слова и боязнью говорить умно и красиво — ты вспомни хоть какое-нибудь высказывание преподобного Серафима, или оптинских старцев, или Феофана Затворника, которое было бы небезыскусным по форме, а ведь тот же Феофан и с греческого переводил, то есть если бы захотел, вполне был бы в состоя-

нии словесно попиришествовать, — вот тогда я сразу понял: оно! мое! вот где собака зарыта! Но это такое мое, которое моим никогда не будет, которое мной овладеть может, а я им — нет, к которому я могу только тянуться, понеже при всей ненависти к словам я неистовый болтун, я алкаш слов, — я — говоритель!.. Но тогда уж — говорить прямо и просто, как Толстой, быть может, не угадывая тайну существа вещей, но, по крайней мере, и называя их по их именам, не плодя ложных сущностей, не блуждая по миражным пространствам изобретенных «реальностей», не плодя виртуальных духовных смыслов, как очередной Гребенщиков, — хотя бы, х о т я б ы так, как Толстой, ха-ха, но мы уже не можем, засранцы, и не только по недостатку таланта, но: мы мутанты культуры: не имея вчерашнего классического образования, не зная толком ни одного языка, не учась толком логике, риторике, истории, литературе и философии, то есть, попросту говоря, не водворив в себе строй, порядок, многоступенчатый и традиционно организованный, не подготовив себя к постижению, дисциплинированному пусть не совершенно, но хотя бы так, как научилось дисциплинировать себя европейское человечество, — растя и развиваясь самоломанно, как подзаборная трава, как беспородная дворняжка, мы безбоязненно, на свой страх и риск проглотили такое количество разнородной и разноразмерной культурной пищи, текстов, звучаний, шумов, которое и не снилось нашим мудрецам...

В добавление к старым Платонам, Шекспирам, Бахам, которых хоть не энциклопедически, но как-то и мы освоили, добавим необъятный модернизм и постмодерн, добавим сотни мелодий от «Битлс» до каких-нибудь «Дип Форест», тьму джазовых тем и импровизаций, тьму стилей от старухи Ма Рэйни до Арчи Шепа, от Кинга Оливера и Бикса Бейдербека до Гарбарека и Терри Риндалла, да тьму песен Высоцкого и К^о, автоматически западающих в память, тысячи фильмов — если бы эрудит времен Владимира Соловьева должен был прибавить в свою копилку труд по освоению необъятной фильмотеки от Гриффита и Дрейера до Тарантино и Гринауэя! — сотни имен всяческого фигуратива и нефигуратива, концепций, ин-

сталлаций, объектов, перформанса, поп-арта, панк- и постпанк-арта и тэпэ, неисчислимы и непроходимые тексты — философские, культурологические, семиотические, практических и теоретических мистиков Востока и Запада... Не освоим «Логiku» Милля, не прочтя хотя бы учебник Горского, беремся читать Витгенштейна и Делёза, Фуко и Бодрийяра! И тут же всякая дешевка, попса и кич, но и от них не отмахнешься, они сами лезут в тебя, как вирус гриппа, заполняют тебя, шумят в тебе, но и тут своя «от кутюр» и свой ширпотреб, и тут куча всяких социокультурных смыслов, да, кстати, и сама культура моды, видимости, человекообложки, вытесняющая даже человекоактера, какого-никакого, а все ж г о в о р я щ е г о человека... и вот все, все это валовым продуктом входит в кишки, лишённые отлаженного аппарата упорядочивания, сортировки, сепарации, лишённые многовеково-отточенного инструментария, единых, а не множественных критериев оценки! То есть мы должны либо просто валить все в кучу, на дно, либо на ходу отбирать и укладывать по штабелям, приводя в некий новый ценностный порядок, а тем временем, обгоняя наши усилия, все тяжелеет напор культурного хаоса — культурного хаоса, вдумайся в этот парадокс, это как мертвые души! — все сильнее гул всмятку утрамбовываемой, трещащей по швам Психеи, и в этом компосте совсем исчезает ясная иерархия смыслов и ценностей, они просто стискивают друг друга, и начинается несварение души. Какой уж тут серьез! Со старой культурой мы разделились еще Джойсом и Стравинским, уже с тех пор не разберешь, где кончается высокая культура и начинается низовая, где кончается полиция и начинается Белья, а потом пошло форменное раздвоение личности, когда мое этическое подкашивает, что смысл фильма «Бронепоезд Потемкин» лжив и примитивен, а мое эстетическое — что таких кадров и такого монтажа днем с огнем не сыщешь, какой уж тут серьез, и не случайно один еще раньше предчувствительно истекал клюквенным соком, а другой на трагические разговоры научился молчать и шутить, но... но так же нельзя сто лет, надо найти какой-то выход, чтоб опять говорить прямо: «Мне больно», — а слушатель в этот момент, чтобы

не скучал и не прикалывался, а сочувствовал. Но как?.. Понимаешь, я болен несварением души, я уже не знаю, нужно ли в просвещении быть с веком наравне или на самом деле хрена лысого мне в этом «веке», какая мне пужда быть с кем-то там наравне, когда я сам по себе, ведь не только он, но и никто никогда ничей не был современник, а все прочее — литература...

Вот вопрос, но кто ответит? Церковь? Вот, я прихожу в нее и говорю: «Помимо грехов, нуждающихся в покаянном плаче, в моей душевно-головой смкости — еще сто тонн всякой-разной культуры и контркультуры. Что это — цветы добра или злонравия достойные плоды? Разбираться скопом или поименно? Если это зло — может быть, это зло неизбежное, нечто вроде лжи во спасение, и тогда я уж его как-нибудь контрабандой протащу с собой в Церковь, а вы закроете глаза, верно? а я молчком пристрою в уголке свою private property — или все-таки пельзя? Или все же тут есть какие-то тонкие корреляции, между церковным и культурным, и они уловимы лишь на личный вкус и оцупь, и надо самому учиться, на то и свобода? Или еще как-нибудь?» И что, ты думаешь, она отвечает? А? Вот то-то. Либо вообще ничего не отвечает, только ножками качает, либо — «отсекай самость и читай только отцов». И опять же — как к непрерываемо говорят-то! Ведь это только в старые добрые докатастрофные времена типичный, дюжинный батюшка был потомственный, духовного сословия, он в своем звании так же честно зарабатывал кусок хлеба, как честный человек купеческого или иного звания-сословия: выполнял все требы, какие были потребны, на что и был рукоположен, и тем по совести служил Богу; а желаете большего — пожалуйста в Оптину к отцу Амвросию. Такой и не помышлял о том, что поставлен рассудить, спасался ли Пушкин своими стихами — или только молитвами митрополита Филарета о нем, как мне давеча сказал один неофит из бывших поэтов. Вот они-то, бывшие поэты, художники, артисты и люди непрофильных, но творческих амбиций, и валят сейчас валом в священники или состоят при священниках в ближнем круге и выступают где могут. Эти не согласны быть дюжинными. У них так не получилось, в

искусстве-то, вот была мука творчества — и тут им показали выход: отсечь это все как самость! наступить на горло греху — и своему, и чужому! и это и есть на самом деле высшее творчество; художество всех художеств! Притом же этот запрет на вольную мысль и творчество, выходящее за пределы церковного агитпропа, совершается и в самом деле творческим путем, только материалом уже не слово или краска, а живые души паствы, из которых лепишь — и как же славно, округло выходит-то. Тут как, говоря вслух: «Аз, недостойный иерей...», про себя не подумав: «Я, в достоинстве иерея...»? Тут станешь непререкаемым, от такой удачной творческой самореализации... И востребован на все сто! если бы еще гнилая интеллигенция палки в колеса не втыкала, всякие, сменившие окраску евреи... Вот им и забабашаем по чану «непогрешимостью соборного разума Церкви», какового мы одни и есть аутентичные репрезентаторы, — чтобы одна дурная овца не портила все стадо!.. Вполне понимаю. Еще неизвестно, как я сам повел бы себя на их месте... И знать больше ничего не хотят — и я их понимаю. Но ведь и секулярно-культурный мир знать ничего не желает — он и так занят: производит и потребляет все новые культурные ценности, производит и потребляет! Только успевай интерпретировать, а тут еще я... То есть и там, и там кто-то есть, но — их мало, их, может быть, трое...

Вот почему я выпадаю в осадок, опять и опять, я тону (Говорил и говорил, все крепче сжимая ее сухо-горячую руку, с наслаждением чувствуя, как по мере выговаривания покидают не только душевные шлаки, но и сухой иссушающий распор раздражения, и головная боль, которым нужно было только одно: чтоб о них забыли, оставили в покое, пустили на самотек, и тогда они, оставшись без контроля, незаметно слиня-ли бы почти без остатка. Просто в силу подвижности всего живого. Так всегда с недосыпа на сломную голову, когда изнеможение не давало напрячься, и говорилось, как пилось с похмелья: дурно, но само собой, с той лишь разницей, что в одном случае ты вдыхал обманчиво-ясный огонь, а в другом выдыхал его). — Тону, потому что успел нажать столько ума, чтобы серьезно отнестись и к пустякам, и столько глупости, чтобы перестать всерьез воспринимать серьезное,

все перепуталось, в натуре, и только сладко повторять, повторять, повторять...

— Как же ты можешь верить? Ты еще можешь верить? Как?

(Вот именно. Как? Вот именно. Зрячая женщина. Зрячих пальцев стыд. И выпуклая радость узнавания. Нет, горечь узнавания: себя. Где твоя вера? Был ли мальчик? Или — очередное отрезвление после очередного увлечения? Нет. Уверен? Не обгоняй.)

— Как? А по памяти. По памяти, понимаешь? Память сердца-то есть или нет? Она сильнее рассудка памяти? Сильней. Ты помнишь, как было, когда я поверил? Как вспыхнуло — и сколько горело? И видимо, я набрал такой запас веры, что и теперь, когда все временно перегорело, и я... да, я Его перестал чувствовать... отсиженной душой, понимаешь? — и теперь я вычерпываю запас: вспоминаю то, что з н а л тогда до мозга костей, и говорю: спокойно, все так, как есть, веди себя прилично, главное — дожить до весны, как говорил знакомый психотерапевт из самарских Юнгов, доживи — и все оживет.

— А ты уверен, что все так, как есть?

— А ты нет?

— Смотря в чем.

— Ты не веришь, что Иисус есть Христос? И что в Нем истина? Даже не в Его учении, а в Нем самом?

— Нет, этому я верю. Я это знаю. Только это я, пожалуй, и знаю. И еще я почему-то точно знаю, что будет Суд.

— Ну вот видишь, я тоже.

— Да, но...

— Что?

— А ты веришь, что когда мы говорим — «знаю», то на самом деле знаем?

— Это не разговор. Или будем так говорить... Ты заметила, кстати, как это косолапое «будем так говорить» тихой сапой заместило прежнее косолапое «так сказать»? — Так вот, будем так говорить: твой вопрос нерелевантен. Если, говоря о знании, ты имеешь в виду некую процентовку, то в плоском смысле стопроцентности нельзя знать даже, что дважды два — четыре. Евклида, чтоб был скромнее, потеснил же Лобачевский, вот и арифметику

потеснит другая арифметика — дважды два окажется минус два или квадратным корнем категорического императива. Это, кажется, Юм говорил, что если до сих пор каждый день заканчивался закатом, то это совершенно не указ верить, что завтра непременно произойдет то же самое. А может, и не Юм, может, еще кто или даже я сам такой умный, но я с этим согласен совершенно, это и Орнет Колмэн понимал безо всякого Юма: *Tomorrow is a question**. Но есть другое знание, не стопроцентное, но само себя удостоверяющее, и его единственный критерий — несомненность, ведь когда любишь, знаешь: тот, кого любишь — вот он, это он и только он. Так много девушек хороших, знаешь, но почему-то лишь одна из них тревожит, ничего не попишешь. А? Почему?! Унося покой и сон? Потому что на каждого человека есть свой ловец человеков. Который говорит с ним не о смысле жизни и прочих неинтересных вещах, а — голосом с а м о й жизни. Потому что все пророки всех религий могут только учить религии, их можно слушать, а можно и нет, потому как всяк выпьет, да не всяк крикнет, им можно верить, но их любить нельзя, а Он есть сама жинь, — и я еще не успел Его понять как следует, а уже полюбил, уже внутри жизни, внутри Него, у Него за пазухой, — а сейчас Его нет, жизнь покинула меня — но я помню, я помню ее вкус...

— И о чем же тебе говорит — говорила — сама жизнь?

— О чем, о чем. О чем говорит жизнь? О смерти. И о другой жизни..

— Да. Значит, твой любимый — Христос... А кто твоя любимая?

(Не ждали. Всегда неожиданно. Но мы знаем, что такое «всегда» может настичь всегда. И мы всегда наготове к всегда-неожиданности. Но пасаран).

— Конечно, ты.

(Ни доли секунды на промедление, ночью разбуди — слетит с языка; тем более, если ты как следует разбужен. Но как она угадывает? Не все же время, даже и не так уж часто я вспоминаю о Той, если бы она просто в с е г д а подозревала, то наобум бы и: бабах! а то ведь нет, всегда в яблочко, что это, ис-

*«Завтра — это вопрос» — тема и одноименный альбом джазового авангардиста О. Колмэна.

тончившаяся интуиция, компенсирующая болезнь или безошибочное чутье, когда любишь и ревнуешь? Женщина, одно слово. Тем более. Любят ушами. И давай. И вперед. И повторяй не ленись. Я ее люблю? Люблю. Это истина. Истина не тускнеет от повторений.)

— Конечно, ты. Ты моя любимая. Благословенна будь, моя благоверная. То есть благоверна будь, моя благонадежная... Словом, благонадежна будь, моя благословенная — ты и есть моя любимая...

А как она все-таки поймала-подсекла. Так и ёкнуло — и сразу опять заглохло. Чем дольше тянется эта минута, тем более она ровно невыносима, как проза Варлама Шаламова; с нее содрана кожа, как с голоса Роберта Планга образца 1970 года. *Immigrant song**. Когда тут жить невозможно, а там невыносимо, что остается? Уйти высоковольтным электротоком в провода, натянутые меж невыносимо-своей и невозможно-чужой землей, и нигде не — быть, а только течь, и виться, и выть в проводах. Куда бы ты хотел? Во Францию? В Германию? Почему? А? Почему бы не в Германию? Ничем не хуже, чем. Все репуталось. Ничем не хуже, чем. Есть все шансы быть полноценно несчастным. А кто тебя примет? Дураков нет. Бог даст, найдутся. Россия. Лета. Лотерея...

Два вида шумов во тьме: внешний, сильнейший, содрогающее во чреве и сокрушение костей от гула за окном в четыре полосы текущих машин, — не позавидуешь чертям, прописанным в преисподней в районе центр-центр-москва — этот шум словно вынесен за скобки, точнее, он и есть эти скобки: есть и нет; дает жить, спать, верить или влачить свою судьбу тому, кто внутри него; и шум внутренний, негромкий, скрип кровати жены, храп приехавшего гостя за стенкой в другой комнате, шуршание мыши в углу, щелчок отсохших, оставших от стенки в незримой точке обоев, — этот шум всегда отчетлив, всегда п р и с у т с т в у е т, выдавливая из сна или из непрерывности сосредоточенного раздумья, царапает канифолью нитку души. Внутренний шум в раме внешнего; бывает, однако, они странным образом, как странно разнимаются, казалось бы, сплошные кольца в руках фокусника, меняются местами, и тогда внутренний нарушитель тишины: отчетливое тиканье часов — совершенно не отмечается во мне, а

*Песня «Лед Зешпелин».

внешний, даже совершенно безобидный: чиханье или шарканье соседа сверху — вторгается в душу колючим напряжением угрозы... шум. Шумер Аххад, деревья гнулись. Какая буква сравнится с Ша... какой звук — с шершавым шаркающим Ш? От бога воздуха Шу, от божественной Шехины — формы присутствия Господа в мире, от шамбалы до преисподней-шеола, от шахиншахов до швали, шоблы и шелупони в воровском шалмане, от острого штыка до тупой швабры, от шороха-шепота-шелеста до шрапнели, от первой молитвы «Шма, Исроел» до «Ша!» и «Шухер!» — какая амплитуда выразительности от занозисто-гортанного выкрика семита до милого шуршания осеннего листа, какая ширина воронки! Шумерки истории.

В урочьях Ура и Урука. Наречья мертвые Двуречья. Шмеркалось; мастера заплечья, Уже отужинав уроком, Мне станут наносить увечья, Начнут выламывать мне руки. Я не хочу в глуху глину Месопотамии унылой, В мой Московии постылой Я не хочу горбатить спину И над отческой могилой бездомную дубасить псину. Но я хочу, как по канату, Между Уралом и Шумером (Вариант: Между провалом и промером) Пройти, меж ГУМом и Гомером, Меж Арафатом и Сократом — Скитания исполнив меру, Как Ной, достигший Арарата...

Стало тихо. Шум умер. Но сейчас будет новый, это уж будь благонадежен. Великий Шу умер — да здравствует Шу...

— А ты уверен?

— В чем, прости?

— Уверен, что твоя любимая — именно я!

Нет, смотри, не отстает. Взяла след верным чутьем. Верной дорогой идете, товарищ. Почему я знаю, что она смотрит на меня внимательно? ведь я не гляжу в ее сторону, а если б и глядел, почти не увидел бы. А она видит. Она увидит, если я в темноте покраснею. Не красней, понял? Видит, как кошка.

Нет, не она. Это Та была — кошка! И вечно держала котадругого в своем тыковкином домике, где можно было ходить лишь пригнувшись (как она тогда выхватила хрустевшего голубя прямо из кошачьей пасти и хрясь по морде своему воспитаннику! свирепо. Изрядно), и глаза ее карие с кошачьей прижелтью, и взгляд пристальный с тревожащим прищуром, и тихая полуулыбка-с-тайной (тайна как раз и достигалась не-

полнотой, невыявленностью смысла улыбки: что в ней — робость, девственная застенчивость или искус, соблазн? как у кота — пугается или путает?), и говорила мало, из тишины, как мяукала, глуховато-осторожно, и любила одиночество, и была равнодушна к комфорту, нужно было только тепло, и есть любила всякую полупомоечную дешевку, кильку, желтые подванивающие соленые огурцы из овощного магазина, и по-кошачьи умела бродить сама по себе, умело скрывая, как стало известно задним числом... интересно, что она не любила фотографироваться на документы типа паспорта, как преступник, как увиливающий в темноту кот (впрочем, Эта тоже терпеть не может официальных снимков, обе донельзя немилосердны, неснисходительны к своим фотоизображениям, просто из себя готовы всегда выйти: «Это не я! это ужасно! уродина! не смотри! не хочу э т о предъявлять!» Да, по крайней мере в этом они похожи, в знании того, что красивы и красота их, столь правильная у одной и неправильная у другой, не ловится и ускользает из кадра, всегда, без исключений, нефотогеничная красота, и этот-то минус-фотогеничный элемент, это ускользающее и есть главное... Да, но Этой не занимать стать гневаться, а Та была тиха, и вдруг... поистине, как говаривал один самарский знакомый, логист и пьяница, «если вещь в себе разозлить, то она станет вещью вне себя»)... А то вместо кошачьего появлялся сонный, подслеповато-распахнутый взгляд ребенка, увлекательно сопровождаемый контрастно взрослой, искушенно-порочной большегубой гримасой — тот же, что и с полуулыбкой, нехитрый, но безотказный бессознательный прием, профессионально используемый позже Аллой Пугачевой (и, кажется, еще той актрисой, что похожа была в молодости на молодую Пугачеву, у нее еще сначала была еврейская, а потом русская фамилия... кажется, все с вот такими слегка лисьими лицами и кошкамиными ухватками эксплуатируют этот прием; да, лисьими, вот именно, и у Той... — *faux Lady**)... (да, кильки, пельмени с дурным фаршем из самого дешевого мяса и огромного количества жира и еще собственноручно замаринованный в кислешем уксусе лук, та прозорливица права, стоит о важном — всплывут огурчики-помидорчики, да, а если делать из них салат по-болгарски, то посыпать тертой брынзой, но натереть ее можно только если

*Песня Д. Хендрикса.

не вымачивать, а тогда она соленая вусмерть, поэтому симпатичнее польский салат: добавляешь еще к свежим соленые огурцы и круглые яйца и майонез, странный симбиоз летнего овощного салата и зимнего оливье, а то еще испанский гаспаччо: к тем же огур-дорчикам подстругиваешь перец и крошенный хлеб и, натурально, ливануть уксусу — это уж будь здоров и без язвы, ды отцепись ты от ед, заруби себе на носу: где стол был яств — там гроб стоит, буквально. Да. Вернемся.)

И вот это-то существо с подмесом высшего (так можно, не кощунственно? кажется, нет; как сказал, так сказал, не переговаривать же), эту прекрасную Даму средневожжского извода, эту пищу королеву не-в-изгнании, коронованную тобой же самим, добившимся в конце концов молчаливого признания легитимности этого неписаного титула — пусть в узком, по своему серьезном для самосознания кругу друзей-приятелей, — вот это-то существо, вряд ли (как казалось тебе при вашем знакомстве в твои дурачки-восторженные девятнадцать лет, постоянные на «Одиссее капитана Блада», «Трех товарищах», «Коте Мурре»), имеющее тело под одеждой (и какой? — валенки, за неимением денег на сапоги, и некое п о л ь т о-самостроик, что может быть романтичней!) — вот это-то, это существо ты один властен был низвести с небес на землю, понудить к соитию, унизить — и затем опять возвести и возвысить — и так и вести тему, так и жить на интересном контрасте!.. Увидеть в женщине что-то от богини, проникнуться этим, настроиться до мозга костей на это видение — а затем разбудить в богине животное, видеть, как она не в силах противиться тебе, унизить ее — а на самом деле созданный тобою ее образ, под который ты ее небезуспешно и не без ее помощи подгоняешь — до себя невыдуманного и тем самым возвысить себя до «нее» (тобою же придуманной, вознесенной на несуществующий престол — и ты это сознавал-таки в глубине души, но твоей серьезной игре с самим собой это не мешало: значит, сознавал только в малую, безопасную для самолюбия толику) — и наслаждаться контрастом ее самостоятельной, но ощутимой небесности (ведь и капуста в какой-то степени театр, и он как-то по-театральному будоражит, слегка жжет глаголом) и земной нечистоты происходящего неизбежной обычной слизисто-слизкой прозы близости, в которую небесность плспалась с размаха; наслаждаться и своим возвы-

шением, и ее униженностью и одновременно высотой, проглядывающей, и не смывающейся без остатка никаким бесстыдством — всем сразу... Сие есть высший сиентический градус Соломоновых тайных наук.

Только ты. Странная ее удобосклонность к тебе, странное влечение — род недуга, при-страстие («у тебя какая-то улыбка особенная, что-то не знаю что, но оно е с т ь»), замороженность тобою, невозможность тебе противиться — это... это больше чем льстило. Это наполняло тебя — т о б о й, это тебя делало, не меньше, чем ты делала ее — «ею». Ты нес в себе себя з б о л ь ш о й буквы и потому так и воспринимался окружающими, если не на сто, так на много процентов, и это, в свою очередь, подпирало тебя дополнительно. И вот, когда твои-ее акции двукратно поднялись до потолка, появляется друган-враган, простой советский парень, каких у нас в Союзе миллионы — и просто показывает, что это может любой, стало быть, и удобосклонна она не к тебе-единственному, Укротителю небес, а к кому хочешь, если он чем-то ей симпатичен, а значит, и ты — не Ты, а голый король, да и она некоторым образом неглиже, да и оба вы — нормальный обманутый муж и обычная разочарованная, обманутая мужем и сразу разрешившая себе все тяжкие баба... Ужасно гадко, да, а в сущности и на этом витке — простая гордыня, как все примитивно, ибо оно верно; вот тут и помоги себе, прочувствуй разницу — сегодня, сейчас, вот, рядом с тобой — женщина, у которой ты был и есть единственный мужчина, у нее нет кошачьей тайны, пусть, стало быть, нет и того интереса, нет «изгиба», есть только правильность, норма, но это и прекрасно, это залог того, что тебя не обманут и ты не помешаешься на вскрытом внезапно прошлом еще раз. Прочувствуй контраст, пойми, что добродетель не скучна, а насущна, проникай, проникайся, сжимай ее руку, чувствуешь, как она приятно горяча — в отличие от твоей злой горячки? хотя горяча от болезни, как и ты! представь ее прекрасную руку в темноте, как косу, слетевшую из вен, нет, как реку, где притоки-вены так и не сливаются, а неслиянно текут в нераздельной реке к дельте кисти, представь ее руку как Нил; значит, где кисть, там дельта, Танис, Саис, Элефантина, там храм Исиды на острове Филе, и ты следуешь туда указательным и большим, и тут, на острове Филе, тут тукет темно-живой пульс, тутой клюв пульса. Тук Тук Тук.

- Почему ты так говоришь?
- Да. Почему мы так говорим?
- Нет, подожди. Разве я давал тебе повод сомневаться, что именно ты — моя любимая?
- Еще как давал (*незримым электрическим разрядом незримую от привычки тьму незримо, но отчетливо высвечивает сардоническая усмешка*).
- Как тебе не стыдно? За столько лет я тебе ни разу не изменил, больше того, ни разу даже спьяну никаких поползновений хотя бы на легкий флирт. Назови жену, которая могла бы этим похвастаться. Мне один знакомый: «Ты что, старик, ни разу жене не изменял?» А я набрался мужества и говорю честно: «Нет». А он смотрит на меня как на идиота или последнего вруна. Как на последнюю падлу.
- Я не понимаю, чем тут гордиться или чего стыдиться. Это просто норма.
- Да не горжусь я и не стыжусь. Я констатирую факт: тебе не в чем меня упрекнуть.
- Брось. Это не по любви. А по долгу службы. Ты просто *на столько* богобоязнен, вернее, был, когда крестился, а потом уже по инерции богобоязненности... Когда человек бросит курить, лет пять не покурит, ему все равно хочется, но он уже продвинулся, помнит, сколько потратил сил — и не хочет просто так все перечеркнуть, за фу-фу, правильно?
- Нет. Но в любом случае факт есть факт. А это уже кое-что, так?
- Конечно. Но только кое-что. Не говоря уже о том, что ты неустанно прелюбодействовал в помыслах.
- Что, со всеми подряд? С каждой прошмандовкой?
- Ой, ну. Не придурайся. Ты знаешь с кем.
- Когда?
- Всегда.
- А ты меня за руку ловила?
- Тебя не надо было ловить, ты забыл. Ты сам мне все время исповедовался. Как тебе плохо, как жалко ее, какая она плохая, но хорошая... И так годами!

Почему бы и не в Германию? Будет нойе либер Фатерлянд. И прекрасно. Германские дубы подубовитее будут. Пройтись

по Вестфалии бузинной, а najlepше по Баварии хмельной. Уж это первое дело. В компании Маттиаса Нитхарта-Готтхарта, Тильмана Рименшайдера, Ангелуса Силезиуса. О, цэ ж гарна компання! Этим ребятам есть чему тебя поучить. А то вот есть еще город Ганновер. И у Грина, что интересно, есть герой по имени Ганновер. Так сочинять можно. А что? что ты, интересно, имеешь против фамилии Ростов? Почему лебедей танцевать — классика, а лошадей — бардак? Что плохого: Дэйв Любек. Эдуард Киль. А лучше герр Дортмунд Дюссельдорф. Нет, Германия — это я вам скажу. Кто любит, чтобы трава была зеленой, солнце желтым, а крыши красными, тот... А кто же этого не любит? Да, но экологическая ниша? Аллес меглих. Но вряд ли. В нише Ницше — ни шагу ниц! рифма — Лейбниц. Бред без брода. Буттер-бред. Вилькоммен, герр. Но нужно арбайтен, герр. А кто будет есть арбайтен нихт, майн либер герр, того мы будем есть немножко паф-паф. Прошу паньство до газу*. Нет уж, ну его на. Как этот, у этого, в этом фильме: «Польская пехота хорошо марширует, когда ею командуют польские офицеры». Вот именно. А святые хорошо маршируют, когда ими командует Господь Бог. А я и вообще годеи разве что к нестроевой, и то если... Ахтунг! Не молчать! Говорить быстро!

— Что было — сплыло. Теперь у нас другой эон. Другая плерома. И в этой плероме ее не значится.

— Ой ли?

— Да (кого ты хочешь убедить: ее или себя?) Да. Да. У нас венчаный брак. Мы много лет в венчанном браке. Теперь все другое. Другие небеса и другая земля.

— Ты это так повторяешь, будто хочешь себя убедить. Пропилить борозду в душе.

— Зачем? Я и так знаю, что таинство брака — объективный мистический факт. Не зависящий от наших чувств.

— Не плохо сказано. Но хотелось бы, чтобы что-то все-таки зависело от наших чувств. От твоих чувств ко мне.

— Так тебе повезло! Они просто превосходны. Превосходны в превосходной степени. Как уже не раз говорилось, по счастливой случайности, предопределенной

*Название рассказа Т. Боровского, переведенное у нас: «Пожалуйста в газовую камеру».

Божиим промыслом, я люблю именно тебя, родная. Почему же ты не хочешь поверить именно в то, во что хочешь поверить — и что, по счастью, есть на самом деле?

(Уйди, наконец, от темы! кончай арапа заправлять! — я вру? — Я вправду ее люблю. — Но ведь и Ты тоже. А Эта этого не поймет и не примет никогда. Молчи в тряпочку. — Это не главная правда, что я люблю обеих сразу. Главная — что я люблю Эту, а Ты только послекусие прошлого, только лукашкины ловушки. Но как ни силен лукашка, Бог сильнее. Уйдет, куда денется. Дотерплю, сил хватит дотерпеть. А пока надо все отрицать. Это не ложь: есть правда факта и правда явления. И я сделаю так, что правда явления зачеркнет правду факта. И сие есть высший сиентический градус соломоновых наук — Но она видит тебя насквозь, она распарывает тебя до подкладки! — А я в молчанку, не колюсь и в сознанку не иду. А пока — ухожу, снимаюсь с темы.)

— Пошли ты этот свой мазохизм к тете Моте и перестань подозревать меня в двойной игре. Не такой я простой, каким кажусь, но до адмирала Канариса мне — как до неба пешком. Лучше обними.

— А если я скажу, что есть время обнимать и есть время уклоняться от объятий?

— Тогда я тебе отвечу, что цитировать — это моя привилегия, это наши вялотекущие приоритеты, ёкорный бабай, то есть это такая позорная болезнь вроде шизоолигофрении, японский перец, но я не думал, что она еще и заразная...

Беззаконие мое познах и грех моего не покрых, рех: исповею на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставиши еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приблизятся.

— ...вот, а твое женское дело — обнять и согреть, и самой согреться.

— А твое мужское?

— То есть?

— Ну, не цитировать же. Это твое хобби. Или невроз. А твое мужское дело? Жена должна тебя обнять. А ты ей что-нибудь должен?

— Ну... Ну, да... Ну, это... Любить?

— Какой ты умный. Угадал с трех попыток. Если учесть, что ответ ты знаешь наизусть, то... Нет, я в более общем смысле. Считаешь ли ты, что ты вообще — как мужчина, муж, человек, я не знаю — что-то д о л ж е н?

— Должен, наверное («виноват, исправлюсь»)...

— Я имею в виду: вот ты чувствуешь нутром, что д о л ж е н ехать за тридевять земель в храм, или что д о л ж е н что-то написать, или высказать, а если бы был архитектор — д о л ж е н построить, ну, ясно?... Там, где ты чувствуешь, что — д о л ж е н, к этому ты относишься повашенски всерьез. Вот я о чем. А мне, жене, семье — ты, потвоему, что-нибудь д о л ж е н? Или только жена должна тебе, а ты там — только своему там искусству-делу-религии? Она — я — должна тебе отдавать любовную там энергию, а ты ее должен только брать и подпитываться ею для какого-нибудь там дела? В общем — тоже теория, тоже серьезная модель жизни. Нет, скажи. Только честно.

(Так я тебе и сказал. Как в детстве: скажи честно, признайся — мы тебя не накажем. А сознаешься — как же ты мог? как смел? да после этого!.. Опять дошла до чувства долга. Отдавать, а не брать. Она — сама совесть. Развитая совесть человечества. Достала. Дурак, это же знак того, что мы вылезаем из приступа. Раз уж она в силах пойти на принцип, напрячься, начать серьезную тему, поставить вопрос ребром — это выздоровление. Порадуемся на своем боку. Не рано ли? Но так я ей и сказал. Но и наоборот тоже неправдоподобно, если кто меня знает. Придется опять ваньку валять. И опять она, что я ваньку валяю. А я чем виноват?)

— Теперь понял. Ты это в том смысле, что я тебя плохо одеваю-обуваю?

— Ваньку валяешь? Зря. Ты прекрасно знаешь, я не... А почему, собственно? И об этом тоже. Почему я должна оправдываться и делать вид, что это не важно?

— Вот именно, почему?

— Да, вот именно. Ты знаешь, что у меня нет ни одного приличного бюстгалтера? Что я уже год хожу в дырявых?

— Извини, не обратил внимания. А еще чего у тебя нет?

— Ничего. Ни костюма, ни приличных зимних сапог, ни... нечего носить.

— Угу. Всегда что-то покупаем из никаких денег, и всегда тебе нечего носить.

— Объясняю: покупаем по очереди, пока одно купишь, другое сносится. И так всегда.

— А ты хочешь, чтобы я вынул деньги из тумбочки, и мы сразу закупили одежонки на все четыре времени года, и еще обновили мебель, пока она не рассыпалась, и еще кухонную сменили на не проеденную злым жучком, и еще, может быть, машину? Тебе «Ягуар» или «Феррари»?

— Достаточно «шестерки». Тебя все это смешит?

— Меня это ужасает.

— Да, представь себе, мне этого иногда хочется. Представь себе, я нахожу, что носить из всего, что украшает женщину, только челку а-ля Марина и горделиво таскать вечную ложноклассическую шаль а-ля Анна — это такая же интеллигентская пошлость, как есть бандитская пошлость или мещанская пошлость. Я иногда еще женщина. Иногда еще молодая. Раньше считалось, что красивая. И мне иногда хочется хорошо выглядеть, и чтобы не скрипела продавленная кровать, и чтобы светлая кухня, пусть польская, только светлая, и чтобы... чтобы не счит... И мне (о, слезы на глазах, плач гнева и любви к себе, к себе-любви, к скоромимоходящей красоте, своей, своей!) иногда до смерти не хочется ездить в этом свинском метро, тереться об эти спины и зады, быть частью усталого на сто лет стада! После тридцати иногда хочется сесть в свой, изолированный от всех, пусть инвалидный, но частный драндулет.

— Хочется?

— Представь себе.

— Хочется — пере... шучу. Извини, родная. Извини, что не могу тебе всего этого дать. Я же не жалею на тебя денег, у меня их просто нет. Дал бы, да не могу, ты же знаешь не хуже меня.

— Я знаю другое. Не то плохо, что ты не можешь. И не то, что у меня нет, чего я хочу. Хочется — перехочется, совершенно справедливо. Но плохо, что это не я, а ты так говоришь. Ты и не хочешь мне ничего дать. Тебе до

этого дела нет. Ты не тряпок выше, а — меня, вот что обидно. Я тебе не важна, вот что важно. Ты хоть такую простую вещь понимаешь умной своей головой, что копеечные цветы или норковая шуба для пожившей женщины — одно и то же: любовь, прости за скучное слово! А ты мне нарциссика по весне не принес ни разу грошового — и не из-за денег, которых тебе на пиво дурное всегда хватало, а из-за того, что ты сам Нарциссик, понимаешь?

— Я понимаю, что тебе нужен другой муж.

— Мне нужен д р у г о й ты. И больше никто. Но если ты будешь... все время будешь со мной т а к, то добьешься своего: я уйду от тебя.

(Это уже серьезно. Разговор приобретает нешуточный накал. На предпоследнем дыхании. Лучший его фильм — или все-таки тот? Но с тем же. Взрывчатка на голове — это все-таки тот? Но с тем же. Взрывчатка на голове — это ломово. Шибает и 25 лет спустя. Уйдет она. Как страшно. Куда ты денешься? Куда ты денешься от судьбы и от сумы? И куда я денусь от тебя? Ты не уйдешь, а я так и буду сколько угодно, потому что я садохист. Кто-то же должен быть хуже другого, кто-то в семье должен быть грешником, чтобы их призвал Господь. Ага, и рассчитывать, что другой будет праведником. Отменно. Со всеми удобствами. Однажды ты уже рассчитывал на праведника для геополитического равновесия — чтобы грешить со вкусом — и накололся. Рассчитывать — вредная привычка. Но надеяться-то я могу? Кто мешает? Надежда — мой комплекс земной. На обострение не иду. Смотри. Осторожно. Выходи из штопора тихо-мирно, полудуриком. Не то ее опять сорвешь. Даже просто ссора — крайне нежелательна. Как ехать причащаться, не примирившись? А примириться с ней — трудней, чем не поссориться.)

— Ладно, я больше не буду. Тем более что наши желания совпадают. Ты хочешь другого меня, я тоже.

(Удар. Или щелчок? Стэп. Там в ночи. Известно где.)

— А-а!! — ...

(Убили одну — визжит другая. Как всегда: «Муму» написал Тургенев, а памятник — Чехову. Что достойнее — умереть молча или жить визжа? Короткая смерть — короткий визг. Долгие проводы — наоборот...

Всякий раз, когда проявляется мышь, даже в прошедшем, в

послесмертии, не может не взвизгнуть-вздогнуть, а меня от внезапного женского визга так и зарубает, сердце вниз-вверх. Дом такой, что впереди сотни внезапных визгов. Умру от инфаркта. Незримая смерть в ночи. Безвидна, но слышна. Нет, слышна не смерть, а убийство. Смерть молчалива. Слишком быстра. А та свинья под окнами нашего класса, как верещала! Когда резали. Все к окнам, а я у доски, что решал? нет, показывал химический опыт: смешал алюминиевые опилки с порошком йода — и пошли клубы фиолетового дыма; настоящее чудо, обалдеть какая красота, все и обалдели, но тут заверещала свинья и все кинулись к окнам, один я, как дурак, смерть увлекательнее всех земных красот и дивес, да. Что-нибудь успела перестрадать за этот миг гильотинирования-гарротинирования? Меньше, чем та, пока кололи-резали. Меньше жизненного вещества и скоротечней смерть — меньше и страдания? А вдруг больше? Вдруг тут один миг — как тысяча лет? Ладно, меньше пены. Мышь сдохла — прибавь ее к своему счету, возьми на прикус серебристую мышь. Ты же мышебой. Профессионал.)

— Пожалуйста, в-выбр-рость ее раньше, чем я встану. Чем зайду на кухню.

— Не волнуйся, хоть сейчас.

— С-сейч-час не н-падо. Не уходи.

— Все, выбросили из головы. Проехали. Так я говорю, наши желания совпадают. Ты хочешь другого меня, я тоже. Я тебе честно скажу, как на духу: я-хочу-чтобы-меня-звали — Монтгомери. А еще лучше — Макартур.

— Конечно, схохмить всегда удобнее, чем... Стоит мне действительно заговорить серьезно...

— Какие хохмы? Я во всю жизнь не был серьезнее! Монтгомери или Макартур, или Макнамара — это тебе не наш Незовибатько. Уж Маккарти навсегда будет не меньше как сенатор, уж Макдональд жену накормит, так Биг-Маком, не меньше, а Маккингош оденет в макингош. Вот бы тебе на ком жениться, на Мак-Магоне!

— Не жениться, а выйти замуж, сколько говорить.

— Один хрен, хоть замуж, уж Макнамара жену без лифчика не оставит, уж он ее защитит всею мощью 6-го американского флота, уж Маклюэн принесет ей в клюве, уж Маклафлин даст ей и лайф и лав, уж Маккарти обеспечит

фунтами стерлингов и славой на двести лет вперед, да и сам двести лет проживет юноюшей, чтоб его намочило... Пусть не жениться, а замуж, я и на это согласен, но я не хочу быть Фердыщенко, когда любой перр, если его фамилия Мак-Кой Тайнер, может жить — и жена, и детки его — будь здоров и не кашлять! Не хочу быть Фердыщенко, хочу изменить фамилию на Макдоуэлл или Маккинрой — и все пойдет как по маслу, увидишь!

— Не тушуйся. Ты и сейчас не простой Фердыщенко, а — член Русской Православной Церкви. Это звучит...

— Неужели гордо?

— Многообещающе. В перспективе еще более долгой жизни, чем у Пола Маккартни. Надо же что-то выбирать. Ты выбрал лучшую долю.

— Вот, теперь ты говоришь, как в совершенных летах. А как же сапоги?

— Дурачок, это я, чтоб тебя утешить. А ты потом меня утешить, как-нибудь купишь — не сапоги, то лифчик.

— Спасибо. Только насчет Церкви, видишь, я что-то приуныл. Православная ли она. Страшно сказать, но — православно ли нынешнее православие, отсохни язык? Опять мы сюда вырливаем — я верю, что спасение только в Церкви, что кому Церковь не мать, тому Бог не Отец, что «личный Христос» — это для манерных рок-бардов и поэтических девушек-флористов; но — что же делать, если мне мало той бытующей-практикующей Церкви, которую мне предлагают? Называют своим вселенским учителем Василия Великого, а сами используют его имя как обух, чтобы вбить в землю новых Василиев, уже в зародыше. Вкус, батюшка, московский вкус, отменная манера. Я и хочу Церкви, которая бы дала новую целостность, новый синтез, как в свое время и сделал Василий Великий, которая бы, отсекая в человеке самость, не исковеркала бы его божественную свободу, которая бы воссоединила меня с собой, а не изнасиловала меня при помощи меня же самого... я и хочу Церкви как творческой мастерской, которой руководил бы Василий Великий, блестящий ученик Иерусалима, но и Афин, а не Шаргуновы, Шевкуновы и Глазуновы... То есть пусть они будут, и дай им Бог здоровья, но я хочу в другой пригиль-

ный класс... В общем трехкопеечный я православный, скажу со всей ответственностью, а уж русский я и вовсе сомнительный...

(Теперь говорил уже, набрав разгон, с упоением входя в сильное течение речи, ее запоя и полной сладкой власти над ним, как случается бессонной ночью, за которой следует расплата длиною в разбитый день.) Нет, ты помнишь, каким я был неофитом? То есть по полной программе, во всей красе русофильства и пламенного мистического юдофобства; как умиляло меня хотя бы русское благочестие вплоть до кидания при Тишайшем Алексее Михайловиче целыми семьями в Москву-реку, буде их найдут воскресным утром в постели, а не на литургии? Да: и особая грешная святость последнего Государя — его жертвенная фигура... И — Россия еще скажет миру свое заветное главное слово... Все, что они только сейчас, когда им разрешили, пачками поднимают на хоругви, за что опять готовы, когда разрешили, умирать (ну, это еще посмотреть надо) — всем этим как мы все, как я горел тогда!.. Мы готовы были и к суме (впрочем, ее имеем и посеючас), и к тюрьме, и не важно, что не на меня пал жребий, и даже не важно, понес бы я его достойно или нет, этого о себе никто не знает, а важно, что я жил этим, горел на костре Святой Руси, и пепел тайного, незаконного, сверхзаконного знания стучал в мое сердце. Моя поруганная Россия, распятая юдаистским интернационалом и кагальным коммунизмом... Но время шло, я менялся, не по чьему-то наущению, а просто потому, что жил — и жил, смею думать, с открытыми глазами. И увидел, без возмущения, без удивления, просто увидел: это все кончилось. В них осталось, а во мне кончилось. В их смысле я больше не русский. Один из их учителей учит, что русскому должны быть комплиментарны казахи и татары, и совершенно, стопроцентно чужды всякие немцы, французы и тем более евреи — творцы Антисистемы. Но я не нахожу в себе решительно никакой склонности к татаромонгольству, оно мне дико не только по имени и безоговорочно не ласкает, а увечит слух. Я не понимаю, что я потерял в степях с ургой, и боюсь, что понимает это только режиссер, как следует перед этим набравшийся запаса положительных

впечатлений в Италии. Он, правда, уверяет, что это у таких, как я, от поверхностного, туристического подхода к жизни, неумения жить вертикалью. Ему виднее; но мне евразийство представляется абракадаброй. Нельзя построить евразийную цивилизацию, надо строить просто цивилизацию, и там, где она есть, где людям не отрубают руки и головы, даже если они проворовались, где цена человеческой жизни — не копейка, где личность неприкосновенна, а общественное мнение, во-первых, есть, а во-вторых, заставляет с собой считаться, там в основании лежит на сегодняшний день только одна цивилизация — современная цивилизация Запада со всеми ее развитыми институтами и самосознанием суверенного человека, а если на это накладывается местная ментальность и обычаи, если при этом сохраняется своя культура, то и слава Богу, только я еще ни разу не слышал, чтобы японец или южный кореец себя величал евразийцем. ...Нет, ты подумай, они принимают горячий душ, бреются электробритвой, готовят завтрак на газовой плите, садятся за пишущую машинку или компьютер — и потом относят в типографию свою ученую галиматью о «необходимости создания Евро-советской империи от Владивостока до Дублина», как в этом их журнальчике! То есть каждую минуту своей жизнедеятельности они используют плоды изобретений, завоеваний, борьбы ненавистной им «ромапо-германской цивилизации» за продавливание своих технических, культурных, политических ноу-хау всюду в мире, так что даже араб-террорист вынужден учиться компьютеру, чтобы не отставать, — используют для того, чтобы оплевывать эту родную для них цивилизацию и вымышлять свою, даже не видя, что подставляют, что откровенно являются людьми запада по всем своим привычкам, вкусам, ментальности, а пуще всего — по привычке к роскоши быть суверенными личностями, индивидуалистами, пишущими все, что вздумается, плюющими в бороду кому вздумается, потому что знают — они защищены западноевропейским плюрализмом и толерантностью, им не дадут по башке кривой саблей, как наверняка сделали бы в одной из их любимых «сакральных цивилизаций», вздумай они там крамолу ко-

вать! И после этого думают: что к ним отнесутся всерьез, что кому-нибудь не понятен их дешевый самостоятельный балаган, их поп-механика, заведенная от большой скуки. Это что-то... Упаси Господь, я не отрицаю существование иных цивилизаций, со всеми установлениями и обычаями, и то, что кому-то они вполне по душе, сродственны и единственно нормальны и даже то, что эти цивилизации вполне сакральны, как учат вдохновенные наши харизматики, но при всем моем теоретическом интересе к ним в жизни мне хотелось бы держаться от таких цивилизаций подальше, — и подозреваю, что тут не одно мое шкурничество говорит, а есть в этих цивилизациях какая-то не теоретическая, но жизненная погрешность... старость, знамо, не радость, но по мере старения я все больше ценю дисциплину меры и дисциплину мысли, и мне все больше претит дикарство безмерности, выдаваемое за духовную широту, и программное презрение к разуму, мотивируемое детской простотой веры. Веры, но не мысли! И так ли уж обязательно всюду кивать на большевиков, когда возьми столетнюю фотографию Москвы, не говоря уж о всех Тамбовах и Иркутсках — и видно невооруженным глазом: кроме Кремля, монастырей, храмов и трех десятков казаковско-жилярдиевских и — через столет — шехтелевских зданий показать-то нечего, лабазы и лабазы, плоские длинные кривые фасады — и это полуторамиллионный город людей с колоссальными состояниями! но малым вкусом. Один Питер — но и тут смахни Растрелли и К^о — и снова плоские безразмерные фасады. Лекал тут не знают, только прямые. До всякой большевизии — другая гарнизонная казарма, пусть поправильнее, хоть на что-то похожа, по всей стране...

А между городами-то — сотни верст пустоты, и все мало пустоты-то, все прирастает Сибирями-то новая пустота, просто негде жить, как японцам, подавай еще к болотам и тайгам еще других болот и льдов и тундр, да к своим балбесам и татам, чем их учить мыться да не грабить, а отправлять строить хайвэн, прибавь еще десятка два кавказских племен, для которых оружие — как для сороки что блестит, да посади себе на шею Туркестан — ну, а теперь уж и с полным правом скажи, радостно улыбаясь:

мы — Евразия!.. Нет, ты смотри, сами устраивали переворот на перевороте, укладывали самодержца, понимаешь, за самодержцем (и нельзя сказать, чтобы всегда без основания), помазанника за помазанником, а на последнем вдруг остановились: «Жида-большевики царя убили — и пока этот грех не будет смыт, Россия не подымется!» — то есть самим можно, а другим нельзя? Все прочие царейбийственные перевороты извинимы, а за этот единственный все как один должны страшно ответить? Вот где должно совершиться покаяние! только здесь! не там еще, где несчастный цесаревич Иоанн Антонович, где православный барин-отец сечет и продает православного сына-мужика, а православный мужик смертным боем лупит свою венчанную православную бабу, — и это когда богооставленные евреи еще в VII веке, до Руси, удивлялись, как это Коран разрешает верующему физически наказывать жен... Европу мы спасли от татар, понимаешь, тем, что гнули перед ними спину и сами стали ими; а Европа-то и не просила нас ее спасать, и вообще нас почти никогда ни о чем не просила, ну разве во времена Священного Союза, но и тогда, скорее всего, если бы мы не захотели, как-то обошлась бы без нас, на то у нее голова, чтобы обходиться без тех, кто обходится без головы. А главное дело — что бы ни вменялось в вину Западу, и часто справедливо, — они всегда на подхвате, всегда серьезно открыты серьезному слову, всегда готовы к самообновлению. Да, правда, Европа во многом жила за счет ограбления третьего мира; да, Европа оказалась бессильна перед фашизмом. Но Европа же и покаялась! Она же и дала свои паспорта куче арабов и индийцев из бывших колоний; в ней же возникло и «богословие после Освенцима»; а вот у нас что-то «богословия после Колымы» не появилось; а вот алжирцы или марокканцы, если бы они колонизировали Францию, а не наоборот — не уверен, что они когда-нибудь хоть в каких-то формах испытали бы чувство вины... там тебе, понимаешь, в былинные времена — уже диспуты, университеты, ремесла, цехи, выборный магистрат, а тут... тут народ, когда не прибегает к обценной лексике, безмолствует, то есть полный всенародный исихазм, понимаешь, но до поры, а потом

за топоры — и некоторое время стеньствует себе да емельствует, и тоже, признаем, не беспричинно. В общем, боюсь я, что и неповрежденностью русского православия (которое к тому же большая часть русского же населения с XII века считает именно поврежденным, мы и тут договориться не в силах, да и не считаем нужным ни о чем договариваться, а как не по мне, так сей момент по мордасям, а при власти, так и на кол или на Колыму) — боюсь я, что и целостью и сохранностью своего единственного сокровища обязаны мы во многом лености и упертости ума, просто тому, что не склонны ничего менять — или уж сразу все, всех святых выноси, раз пошла такая пьянка.

Нет, ты подумай, вот что мы умеем делать мало-мальски хорошо? Только оружие и водку. Инструменты смерти. А что мы умеем вообще? Жить? Как бы не так. Только умирать!.. И вот тут, только тут-то я, двигаясь дальше по ленте Мёбиуса, опять становлюсь русским. Когда я гляжу на эти «святые камни Европы», с любовью или скукой, смотря по настроению, то вижу, что святы эти камни тем, чем я больше всего хотел бы обладать: в них отпечателась прямодушная склонность к созидательному, толковому, кропотливому труду, воля к последовательному, непрерывному и правильному действию, к выверенной, отчетливой и согласной давать любому вопрошающему отчет жизни. Но ничего этого во мне нет, не будет и не может быть, поелику на самом дне души я и не хочу, чтоб оно во мне было! Потому что для этого нужно иметь простую пружину, самую толкающую на деяние, а ее в русской — моей — душе просто нет, природа при моем создании без нее обошлась. Вот у блаженного Августина уже сквозь град земной прорастает град Небесный, и не просто, а уже и подчиняет себе, чтобы цивилизовать соответственно высокой и стройной мысли, а у Иоахима из Флоры уже рождается идея исторического прогресса по направлению к эпохе Святого Духа, уже утверждается неизбежность хотя бы предварительного, так это на минуточку, всего-навсего тысячелетнего, но Царства Божьего на земле — и пошло и поехало! Врубили мощный генератор западной цивилизации, то есть чутья истории, то есть уместности и свое-временности, вкуса к земному, меняю-

щемся, становящемся. И это не безбожная цивилизация, как у нас врут по врожденному нежеланию понять-полюбить чужое, это цивилизация земли, да, но из любви к ее создателю, из желания сохранить Его дар в состоянии не худшем, чем он был дарован, а то еще и украсить, умножить благоухание дара. Это отношение к себе как образу Божию, который недопустимо унижать всяческим свинством и бесчинством и заплевыванием другому в бороду, а себе в суп. Как все это прекрасно... Но вот явился английский датчанин и познакомил весь мир с гениальной русской альтернативой: «А что мне эта пригоршня праха, бя буду?» А там мы и сами: вот оно наше! просекли фишку и давай: «Помрешь — и лопух из тебя, а чего ради тогда стараться?» «На время не стоит труда, а вечно вымытым быть невозможно», — да в этом весь русич, сквозь всю его неразборчивость, бестолковость, нетонкость и неправильность звучит прорыв к единственной безотносительной значимости, к подземным толчкам реальности — и потому он так славно, по-хамски, по праву слышаша его звуки Му, голос бездны, плюст на все! Он, а не Камю с Сартром — настоящий, серьезный и последовательный экзистенциалист, он, а не Беккет с Ионеско, настоящий абсурдист. Чего ради хоть что-то беречь и ценить, если все, включая даже нормы поведения продавца и покупателя, вечности жерлом пожрется? Чего ради быть взаимно вежливым? Есть одна награда — смерть; есть только счастливы, которым дано верить в жизнь вечную за смертью, — и есть несчастные, которым не дано. Первые от радости строили храмы и странствовали ко спасению, вторые с горя грабили лесом, пили горькую и блудили на крови. Потому русский не живет в истории, а пребывает в пока-еще-жизни, предстоя пред столпом еще не-но уже-смерти, творя культ своему идолу, возжигая ему огонь сотен спаленных и отравленных губерний, возливая реки спирта, бережно перебирая имена своих святых — преждевременных покойников: Есениных, Высоцких, Цоев. Другие же русские, счастливы, умирают ради Христа; в том и отличие западного верующего от русского: тот для Бога живет, а этот для Него — умирает (потому у него и церковная служба нескончаемая

и стоя: чтоб всякий раз как-бы-умереть) и тому и учит всякого вновь пришедшего. То есть были церковные цивилизаторы, были, но — общая тенденция: в лес, скит, пустынь, на остров! И вокруг этой засасывающей воронки мы и крутимся с жутким весельем, и гениально-страшная смертоцентричность русских и через прямые контакты с ними, и сквозь всех ихних Иванов Карамазовых, Иванов Ильичей, Ивановых, а главное — через их страшешую, с дикими наворотами историю — бессознательно всегда и отпугивала жизнецентричные западные народы и, наоборот, притягивала сумрачных одиночек вроде Ницше, Рильке, Гамсуна... И я... Чего я хочу? Разгадать тайну смерти — и не умереть?... Да, а ты чего молчишь? (Опешив, выпасть из запоя речи опустошенным и не понять: зачем говорил?) Чего не останавливаешь? Слушаешь всякий бред. Ты же знаешь, мне пить и говорить запоем — одинаково вредно. Если меня не остановить, я такого нанесу, что сам пожалею.

— Вот еще, буду я тебя перебивать. Мне интересно и отвлекает от...

— Будто бы. Ты же это слышишь в сотый раз.

— Ну, не в сотый. Потом всегда интересны вариации. Тут вообще интересная вещь. Я знаю, что ты трепло, болтун, и все равно всякий раз серьезно отношусь ко всему, что ты говоришь. Это беда.

— Прямо уж трепло.

— Смотри, какой кокет. Уже и обиделись. Я же только соглашаюсь с твоей самооценкой.

— Ну ладно, права ты. Но не в том, что серьезно относишься к моей болтовне. Я ровно столько мог бы наговорить и в обратном духе, и вполне искренне. Вот если кто-то при мне начал бы хаять Россию, как я, я бы ему доказал, что как раз мы, а не европейцы, умеем жить и радоваться друг другу, от всей души. Я бы напомнил, что французы, а не русские, выпивают антидепрессантов, а не только бордо, больше всех в мире. Я сам в себе не могу помириться: куда я здесь, физически невозможно существовать вместе с людьми, безо всякого злого умысла, просто по детской первобытности всевозможными способами разрушающими то, что не насаждали, и насаждающими такое,

что сами даются диву — как это у них такое вышло, что и в бреду не учудится. А стоит попасть туда — на третий день хочется заорать: «Господа хорошие, но с вас-то можно спросить! Вы-то же взрослые люди. Вы-то почему припи-маете плоскость за глубину, рекламного идола за гения чистой красоты, Мадонну за мадонну? Почему преисполнены тупой веры в важность своих «Оскаров», расписали весь непознанный Божий мир по рапжиру и уверовали в незыблемость своей жалкой табели о рангах? Откуда в вас столько непробиваемой спеси, почему такой серьез самодостаточности, улыбка победителя, будто после смерти вас наверняка ждет кубок чемпионата удачников жизни...» Тыфу! волком выть охота от ихней упертости в цивилизацию, как альфу и омегу, от благообразия их кладбищ, где так же приятно покоиться, как чистить зубы пастой «Колгэйт»! Лучше уж тут, на диких просторах косматых микрорайонов, слушать голос нечесаной правды, жарить спирт с ребятами, которым все по фигу, даже собственная смерть, потому они знают: есть вещи поважнее...

— Ты же это самое только что говорил.

— Разве?

— Ну да. Другими словами, правда. Я же говорю, я тебя внимательно слушаю. Я вообще к тебе отношусь серьезно. Говорю же, это моя беда.

— Но я сам к себе отношусь несерьезно!

— Где тебе. Это тебе, миленький, только кажется.

— Ах, вот как. А если я тебе тогда скажу, что и к твоему приступу отношусь (ты что? ты куда?) не более (стой, язык!) серьезно (стой, что ты мелешь? зачем? держи! дер...), чем к самому себе (ах, не надо было! поздно! о-о...)?

— Ты... не можешь... не... Быть таким. Таким.

(Помертвела, по голосу. Сел, осип. Ох, зря. До, за секунду: знал: зря. Нельзя даже просто это слово: напоминать-возвращать-фиксировать. А тем более так, как последний мерзавец. Знал, сдерживался, а он так под язык и толкает — и когда спускаешь с языка: миг сладости. Гэд.)

— Ну, не сердись, родная. Не бери в голову, я пошутил.

— Ты не... можешь. Так. Шутить. Даже если шутить — гад. А если не... то я... я тебе пазвания не... Но ты не шу-

тишь. И не шутишь. Ты ненавидишь себя за то, что любишь ее, и отыгрываешься на мне. Не надо было этого делать.

— Чего?

— Уходить, чего. От нее ко мне. Но если ты уже сделал, то... должен понять, что есть вещи... не для твоего... Если ты хочешь, чтобы и тебя поняли.

— Ну, пожалуйста, прости, пожалуйста. Пожалуйста.

— Еще немного — и я дам тебе шанс проверить, можешь ли ты один понести себя. Узнать, насколько несерьезно ты к себе относишься.

— Ну, прости, ну. Я осознал, гадам буду. Век свободы не видать. Прости, Христа ради.

— Ладно. Последний раз. Последний пятьсот первый раз.

Эта минута не нуждается в уподоблении, потому что не нуждается в проживании. Она может обойтись без меня, как может обойтись без читателя проза Джойса. Все же уподобил; но не прожил. Потерял. Плохую минуту не жалко и потеть.

Да и сколько ни работай со временем, сколь ни дли, ни растягивай, ни замедляй его разными способами, от попытки назвать время по имени до вживания-переживания его вместе с ним, внутри его, молчаливо — или организуя его в виде музыки (способной ведь и впрямь заколдовать время: слушаешь диск 40 минут, а кажется — прошло неизвестно сколько, но много-много), — все всегда заканчивается одним. Заколдовать время можно только во времени же, а значит — заколдовать время можно лишь на время. Но вот оно истекает, сходит на нет, и все, что путем усилий стало и было долгим-долгим и важным-важным, теперь е с т ь почти-нуль: скрученный в маленькую сухую чайнку воспоминания момент прошлого. И точно так же! неизбежно все время пройдет — нет, потенциально уже п р о ш л о! — и вот: сбоку все, отброшенное, скрученное в чайнку, да и та сейчас исчезнет, некому будет ее заварить, а прямо перед тобой — Она, только Она, смотрит тебе в лицо, сейчас пожрет, а что з а н е й — неиз...

«Минута, — думаю, — минута, И все, и прекратится счет. Ну вот, пришел и мой Малюта — И только череп вместо щек, Глазницы — вместо глаз...»

Да, что за Ней? Неизвестно, но туда точно не пропустят за тобой, вместе с тобой никого: ни матери, ни друга, ни жены, ни книги, ни диска, ни бутылки водки — ничего, что могло бы как-то согреть, утешить, ободрить, отвлечь. За тобой закроется дверь — и все. Один — и все новое. Все сначала. Если страх — то полнота страха. О-о-о... И до этого — всего-навсего сколько-то лет, то есть дней, то есть секунд. Считанных! Как же они все живут? как я живу с этим, думаю о какой-то покинутой любви? Ведь там — это все не будет иметь... или будет?.. Или будет иметь значение только п о с л е д н я я? Нет же, дундук, только венчанная любовь, только она соединится с тобой там, если там вообще... да? а если первая венчанная умирает, не дай Бог, и появляется вторая венчанная, второбрачие разрешено же, тоже, значит, твоя едина плоть, — тогда с кем? и с той, и с этой — это как? а как хочешь; нет, т у т можно судить-рядить о т а м сколько влезет, вплоть до магистерских диссертаций, дурное дело нехит...

...обаче всяческая сѹета всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче всѹе мятется: сокровиществуѣт, и не вѣсть, кому соберѣт я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? И состав мой от Тебя есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение беззѹмному даа мя еси.

Но в чем разгадка того, что так физически тошнотворно, так угарно невыносимо — все, все можно объяснить, понять и простить, особенно много лет спустя, но так невыносимо жгуче и тошнотворно само п р е д с т а в л е н и е о зримом акте измены, физиологической стороне дела? В чем ответ на вопрос, заданный бунинским Митей: почему то, что было чисто и естественно в применении к Той и ко мне, становится мерзко и противоестественно, когда на моем месте представляется другой? Почему одна и та же вещь не только не равняется себе, но восприятие ее выворачивается буквально наизнанку в зависимости от того, кто ее делает? Это как-то монтируется с розановским рассуждением о том, что половые органы мужчины и женщины сами по себе безобразны, но в момент соития, слияния их безобразие снимается. Что он имел в виду? Не помню всего рассуждения, говорил ли он что-то еще, пояснял ли свою мысль, придется додумывать самому. Видимо, по

этой логке безобразие, изъ-ян — это по точному смыслу неполнота, и при совокуплении, целокуплении, наступившая полнота целого превращает безобразие в красоту.

Само по себе замечание о безобразии голого тела, гениталий представляется справедливым, если вспомнить, например, как я проходил в мужское отделение бани мимо открытой двери женского, и то, что бросалось в глаза, отталкивало зримым неблагообразием, абсолютной непривлекательностью, неинтересностью сырой, белесой человечины со всеми ее жалкими мясными, жировыми и меховыми подробностями. Вообще, когда на разглядывание э т о г о не настроен, не подготовлен к тому, что сейчас начнется интересенькое, остренькое, и когда далее тебя не увлекают-завлекают сделанным глянецом кожи, выбранным ракурсом и изгибом, превращающим тело в пластическую арабеску, фрагментарностью разглядывания, медленным раздеванием — всем, заставляющим предвкушать, обостряющим интерес: а дальше? дальше? — когда, словом, не знаешь, что д о л ж е н х о т е т ь, внезапная встреча с простым женским голым способна лишь оттолкнуть человека, не изголодавшегося по бабе в условиях Крайнего Севера. Тут он прав. Но когда доходит до соития, он прав лишь наполовину — не твое, ч у ж о е соитие, скотская-зверская тряска двух сцепившихся друг в друга голяков куда безобразнее, на мой вкус, чем вид одного голого живого предмета; еще ни один самый романтически-украшательский эротический фильм показом самого coitus'a не вызывал у меня ничего, кроме неловкости и легкого отвращения, пусть и смешанного с общему мужским козлиным любопытством.

Да, он прав лишь отчасти: лишь м о е соитие есть совокупление, есть б л и з о с т ь, отмечающая стыд и срам, лишаящая тело скотской мясности, есть двуединое внешне-внутреннее зрение, двойной взгляд на е е тело: извне, как на темное, уродливо-влекущее, то, на что смотреть не положено, потому что оно априорно стыдно, как-то о с о б е н н о стыдно и некрасиво (и никакая сегодняшняя пропаганда естественности и красоты публичной наготы не может побороть до конца это врожденное чувство именно не-естественности, изначальной запретности обнажения), — и изнутри, из-внутреннего-огня, как на мое, мне открытое запретное, мне доверенное то, чего никому не доверяют, что монашествующим

запрещено самим у себя разглядывать — и это великая правда — мне открытое сокровенное, ведь падшее низменное и должно быть сокрыто, лихо должно лежать тихо, но мне одному его открыли — и это обладание даже низменной тайной необъяснимым образом делает ее драгоценной, прекрасной... Двудеинство: темное пятно пола, знак падения, который человек должен скрывать «одеждами кожаными», косматый шмель срама — и он же дивный цветок красоты... Тут тайна, разрушить которую пропагандой «безопасного секса» значит вовсе не бороться с ханжеством, а уничтожать в человеческих отношениях что-то страшно важное, прикорневое, дейст- в и т е л ь н о е. Но есть уровень отношений еще более дей- ст в и т е л ь н ы й, сущностный, при котором тайна пола лишается и своей низменности, и своей возвышенности, теряет темноту, оставаясь при этом тайной, чья вы-светленность ни- мало не означает разоблаченность. Это уровень, когда тайна освящается и освещается таинством. Как я понимаю, брач- ный со-юз, соединяя мужа и жену во едину плоть, восстанавливает падшее тело в его достоинстве и, значит, снимает тем- ноту пола, упраздняет это двойное внешне-внутреннее зре- ние, взгляд на женское тело как «чужое-мое»; тело жены ста- новится — только «мое», буквально — это часть моего тела, его продолжение и окончание, — и вижу я его только изнутри, и влечет меня к нему спокойно и естественно, без утара и тем- ной остроты, но и без полетов и прозрения в даме Прекрас- ной Дамы. Я перестал наконец путать женщину, данную мне в жены потому, что «плохо человеку быть одному», с Вечной Женственностью. Каждый, кто, как я, имеет этот опыт, знает странную вещь — супружеская любовь всегда нормальна, пре- сна, не имеет остроты, цвета, запаха, вкуса, но она-то и есть на- стоящая любовь, как настояще питье, без которого нельзя — только одно: пресная, безвкусная и бесцветная вода. Не-пья- нящая-вода.

...Вернемся. Почему так омерзительно представлять Ту с ним? Потому, что я бессознательно отказываю ему в этом двойном зрении, наделяю его лишь внешним взглядом на нее как на «чужое», как на кусок мяса, — и обратно, само его физи- ческое присутствие с ней и в ней делает «мое» не только моим, а значит, вообще не моим, и я тоже начинаю смотреть на Ту его (приписываемыми мною ему) глазами — как на «чу-

жое-всобщее», с легким отвращением-пресыщением, с каким мужики говорят о случившейся близости: «Дурную кровь спустил». И этот новый взгляд отныне постоянно накладывается на взгляд старый; и оба этих взгляда никак не могут совместиться; и возникает смещение по контуру, двоение, дурнота-мутота... Двоится в душе, как двоится в глазах, и рвет... Пес возвращается на свою блевотину; который год? все двоится, все как внове. И все построено на простой аберрации зрения, вскормленной — опять и опять — простой, как она ни изощряясь, гордыней. И он — не медведь, больше того, и он поэтизировал Ту на свой лад, я знаю это доподлинно, значит, и он смотрел на нее двойным взглядом, да еще с остротой внезапного, неожиданного, первого и, по его словам, последнего обладания... Значит... Да, все то же простое: «У кого увел? У меня! Кто взял мою бабу и пользовался ею?!» — все то же и то же, простое оно, под всеми кружевами и наворотами...

Сколько я думал? Молчал минуту. Мог не услышать, если она что-то. Не отреагировал. Это много, если две минуты не отвечать, если она что-то. Она не любит: знак невнимания. Это плохо, если так. Но могла и молчать. И я мог: выговорился и молчу. Пусть сама первая, тогда пойму. Лежу, молчу.

Эта минута имеет отвратительный сладковатый вкус, появляющийся во рту, когда разжужеешь, чтобы быстрее взяло, таблетку анальгина. Он появляется не сразу, а только, когда полностью разжужеешь. Эта не астрономическая минута будет состоять из стольких секунд, сколько понадобится ей, чтобы открыть наконец рот...

— ...Из рюкзака заванивает сюда. А ведь стоит у входной двери. Вот это я понимаю. Сила.

— Уже в кулинарии воняли, что интересно. А берут. И не все же собакам берут.

— Зачем ты их купил? Десять кило.

— Одиннадцать. Интересно. Меня просили — как откажешься? Стоят копейки.

— Как же ты их повезешь? Они же во все стороны торчат, тебе всю спину истычут.

— Псу тоже жить надо. Довезу как-нибудь. Другие же возят.

— Другие жилистые. У других позвоночник в порядке. И все остальное в порядке. Другие умеют укладывать рюкзак, чтобы ничего не торчало и не тыкало в спину. И... Куда ты едешь? И почему, почему, я все равно не...

— Снова-здорово. Не будем об этом, дорогая. Я тебе уже ответил почему. И все, что ты можешь мне возразить, я знаю, слышал — и не раз.

— А я знаю все, что ты скажешь в ответ.

— Ну, вот видишь. Тогда чего ради открывать развернутую дискуссию о профсоюзах? Кроить из блохи голенище... Слушай, а все равно — что бы ты ни говорила, тебе, наверное, очень часто скучно со мной.

— Почему?

— Потому что уже не осталось того, о чем ты не знаешь наперед, что и как я скажу.

— Это ты о себе. Мне — не скучно. Скучно, когда не любишь.

— Что ты в самом деле, все лю... Да люблю я тебя, не сомневайся. Суха теория, мой друг, А дерево жизни зеленеет, А посему и прет и прет — Приди, покуда я упруг. В чаду прельстительных подруг, В часы забав и праздной скуки Я думал: «Не дождутся, суки, Я не забуду, чей супруг». Пока не требует досуг К профанной жертве Аполлона, — Прими в рождающее лоно, Гряди, гряди, я твой супруг!

— Извини, но ни в какое такое «лоно» я тебя принимать не собираюсь. Даже прощая тебе прельстительных подруг, которых ты приплел, надеюсь, ради красного словца. Не говоря также и о том, что «лоно» мос рождающим названо быть никак не может, раньше я думала, по несчастью, а теперь — что это, может быть, одна из многих моих удач. Но, во-первых, тебе это самому сейчас ни к чему, — коль уж скоро ты не оставил мысль оставить меня и ехать причащаться. А во-вторых, и я этого не хочу и не буду, потому что ты меня не любишь.

— Опять! Да лю...

— Нет, ты постой. Пойми правильно. Ты меня иногда любишь, когда вдруг хочется любить — ведь каждому в какой-то момент, бывает, захочется не только быть любимым, но и кого-то полюбить, хоть кошку, хоть жену. К то-

му же ты ко мне привязан. Но даже когда ты меня «любишь», ты не чувствуешь, что ты мне должен. Нет, не так. Должен — плохое слово. Даже в том смысле, о котором мы говорили и ты выкручивался, чтобы не отвечать серьезно... Вот как: ты иногда чувствуешь, что — любишь. Не хочешь только, а любишь. Но ты никогда при этом не чувствуешь, что отдаешь мне себя. Всего себя. Ты даже часть себя отдаешь нехотя и со скрипом. А это не любовь. Это бумажные деньги, не обеспеченные золотым запасом. И на них ты меня больше не купишь.

— Интересно ты заговорила. Твою любовь можно купить?

— Знаешь, мне почему жалко, что ты не можешь любить? Вот именно потому, что тебе со мной скучно, потому что я не могу сказать тебе «новенького», интересенького. Потому что ты не знаешь, как хорошо любить человека просто — не ждя от него новенького и не скучая, просто потому что тебе-в-нем хорошо. В нем, с ним, им. Полоп — нет места скуке.

— Ладно. Это мы знаем. Ты скажи, твою любовь можно купить?

— Но ты не худший. Я, правда, кроме тебя никого не знаю, но догадываюсь. Иногда ты даже умеешь понять. У вас ведь и это редкость?

— А то нет. Ты мне скажи, твою любовь можно купить?

— Ты не понимаешь. Купить в духовном смысле... Ну, вот в каком Евангелие предлагает нам купить дорогой ценой Царствие Небесное. Тут всякий атеист начинает цепляться, правильно? Как, как, вера — и корысть! Но тут — какие-то тонкие законы, и всякий верующий их на ощупь понимает, да? Что законы мира едины и вообще без корысти нельзя, но тут корысть — бескорыстна, тут — какая-то другая штука, которая только описывается теми же словами, а на самом деле... И так же с любовью. Ведь любовь — не мое дело. И не твое. Это дело Бога. Бог есть любовь, так? И если Он посылает нам любовь, то Он и посылает ее нам на двоих, на меня и на тебя. И она не может зависеть только от одного. Есть круговорот воды в природе. Есть товарообмен на рынке. И тут есть свой круговорот и свой духовный товарообмен, и это правильно.

Это вранье, что несчастной любви не бывает. Что любить важнее, чем быть любимым. Наоборот, любви без взаимности не бывает. То есть сначала она может и зажечься, но и для этого надо — если это не просто: пора пришла — она влюбилась, но такая пора и проходит, как время года, — для этого все равно надо, чтобы ее подожгли двое. А потом она может продолжаться на энергии начальной любви и у одного, и даже долго, но если у одного она проходит, рано или поздно она проходит и у другого, понял? Потому что Богу неудобно, чтобы кто-то паразитировал на самом главном — и Он такую любовь непременно ликвидирует, чтобы неповадно было, понял? Во всяком случае, я вот так вот думаю, на полном серьезе. И за свою любовь требую любви. То есть не я. Это так на небесах требуется. Моя любовь должна стоить дорого. Потому что это любовь, а не манная каша. Я тебе жизнь отдала. Я тебя читаю и перечитываю, как старую любимую книгу, до дыр зачитанную, где нет ни одного нового слова, но всякое слово ново, всякий новый раз пахнет, истончается, смыслится по-новому, но это кончается, даже это не может продолжаться до бесконечности в одностороннем порядке, и я серьезно говорю: если ты будешь продолжать т а к... то у тебя будет шанс поискать другую — или вернуться к Той, любящей на твой вкус. Ты ведь до сих пор думаешь, что любящих женщин пруд пруди? и тебе — раз уж ты ошибся в прошлом выборе — надо только заново выбрать любовь по вкусу. Настоящую любовь по вкусу. Давай попробуй.

А все-таки, если в Германию? Больше никто не возьмет, а здесь есть шанс. Выбить грант через ПЕН, а там зацепиться за три месяца, кто издаст — и живи без вида на жительство, но все-таки: свободный художник не нуждается в праве на работу. И отношение к нему не совсем как к обычному руссиш швайне. А вот это последнее, на что стоит рассчитывать. Почему? Уже то, что только немцы одни и дают гранты, говорит... Ни о чем это не говорит, не будь дураком. Немцы просто так пфеннига не выбросят. Им это для чего-то надо, для равновесия чего-то там в Европе, но уж не для того, чтобы ты жил и радовался. Ты реально-то представь, даже благопотребный

тебе слой людей: один немец всерьез задумался над таким, например, вопросом: как возникают синтетические априорные суждения? — вдумайся! — и до того его зарубило, что выдул из ответа на этот насущный вопрос 600 страниц Критики Чистого Разума. Ну, а тебе разве такой вопрос когда-нибудь взбредет в башку? А то, что мучит тебя с детства: почему у нас пять пальцев, а не шесть и не четыре? — или позже: как можно рвануть сто грамм муравьиного спирта и не сблевать? — что он тебе на это ответит? чем, какой понималкой поймет, что на это вообще н а д о серьезно отвечать? Самым серьезным образом: задуматься, почесать в затылке, пожать плечами и молвить: «А хрен его знает!» Так о чем же вам говорить за стаканом шнапса? А о прочих бургерах и гам-бургерах и подумать страшно. Брось ты это дело по-хорошему и спасайся, пока не поздно — вот что я скажу, если хочешь знать. О, друзья, довольно этих звуков. Чтобы я их больше не слышал.

(Даже запах отработанного бензина тысяч машин не в силах отбить до конца запах шашлыка из-за угла. Так и несет. Уголь, уксус. Мясо ни при чем. Полей деревяшку уксусом и обугли — запахнет шашлыком. Чтобы полжизни таскаться по полям, как заяц, чтобы радоваться натошак, утешаясь капустой и морковкой, живи подальше от шашлыков. И подальше от читателей шашлыков-глотателей газет. Подальше от себя. А в маринад для шашлыка по-карски добавляют коньяк, в смысле — положено добавлять. У-у. Такая вот разблюдовка. Проехали.)

Не умею любить; она права? Да. Нет. Или как? Я урод? Я нормальный мужчина. Все такие. Еще хуже. Значит, все мужчины уроды? Кроме пидоров. Нет, попадаютс я нормальные, которые души не чают. Один на сто? тысячу? Не умею любить. Смотря что понимать под. У нее — только одно. Никогда не понимала, что можно любить двоих. Монолит. Или просто — нет опыта? Слава Богу, что нет. Самые терпимые женщины — в доме терпимости. Нельзя, чтоб сразу и мудрость и верность. Не умею любить. А как тогда — в 75-м, 70-м? В 75-м, кинофестивали в Москве по нечетным, вернулся с фестиваля, с двумя бутылками последней диковины — португальского портвейна (мы тогда и не вслушивались, что это тавтология) и блоком свежедиковинных «Союз-Аполлон», с десятком просмотренных висконти-трюффелей в башке и только что не с наганом в руке, и еще удалось выкроить целую тридцатку на флакон

«Фиджи», это-ш-ни-у-кого-ф-самаре, это ж забота или что, и весь в удаче, в кураже прыгнул с пятсот веселого, и Та уже стояла, априорно соскучившаяся, свежее-красивая (десятидневная разлука), застенчиво потупясь от, хотелось думать, целомудренного смущения пред предстоящей любовью, и только легкая тень чего-то в ней смущала, как бы легкий иней неподвижности, и пошли в мою квартиру, благо близко, пустую от родителей, вовремя махнувших в Прибалтику, что ль, и там давай чудесно разговаривать-заговаривать-поговаривать да помалкивать, все прихлебывая нездешне-вкусный портвейн, пьянящий не резко, как водка, не вяло, как сухое вино, не тупо, как пиво, не дурно, как бормота (а ведь чего мы с ней не, даже муравьиный спирт, муравьиную кислоту в 70-градусном спирте в 50-граммовых склянках, выпить сто грамм муравьиного спирта, две такие склянки и не заболеть, и не слевать, о, моя юность, о, моя свежесть!), а так, как надо, исподволь нагревая душу до золотистого цвета и покуривая почти американские сигареты, не вытягивающие жилы, пока затянешься, и я все про висконти-феллини, с ума сойти, какая жизнь в искусстве, до полной гибели всерьез, и духи желтели пред ее желтеющими глазами, как фонари парижских тайн, и потом впали в близость, точнее, я впал, зная: этого только не хватает до полного кайфа, укомплектованного кайфа, а она была только безропотна, я это — в лестную для меня сторону: стыдливое желание, я предпочел не заподозрить того, что на глубине заподозрил; и потом она спала у стенки, а я лежал без сна, во вдруг ласковой, вдруг смягчившейся по отношению ко мне врагине-темноте, точно помню, тогда подумалось: если тьма бывает ласковой, то, может быть, и смерть? и долго тянул последний глоток, долго дышал последней сигаретой и глядел в потолок, где отсветы светофора, красные, желтые, зеленые сменяли друг друга, и вкушал редчайшее чувство полноты и мира-покоя, которое сразу и безошибочно идентифицировалось со счастьем. Я знал, что дело было и в ней, и во вкусной сигарете, и в вине, и во встрече после разлуки, и в тишине, но знал также, что не в них дело, что то, что я сейчас испытывал, мне — дали, что оно не рождается изнутри меня, его можно дать и отнять, а мне его дали-на-сейчас, дали через временных его носителей, посредников: через нее, через вино и табак, тишину... Этот покой был — счастье, и счастье — была любовь, но не любовь только

к Той, а ко всему, и к ней тоже, к ее обнажившейся во сне из-за задранной рубашки не слишком красивой нижней половине тела, к ее посапыванию, к отсветам на потолке, к табачному перегару, к книгам в шкафу, к валяющейся на стуле одежде. Все было на своих местах. Все было в порядке вещей. И этот порядок вещей ожил... Моя душа была совершенно не заполнена собой, голова — мыслями, я был открыт для всего, что не-я, входящего в меня и выходящего свободно, как захочется. Напряжение сосудов исчезло, установилось прямое сообщение, и возникла полная свобода великого покоя, великая разрядка отношений между мной и миром. Детант. Эта минута любви, не той любви, о которой она, но не менее настоящей любви-мира-свободного дыхания у меня — была; эта минута неумолкающей тишины была какого-то июля 75-го года за сколько-то гран секунды до сна; и она у меня — есть. Но ее у меня нет.

«Если бы ты знал любовь...»

А я и знал! У меня была эта минута. А Та у меня ее украла! Эту немую минуту любви. Рассыпала в прах всю мнимую целостность моего прошлого, моего упакованного в компактный кузовок «я» — казалось, на всю жизнь. Мое старое доброе прошлое было всего лишь яйцом с иглой внутри, на конце которой помещался элементарный обман! Как удалось той страшной запойной ночью выведать у в-дупель-пьяного-в-доску-друга, прежде чем выгнать его в ледяное под-утро Москвы, грехопадение состоялось вроде бы именно летом 75-го, в мой отъезд — где-то, значит, за неделю до моего счастливого возвращения и ночи любви! Этот удар из-вчера по позавчерашнему, по ненарушимой длительности-слиянности и з-в е с т н ы х т е б е событий, что, уплотняясь в точке настоящего, и обеспечивает единство «я», эта неожиданная внутренняя расколотовость из-за безобразия превращения тайного в явное, в то, о чем говорят на кровлях, это — вновь и вновь — омерзительное, мутящее двоение души... У-у!!

Суди мя, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобна, от человека неправедна и лъстива избави мя. Зане Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси? Посли свет Твой и истину Твою, та мя наставиша и введоша мя в горю святую Твою и в селения Твоя. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в сладох наших.

Ненависть к Той, расколовшей твою жизнь на отравленное прошлое и отравленное прошлым настоящее, чреватое самым нехорошим будущим (и как! сошедшей с эфирных высот, куда ты вознес ее, свалившейся, подобно Деннице, с небес в чавкающее болото заурядной измены — и с кем? с кем?! — и сюда же вдогонку — ядовитым денатуратом, прущим из дешевой водки, мутящие мозг и грудь детали: униЗИтельно, гадко задираемое мнущееся ситцевое платье, (уж то самое, в котором она тебя встречала, будьте уверочки), поспешно сдираемое белье (уж этого-то добра, в силу одной уже его неминуемой худости: бедность, провинция, семидесятые, кто там и тогда заботился об исподнем — вообще никто не должен был видеть! ни-ког-да), ее кажущаяся покорность, внушающая обманчивое чувство победителя (уж это 150 процентов) — кому? кому? этому пьяному сжику? ее тело под ним расплюснутое, согнутые... или ничего этого не было? хотя бы э т о г о? ведь ты специально потом, очутясь в Самаре, надрался, чтобы себе разрешить, и пошел, и требовал от нее объяснений, и Та по привычке отвечать, когда ты ее спрашиваешь, отпиралась: «Мы только поцеловались несколько раз», — и стояла на своем, пока не опомнилась и не дала тебе от ворот поворот, ах, ну какая ей теперь вера, но все-таки, зачем ей теперь-то отрицать, если неправда, приятнее же подлого изменщика бить в лоб наповал, а уж тот-то, с такого-то кира мог соврать-недорого-взять, он и всегда любил прихваст... может быть, хотя бы э т о г о, хотя бы в с е г о — не... но даже если-только-целовались, то готова была — на все, тот ведь так и сказал: «Она вдруг подошла и... разве бы я первый... ведь мы все о ней думали... да и представить не могли», значит, собиралась изменить, значит, все равно была неверна, и прошлое опять летит, летит кубарем, летят клочки по закоулочкам!..

О, бледовитый океан земли, Ты от начала населен людьми — И только лишь. «Ничтожество вам имя», — Кричат мужья, — «Вам имя вероломство», — Кричат мужья, а жены им в ответ: «Заткнулись бы, да на себя б глядели». Вот и с тобой то стало, милый друг. А ты не верил, отчего ж, дурашка: Иль ты не человек: не рогоносец? Великий Бонапарт — не исключенье. А чем ты лучше малого капрала, Когда ты рядовой — да необуЧенный?..

Но как ни удерживать, как ни комиковать, чтобы понизить температуру, сбить ее, словно из ствола огнемёта ударившая струя воспоминенависти к Той обуглила всего, распространившись с первоначального объекта на все окружающее: кровать, шкаф, книги, квартиру, улицу за окном — а пуще и прежде всего на живую цель, лежавшую рядом, под рукой, готовую к употреблению. Ненависть не любит, когда на нее не обращают внимания; поэтому она любит живые, не безучастные к ней, так или иначе отвечающие взаимностью предметы. Душа сопротивлялась напору ненависти, силясь не дать ей разрушить любовь к жене. Прежде всего следовало отщепить то, что называют любовью христианской: жалость, сострадание, участие, отзывчивость к любому-ближнему-внешнему — от внутренней симпатии или антипатии, зависящих от случайных вещей: внешности, интонации, выражения лица, неудачно выбранного слова. На этом уровне любви-страсти-пристрастия ненависть, как и любовь, по необъяснимым и часто ничтожным причинам скоротечно входят в человека и словно меняются местами, будучи легко обратимы. Приказ: забыть, выкинуть из головы, что ее напряженный звенящий голос вызывает у тебя раздражение, что профиль ее, речь и привычки слишком правильны, чтобы быть милыми: думать — только о ее любви к тебе, любви, которой ты не стоишь, эта женщина даже сейчас могла бы найти себе лучшую партию, а уж тогда... и за все эти годы ни разу... и это при том, как ты ее достал; думать о ее любви, ее болезни, ее несчастье. Несчастное, поистине несчастное существо. Несчастнейшее из всех тебе известных — если мерить несчастье не одними обстоятельствами жизни, но соотношением их — и степени чувствительности. И почти что по одной твоей вине. Да, помни об этом. Напрягись, чтобы сосредоточить всю силу чувства на жалости...

Но живая ненависть, как посылающий ее, хитра, изворотлива; как борец айкидо, использует именно силу противника, а не слабость, и, направляя ее против обладателя силы, проникает как раз туда, где, казалось бы, крепче всего оборона. И вот вдруг чувствуешь, что, если что-нибудь и ненавидишь в Этой по-настоящему, так это именно ее любовь к тебе и болезнь, это ее несчастье...

Ну, здравствуй, окаянный. Скверनावец окаянный. И все, что есть у тебя за душой — не по-каяние, а о-каяние...

Худо-то как — чувствовать, что на свое, мягко говоря, мало-симпатичное чувство не имеешь, мягко говоря, никакого права — и тем сильнее напиваться им, сильнейшим всякого права, двойной ненавистью: к ней — и самому себе за свое паскудство! К тому же тут присутствует еще более отягощающий и без того остомерзительно тяжелую душу поворот или наворот: всегда, всегда, когда ты доходишь до зримого представления самого акта измены, наряду с отвращением и ненавистью в тебе поднимается острейшее желание женщины — не Той, женщины вообще... Трудно понять — почему, но можно предположить, что, наделяя своего соперника-на-час воображаемой агрессивностью, обязательно сопутствующей взгляду на женское как на «чужое», внешнее, то есть объект овладения, добычу, ты вызываешь прежде всего агрессивность саму по себе и в себе самом, переадресуя ее затем своему отравителю, — и эта сексуальная агрессия, не уходя без остатка в нужном направлении, выпадает в тебе в осадок, давая скотскую, гадскую тебе самому силу желания женщины-вообще, как Сезанн пишет дерево-вообще, не сосну и не дуб, но это не мешает дереву на его полотне быть совершенно ощутимым, удивительно деревянным, в отличие от шишкинских сосен, сработанных со всей старательностью и похожестью словно бы из прессованных опилок. И теперь это твое желание, нисizeбно направленное на единственную женщину, находящуюся рядом и поневоле материализующую призрак женщины-вообще, принимает обратный действительному вид желания, навешанного ею, вызванного в тебе ею, — и тем пробуждает дополнительную сдкую неприязнь к Этой, будоражащей в тебе столь неуместные сейчас уже хотя бы по одному тому, что нарушают с трудом «набранную» чистоту перед причастием, унизительно острые запретные чувства...

Впрочем, желание это поддавалось снятию, отключке — недосып, изнеможение тут брали свое, но вот вызванная всем этим неприязнь снятию не поддавалась. Напрягся из последних сил, выставляя на ходу противотанковые «сжи», не желая сдаваться, но слышал, как ненависть все равно шаг за шагом продвигается к неповинной жертве, и все яснее чувствовал свое бессилие перед ее медленным, упругим, выдавливающим волю ходом...

— Говоришь, если бы я умел любить? (На шепоте, сдерживая голос, но против воли — а и сладко же по собственной воле идти против собственной воли — неудержимо накатывая смысл.) Это оно конечно... Вот ты — умеешь любить. Ты у нас молодец!

— Что ты хочешь сказать?

— А ты никогда не думала, что твоя любовь — это палка о двух концах?

— Что ты говоришь!

— То, что слышишь. Ты живешь — мной, но этим-то не даешь мне жизни. Ты чувствуешь за меня, но этим не даешь мне ни места, ни права чувствовать за себя. Своей любовью, всецелой, глобальной, ты отбираешь у меня жизнь-в-свободе. Во имя своего счаст...

— Как ты... (запнулась; нет, просто хватил ее обухом по голове, убийец, у нее не хватает дыхания, но я сказал, что думаю, значит, падло, ты еще и честный убийца, как арабский террорист, а что же — загонять вглубь и так всю дорогу интоксигироваться, это твоя проблема, да, убей себя, а ее не трожь, и честность свою держи при себе, это если каждый в автобусе начнет честно пердеть... Куда? стой! позд...)

— Нет, ты уж погоди. С любовью бы еще полбеды. Но и болезнь твоя подозрительна (пока не поздно, разоружись перед партией!) В том смысле, что непроста.

(Молчком. Даже слышно, что молчит. Не в силах говорить? или не считает возможным с таким мерзавцем? нежность, презрение, потрясение? семь бед — один ответ: четыре сбоку — ваших нет. Валяй до кучи. Чать не впервой. Никто из нас другим не аспирин! не впервой. 19-й nervous brekdown*. Мы с Пласидою вдвоем ща частушки вам споем...)

— Вот смотри. Ты заметила, когда он появляется? Нет? Я начал отслеживать. Столько лет все-таки. Как только надо что-то решать, как-то поступать, по всей амплитуде: от там, допустим, эмиграции до... до, скажем, очередной размолвки-примирения со мной — и ты должна первая начать мириться, — вот тут он тебя и сторожит. Стоит заговорить даже о возможности твоего устройства на работу, о том, чтобы рано встать — вот тут он тут как тут: ты холодеешь, бледнеешь, замолкаешь,

*«19-й нервный кризис» — песня «Роллинг Стоунз».

останавливается взгляд, тахикардия... нет, в самом деле, что он по существу — твой приступ? Сотню раз спрашивал — нет ответа. Полупонятные описания симптомов... но по существу — что он? Ответь.

— Продолжай (вдруг твердо: вызов? холодная решимость?)...

— Я продолжу, я-то продолжу, но ты скажи: как ты понимаешь — что он такое?

— Ты в этом не нуждаешься. Продолжай.

— Хорошо (холодея, но все равно, все равно, вперед!) Бывает, что он появляется и просто так, как бы просто так, но если увидеть его в более общем контексте, — он в любом случае появляется, когда тебе удобнее, комфортнее отказаться от действия, совершить которое страшно (теперь заломило зубы от сладко ледяной волжской воды, струи из колонки во дворе частного дома, что мы снимали в мои восемь; детское счастье — хотеть только возможного: игр во дворе, книжки про Винни-Пуха, летнего пляжа, наслаждаться данностью: счастливый реализм ребенка, умирающий в несчастном романтизме подростка и юноши; да, и счастливые страшные несчастья ребенка — что не можешь правильно стоять на коньках, как ни пытаешься, а ступни подгибаются, не в силах удержать коньки под нужным углом, чтобы скользить, как все, с наслаждением, а не болью, по льду площади Куйбышева в праздничной тьме, залитой огнями, под музыку песен «Хотят ли русские войны» и «Бухенвальдский набат», потрясающие твое детское золотое сердце), когда тебе... ты только пойми правильно, я вовсе не упрекаю, не подозреваю тебя в сознательной хитрости, пойми, но это бессознательный инфантилизм, необвинимое желание детского ядра твоей души оправдать свое бездействие, нежелание изменить себя... Необвинимое, повторяю, я не хочу сказать плохого, но...

— Но говоришь.

— Зачем ты так? Я хочу сказать только...

— Я все поняла.

— Что же?

— Я думала, ты меня просто не любишь. Что ты вообще не умеешь любить, хотя тебе и кажется, мерещится любовь к своей... нельзя винить в том, что не дано. Зна-

чит, надо с этим жить. А ты меня — ненавидишь. А тебе это как христианину не положено — тем более жену. И за это ты меня еще более ненавидишь. Я думала, ты только себя... Хочешь съесть меня заживо? медленно? лучше убей-сразу!..

Ох же ты елки! какую кашу сам заварил на свою!.. Но Та тоже кричала. Нет, но зачем, зачем начал? да я же на самом деле хотел ей добра, хотел только — диагноза, выгащить наружу, чтобы легче... Но Та тоже кричала, да: «Ты же никогда, что бы ни было, ты никогда не уходил от меня! ты не мог и не можешь меня бросить! лучше убей сразу — или я выброшусь из окна!» Но зачем, как ты не удержался? Что теперь? С таким трудом наладил хоть что-то, уже была надежда — и сам, сам себе плюнул в бороду. Но она права: я ее ненавидел. Но она неправа: я ненавидел ее только в этот момент, ненавидел-по-смежности. Но как ей объяс... «Выбрасывайся!» И хлоп дверью. Не выбросилась. Отомстила другим способом, как сама не думала: из прошлого. Она не знала, что все тайное становится на самом деле явным, но Он так сказал — и так стало. Будут возглашать на кровлях. А может, интуитивно, готовила впрок отмщение, ведь она всегда чувствовала, что он узнает, потому что всегда он что-то такое чувствовал и спрашивал как бы шутя: «А пока меня не было, ты с этим — или с этим...», — и как она вспыхивала, а он тогда: «Ты сердишься, значит, что-то есть», — и она тогда раздражалась таким праведным гневом. Знала кошка чье. И знала, что он когда-нибудь, как-нибудь, но все равно, все равно...

Она-то кошка, да ты собака! Она бедная девочка. Все прокручиваешь, чем ядовита ее измена, а сам от себя заматываешь: п о ч е м у? Да ты же, гад, первый начал. Ей двадцать лет, она в тебе души не чает — и доверчива, с детского дуру или от чистоты, но доверчива, а ты ей изменяешь — с кем? кого она считала своей единственной более-менее подругой. Хотела считать за неимением настоящей, и так и относилась: всерьез. Сама же и познакомила. Так ведь и та, Другая, была не стерва, чтобы тебя отбивать у подруги — приличная барышня, не барышня — молодая женщина старше вас. Ты же сам все устроил, тебя зацепило, что к тебе относятся чуть снисходительно, вполне спокойно, без тени восхищения, даже симпатии, тебе запало в душу, тебе зацепило твою поганую душу, ты положил

свой лукавый глаз, и полез охмурять, из принципа, соблазнять — и соблазнил-таки не без труда — чем? опять — любовью, чтоб она пропала! Сразу понял спинным мозгом — тут так просто, умными разговорами и пьяным вдохновением не возьмешь, а только — полным серьезом, только — хорошей большой любовью, так? и давай раздувать в себе искреннее чувство, без обману, и давай влюбляться все больше, больше, чем хотел бы, чем мог позволить себе, до раздвоения любви на них обеих (Sic! первый раз — это непривычно-обломная трагедия, а второй — не фарс, к сожалению, а привычно-обломная трагедия; все врешь, к этому привыкнуть нельзя, как к прыжку с парашютом), Дон Жуан из меня вышел тот еще, и залетел я на год во что-то такое, но той, Другой, раз уж я ее зажег своим сердцем Данко, уже было мало хорошей большой любви, ей, как им всем, подавай н а с т о я щ у ю любовь, у Другой это значило — всегда накал, напряжение свыше 220, чтобы ветер гудел в проводах, а под конец это стало значить — отдай (и тут отдай!) всего себя, то есть уйди оттуда сюда навсегда, а вот этого ты не смог тогда: на одном полюсе была только любовь, пусть страсть, а на другом — любовь, пусть уже без страсти, привычная, но плюс плоды твоего труда, твоего вдохновения, твоего художественного вымысла; это значило бы предать светлый образ, тобой же созданный, больше того — предать всю мировую культуру, бесславно уйти с поля ассоциаций, где боттичеллиево-прусто-модильяниевая линия (лицо) переплеталось с Древним Египтом (тело в профиль), а Льюис Кэррол (улыбка) соседствовал с бунинской потаенно-страстной героиней. Кого выбирать, если не ту-что-всегда-будет-тебя-любить-и-всегда-выше-всех-подозрений? Какое несчастье уродиться с серьезным отношением к женщине, но быть всего лишь мужчиной — и при этом напарываться на женщин с серьезным отношением ко мне! Беда. Ну-ну, можно подумать, ты хотел бы другого к себе отношения. Повторяю еще раз, для тупиц: лёгкое дыхание порождает легкое поведение, а терпимость прямиком ведет в дом терпимости. И я выбрал: или-или. Вернулся к Той совсем. Так и кончается мир. Только не всхлипом, а сплином. Вернулся и говорю: ты ждала год, ты не спала, ты что-то чувствовала — и не напрасно, не буду врать, я мурьжил тебя год, я виноват, но теперь все кончилось навсегда и бесследно, теперь я только твой, приди,

приди, я твой супруг. Как же, думаю, вот радости-то детишкам принесла, вернулся вчера твой сероглазый король, чего тебе еще, осчастливил не на шутку. А Та: хорошо, я тебя прощу, только будь всегда честен со мной. Назови имя. С ней, да? с ней, я угадала? Скажи — и забудем об этом. С ней или не с ней? И был заключен завет. И, во исполнение завета, я сказал все, как есть.

Друг, зачем же был ты честен? Как же глуп ты был, мой друг. По молодости лет ты влип и ей влепил. Она по молодости лет просила того, сама не зная чего. И, получив, чего просила, она, бедная детка, не выдержала. Полведра честности. Требую честности измены.

В сущности, надо понять: она не могла не отомстить. По техническим причинам. Даже не желая мстить, а — как-то восстановить, наладить, скомпенсировать. Потому что надо же что-то делать, когда нельзя терпеть. А что? Уйти? Но если любишь, если не можешь? Да, она, помучившись после порции честности, и хотела было уйти, уже было собралась, да я ее просто силком остановил, взял измором: не уходи да не уходи. Тогда что? Нового еще ничего не придумали. Прямая неизбежность ее банального отмщения. С этим хануриком-дуриком, к которому никто не относился всерьез. Которого не стыдно, потому как он сам о себе небольшого мнения и не смотрит ни на кого сверху вниз. Бедная детка, и я еще мусолю твою вину. *Mea culpa. Mea maxima culpa.* Бедная кареглазая детка. *That the wind came out of the cloud chilling and killing my Annabel Lee**.

Как странно, что мельчайший человек, Башмачкин, иль Голядкин, иль хоть я, Любой без исключения лаццарони Способен на отважные деянья. На подвиги, которые по найму Не согласился б совершить Геракл: Рождение, жизнь и смерть...

...предста Царица одеснү Тебе, в ризах позлащенных одеена пренспещрена. Слыши, Дщи, и виждь, и приклони үхо Твое, и забудь люди Твоя, и дом отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоея...

И как перед тем ненависть, так сейчас жалость к Той расширилась до тотальной формы жалости ко всему тварному

* «Но зимний ветер, слетевший из-за тучи, застудил и убил мою Аннабел Ли» (англ.).

веществу, ко всякой конечной твари, а затем сузилась до острой жалости к близлежащему человеку. Жалость-вина сама собой, неуследимо быстро превратилась из ненависти и переместилась с Той на Эту (все же чувства живут отдельной жизнью от людей, лишь притворяются собственностью своих якобы-обладателей, дают поиграть собой на время, самостоятельно передвигаясь по неосвященным закоулкам душевного мира, зрячие в темноте, как кошки — опять! — гуляющие сами по себе; пока колокол звонит по тебе).

Да и кого — если на то пошло — следовало пожалеть? Та умела убегать от жизни в интересные сны, всегда сюжетные, в книги, фильмы — могла уйти туда без остатка, как у Грина в «Фанданго» человек входил внутрь картины; она была человеком виртуальной реальности до появления самих этих слов, как, впрочем, являются людьми виртуальной реальности миллионы простых зрителей «Санта-Барбары», — следовательно, могла бояться жизни, не справляться с нею, но не могла быть уязвлена, ранена, поражена ею — смертельно, всегда имея куда улизнуть, где схорониться-сохраниться, пока время не возьмет свое и не залижет рану. Та всегда была *на пол-ов и н у*: наполовину живой, наполовину сно-сшедшей (оттого и глаза ее после пробуждения сохраняли подслеповатость сонной грезы чуть не до очередного засыпания), наполовину простодушно-открытой, наполовину потаенной, — и, диалектически скользя по ленте Мёбиуса, неощутимо-своевременно переходя с одной половины плоскости на другую, оставалась цела, пусть и не невредима, в довольно кровоточащих передрягах. Опора на иллюзию, короче говоря, давала ей силу пережить реальность.

Иное дело — Эта: изначально сотканная из жизни и только для действительной жизни, нимало не чувствуя и не сочувствуя миражам, мечтам, вторым реальностям, дешевым и дорогим, высоким и низким, будь то «Дикая роза» или «Анна Каренина», дамские любовные романы или «Амаркорд» (она всегда могла только оценить качество текста, а не вжиться в него, если только он не совпадал по тональности с ее кошмарным внутренним миром, и тогда она просто не могла его читать, не соглашалась ни за что), жена всецело подключена была к действительности первой и последней, к ее мельчайшим толчкам и тончайшим уколам, к бесконечным — и на по-

верхности, и на глубине — ее уклонениям от той нормы добра, правды и красоты, что была врождена ее поврежденной после душе, не имея возможности передохнуть, сбросить с себя, отключиться или переключиться, не зная, как это вообще делается. То, на что не обращали внимания одни, то, что только закаляло других, сделало из нее в итоге, при такой ее подключенности и отсутствии простейших предохранителей, остаток женщины, фрагментарного человека, несказанно мучащегося от утраты полноты жизни, утраты, случившейся по причине самой же этой полноты. Болезнь — от слишком-здоровья, умирание — от слишком-чувства жизни, ненормальность — от слишком-нормальности.

Кого же следовало пожалеть? Уж не Ты, что жалелась ему во снах, в самом-то деле. Все делаешь не так — и чувствуешь не к той, кому надо. Мало того, обратно тому, как надо. Недотепы; и кому какое дело, беда это твоя или вина: по плодам их узнаете их. Как думаешь, это о ком?..

— ...сразу убей! — докатилось, услышалось, и стало тупиково-тоскливо ясно, что она все повторяет и повторяет, как давно до нее выведенную формулу, а кровать под ней равно скрипит от однообразного раскачивания из стороны в сторону. Бедная детка! Выручить ее, вывести из. Бедная!..

— Послушай, я вино...

— У-бей.

— Я виноват, но я не хотел...

— Убей. Сразу убей.

— Но, родная...

— У-бей сразу.

— Но послушай... ты слышишь? Только послушай!

(Молчание. Скрип раскачивания. Будет слушать или опять? Давай всюду, не давай ей раскрыть рта. Поцеловать? Резкий перебор. Сразу взрыв. Говори ж, раскошегаривай от всей полноты обожженного сердца. Грузить, так по полной программе. Эта минута... в гробу я видел эту минуту!..)

— Я свинья, но это не главное. Главное — все, что я говорил, неправда. Я так вовсе не думаю! Да! Нет! Не думаю! Но ты меня зацепила. Ты меня обидела. По-настоящему, понимаешь? До слез. Ты сказала, что я не умею любить (ах, какие мы чувствительные! будто бы уж). Но это не-

правда. А если даже и правда, то я стараюсь. А коли так, нельзя меня этим попрекать. Ты меня обидела (дрогнул голосом, хорошо, как по правде, да не как, а по правде и есть) по-настоящему, понимаешь?

— Тебя нельзя обидеть по-настоящему. Ты в обидах купаешься (матовый голос: это когда она уверена до безнадежности. Пусть: сейчас важно, что слегка отключилась оттуда и пошла на какой-то контакт. Жми).

— Неправда! Ты опять меня обижаешь напрасно. Ты несправедлива. Разве я так уж совсем не умею любить? Разве я все эти несчастные годы не был с тобой, не катался с тобой ко всем врачам, ко всяким святым бабкам, как говорит твоя мать? Я хоть раз изменил тебе?

— Сколько ты будешь это...

— Нет, но ты, наконец, прими во внимание! Это норма, говоришь ты. Ты же мне не изменяешь и не хвалишься этим, да? Но ведь это и значит — ты меня любишь! Ты посмотри вокруг и подумай — разве это уж совсем не о любви говорит? Тем более когда (стоп!)...

— Договаривай. Тем более когда жена больна?

— Нет же, нет. Тем более что (что? что? срочно)... что возможностей было сколько угодно (ну уж прям). Даром, что я трачен молью, не красавец, не богач, но у меня есть свои скромные достоинства, своя маленькая репутация, шуг ее дери, — но! но я никогда, ни-ког-да не только — но и не собирался тебе изменять! И заметь, на меня это совсем не похоже. Это впервые. И что ж, это совсем ничего не стоит? (давай-давай говори-говори, дай жизни, Калуга!) Но этого мало. Ради тебя я перестал пить. И на этом потерял столько людей, столько друзей...

— Тот не друг, кого потеряешь, стоит только бросить пить.

— Ты опять со своими нормативами ГТО. Но жизнь — другая я, понимаешь? ты человек правильный, и нормативы твои правильные, но они — одне, а жизнь другая. Друзья или собутыльники, но их было много, а без них я почти один-одинешенек. Но я не жалею. Я выбрал тебя и не жалею. Я всегда дома, всегда на подхвате, всегда готов куда-то опять тебя везти, если ты опять подавишься, спаси Господь, очередной рыбьей костью. Готов за кудыкину

гору, семо и овамо. Анята — я тут! Сколько лет. 20 тысяч лье вокруг тебя. А ты говоришь, после всего этого, что я не умею любить, только потому, что я живой, то есть в меру эгоистичный человек, не проникаюсь тобой всецело. Но есть же предел. Есть норма, ее же и ты взыскуешь, в натуре. Есть иволги в лесах! Слишком, человеческое, да. Всего-навсего. Но ведь и это любовь. И это чего-то стоит. А ты... меня... обидно. И я не сдержался, прости.

— Ты — не сдержался?

— Да.

— Всего только не сдержался?!

— Ну.

— А тебе не кажется, что это называется по-другому?

— Как?

— А то ты не знаешь... А насчет всего, что ты тут сказал: да, ты много для меня сделал. Ты даже поступил. В смысле — чем-то поступил ся. Не-как-люди твоего... твоей... ну, в общем. И не думай, что я этого не ценю (вот как она переходит от этих их женских слез и раскачиваний к этим своим цепким логимужским... как это у нее без перехода?). Только не путай это с любовью. Мне-то не надо ля-ля.

— Что, опять будешь о чувстве долга? У меня? Тебе самой не смешно?

— Да, вообще-то у тебя его нет. Ты человек безответственный. Но увлекающийся. Ты увлекся православием. Ты воцерковился. И у тебя по учению и по увлечению в голове появилось то, чего нет в душе. Ты же зажигаешься головой, ты же и вкус твоего любимого виски больше любишь в мечтах ума, чем нёбом и языком, я тебя наизусть знаю! И ты стал научен, как по-новому учению поступать, чтобы — деятельная любовь и там милосердный самарянин и все прочее. Ты был неопит, и тебе так было красиво и увлекательно-умом поступать, и ты старался, а теперь стараешься по приобретенной дисциплине и инерции, но и теперь стараешься на совесть, хоть и вяловато, но. Пока в очередной раз не сорвешься, как сейчас, только что. И как только сорвешься то — со вкусом! И тут из-под воцерковленного самоотверженца высовывается... тут выказывается истинная страсть!

— Да, но зачем, зная это, ты меня срываешь?

— Из вредности. Вот из чистой вредности. Стерва-баба, да? А кто тебе сказал, что ближний должен создавать тебе все условия любить его как самого себя?

Она права, но что мне правота Ее или своя, — не в правоте тут дело. А в том, что жизнь — мученье до конца, Мучительней которого — лишь жизнь. Кто правотой своей еще отягощает Ее — о, сколь неправ тот правый! Правозащитник тот и правопрокурор! Нечеловечен этот провокатор... А если это так, то что есть Правота, и почему ее одушевляют люди? Уста она, в которых Воркута, иль студень, цепенеющий на блюде?

(Не студень — студенец истления*, вот это — так!)

— И что, это плохо? Стараться? Плохо?

— Это прекрасно. Ты заслуживаешь оценки четыре с плюсом. Может быть, даже пять с минусом. Но это не имеет отношения к любви. Самой простой. Которой у тебя нет.

— А тебе бы все ту самую?

— Каждой бы все ту самую, ты еще не понял? Ты хочешь со мной только спастись вопреки погибельному естеству — и за это на мне отыгрываться? Так лучше ступай в монастырь, Офелий!

— И все равно ты не права (сказать сказал, правильно, веско; теперь найдись мотивировать, почему; есть? кажется...) Допустим, я получил некий посыл не в сердце, а в Церкви. Но ты забываешь, что пришел я в Церковь — с тобой. Что женился я еще до того — на тебе. Что выбрал я из вас двоих — тебя, хотя до тебя я всегда выбирал ее. Что я не ушел к ней назад — а она была еще одна. А это было еще до Церкви, хотя уже после того, как у нас пошли архисерьзные нелады. Это что, по-твоему, тоже ничего не значит?

— А это, милый мой, значит вот что. Это вот что. Это то, что ты, как чеховский Иванов — ты же не можешь не рифмовать свою жизнь с литературными героями — решил влить в свои усталые члены и иссохшие жилы, или наоборот? без разницы, свежую кровь. Ведь я какая была молодая и здоровая, целая и невредимая, ты забыл? цвет

*Ров погибели (црк.-сл.).

той яблочной кожи? То, как я моментально засыпала, моментально просыпалась — и пела; целый день на работе — и вперед, к друзьям или в ресторан! горы могла своротить, в отличие от твоей... Да, новое вино в старые мехи... тебя предупреждали, но ты не отнесся к тексту серьезно. Зря. Но это в сторону. Тебя это вдохновляло — еще бы, легкое дыхание! К тому же я давила: не тяни резину, почему, с какой стати я, молодая красивая, должна быть любовницей при действующей жене? Безо всяких извиняющих обстоятельств типа детей? Это просто унижительно. Либо женись, либо освободи. Не будь собакой на сене. И ты в первый раз в жизни решил довести хоть что-то, хоть какое-то дело до конца. То есть нет. Так, сознательно, ты бы никогда не решил. У тебя оно внутри само вытанцевалось, не мытьем, так катаньем. Ты внутренне поставил на меня: молодая-задорная, свежая кровь, и ты так много вложил себя, ты же меня так долго и трудно охмурял, ты настаивал, ты чего только не врал про ваши отношения, когда я не разрешала себе чужого, по каким только не мерз подъездам — и что же, зря старался, любил на всю катушку? Да, вот тогда ты меня любил, я думаю, как мало кто сейчас любит, этого у тебя не отнять, когда ты со свежего пылу-жару, тогда не нужно было спрашивать, любишь ли ты и кого, я и так знала, да... А может быть — ты только не обижайся, мы уже не дети, дело житейское, — может, еще и не без того, что ты нутром чувствовал: она — вчерашний день, самарский, отработанный материал, а я — сегодня-завтрашний, москвичка, ну и с квартирой. Не думал, пойми, а просто твоя эта, как ее, элан виталь — вот она сама устремилась в новое русло, и эта мышка, нет, крыска — и выдернула репку...

— Неправда! Все неправда!

— Нет? Ну, извини, я не для того, чтобы обидеть...

А почему, собственно, так зазвонел голосом? Чего кипит мой разум возмущенный? Ну да, тогда я об этом кажется, не... А кто ж его сейчас знает, что я на самом деле думал даже секунду назад, а уж 10 лет назад? Тем более — что творилось во мне бессознательно? Это как доисторический период. Кажется, я был тогда идеалист. Но могу допустить, что на самом деле я был человек вполне житейский: всяк человек ложь. Как вос-

становить сегодня меня позавчерашнего, влившегося во вчера, а вчера отслоить от сегодня? Как, если это одна живая ртуть, и поди отдели точную память от попытки реконструкции? Как определить вчерашнее, когда вот, я хочу определить точным словом настоящее — и не могу. Я, Чангара-Шанкара-Зангези, пришел, говорливый, чтобы рассказать об Эль и Ка, и Ша, рассказать про наше страшное время словами Азбуки, я, Шекспир, Кальдерон и Джойс, перепутавший время, попавший в эпоху компьютера, гуманную эпоху, разрешившую мне жить и писать, и говорить, просто раз и навсегда отодвинувшую меня в сторону, одним перманентным незамечанием завернувшую меня в типографскую бумагу и отправившую на дно долгого ящика, на дно мира тьмы нужных вещей, на дно мира необратимо упрощенных чувств, продвинутого упрощенного сознания; и вот я, ненужный, одинокий обломок былых миров, теряю силу ненужного слова, слабею, бессилен описать даже эту минуту. Как сказал отец Иоанн: «Какие мы старцы? Мы — старички». Какие мы Шекспир? Мы — Виктюки. И не Джойс ты, а джойстик. И не Хлебников, а нахлебников. Уж не Джойс од жизни ничего я. Фу. Мусор звука. Фонетическая помойка у тебя в башке. Смысловая тоже. Что ты? Ничего я. Никого я. Аника воин. Я — Чангара Чевенгурыч Чефирной на запасном млечном пути из Черкизова в Чертаново. Час Че. Я вам «Чучу» отчебучу. Закавычено. Не конвертируется...

Рече безүмен в сердце своем: несть Бог, растлеша и омерзিশа-ся в беззаконнѣх, несть творяй благое. Бог с Небесе приице на сыны человеческия, видети, аще есть разумеваяй или взыскай Бога? вси уклонишася, вкупѣ непотребни быша, несть творяй благое, несть до единого. Ни ли уразумеютъ вси делающіе беззаконіе, снѣдающіе люди моя в снѣдь хлеба?

— Кончилось.

(Что кончилось? Расслабился, не уследил. Сейчас — не показать, что невнимательно, ни в коем, сейчас, когда: «Нá, виноват всей душой». Пойти конем.)

— В каком смысле? (Правильный вопрос. Всегда.)

— А в самом прямом. Кончилось мое легкое дыхание — кончилась твоя тяга. Печка потухла — вся любовь. Но ты

делаешь вид, даже для самого себя, ты искренно пытаешься механической церковной дисциплиной «деятельной любви» заменить...

— Думай, что говоришь (*не так, сейчас нельзя резко. Хорошо, голос не повысил. Не так. А как? Когда такие вещи*)...

— Ну да, да, не механической, ты добровольно, ты духовно практикуешь, ты серьезно, ты хочешь «употребить усилие», чтобы «восхитить» и «стяжать», одухотвориться своей силой...

— С Божьей помощью.

— Ну, правильно, ну, верно. А кто чего хочет — тот, может, то и получит, и дай тебе Бог, мне же будет лучше. Но пока что — по-ка-что — не перебивай, Христа ради, пока что ты только тянешь себя за волосы из болота нелюбви, пытаешься делать все, что положено тому, кто любит, ты и впрямь методически, что тебе вообще несвойственно, пытаешься быть заботливым, терпеливым, понимающим. Ты формально и форменно верен. А поскольку я тебе немила, ну, немила и все, ничего не попишешь, голос у меня звонкий, а не осторожный и глухой, как у твоей кареглазой (*точно, а я все думал, что мне напоминает эта строка? ее голос*), и глаза голубые, и Марселя Пруста я не читала и принципиально не собираюсь, и что там еще у тебя заветного — да все во мне тебя раздражает, — но! Но ты проделал над собой большую работу, ты сам себя почти уговорил, что меня лю... Что там — иногда ты меня заставляешь верить, что ты... И вот — ты гордишься собой. Как же, ты верный. В наше время. И ты имеешь наглость, — вот тебе здравствуй, Жора, новый год! сорвалась или взорвалась? — ты имсешь наглость говорить мне это вслух! всерьез! Ты высоко ценишь свои заслуги — перед мной? перед нашим временем? перед Богом? «Я тебе десять лет не изменял!» И ты ждешь, что я тебе медаль на грудь повешу? Или Он — за верную службу? Посчитай еще, сколько месяцев, недель, дней и часов ты хранишь верность. И сколько тебе осталось ждать, пока. Я больная, мне сам Бог велел лежать тихо и не рыпаться, когда там чего, а ты — нет, ты видишь, какой хороший, верный и любящий, да? Но недолго терпеть ос-

талось. Тогда отыграешься за боль годов, да? Ты не думал, что это из тебя так и прет?

— Как ты смеешь?

(Ладно тебе. Женское дело такое. В сердцах, понял? Такое дело их. Ты-то чего заводишься? Сейчас же все пойдет юзом. Потеряет управление. А ты же хочешь как лучше. И уже отыграл назад сколько-то. Отдохни и продолжай.)

Открой, открой молитвослов, Прочти псалом сто тридцать восемь, И отодвинувши засов, Захлюпай в зимовесноосень, В надежде веры и любви Понаторевши по утрянке Неподалеку от Москвы, Не доезжая Загорянки.

— ...смею? Нет, милый, это так ты смеешь?

(Хотел как лучше. Держался. Но не могу.)

— Я сме-е-ю?! Я когда-нибудь что-нибудь подобное говорил, что ты мне припи... Или думал? Ты понимаешь, что оскорбляешь меня?

— А ты понимаешь, что ты меня гроишь?

— Ну, послушай, ну ладно, ну, я тебя умоляю... Ты видишь во мне... ну, с чем бы... ну вот, есть целая популяция евреев, которым в любой фразе, где есть слово «еврей», мерещится зоологический антисемитизм. А у тебя такое слово — «больна».

— Я знаю, ты отвертись от чего угодно, но я тебя зна... да и не в этом дело... Ты не знаешь, как это действует. Ты не знаешь, что такое... срок. Тут дело в продолжительности. В непрерывности времени. Ты не был в армии. Не сидел в тюрьме. Ты не мотал срок, ты не знаешь; а я мотаю. День за днем, год за годом я все меньше выхожу из дома, мне уже страшно выйти за хлебом, я не могу спать до утра, а потом встать до четырех, я не владею собой, я разучилась что-либо делать, вымыть пол для меня — полдня тяжелой работы, принять гостя — каторжная повинность, да почти никто и не приходит, и их можно понять, ты для меня — единственная связь с миром, я не знаю, кроме политики по телевизору, что там за окном, даже не знаю, на каком языке они говорят, вот они стали говорить «по жизни», может, уже пять лет это норма, а мне в диковину, мне это кажется уродским, и я только лежу и говорю Богу: за что, мой Бог, за что мне это?

мой Ты Бог или не мой, в конце концов? или Ты Бог филистимлян или мадианитян, или я — уже не я, только память осталась, а Ты сокрушил меня до основания? но зачем? ведь я могла принести много пользы, много-много радости — и вот лежу и тошнит, немила ни себе, ни мужу, никому! Почему не убьешь меня сразу, за что еще мучаешь — и велишь благодарить, как эти ребята у власти? Ты знаешь, что значит мотать срок? Это такое послушание, когда деформируется душа. Когда чувствуешь себя ущербным до конца. От и до — ничего не стоящим. Ни-че-го. Когда все мало-мальски легкие на подъем дуры живут и зарабатывают как люди, одеты как люди, ездят отдыхать, видят море и солнце как люди, будто получили хорошее образование, будто потрудились чему-то научиться, что-то пережить и передать, а не просто потому, что здоровы и в руках все кипит. Когда никто не понимает, что значит — не мочь того, не мочь сего? Это могут все!.. Ты представляешь, во что я съезжилась за десять лет непрерывной болезни? В какую тварь, нет, в какого твареныша, дрожащего на холодке, я превратилась? Какого я о себе мнени я? И тут ты со своим: «Но ведь я тебе не изменяю! я тебя жалею!» Вполне своевременно. Чтобы меня. Ты все рассчитал наверняка, или ты толстокожий чурбан, но вряд ли, скорее ты все рассчитал, чтобы меня уконтрапупить, но одного ты не принял в расчет: тебе, дружок, не на что меня похоронить!

А так хотел ее пожалеть. Уже ее жалел. Уже любил. Уже вошел в жалюбовь, как в штопор — а она... Смотри, смотри ж, как исчезает жалость, как погибают замыслы с размаха, вначале обещавшие успех. Равнять меня с грязью. Делать из меня убийцу. Кто кого хоронит? Кто кого гробит? Все выскажу. Все. Тихо! не принимай помысла. Помни отцов: сперва — прилог, если принял — сочетание, а если и тут облажался — кранты, ноль шансов: страсть. Уклонися — сотвори. Не принимай помысла. Это тебя лукашка крутит, он особенно достает великим постом. Пост-то пост, да и сам не будь прост. Неплохо. И сразу — по второй: пуст-то пуст, ну, а сам, поди, Пруст. Не допускай сочетания. А если допустил — хотя бы молчи: перегорит. Молчи. Мы рождены не себе угождать, а терпеливо сносить немо-

щи слабых. Так И это — терпеливое ухаживание за больным вменяется в Молчи. Не могу. Сама виновата, что не дает себя жалеть. Дух противоречия. Хочешь лучше — ...Нет, не могу, распирает, где справедливость, как она может меня, я ей все, что мог, кто бы еще, но уж не она, а она... Все скажу, спокуха, ни прини... поздно! все!

— Я — тебя — гроблю? А — не ты меня? А? Не ты? Если уж на то пошло! Терпеть этого не могу: сам ты дурак и прочие бабьи дрызги, но если уж дошло до: ты убивец, если это серьезно, тогда вот что: не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Кто кого гробит — большой вопрос, дорогуша. Большой. Вопрос. Допустим, я тебя мало люблю. Я с этим не согласен, оговариваю сразу, но допустим. Но веду я себя как любящий, что и ты признаешь. А еще великий еретик говорил: на войне не тот храбрый, кто не боится, а тот, кто всдет себя, как который не боится.

— Любовь — не война.

— Ладно. Я и с этим не буду спорить, хотя тебе любой психоаналитик скажет, что любовь — это именно война. Но ладно. Ладно, я плохой. Как бы я себя ни вел, я все равно плохой, потому что горбатого могила исправит, да? Так. А ты — хорошая? Твоя большая, настоящая заглубинная любовь — плодотворна? согревает душу? утешает? придает силы? То есть живет? Я давеча брякнул сгоряча, ты смертельно обиделась, а на что? На правду? Не живет твоя любовь, а мертвит. Не надо, я спокоен. Не повышаю голос, не укоряю. Я только констатирую. Что — твоя великая любовь? Да, когда я болен, ты всегда при мне. Ты с ног сбиваешься. Когда то, когда сё... Парня в горы тани, да? там поймешь, кто такой. А если здесь, на равнине, где — обычная жизнь? Ты там говорила о сроке, о послушании. Каждый мотает срок, каждый имеет послушание: претерпевать жизнь. Десять лет я с тобой. Десять лет — почему ты пьешь? Как ты мог прийти позже на час — на час! — когда я волнуюсь? Почему ты дружишь с этим, когда он дрянь и алкаш? Как ты можешь вообще хотеть уйти к друзьям и оставить меня одну, зная, что мне без тебя плохо? Как ты можешь спокойно сидеть и читать и рассуждать об искусстве и прочей галиматье, когда у нас

отключили отопление? Почему ты столь эгоистичен? безответствен? толстокож? груб? черств? пьющ? не забудешь даже гвоздя? думаешь о героях книг, а не о живых людях? Воображаешь себя Бог знает кем, а на самом деле ничего не можешь? Не зарабатываешь, а пить любишь коньяк-виски? а мне не принесешь цветка!

— Интересно, и часто я это говорю?

— Редко. Но всегда — один пишешь, два в уме. Нет, опять же, я ничего не говорю, все это — из любви ко мне. Из требовательной любви. Из битвы за меня, как за урожай. Чтобы я стал таким, каким должен быть, чтобы ты меня любила благодаря, а не вопреки. А в подоплеке-то, как сказал Мюллер Штирлицу *(хоть тут остановись, сосчитай до, а почему, собственно, когда уже взят разгон? замах на рубль, а удар на... ну уж нет!)*? В подоплеке простая вещь: ты давно уже не живешь. Тебе давно не в радость люди — значит, и я — что в них нашел? Тебе неприятен алкоголь — редкий случай — значит, все, кто пьет, волчины позорные. Тебе жизнь не в радость — значит, и я не живи! Голодный сытого не разумеет. Твое существование сузилось до квартиры — запришь и я в ней. Так кто кого гробит? Кто кого мертвит, пес меня заешь? Кто-кого-мрт...

— Что ты говоришь? Остановись! Ты пожалеешь об этом! Остановись, про...

— Нет уж, теперь уж лудки. Теперь я все скажу, раз уж начал. Ты меня до этого довела. Ты первая начала. Я только защищаюсь. Ты цепкой крабьей клешней своей смертельной любви тащишь меня к себе в смерть при жизни, и называешь это серьезным отношением. Да, ты относишься ко мне серьезно. Ты выпиваешь из меня жизнь, вытягиваешь душу и питаешься ею. И заметь, при этом ты винишь меня, что я формальный, дисциплинарный христианин, а сама пользуешься этим, взываешь к дисциплине: «Какая мерзость. Как ты можешь — это не по-христиански!» «Как ты смеешь — что скажет духовник?» «Как тебе не ай-й-й-й — разве этому учат тебя отцы?» Ты нормируешь меня и питаешься мною, нарезанным на порции, а себе даешь волю б ы т ь с о б о й. И так дальше и дальше, все внутрь и вглубь омертвляющих по мере твоего омертвления десяти лет, и так еще тридцать дальнейших

лет... тридцать лет мертвования... Кого хоронят? Жива-го!!! (Ну, ты свиреп; а за дело; ты не гляди, что она все молчит — пусть помертвела, все равно хотя бы частью души слышит — должна выслушать правду по справедливости, мне чужого не надо, пусть получит свое.) Вот свежий пример. Вот, пожалуйста. Сегодня, сейчас. Мне надо ехать. Выйти в полшестого утра. Значит, встать в пять. Добраться с рюкзачком на 12 кило до электрички по холодку. Два часа ехать. Час топать, опять с рюкзачком по холодку. И еще могут не причастить, как я не был на всенощной. Добавим — ты отлично знаешь, чего такому ханурику, как я, стоит оставаться верным — пусть в самом поверхностном смысле — мало-мальски верным с е й ч а с. Когда религия стала общим местом, когда православная Церковь — прибежище опереточных монархистов, лампасовцев с прибамбасами, полоумных конгспирологов, солнцевской братвы и даже — коммунистов, их же и монаси приемлют! Когда духовность — затычка во всякой бочке, когда любой банк-понятно-кого и кабак-для-понятно-кого непременно освящает батюшка. Чего стоит удержать в себе хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь веру с микронную частицу горчичного зерна, когда со всех сторон окружают — национал-православие, культур-православие, оккульт-христианство, а чаще бескульт-христианство, а завтра еще какое-нибудь гештальт-христианство, когда выбор — либо «христианство» без берегов, либо с такими, наоборот, берегами, что в русло обе ноги не помещаются, только одна. Чего стоит не поддаться отвращению ко всей этой пошлости, культмассовой и культкружковой церковщине, выдаваемой за соборность, — и не уйти вовсе из Церкви? Ведь за последние несколько лет я утратил не только первоначальную пронзительную сырость веры — это естественно, это путем: путем зерна, — но и вообще чувство насущности веры, вообще всякое чувство. Ведь говорено, целый час назад, я держусь только на памяти веры, памяти непосредственного знания. Памяти, помноженной на дисциплину, которую ты так не жалуешь, а она — спасительна, по крайней мере, для таких раздолбаев, как я. Да ведь и от нее-то уже осталась одна инерция дисциплины: мне дай только повод расслабиться — я

развернусь, развалюсь — не поднимешь! Ведь это Веничка только мечтал о «спасительном малодушии, панацее от всех бедствий». Мечтал, пока не разрешили быть малодушным. Но вот оно пришло, малодушие — и оказалось не спасительным, а таким же губительным, как обязательный героизм. На свете нет ничего хорошего и ничего плохого, а точнее — в с е может быть хорошим или плохим, судя строго по ситуации. Потому что лукавому, ему все едино — энергетика или энтропия, свобода или рабство, богатство или нищета, умерщвление плоти или освобожденный секс, он все, все без исключения вывернет наизнанку и направит куда ему злопотребно. Но и понимание этого не спасает, зане он воздействует мимо разума, напрямую выходя на твою волю. И я чувствую эту смену энергийности на энтропию в себе и вокруг и чувствую еще, как п р е в р а щ а е т с я жизнь, как она безумно дорожает в одном отношении и скотски дешевет в другом, и как унижительно стало быть бедным — и как еще унижительнее будет! — и как чем гордился, честной бедностью своей, того стыдишься, и как крепчает криминодемобилизация и нарастает сенсорная деприватизация, и как пошло все то, что пошло, и как все мерзостно, что вижу я вокруг, слов нет — как! да жаль себя покинуть, милый друг — ну, и тебя тоже, не вижу причин скрывать... И вот я тону в этой трясине и тяну себя за волосы с Божьей помощью — потому как что же еще противопоставить своему распаду? только свою же упертость — и тащусь все-таки на электричку... И тут — кто еще, кроме Бога, может помочь вынести, претерпеть до конца эту мерзкую жизнь, этот святой дар жизни на земле, как выражалась Церковь Московской Патриархии в золотые годы Высокого и Позднего Застоя — допретерпеть эту жизнь и донести до конца незадутой свою холодеющую веру? Кто еще должен понимать, что с христианина не только спрос другой, чем с нормального человека, но ему и снисхождение другое, что ему планку надо не только завышать, но и занижать, потому что ему труднее, потому что быть христианином хоть на самую малость труднее, чем взобраться на Эверест или написать «Братьев Карамазовых», потому что реализовать себя куда легче, чем себя и з м е н и т ь, по-

тому что все на свете легче, чем изменить свою подлую натуру, а христианин только этим и занимается — и, натурально, надрывается быстрее, и срывается сильнее — и... Кто еще, как не ты, моя венчанная супруга, мое лучшее «я»? Ну, так дай, понимаешь, мне руку в непогоду, помоги, едрена корень, в немой борьбе! Допустим, я из племени духов, но ведь я не житель Эмпирея! Ан нет — ты, видя изо дня в день, как я трепыхаюсь и выпучиваю глаза, и бью хвостом, как ихтиос, выброшенная из чистой воды на грязную землю, и хлопаю жабрами, ты, вместо чтобы помочь или хоть не помешать, пусть уже хоть так, — ты первым делом будишь меня, чтобы я, если все же доплетусь, на службе уже точно не знал, на каком я свете, а второе — шантажируя приступом, требуешь, чтобы я вообще не ездил! чтобы еще больше позволил себе отвыкать от службы, пока не расслаблюсь окончательно и не отпаду совсем от Церкви и не отлучу себя от Христа! Ты этого хочешь? Ну, разумеется, ты скажешь — нет, ты возмутишься: мне просто очень плохо, я не могу одна, а ты равнодушен к страданиям ближнего... Но извини, это как в анекдоте: а кому хорошо? Мне не лучше твоего, может быть, но я из последних... А ты обо мне, о ближнем — подумала? нет. Ты без меня не можешь — и все. Это любовь. Но любовь мертвеца. Сказано же — сильна, как смерть любовь. Что бы ты ни говорила, чего бы ты ни хотела субъективно, а объективно (замечательно! что-то напоминает; а-а: «Каковы бы ни были субъективные намерения автора, объективно он играет на руку...»; ну, не так выразился, но по существу-то — !) ты только и делаешь, что меня гродишь!

(Всякий раз, всякий раз за долгую длительность лет, когда заканчиваешь взхлебно-нескончаемую тираду, скопившую в себе отчетливо, доказательно и эмоционально заразительно предъявленный список хронических обид, справедливых претензий, сердечных жалоб — всего, насущно необходимого, но недополученного, всего вредоносного — и полученного с избытком, всякий раз в ответ ждешь если не раскаяния, то понимания, всякий раз говоришь с надеждой, что наконец-то ты был аутентичен, неопровержим, нашел неотразимые слова, взял ту ноту, чтобы разверзнуть ее душу,

пробить ее сердце, заставить ее признать свою вину — и плача явиться с повинной, и тогда ты примешь ее в свое любящее сердце и скажешь: «Не плачь, родная», — и всякий раз раздается молчание, вслушиваясь в сицевое, the sound of silence*, все с меньшей надеждой и с растущей тоской быстрехонько понимаешь: дудки. Ты опять вообразил себе идеального слушателя (еще бы, в безразмерной, удобной для лепки любого воображаемого и потребного тебе образа ворсистой темноте), свое второе «я», настроенное на твою волну, тогда как дело имеешь со слушателем реальным, пропускающим все услышанное через магнитное поле своих резонансов и неопознанных чувствительностей, мимолетных и фундаментальных; ты и впрямь поразил его болевые точки, но совсем не те, которые надеялся поразить, уязвив вместо того, чтобы тронуть, возмутив вместо того, чтобы проследить, — и вот опять все откликнулось не так, как думалось, когда заучалось, ты опять промахнулся, но не совсем, — если бы! — куда-то ты все же попал, туда, куда попадать не следовало ни при каких обстоятельствах, и теперь осталось только гадать: зловещая тишина означает смертельную обиду, которую в ближайшее время уже не смыть-не-замять, и тогда осталось по крайней мере воспользоваться ею и провести в горькой, но отдохновенной тишине время до окончательного вставанья, или — что хуже, что лучше? оба хуже! — это минутная тишина после артобстрела, после которой противник поднимется в атаку и выплеснет на тебя всю пробужденную тобой же и успевшую спрессоваться за долгое время твоего говорения ярость)...

Тишина еще оставалась, но состав ее уплотнился, и по изменению давления стало ясно: второе. Грозы не миновать.

Страх и трепет принде на мя, и покры мя тьма. И рех: кто даст ми криле, яко голубине? И полещу, и почню? Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни. Чаях Бога, спасающего мя от молодущия и от вѣри. Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и пререкание во граде.

— Ты... ты-гы... (и-ис-шипенья-ф-крик) — доканывать? Я — теб-бя? Если бы! Тебя и нужно доконать, кровосос,

*«Звучание тишины» — песня Саймона и Горфанкла.

упырь, вурдалак, теперь я это ясно вижу, доконать и вбить осиновый кол, чтоб не ожил! за то, что ты доканывал меня, бомбил меня столетподрядизоднявдень, когда мне было двадцать лет, когда я была жива и невредима, и на меня оглядывались, а я была влюблена в тебя, уже облезлого и нищего, как дура, я и была молодая дура, а ты, охмурял меня и охмурял, взрослый мужик, и чтобы я не чувствовала, что влезла в чужую игру, что это нельзя и дрянно, и не для меня, плел про то, что у вас особые отношения, что между вами давно уже ничего нет, просто ты ее очень жалеешь, а ты для нее все, и она выбросится из окна, если ты от нее, и только такая дура полудурошная, как я, могла поверить во всю эту ахинею, и жалеть ее, а не себя, а потом ты нас свел, сгруппа или поневоле, но это ты напрасно, всякому безобразию есть свое приличие, и она мне рассказала; какие такие у вас отношения, и тогда во мне впервые все сломалось от тебя, твоих подлых штук — «тебе же не мог причинить боль, не мог же я тебе сказать, как есть, когда ты меня буквально допрашивала: что между вами? — и я видел, что ты правду не перенесешь» — и я от тебя ушла, и вот тут ты-таки оставил ее, как следует, и слезно уболтал меня, что это первый и последний обман, что ты виноват, но без вины — и беспристрастный бы все понял, и все такое, а теперь, когда узел разрублен, то мирком да за свадебку, и будем жить долго и счастливо и умрем в один день, — и я, уже зная, что так не, никогда, что ты и захочешь из лучших побуждений — тебе же и л у ч ш и е п о б у ж д е н и я д о с т у п н ы — обмануть по-честному себя и меня, так не выйдет, — я опять поверила! Уже поломалась, а все тебя слушала, разинув рот, соловья нашего, златоуста-хризостома...

(Заводит, а я не заводюсь: нет горючего, все пожег только что, лежу пустой, не заводюсь. Как с гуся. Надо сначала бак залить, чтобы. Надо еще меня наполнить. Надо суметь. А я в отключке — пусть накатывает волнами: чистый фон, чистый звук без наполнения. Мутилась пучина морская. Сие море великое и пространное, тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими, тамо корабли преишлавют,

змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Лицом к лицу тебя встречаю я сегодня, о, Моби Дик. С детства влекла меня сердца тревога в область свободную влажного бога. Куда ж нам плыть? На Сидней, как «Жанетта» из кейптаунского порта, поправив такелаж? Или из ванинского порта — в Магадан, столицу Колымского края? Не туда и не туда, а в Германию. Снова ты. А чего? Берут же побродяг и в дом, и по билетам. У нас брали, теперь пусть они берут. Долг платежом красен. Кому обломится, а кому отломится. Допустим. Да мне-то это зачем? Затем. Бродяга я. Я тучка золотая. Вечный я жид, больше никто. Кому-то йдется любить эту грешную землю, потому что каждая московская собака знает его легкую походку, а другой знай себе взыскует града иного — хоть кол на голове теши. Но цена входа в град иной — жизнь. Фундаментальная эмиграция одна — смерть. А если града нет, а ты за него уже все отдал? Доверяй, но проверяй. Для начала купи себе мир иной в этом мире. Ценой смерти, но не до смерти.)

— ...тут-то самое оно и началось. Тут ты пустился истязать меня методически. Тут ты давай не спать по ночам и рассказывать мне, как тебе ее жалко, бедную, что она одна-одинешенька, все тебе отдала, а ты ее оставил, и как-то там она — хоть ты ее и не любишь, а меня, но — не бросилась ли под поезд, а мне все это слушай и еще тебя утешай! когда на работу вставать в восемь, тогда я еще была в состоянии, тогда ты еще не успел меня совсем доездить, но ладно — она-таки не бросилась под поезд, кого-то там себе нашла, вернулась на историческую родину, устроилась-обустроилась, чего тебе еще, если ты ее только жалеешь? дыши носом! отдохни и мне дай отдохнуть, если ты только меня любишь, то больше нечем крыть, но нет, ты и тут нашел, как из-за нее трагически пострадать, не специально, я и не говорю, что ты на свою задницу приключений искал, но ведь зверь бежит только на ловца, так что все равно, нет, я нарочно для того жила на свете двадцать один год, тебя дожидалась, по-твоему, у меня своего горя и своих проблем не было, я тебя ждала в поисках острых ощущений, чтобы тебе на голову свалился этот придурок-друг детства (ничего-ничего, продолжай, я в минусе, я нуль, я меньше нуля, нет ниче-

го — все остальное есть*; я плыву по воле волн, *as idle as a painted ship upon a painted ocean*** , давай-давай, ты сама себе рокотание моря и сама себе соловьиная песнь, стало быть, и сама себя заглушить не вольна; а мне чего? лежать — не пахать; когда бы не зарплата, что нам свободный труд? напейся и лежи***). И ты своими руками, специально, но самого-не зная, допоил его до такого пороссячьего визга, чтоб он тебе поведал, чего и сам не собирался никогда: что у него с твоей незабвенной когда-то чего-то там было — и тут-то ты мне — не ему! не ей! мне! — дал разá! и еще года полтора давал! тут-то ты мне и понес, что она предала твое теперь вовек утраченное прошлое, взорвала твою память, разметала в клочки непрерывность и целостность твою драгоценную, и как теперь никогда ты не срастешься сам с собой, и все это по ночам, чтоб я ненароком не уснула от скуки — ведь до твоих попечений я непростительно быстро засыпала! да, и все это с перепоя на почве личной трагедии, как же не налиться до бровей, когда порвалась связь времен! и как не устроить хороший скандалчик с перепоя да не приволочь с собой в дом вусмерть пьяных дружбанов, да не дать жару из-за того, что я не пью и не люблю пьяных людей, которым уже давно хватит, а они все пьют в поисках времени, утраченного с другой, обманувшей моего мужа, когда он еще не был моим мужем, но узнал об этом как раз, когда стал, как раз вовремя, чтобы было с кем обсудить возникшие проблемы!.. И пошло по вечерам, по ночам, по утрам, ты все без конца вертишь, к а к конкретно она тебе изменяла — и звереешь, и пьешь, и звереешь еще больше... Обычная навязчивость, но ты-то уверен, что мир пошатнулся, что трещина прошла через сердце поэта — а я все это выслушивай, да еще тебя утешай, что делать с больным безумцем, распутывая клубок вместе с тобой, доказывай, что дело прошлое, что она и до т о г о тебя не стоила и все такое, хоть это и неправда,

*Фраза куйбышевца С. Ревякина (начало 70-х) — нравится мне и по сей день.

**Такой же пустой (несуществующий), как нарисованный корабль в нарисованном океане (Кольридж, «Старый мореход»).

***Парафраз принадлежит тамбовчанину Н. Кулину (70-е гг.).

оба вы друг дружки стоите, да она-то все-таки получше тебя, да у меня ведь не за нее, за тебя сердце кровью обливается. А за себя? Ты знаешь, до чего ты меня доводил? каково мне было все это выслушивать об ее...

(Умеет наполнить. Проникает сквозь отключку. Замкнись еще. Сожмись внутрь себя, как он учил. Нет, расширься, чтобы впустить в себя всю тьму, сколько ее есть, а потом сожмись, сожми ее внутри себя и станешь властелином тьмы, королем ночи, царем Маб. Светит незаконная звезда. Ночь нежна, над рекой тихо светит луна. Врешь, уже не звезда и уже не ночь. Here comes the sun.*

Еще не, но скоро встанет. Отключился — и не иду на контакт. Но все равно проникает. Действует. Но не так, как хочет. Наполняет опять. Меня взять надо уметь. Пробить мое сердце. Кай, где твоя Герда? Зачем так, зачем такой напор? И сице: приклони ушеса своя и слухай сюды, разуй очеса своя, жено, и виждь: вотце ловитва твоя, вотце наляцаеши лук свой, туне пускаеши стрелы в нищаго, иже есмь аз, доходяга. Вскую рыкаеши, аки скимен, вскую отрыгаеши глаголы поносная, зловредная? Еда я тебе неясгыт какая али нощный вран на нырише? Туне мятешися, в натуре: не лютостию поразиши мя, унзеши стрелы своя в сердце мое, но мимоидут. Точию кротостию единой, не гобзаванием, елы-палы, не ражжением огня лютаго, но сострастием милующаго сердца, да сотворю яко написано: озлоблен бых, и смирихся до зела. И принесу плоды покаяни, я зуб даю, плоды сокрушения сердечного, и произрастут, яко кедры ливанстия, иже при исходящих вод, и преизобилуют, якоже скоты польския.)

— ...тешать тебя в твоей обманутой великой-любви-к, без конца слушать, что любишь ты ее и думаешь ты о ней, а если остаешься со мной, то только потому, что она тебе изменила, а через э т о, через с е б я ты только и не можешь переступить! Ты скажешь, что никогда этого не говорил, но на самом деле ты только это и говорил снова и снова, потому что мы прокручивали одно и то же по сто раз, невроз есть невроз, это колесо, хоть ты каждый раз думаешь, что доведешь следствие до конца, до точки — и успокоишься. Сколько, ты думаешь, можно ложиться в постель втроем — и не свихнуться? Ты меня свихнул, но я

*«И восходит солнце» — песня «Битлз».

проглядела, я собой не успевала озаботиться, все таскала тебя по врачам, чтобы тебя совсем не заколодило, не скобочило, не скрючило. Себя я не контролировала, а оно во мне все ломалось и ломалось, пока я не замечала, ломалось и переломилось — и стало явно. Когда явно, значит, поздно. Значит, метастазы. Но и тогда ты от меня не отстал, ты тут пустил в ход новый прием: засуицидировался. То есть не просто — срочно лечи, спасай, утешай, понимай, даже когда ты мерзавски пьян, но — еще нужен глаз да глаз! Да еще спьяну — сцены ревности к первому попавшемуся, это ты уже перепутал меня с ней, это ты ее ревновал в виде меня — и обобщил глобально, до полного маразма, до фантастики: мол, любая баба может и хочет с любым и всегда, и спасение одно — взять ее на учет и контроль (шпарит прямо по Джойсу, хотя точно не читала; только тот именно так и думал, уперся рогом до полной убежденности, а по ее — это ненаучная фантастика, вот бы им поспорить, если б стали, если б считали, что в равных весовых категориях; причем, что интересно, каждый исходит из личного опыта). До того меня довел, что я ополоумела — и на полном серьезе: любимый, давай, для твоего же блага, ты возьмишь за правило пить только через день и еще норму поставишь: не больше, например, бутылки портвейна на тебя одного. Но куда там! Крестьянин ахнуть не успел... Ты от меня оставил... не знаю что. Так давить!.. Хорошо если мокрое место, но ты меня выжал досуха.

(Они задавили бы его затоптали бы но я должен был ударить первый так полагалось мы шли вдвоем по Кировской по безымянскому Броду я и Петров и он нам навстречу и начал первый а мы молчали он был больше и старше года на два если не три мы почти не знали его но слышали что он среди приближенных Раджи (или Паши не помню но «больших пацанов») мы молчали и тогда он скользнул глазами по Петрову огромному для своего возраста и легонько мазнул меня по щеке и пошел дальше в том же темпе и Петров сказал что так этого не оставит что у него тут рядом с ДК свои пацаны знающие Раджу (или Пашу) и мы сейчас сколотим понт и найдем этого ...ря и накажем его даром что он человек Раджи (Паши) и мы пацаны его пацанов на скамейке возле ДК где они пели под

гитару в наших краях признавали только семиструнную «Серebritся серенький дымок» что ль или «Из-за пары распущенных кос» и они когда узнали что кого-то есть хороший повод побуцкать сразу встали и пошли сказав что ща его так-ростак-и-разэтак а на его Раджу знают своего Пашу (или наоборот) и быстро пошли по Броду в ту сторону куда он шел и догнали его потому что он никуда не спешил и он сказал что да он меня удовлетворит по всем правилам и нас поставили друг против друга и я должен был ударить первым раз меня оскорбили и Петров сказал что мое дело только ударить все равно как это будет сигнал и он не успеет ответить как они все набросятся на него вшестером и потопчут и я понимал что так и будет этого они только и ждут ради этого они здесь но я стоял и стоял и он стоял и спокойно смотрел и я понимал что больше затягивать нельзя что есть определенная полнота времени после которой уже поздно махать кулаками но не мог ударить в лицо вообще не мог поднять руку и наконец стало ясно ничего не будет и словно загипнотизированные моим бездействием или его бесстрашием они повернулись и пошли и он еще раз посмотрел мне в лицо не плюнул понимая что есть и у меня мера которую лучше не испытывать просто посмотрел и ушел а Петров сказал — ну и правильно может быть что ты ничего а то нашли бы тебя потом от Раджи и бритвой и я не понял чего ради он тогда все затевал и вообще ничего не понимал ни в себе ни в них и теперь уже не пойму трус я был тогда или что-то другое меня останавливало а теперь поздно не восстановить вживе тогдашние но одно я понял что у меня нет и х силы и я презираю себя за это но презирал бы еще больше если бы она у меня была.)

— ...но хорошо: ты нашел — или Бог послал — за что уж, не знаю, спасение: воцерковился. Тебя батюшка — по моей же наводке, дескать, не повенчаюсь, пока не бросит — отвалил от водки и чтобы в окошки сигать и сцены закатывать, переваливая все свои 16 тонн большой памяти на меня грешную. Он тебе, наконец, эффективно объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо. Надо так думать, если ты, наконец, начал держать язык за зубами. Начал себя, наконец, вести, как взрослый человек, как муж. Но только в р о д е б ы, тебя так и распирало и до сих пор распирает твоя молчаливая ноша. Нет-нет, да ты

меня достаешь по-другому: то я не читала Пруста, то не слушаю какого-то Шютца, то не бегу сломя голову в «Иллюзион», то не умею готовить луковый суп, то не готова чихать на бедность, то не молчу в ответ, как твоя кроткая, то не отличу мадеру от портвейна, вообще не могу составить компанию... Словом, тех же щей да пожиже влей: в подтексте не просто я плохая, а плохая я именно тем, что я — не она. Не будь ее, я еще могла бы сойти за третий сорт, но она е с т ь, и это зачеркивает меня начисто. Это не дает тебе покоя, лезет изо всех твоих пор. Ты правда думаешь, я слепая? А если нет, ты правда думаешь, с этим можно жить? (Нельзя? но я же живу — отключись, — нет, стой, какое мне должно быть до этого дело, если все равно у меня нет выбора, зачем подталкивать к тому, что я не могу изменить: там уже другая семья, дети, да и я другой, да и Та другая, этого уже н е т, не возвращайтесь к былым возлюбленным — и он же в кои-то веки может путное сказать.) Ты же со мной только потому, что поздно что-либо изменить, и ты понимаешь, что это вздор, что у нее другая семья, да и сама она другая, да еще потому, что она тебе изменила, даже не так, она вообще б ы л а с другим мужчиной, теперь уж не с одним, а я нет, и ты не хочешь этим пробросаться, ты боишься, что во второй раз... Самое во всем этом смешное, что часть своей жизни и мою жизнь ты загубил зазря, ты ее вовсе не любишь, как и меня, а тебе просто нужно — где-то наглубоке — создавать себе трагедии, чтобы отмораживать свою ледяную душу, чтобы чувствовать, что ты страдаешь — значит, живой, а еще значит, что ты что-то значишь. Да к этому добавить обожженное самолюбие, а на все это наложить твой неподдельный невроз навязчивости да твой сексуальный детский комплекс — о безобразии половых органов и полового акта, вот это все и будет — твоя любовь земная и небесная. Потому что ты... пустой. Но мучаешься от своей пустоты и хочешь ее наполнить, чтоб в ней не сознаться даже себе, ты наполняешь себя разными мучениями, а когда их нет на самом деле (много ты знаешь, просто насквозь меня видишь, у-ты-какая! и что значит это прямоутольное «на самом деле»? я не Витгенштейн и не Деррида, но и я догадываюсь, что никакого «на самом деле» нет, или, наоборот, что то же самое, все есть

на самом деле, все, что помыслил или показалось, а тем более от чего заплакал; но хорошо, даже если ты и права, если ты что-то обо мне знаешь, вправе ли говорить?), их всегда можно сочинить, извлечь из себя, разогреть и подавать в готовом виде. И ты давай заниматься не творчеством, а муками творчества в поисках точного слова, или что тебе не пишется, или из-за чего хочешь... только не из-за того, кто действительно рядом, действительно действителен, я хочу сказать, в твоей власти в нем что-то действительно изменить, чем-то его обрадовать; согреть, помочь... Вместо того ты наполняешь себя чтением чужих слов или писанием своих — это тоже придает тебе... А больше всего ты пытаешься наполнить себя церковностью, а сам не понимаешь: ты... ты в Церкви только точку опоры нашел, чтобы не спиться и не удавиться, и из этой точки судишь-рядишь, обустройстваешь-упаковываешь смысл своей жизни, делишь людей на тех-этих. Тебя только тормознули, ты обрел только порядок вещей, а ведешь себя так, словно обрел живую веру. Ты спасаешься только от пьянства и бессмыслиц, а думаешь, что спасаешься и спасся бы в жизни вечной, если б я тебе не мешала. Ты все твердишь — я мешаю тебе с чувством, с толком причаститься, а ты сам себе препятствие, ты пустой, но не открытый, у тебя пустота закрыта даже для Бога бронированным стеклом, сколько ни причащайся Ему, чтобы обеспечить себе спасение (*все врет! врет! я говорю — врет!*), в тебя никто не входит, только отражается, как от стенки горох, ты чего только ни понимаешь, а сам — пустой (*ну, допустим, we are the hollow men, we are the stuffed men**, что еще? *смотри, как проникает, как накачивает, не принимай помысла, не сочетайся, в отключку, в отключку!*) ...И ты, ты мне говоришь, что я мертвая и тяну тебя в могилу, после того, как я тебе всю свою живую кровь отдала, а что осталось по сусекам, ты из меня по капле выцедил? А какой мне еще быть после этого? А на что ты мою живиночку перевел?! Ты — мне? Да, я действительно мертвая. Потому что за тебя, дура, живот положила. Потому что ты вовремя не ушел или не остался с той, кто тебе ну-

* «Мы — полые люди, мы — чучела» — первые строки поэмы Т.С. Эллиота «Полые люди».

жен, чтобы быть таким, как ты привык и сам себя намолил, — и растоптал всю мою жизнь и не дал мне шанса забыть тебя и устроить свою жизнь, когда я еще могла ее устроить, — и все это повидло, всю эту советскую повидлу, в какую ты надавил-размазал меня и себя, называешь венчанным браком! А теперь я труп, а труп сам себе не нужен, не то-что-кому. Убила — на тебя — жизнь. В ожидании твоей любви. В ожидании Годо. Которого нет и не было. Потому что кто мертвяк — это ты, ты как был им, так и остался — как же я столько лет не... И потому ты всех нас переживешь, и ее, и меня, и кто еще потом за тебя сдохнет, а ты так и будешь нами питаться, чтобы с умным видом рассуждать об Игнатии Брянчанинове и Александре Ельчанинове, Григории Нисском и Владимире Лосском, Флорском, Флоренском и Флоровском, о Джойсе, Бойсе и Борисе Гройсе, и спасение будет тебе обеспечено, потому что ты не выпадаешь из графика и своевременно причащаешься; ты говоришь, что в Церкви не сводятся концы с концами, не скажу за всю Церковь, но у тебя-то концы с концами точно не сходятся, ты будто бы ищешь в Церкви смысла и творчества, а как до серьезного дойдет, до кожи — тут у тебя вся ставка, вся, — на своевременное причащение; давай, давай, угробь меня — и усиль дисциплину для компенсации, прибавь еще по кафизме в день, отмени себе еще и рыбку в постные дни, давай маршируй ко спасению со святыми, мертвяк, упырь стеклянный! кол тебе в спину, ты ж пулю в грудь не примешь, у тебя даже не достанет мужества — при всех твоих суицидальных играх — повеситься, как Иуда!

Достала-таки. Пробила! Есть контакт. Когда приходит ненависть, еще милее губится. Ненависть ее вливается расплавленным свинцом и выжигает, возжигая ответную ненависть к ненавидящему, — что порождающую? а то самое во веки веков. Ненастная ненависть нежити. Ненастный час несчастный. Неурочный час урлы нечистой. Но почему так отвратительно сладко ненавидеть в ответ? Потому что ты принял помысел. А если бы миг соблазна, миг сочетанья с нечистой страстью, сам миг нажать на спуск не был сладок, кто б тогда?

Да, но почему так сладостно в несказуемо мгновенный миг принятия помысла до конца — знать, что принимаешь отраву, помысел, заведомо лукашкин помысел-посыл? Двойная радость — делать и знать, что делаешь? Ну, все. Ща я тебя уделаю. Двойная сладость. Двойного мне, со льдом! Сдачи не надо. У, ненавистно-ненавидимая, на-кось, и-на!!! мало не будет.

— Мертвяк, говоришь? Нет, голуба, я еще жив, меня еще рано хоронить, еще рано тесать осиновый кол. Бодливой корове Бог рог не дает. Никто из нас других ни в Усть-Илим! Вот ты мертва, это так, только зря ты думаешь, что когда-то была жива, ты уже и тогда никого родить не могла, как и сейчас, и это наше счастье, права ты, но ты и тогда уже была бесплодна, мертворожденная смоковница, а я существую. Я помню, следовательно, я существую. Потому что я и сейчас лежу с тобой, а вспоминаю ее, верно ты догадалась, и ты с этим ничего не сделаешь, хоть лопни от ненависти, а я буду беспрепятственно вспоминать ее, осуществлять свою тайную свободу — и думать, между прочим, о том, что она, стерва, мне доставила будь здоров пяток неприятных минут, но ты ей все же дашь сто очков вперед, потому что когда я ее поносил или ревновал, или еще как-то давал прикурить оттого, что самому плохо, она меня не ненавидела за это, а жале-ла, а тоже бы могла полоснуть, но — молчала в тряпочку от жалости и милости, дондеже мне не захорошеет, и сама от тихой жалости и кротости хорошела, а ты во гневе безобразна, хотя и незрима ныне, но я проницаю гримасу уродства на твоем челе, потому что только жалость и ничего кроме жалости и кротости не красит женщину, если уж ее не лю...

...у-уп-с! Б! Хр-ру!.. Сыро, солоно. В носу солоно, в глотке — теплым морем... В переносицу! — чем? Местами железным, местами нет. Кап-п... Будильником! Меня! На же, бей. Бей же, бей. Еще. На. Еще. Н-на!!!

Час Че. Почувствовать себя Безуховым навыворот: не ты, но на тебя жена подняла руку. Не ты. Ты — жертва. Но прелесть бешенства от перемены залога не меняется. Раздуть кровото-чащие ноздри, греховная сладость — и исполнение заповеди

легко вывернуть наизнанку — подставить вторую щеку с размаху и с размахом. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Не зря нарывался: дождался кроваво-исповеднического подтверждения правоты своей ненависти. Да — так, как и говорил ей: как еврей, чьим способом самоидентификации является быть евреем на практике: жертвой антисемитизма. В самом-себе-жертвенном экстазе. Теперь не поспоришь. Кто из нас палач. По плодам их. Вот так. Еще. Носом вперед — тык. На, бей.

— Бей, убивай! Будильник — оружие пролеГравиаты! Убийца ты! Мучительница первая моя! Сучара бацилльная! Иезавель нечестивая! Двинь еще в морду. Вломи в рыло. На глазик. На другой. Истощайте, истощайте до оснований! Лучше умереть стоя, чем жить с тобой лежа, Пассионария недоделанная! На. Подбей. Лупи. Куси. Урой. Уделай. Замочи. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей! Табань! Наконец-то я сожму в своих руках твое сердце, о Моби Дик! Умру стоя, но не. Бирнамский лес идет, но, но... — пасаран! Пасаран! Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Гадом буду, блажен иже имет и разбьет нерожденная младенцы твоя о камень!..

И мотает головой. И приближает лицо свое, и тычет им, кровекаплющим, в кровеприемлющей, кровевпитывающей, кровекровенной полутьме. Красное — в черное. Красное — в белое: постельное белье. И бодает, ожидая новых оргиастических бударов удильника. Будары в будуаре. Но остерегись: дистанция! понадешь в полутьме башкой ей в нос — уже ее кровавой правоты не оберешься. Тогда кому какое дело, кто первый начал. Кровь из носа. Бодада мало. Бада-бада, бада-бадаевский пивзавод крови, белеет бивень одинокий, мамонта бивень, интересно, он там еще, в костеле? еще краеведческий самарский-шумерский или уже опять кос — бум — тел? Бум-бах! на еще. Бьет прицельно или тычет наугад? Дай-дай. На-на!..

И вдруг громкая полутьма сорвалась в нуль форм, в нигил, после чего обратилась внезапно во что-то светоточивое, светистое и тихое — что выяснилось, однако, только потом, через целую секунду, когда понимание догнало слух:

— Стя-ги-ва-ет. Тя-нет. Ско-ре-е. Две ампулы. По-ка я могу го-во-рить. И дви-гать ру-кой. По-ка. Ско-ре-е...

Тихо, ровно, бережливо: все сказать, донести, не напрягаясь, не сорваться в паралич. Господи, ей уже не до меня. Это я ее! Быстрее. Успеть. В тот раз успел — а в этот? В этот? Шприц — где? Без света не. (Теперь чего? Не ехать и не спать? Вам говорю: бодрствуйте...) Полный свет! Где? где? правее, выше, вот.

Вспыхнуло. Краешком сознания, но во весь оком, во весь окаянный оком: капли алого на белой постели, — и продолжает капать, некогда задрать голову, некогда холодное на нос. Когда ей станет до того, ужаснется, сколько стирать. Какую сама себе устроила. Е с л и станет. Быстрее, вот он. Обертку потом. Ампулы? Вот. Срок годности прошел. Ничего, если что, вколю еще. Ну дрянь резак! а еще венгерский. Купить надфилек для этого. Что, ждешь еще одного, третьего раза? Последнего? А вдруг этот — пос... не каркай, обормот. Еще раз, с оттягом. Во. Не порезаться б. Да ладно — вали до кучи, и так кровушки из тебя повыпустили, как доктор Билли Бонсу. Унять, как только... Кровью в ампулу не капни! Голову кверху, но глазом скоси, а то мимо. Шмыгай сильнее. Опа! Лопнула-таки. Спокуха, втягиваем. Набрано. Спирт! где спирт, ёкорный бабай, не все же выпил? На кухне в колонке, точно. Аккуратно разогнись, с карачек вверх, голову кверху, шприц иглой кверху, не задень за дверь. Шнеллер!

Взгляд при вставании-стремглав-скольжении за дверь и на кухню лишь бегло скользит по телу, распростертому горизонтально, но вмиг отпечатывается на сетчатке, и в душе: как удушенная мышь. Плоско, компактно, оконтуренно. Придавлена, припилилена к лобной постели. Бедная маленькая мышка. Это я тебя терминировал. Раскатал по кровати. Ломать не строить. Не смог тогда ударить в лицо? Но можешь бить лежачего. Что о себе теперь думаешь? А вдруг — паралич? Бревночеловек? До конца дней. Своими руками. А если самое стра... брось... А почему? смотри на вещи прямо, при таком сердцебиении да характер инфарктника плюс наследственность, он помер от сердца чуть старше ее, а она в него, ты посмотри, как она лежит, как труп в пустыне. А если п р о с т о паралич — тебе легче? это не та же смерть? Своими руками! Что тогда?..

Такой страх. Откуда? Часть секунды назад его не было, а вот он. Онн...

Яко беззакония моя превзыдоша главѹ мою, яко время тяжкое отяготеша на мнѣ. Возсмердеша и согниша раны моя от лица беззакония моего. Яко лядвня моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресѣ моем. Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моей. Углевох в тимении глубины, и несть постоянныя. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой адѹ приближася.

Лежит как убитая. Да не как! Совсем. Это когда лежат не так, как те, которые потом встают. А как, как... да, да, как тот парень, что выбежал прямо на меня по зиме 77-го года из «Ладьи», а за ним те двое, по наледи курвы-нелюди, и первый догнал его сзади ударом наотмашь по затылку или в ухо и завалил, а второй подскочил к лежащему и резко и точно ударил его ногой в бок, по печени или по почкам, и тот дернулся чуть вперед и назад головой, и изо рта у него выбросилось сколько-то крови, коротко пролилось, и больше он не дергался, а просто лежал, как когда не встают, лежал в самом центре столицы, на углу Сголешникова и Пушкинской, и никто не мешал бить лежащего, все застыли и стояли, понимая, что происходит что-то серьезное, ужасное, но серьезное, чему мешать не то что страшно, но — нельзя, и смотрели молча, и один еще сказал: «Хороший удар»... Она так же лежит! Хороший удар. Слишком. Гамлеты в камуфляже стреляют без колебаний. Но это не я! Нет, я.

Скорее купировать. Успею? Не попусти Господи. Мати Божия Владычице, Царице моя преблагая, приятелице сирых, скорбящих радости, зриши нашу беду, помози нам яко немощным, окорми ны яко странных, не имамы иныя помощи разве Тебе. Всесвятый Николае, преподобне отче Серафиме, святая блаженная Ксении, преизрядные угодницы Божии, теплыя наши заступницы и везде в скорбех скорыя помощницы, помозите нам грешным и окаянными в настоящем ссѣ житии. Сделайте так, чтобы я ее не убил, чтобы не паралич, ради Бога. Если только можно. Ради Бога. Я больше не буду...

Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твоя внимлющи гласу моления моего. Аще беззакон-

ния назириши, Господи, Господи, кто постоит? Аще у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, уповах душа моя на Господа. От стражи утренняя до ночи, от стражи утренняя да уповаеет Израиль на Господа. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиль от всех беззаконий его.

Быстрее. Переверни на спину. Главню перекатывай. Не одной же рукой, бестолочь! А куда шприц? В зубы... Тяжелая. Твердая и завернута в себя, как раковина. Ватка, спирт. Укол! Как в масло. Хорошие у них иглы. А у меня рука, для дилетанта. Кто мне ставил руку? Он уже в Хайфе. Все, больше — чего ж? Забабахал — для одного раза больше не. Все. Теперь — ждем. Ну же. Помогите. Нууу.....

.....Затмение ума. Впервые! 10 минут? 15? Не засек. О чем думал? Какая разница... Губы зашевелились! Слегка, но... Точно! Говорит. Слегка. Типа — лепет. Гули-гули. Но и то! И мышцы лица. И раковина чуть раздвинула створки. Или нет? Да точно! Взяло. Просрочено, а взяло. Пусть тому в Хайфе дадут работу по специальности. Заслужил. Научить полудурка вроде меня колоть уколы. *Badu, you are lucky man.* Ты ее не потерял! Ты будешь жить, дыша и большевея. Не факт. Вот если начнет как следует шевелиться, а потом тихо заснет — тогда да. Но пока все путем. Все слава Богу. Он ее пожалел, не меня. Меня-то за это за все я бы на Его месте... Ладно, сиди и смотри. Это минут на... сколько? Жалко, бросил курить... вот тебе Час Че. Так и кончается ложь. Только не всхлипом, а взрывом. Так выясняется, кого любишь, в конце концов — путем зерна, ценой потери. До поры до времени, озирая с пошлой скукой обладателя-по-праву владения свои, любишь лишь утраченное: Ты-себя, отрубленную вместе с ней часть себя: «я» в прошедшем, склеенное в твоём сознании с ее тенью, — призрачную призрачность прошлого, позволяющую наполнять образ утраченной женщины всем, чего чаешь от женщины-вообще-твоего-лучшего-«я»: абсолютным пониманием, ровной, ничем не выводимой из себя ласковостью, светящейся пронизываемостью любовной направленности-на-тебя=«У Христа за пазухой»... И эта прозрачность лишает былую любимую всех портящих ее, как и всякого земнорожденного, подробностей земного существования: особенностей кожи, покрас-

невших уголков глаз и кончиков ноздрей, запаха изо рта по утрам, слипшихся невымытых волос, тусклого голоса, наводящего скуку, и многого, многого еще, — и взамен наполняет молчаливо-льдыстым лунным свечением, голубоватым свечением призрака, манящим бедного лунатика; конечно, в таком соревновании с иллюзорной лунной женщиной бывшего у живой сегодняшней женщины с ее прозаической и непроницаемой земной — как бы хороша она ни была — телесностью, с душой, до-тебя-сформированной, полной не тем, чего тебе угодно, а тем, что ей Бог положил, — нет шансов.

Но, видно, стоит только раздаться грому — и перекрестись. И вмиг ощутишь, как гремучая угроза потерять Эту раскалывает тебя до поджилок, до тьмы в глазах, слепящей в полутьме крошечной. Ад в полуаду. И потный ужас, столбняк изъятия себя из себя, утраты себя-настоящего, распада на еще живого себя и помертвевшую ее — с ходу перекрывает — и как! — казавшуюся до того невыносимой боль потери себя-прошлого, самоочевидно свидетельствует о действительном, невеликом масштабе ее, быстрехонько отодвигая Ту, безболезненно, бесследно вынимает ее из, казалось бы, только что кровоточившего сердца и перемещает в нуль форм.

Ну, спроси-ка себя сейчас, кого любишь: ее — или ее? Да себя, снова и снова себя. И, пока, не рискуя ничем, хочешь свести обе целостности, настоящего и прошлого, в сверхцелостность, во всевременное «я», сохраняющее в се свое, Эту и Ту, и, пожалуй, Другую, и... ни от чего в себе, ни от кого в своем сердце не отказываясь, — попытка, стоящая, понятно, некоторого усилия сердца, главного хранителя всех вверенных ему единиц хранения, вроде бы удастся. Не отдать ни пяди, ни вершка себя.

Но вот стоишь, застыв в столбняке перед лицом чего-то действительно страшного, действительной возможности потери — и что-то главное внутри безоговорочно выбирает настоящее — и именно как *настоющее*, не мнимое, не просто отсекая прошлое как уже отработанный материал, но остро чувствуя при этом, что покидаешь белесо-туманную область, где властвуют призраки, миражи, навьи чары, покидаешь вотчину лукавого обаятеля, вечно вовлекающего в интригу подмены, извращающего даже безгрешное чувство жалости, обеспечивая ее отток из настоящего, где она насущна, в

сторону ни в чем не нуждающейся виртуальной реальности былого, мнимо-живого человека прошлого...

Что ж получается, неужели впустую великий труд Пруста, Бунина, Тарковского, да и всякого мало-великого человека, временами тоже раскапывающего плюшкинскую кучу времени, занимающегося припоминанием как *с о б и р а н и е м*, созданием себя? Неужели коллективный архивариус творит лишь очередную иллюзию временного, условного бессмертия, чтобы затем, перед лицом смерти, отбросить ее, потому что последняя — если смотреть на нее из точки жизни вечной — признает лишь такую попытку самосозидания, которая может свершаться только как ряд постоянных отказов, отсечений-себя-предыдущего, то есть последовательное, неизбежно болезненное стирание драгоценных жемчужных мгновений прошлой жизни ради бесконечно огромной жемчужины жизни вечной? Неужели пуст и напрасен этот великий опыт Памяти — не памяти как необходимого осмысления былого, но памяти как его *у д е р ж и в а н и я*? Неужели путь этот ведет в тупик? Не может быть. Но только так, только то и говорит нынешний мгновенный, достоверный мой опыт...

Потеряв ту, мучился утратой собственной целостности. И теперь страшусь того же? $A = A$. Вечное возвращение? Как бы не так! $A = A$, но человек не равен себе. Страшусь: того же, да совсем, совсем другого.

В бывшее мое «я» Та входила на правах *т о л ь к о м о е й* части. Нынешняя ситуация — это вдруг вошло в кровь вен, туда, где душа, как зимний воздух, кинжально входит через открытую форточку в накуренную квартиру — была чем-то совершенно иным, целостностью другого порядка, куда я сам входил на правах лишь части, неотъемлемой, но части более высокого целого. Такою же, как и я, частью целого была жена; главным же, тем, для чего и существовал наш союз, было *т р е т ь е*, то, что начиналось в нас и протекало *м е ж д у н а м и*, то, чему я мог дать, как ни обрыдло мне это слово, как ни устал я от него, только одно имя: любовь. Любовь не как от меня ввне идущее чувство, но как самостоятельную непреодолимо стягивающую нас двоих воедино силу со своей особой жизнью, со своим лицом. Лицом Бога, Который *е с т ь* Любовь...

Но любовь эта ничего общего не имела с тем, что обычно

называют любовью: ни с увлечением, влюбленностью, страстью, ни с тем, что у одних — изредка — моцартиански счастливо случается само собой, по стихийному совпадению душ и просто сохраняется, консервируясь годами совместной жизни, у других же случается менее счастливо, но в целом удачно: стерпится-слюбится.

Это совпадение — не во всем, но во вкусах, привычках, романтическом настрое молодых провинциалов с запросами, в тяготении к созерцательности, а не к действию, а главное, в обертонах вкусов, оттенках привычек, частоте настроения — было у меня с Той. С женой все состоялось с точностью до наоборот: мы были людьми не просто совершенно разными, без малейшего сходства в чем бы то ни было, но людьми решительно и бесповоротно бывшими не во вкусе друг друга: центры нашего притяжения были так же различны, как у планет из разных солнечных систем. Прежде всего мы не должны были встретиться; во-вторых, случайно встретившись, не должны были положить друг на друга глаз: в-третьих, влюбившись в виде исключения, должны были, самое лучшее, быстро охладеть друг к другу и спокойно расстаться. Первые две вещи, которые не должны были произойти, тем не менее произошли; последняя же, как раз обязанная произойти, не произошла. То единственное, что, уподобляя нас друг другу, со-единяло, стягивало нас, было чувство общности на глубине — но общности в чем, если не во вкусах, привычках, «взглядах», общей типологии индивидуального изгиба? — трудно сказать. Но чем труднее определить, тем яснее становилось, тем достовернее ощущалось: в общности этой есть что-то такое, чем люди и живы, — и потому наша связь, казалось бы, противоестественная при таком разводном «не-сошлись-характерами», на деле единственно естественная форма жизни, вполне уместное совместное жительство, со-жительство в правильном, утраченном смысле слова. Однако упругая сила, властно соединявшая нас, иногда вопреки нашей воле, ради своей цели, а не наших интересов, воедино, сталкивалась в своем натяжении с препятствием в лице нас самих: чем ближе, чем слиянней стягивались мы, тем больше нам становилось от полного своего несовпадения в его многогранных и подробнейших бесконечных проявлениях, тем больше крови ободранных от постоянного трения душ стоило это, — и тем сильнее я нена-

видел по временам жену и мстил ей за то, в чем она была без вины виновата.

Но по временам же, выныривая из ненастья ненависти, выруливая из раздражения, словно взлетая над собою самим и над ней, я видел происходящее, кажется, с головой потонувшее в безобразиях, глумливых гримасах скандалов, корчах туда-обратного тупикового притяжения-отталкивания, — видел все это как неодолимую волю бесконечной любви, свершающую себя через ненависть, боль, рвоту, подобно тому, может быть (конечно, разве лишь так, как маленький треугольник подобен грани пирамиды Хеопса), как подвижник, стремящийся к свету, неизбежно и, надо думать, без особого удовольствия проходит через долгую полярную ночь великих искушений, мрак собственной слабости, блевотную бездну отвращения к своей испорченной природе. Жениться по любви — в анонимной этой от-вечной фразе пропущены не дошедшие до нас слова, могущие, однако, с большой долей уверенности быть восстановлены: жениться по (направлению к) любви. Бредя (бредя) по горло в ненависти, нелюбви, не-до-любви.

Любовь эта совершалась по странным законам. Она требовала, как я не раз убеждался, напарываясь на то, за что боролся, предельно внешнего, дистанцированного, холодного (в том пушкинском смысле, в каком холоден во время работы художник, владеющий материалом и своим вдохновением) отношения к Этой, доброжелательной отчужденности врача от пациента, которое только и помогает подключиться к чужой боли ровно настолько, чтобы помочь справиться с ней, а не настолько, чтобы заболеть самому. Требовала позиции чужого, изолированного настолько, что вывести его из себя невозможно, зато он может позволить себе безболезненно выслушать внимательно — и тем уже облегчить жизнь другого. И в то же время любовь эта требовала предельно внутреннего, не чужого, а именно с в о е г о отношения к жене, отношения из нее-самой, подключая к мельчайшим из ее переживаний, сиюминутным паникам, скоротечным мучениям (отключили отопление! я так и знала! еще и это! чтоб загнать меня в гроб!): ей-то ведь они мелкими не казались, напротив, небо казалось с копейчку. Два эти требования любви, очевидно, исключали друг друга, их невозможно было соблюсти оба сразу, по той же

причине, по которой врач, если ему вдруг придет фантазия на полную катушку вообразить боль, причиняемую им живому человеку во время мучительного исследования, не доведет его до конца. Собственно, даже и одно из двух требований по отношению к близкому другому исполнить крайне трудно: поди попробуй как следует дистанцироваться от близкого или, напротив, по-настоящему, изнутри почувствуй другого.

И однако два эти взаимоисключающие требования — чем дальше продвигаешься по тому узкому коридору жизни, который от рождения задан каждому и в который входит всегда только одна дверь, твоя, тем сильнее чувствуешь это — были равно, неотменимо обязательны к одновременному их исполнению. Ты просто не мог отказаться их выполнять: всякая попытка к бегству, всякая извиняющая ссылка на то, что ты не умеешь, не понимаешь как, могла лишь оттянуть время, продлить привычную, комфортно-дискомфортную расслабленность жизнедления (жизнетления, прижизне-леиления), но всегда наступал момент, когда неприятная святая наука любви вколачивалась палкой, и пусть ты знал пока лишь азы ее и знал еще, с тоской и грехом пополам, что тебе предстоит по мере продвижения к большей любви неизбежное продвижение в ненависть, но назад дороги не было, позади было лишь прошлое, а прошлого не было, был лишь мираж, сон золотой, но ты уже проснулся — и всякий раз, пытаясь вернуться в сон как в жизнь, всякий раз, запретно оборачиваясь назад, понимаешь вдогон: если ты грешным делом немного и Орфей, то твоя Эвридика не позади, не в царстве теней, а, слава Богу, жива, в царстве живых — пока! пока еще! до тех пор, пока...! — и надо успеть любой ценой вынырнуть, успеть возвратиться из чары *plusquamperfect*'а, чтобы сохранить ее в вечном сейчас, чтобы самому не застыть соляным сталактитом. Столб еще не столб, и Лотовой жене так и не узнать истины. Вернуть себе живое чувство действительности, живой, кровоточащей любви. Любой ценой? даже такой, как нынче? кто знает. Если так вышло, если так все и вышло, если на то пошло, такой. Вернуть, или обрести, или набрести на любовь к ней по пути некоторого убийства ее.

Бред беды. Звериный запах потери. Вкус крови. Нельзя оправдать.

Привкус несчастья и дыма. Гибельная провокация. Нельзя оправдать. Правдой не оправдать кривду. Предельная кривда. Своею собственной рукой. Никто из нас других не мастерил. Потому и не жалко. Ломать — не строить. Но предел, к которому стремится кривда, — правда. Зане какой еще ценой купил бы ты сейчаснее право, возможность или благодать увидеть в жалком, сыром от простудной испарины, только что издававшим спутанные полуптичьи звуки, замотанном во влажную сеть своих длинных волос измятом сгустке человеческого вещества, укрывающем внутри себя, в начинке, еще менее симпатичное вещество души, скрюченной, искаленной многолетним марафоном болезни, — увидеть восстающее из тлена, нимало не уцененное сраженностью со зловонным прахом, отделяющееся от лежащего тяжелого тела, хотя и существующее в контуре его прориси (обведенный мелом на мостовой силуэт убранного отсюда убитого) драгоценное человеческое существо, осиянное чистым блистанием того, чего прекрасней и реже нету в подлунном, подсолнечном мире: прямой, не потаенной, не лукавой любящей женской души. Души, устроенной, во-дворенной в подобающую ей стройную храмину тела, где шея, как столп из слоновой кости, и голова на ней, как гора Кармил, и волосы на голове, как пурпур, и глаза — озерки Есеевские, что у ворот Батрабима, и нос — башня ливанская, обращенная к Дамаску, и стан похож на пальму, и груди — на виноградные кисти, и живот — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, и чрево — ворох пшеницы, обставленный лилиями; и общий тон всего этого — тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, как тон кожи Иды; и все это, все, как есть, персгнано в самогонном кубе Днионисия (ибо каждый художник — самогонщик, сублимирует исходное вещество на свой само-глаз, не имея государственной монопольной рецептуры), где ярь веницейская и веницейская желчь, киповарь, червленъ и медянка, прозелень и вохры темные и светлые, голубец и бакан, и составной при помощи уже составного бакана багрец-багрик-багор, и коричневая мумия — все разбелено так, как умел только он, не до режущей глаз грязнотцы, но до пламенеющей льдистой мелодии цвета, до русской морозной ласки умывания снегом, в счастливом простом любовании достигнутой, наконец, небесной землей Ханаанской, благоухающей млеком и медом,

где никогда не умолкает тишина, в облистанном любовании и замринании (да будет эта опечатка напечатана!) восхищенного сердца.

Увидеть всю ее, в багрец и золото одетую жену, в чистое золото, твореное на чистейшей вишневой камеди, святую сеть уловления человеков, двойным зрением, нормально-исключительным зрением, при-своемым Богом су-пруту, узреть сразу то слишком земное, что притягивает поначалу и всегда отторгает потом от любой из любовниц, и то перво-родно-небесное, чего ищешь и чего никогда не удастся найти в любой из любовниц, даже в мерцающем мираже прошлого, — спокойно обозреть все, альфу и омегу того, для чего и сотворена женщина, без чего плохо человеку быть одному — и неметь от переизбыточествующей жизни.

Светало. Кисло, маслянисто пахло сквозь щели, незримые миру, закрытых наглухо и проложенных поролоном окон и форточек испражнениями бензиновой пищи центр-центр-москвы. Сопrotивляясь давящим его в четыре ряда утренним пустрым центральным автомобилям, асфальт содрогался, ворочаясь, как медведь в берлоге, трогал, пошатывал коробку дома. Уж не схать сегодня, это ясно, как Божий неясный, пасмурный, впередиждущий день. Не высказать всего, не облегчить душу, закоспеть в нераскаянном грехе, добавив, мало того, сегодняшнее, только-что-шнее, это кто поймет, кто отпустит — не он, ясное дело, а Бог, Бог отпустит? Бог только и знает, отпустит или нет. А он бы не отпустил. Или сразу отпустил бы все грехи. А этому? И этому? И этому? Этим — никогда. А что ж тогда он выступает? «Не, поеду» — да ведь этого он и хотел тайком, чтоб была причина дать себе послабку не тащиться очумев по первопутку, — и вот нашел! уж не для того ль он все это и разыграл? ну уж нет, нет, нет! ну-ну, поверим. А Он поверит? Голубь на подоконнике. Чу, птица бодрая, лети, лети. В сельцо Измайлово, в чертог теней вернешься. Никто из нас другим не шестерил. Хотя поползновения злоеши. Иду-иду... А если бы, то через полчаса, нет, через час катил бы по Ярославке. Там — зима. А здесь — уже скоро ледоход.

Но пока еще. Весна, река. Все льдиночки прильнули.
К живой воде.

Думая о своей обретенной любви, он опять забыл
о ней самой. Лукашка поджидал его всегда, везде.

Смотри — не спит. Сколько прошло, а не спит. Молчит,
смотрит перед собой. А если все пошло назад? начало помо-
гать, но не... Все-таки мало вкатил! Добавить. Что сидишь. По-
шел!

В три прыжка оказавшись на кухне, неровно от спеш-
ки снеся ампуле голову, набрать полный шприц и вернуть-
ся к ней — с кашесвым спасением на конце иглы.

Светало Смеркаясь Светило

Москва, 1995

ПРОЗА ПОЭТА

Роман-завязка?

Мама, как мне жаль
лошадей за то, что они
не могут ковырять в носу!

К. Чуковский.

От двух до пяти

Часть первая

А я мальчик на чужбине —
Далеко от людей

На дальней сторонке.

Народная песня

1. НАЧАЛО

— Да, вы же профессиональный психолог. В таком случае вы со мной поговорили достаточно. Для того, разумею, чтобы убедиться — сто-про-цент-но, — что такому, как я, не по плечу убить. Кого бы то ни было. Даже Акопа.

— Похоже на то, — он улыбнулся; рафинадные зубы под черными усиками, черные глаза; рекламное дитя Закавказья. — Ну, а Ваши люди?

— Им-то зачем? Им, как и мне, если на что и был нужен Акоп, то живой. С мертвого что возьмешь?

— Тоже верно. Ну, а если они случайно перестарались? Это бывает.

— И не сказали мне?

— Ну, знаете, доклады-

вать о мокром деле какому-то фрайеру... Вы же не бригадир, вы только наняли... Во всяком случае, если это и не вы, снять с себя обвинение вы можете, только отыскав настоящего убийцу.

— Но я и не собираюсь ничего с себя снимать, чего не надевал!

— Придется, дорогой мой, — улыбка его стала уже не как сахар, но как сахар, растопленный и сгущенный затем в сироп, — придется, если хотите жить. И жить как человек.

2. ДРУГОЕ НАЧАЛО

«Дядя Резник! — сказала четырнадцатилетняя Марина Резник из Кишинева, входя в комнату соседа по хайму Леонида Резника, бывшего доцента Магнитогорского университета, урожденного винничанина, ныне проживающего у нас в Аугсбурге, столице баварской Швабии, с молодой женой, уроженкой города Гомеля, и двумя девочками — однояйцевыми близнецами. — Дядя Резник...»

Чем плохо? Если честно, меня чуть ли не восхищает предыдущий абзац, плотный и рыхлый сразу, неудержимо расплзающийся во все мыслимые стороны: этнографические, географические, биологические, вероятностные — всякие. Восхищает без тени самолюбования: он, сукин сын, сделал это без меня — мне нужно было только написать «дядя Резник», чтобы текст сам вывел дальнейшее из себя. «Смерть автору!» — сказал автор, не в силах отделаться от остаточного обаяния вчерашних властителей умов, — и даже ожил от ужаса при неподдельной попытке самоубийства.

Могу ли также позволить себе предложить пытливым читателям самим определить, какое из двух слов «Резник» выступает в качестве денотата, а какое — в качестве денотанта? Просто до смерти хочется знать, а самому мне эта задача не по плечу. Зато я знаю, что именно сказала Марина дяде Леониду. Но не скажу — не потому, почему можно подумать, но и не наоборот, как сразу же подумал читатель. А потому, что был у нас в школе учитель мате-

матики, который страшно не любил, когда очередной футбольный комментатор объявлял: «Счет не открыт. 0 — 0». «Как это счет не открыт? — возмущался он. — Счет как раз открыт: 0 — 0!»

Счет открыт — всё по полям. Приступим к делу. В Баварии есть король. Этот король — я, Людвиг 0. Король не по крови, по духу.

3. ЗАПОЗДАЛАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

Каждое утро, в 5 часов затемно они уже едут в четыре ряда, под окном моим они уже едут — на бывший завод аугсбургца Рудольфа Дизеля, ныне «МАН Роланд», и на бывший завод не менее именитого Вилли Мессершмита, ныне «Даймлер-Бенц Аэроспэйс», неподалеку от меня, и на наш лучший в Европе мусороперерабатывающий завод, на пивоварни «Ригеле» и «Хазенброй», и в Ингольштадт на заводы «Ауди», и в Мюнхен — о, сколько их едет на работу в Мюнхен, где так дорого жить — и так выгодно работать, живя в Аугсбурге: квартиры у нас в полтора-два раза дешевле, а ехать не больше часа. И они едут, едут на свиданье с Работой. В автомобилях, чьи катализированные отходы не отравляют дыхания, по дорогам с цветущими по обочинам их — в ноябре — розами, в ласковых автобусах «Мерседес», в трамвае номер 4 под моим окном, которого не слышно, ни окна, само собой, ни трамвая, которого не слышно! — под блистающую змею рельсов предусмотрительно подложена резина... Славные у меня земляки, и славна наша Бавария, ее же краше нет в мире. И принадлежит она мне. Потому что весь могучий народ ее работает на меня, как работал когда-то на моих предшественников, на самого знаменитого из них (да, печально, печально знаменитого) — Людвиг II.

Династия Виттельсбахов правила Баварией с 1180 по 1918 год зримо — с помощью дебелий, отучневшей силы и денег. Я, Людвиг 0 Благодарный, правлю ею незримо с 1996 года — с помощью одной лишь чистой благодарности. Скажут, Людвиг имел все, а я ничего не имею. Пусть говорят. Высокое тождество всего и ничего обеспечива-

ется теми, кто работает, чтобы ты жил, удобряет тебя, чтобы ты их одобрил. И совсем не важно, знают ли они, кому служат. Важно, что только я наделяю смыслом их деятельность. Потому, что они лишь дают мне блага; я же — дарю им Благо. Когда все они спят между одним напряженным трудовым днем и другим, не сплю во всей стране я один — и до утра, что бы ни делал, возношу о них благодарение. Никто, кроме меня, не сделает для них главного: по-настоящему не скажет: спаси-бо. Не пожелает им, на полном выдохе души — спасения.

Людвиг обладал всем золотом баварской короны и строил замки в горах и на озерах. Я не имею ничего, кроме социальной хильфе*, которую — я жду, жду! — со дня на день урежут на 50 процентов из-за моего асоциального поведения — ибо что же может быть более асоциальным, чем принципиально сидеть на социальной хильфе? Но не обладая ничем, я тем самым обладаю Ничем — и строю свои замки не на песке гор и озер, а на твердой почве Ничего, помещая их в центр поистине необозримого — коли незримого — Ничто-ж-ного пространства. Сейчас кое-кто пытается доказать, что Людвиг безумен не был. Предупреждаю: напрасно, господа писак. Жалкие бумагомаратели! Я понимаю: каждый, кто умеет, хочет зарабатывать деньги пером, а не канаву копать за 2300 брутто (сказать вам, сколько это будет нетто? не могу сказать, это зависит от класса лонштойеркарты**; в любом случае немного вы получите на руки). Но сам я абсолютно точно знаю: самый знаменитый из моих предшественников, Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм из пфальцско-баварской династии Виттельсбахов, сын короля Максимилиана II и внук короля Людвиг I, был безумен. Доказать? Да

* *Социальная хильфе* (*Hilfe* — помощь) — социминимум: оплачиваемая крыша над головой, минимальное количество денег на жизнь и бесплатная медицина (в случаях, признанных необходимыми), — на который имеет право (и ниже которого не может опуститься, во всех смыслах слова) любой проживающий в Германии, если имеет тот или иной вид на постоянное жительство.

** *Lohnsteuer* — подоходный налог; дифференцируется в зависимости от величины заработка, наличия и количества детей и пр.; класс дифференциации (процентовка налога) указан в лонштойеркарте, без которой человек не нанимается на работу.

бога ради. Далеко ходить незначем. Перед вами два самых знаменитых его замка: Нойшванштайн и Херренкимзес. Последний — недоделанная, но, особенно внутри, почти точная копия Версальского дворца (если бы не чрезмерность позолоты, грубоватость обильных копий живописных работ времен Людовиков XIV и XV, меня вообще удручает в моем предшественнике отсутствие вкуса — или, что хуже, присутствие *такого* вкуса); Людвиг, вообразив себя Людовиками (и украсив дворец изнутри не своими, но их — Людовиков XIV и XV — изображениями *как своими*), повелел на полном серьезе передрать елико возможно Версальский дворец один в один. Первый, Нойшванштайн, тоже на тяжеловесном немецком серьезе, без тени стилизационной иронии, пытается увести нас в неприступный средневековый замок в горах — в 1886 году, когда уже были на вооружении тяжелые гаубицы, когда, объявив короля безумным и низложив, увезти его под домашний арест именно оттуда, из недостроенного Нойшванштайна*, где бедняга прожил лишь девять дней, не составило большого труда.

Но самое интересное, что идея построить оба замка родилась в *одном и том же* 1867 году, после визита в галантный Версаль, а затем посещения сурового романского Вартбурга в Тюрингии, родилась *сразу как двойная мечта*: иметь свой Версаль и свой Вартбург — и быть в обоих — одновременно.

Неужели не ясно из характера действий человека, знающего одной лишь думы власть: как удвоить пространство и время? как растянуть их, вставить в Германию Францию, а в XIX век — XVII и XI? и провиснуть в люльке растянутых и переплетенных времен-пространств, оставив движение жизни к смерти? — ужели же не ясно, что человек этот, без усталости клонирующий себя в дубликатах безразмерного места-времени-действия, в сорок взрослых лет воображающий себя то Зигфридом, то ле-

*Сам Людвиг называл замок не Нойшванштайн, а Нойхоэншвангау (переключка со стоящим на соседней горе замком Хоэншвангау (Hohenschwangau), построенным отцом Людвигу Максимилианом II); свое теперешнее название Neuschwanstein замок получил уже после смерти Людвигу, в 1890 г.

бедным рыцарем Лоэнгрином, то Тристаном, то королем-солнцем — сумасшедший? Но это довод для внешних, я же и так знаю Людвига, как родного отца. Я чувствую в себе его кровь. Дело в том, что я сам — сумасшедший.

Нормальный человек на моем месте никак не оказался бы на моем месте.

Хорошо у нас, в стране герэтов*,
Можно жить, работать можно дружно.
Только вот поэтов, к сожалению, нету...

...Впрочем, может быть, поэтов и не нужно. И не нужно... И — не нужно.

Я поэт. Этим и неинтересен. Об этом и не пишу.

Генут, мой друг, генут...

4. ЧТО ИНТЕРЕСНО

Интереснее — трамвай, по будням ходящие каждые 5 минут, по субботам — каждые 10, и по воскресеньям — каждые 15; водители трамваев, чуть ли не всегда, как на подбор, с нафабренными усами (здесь сохранена культура уса и паусника, кажущаяся поначалу смешной, а потом величаво-серьезной, как все утраченное-сохраненное, прошедшее-настоящее), — с усами, в которые одно удовольствие фыркнуть, вникнув, представим, в русское «кто-то же должен и трамвай водить». Должен-то он должен, но — достоин ли? у-достоен ли? удостоверен ли в столь высоких полномочиях соответствующими грамотами? Фюрер трамвая наделен той же полнотой власти и ответственности на своем месте, как фюрер** страны — на своем.

**Gerat* (нем.) — прибор, аппарат. Далее все немецкие существительные в сносках приводятся без артиклей; это неправильно («Употребление существительного без артикля — указателя рода оскорбляет слово», — сказала моя преподавательница немецкого), но не задаст лишней работы русскому читателю.

**И вождь и водитель в немецком языке именуются одинаково: *Führer* (хотя применительно к водителю чаще употребляется — *Fahrer*).

Человек, ранним осенним утром убирающий листья на Кёнигсплац при помощи трубы-ветродуя, пылесоса-наоборот, сдувающего листья в аккуратный стог; монахиня лет восьмидесяти пяти — восьмидесяти семи, с ветерком катящая в гору на велосипеде; клуб алкашей у маленького супермаркта* «Норма» напротив Дворца Юстиции; уличный клуб, где загадочная душа немецкого алкоголика рождает совершенно барочные с точки зрения пьющего русского комбинации пива и травяного ликера в 40-граммовых бутылочках или того же пива и 200-граммовых бутылочек дешевого немецкого шампанского-зекта; зеленая трава под снежком в январе; турчанки в униформенных платках и — зимой и летом — серых пальто с голубоватым отливом за рулем «БМВ»; + 13 в феврале и за ними вдруг -2 со снегом в середине апреля; сухо-приличная седая фрау в очках, полчаса изучающая в книжном магазине иллюстрации к «Камасутре»; молодая католичка, в поисках истинного мистического благочестия посещающая синагогу; турецкие свадьбы — автомобильный эскорт с воздушными шарами, радостными криками и оглушающими гудками по всему пути, превращающие на три минуты чинную столицу баварской Швабии в галдящий Истанбулград; огромные клубничные плантации по окраинам города, где желающий, включая и обеспеченную публику (ибо в странной этой стране и обеспеченный человек не гнушается тем, чтобы видеть на столе своем отборные плоды труда своих рук), в июньско-июльский сезон собирает сам себе потребное количество клубники, идя вдоль грядок, усыпанных соломкой (чтобы клубника — и собирающие ее — под дождем не месили грязь; ах, мама, мама, почему не пришло тебе такое в голову, когда у тебя еще была дача?), взвешивает затем у учтивого хозяина и покупает по самой необременительной цене, съевши до того, по ходу сбора урожая, сколько влезло бесплатно; Нордфридхоф — Северное кладбище в самом старом и ныне бедняцком районе Оберхаузена, заботами работников и родных превращенное едва ли не в ботанический сад с пру-

*Немецкие слова в русской транслитерации здесь и далее, насколько возможно, приближены к их немецкому же произношению, чтобы хоть отчасти передать акустический дисконформ «новосела».

дом в белых кувшинках перед кладбищенской кирхой, в белых нимфеях из пластмассы, но совсем как живые, Нордфридхоф, место моих частых созерцаний и редких вдохновений — вот, как заметила бы в своем дневнике придворная японка времен упадка правления рода Фудзивара, лет этак за сто до начала сорокалетнего периода Гэмпей, вот одиннадцать интересных вещей.

А что, интересно, интересно немцу?

А ему интересно знать, что делают здесь целые пачки людей в возрасте, с семьями и с высшим образованием, предполагающим высокий общественный статус, странных людей, въехавших в страну по линии еврейской эмиграции, но почему-то не ходящих в синагогу. Сколько их? Куда их гонит? Что ищут они в стране далекой, задыхающейся от своих безработных, чего ради кинули все, чем жив человек, в краю родном? Не могли же эти очень взрослые люди подумать, будто в чужой стране им предложат работу по специальности — врачами, инженерами, музыковедами, биологами. Эти места здесь с кровью отвоевывают у жизни люди *свои* — собственно *люди*, с проверенной репутацией, немецким дипломом, умеющие войти в офис непринужденно, сказать пару слов без акцента, пожать руку с требуемой крепостью пожатия, улыбнуться в полную силу здоровозубой улыбки и посмотреть в глаза работодателя всею безбоязненной душой. О чем думали *эти*, в свои сорок — пятьдесят едучи в страну, где сорокалетним быть непросто: зарплата молодого работника и работника с большой выслугой лет в своей области — это две разные зарплаты, поэтому сорокалетний немец двумя руками держится за место, зная — вылетит он, на новое место по его профилю, когда полно молодых конкурентов, работодателяю его брать невыгодно. Немцы спрашивают об этом удивительных русских, а те сами себе удивляются.

АККОМПАНеМЕНТ

— Зачем мы приехали в эту дыру? Грузчиками в мебельном гешефте корячиться? Нет, скажите, почему доцент университетской кафедры физики твердого тела должен идти в грузчики в какой-нибудь «Хесс»? Морд-твою-ять!..

— Что вам сказать, Ленья? Я, например, знал, что делал. Стихи писать можно где угодно, а тут хоть с голоду подохнуть не дадут.

— Вот интересно, почему все здесь: с голоду, с голоду... Я лично дома не голодал. Мне на еду хватало. Я лично там был человеком.

— Тогда другое дело. Ученому с положением, доценту кафедры... как ее... твердого тела ехать сюда, конечно, нет смысла. Мое лично тело в последнее время было скорее газообразным. А если вы не голодали, вам хватало...

— Да, но хватало-то только — на еду!

— Давайте не будем себе врать. Кто сюда едет сегодня? Опуценная интеллигенция — и всякая срань. К какому из двух стратов предпочитаете быть причисленным?

— Вы заметили — в каждой второй флюхтлинговой* семье жена русская или хохлушка. Причем не только в интеллигентных семьях, но и в простых. Причем в восьми случаях из десяти она-то и является инициатором еврейской эмиграции. С хохлушками все просто, как дверь — на незалижной уже ничего не залежалось пожрать. А русская... Я как думаю? Сидит себе такая девушка в некотором Краматорске или там Нижнем Тагиле, в рабочем квартале величиной ровно с город, кругом одно свинство, на танцплощадке пьянь всякая лезет тискать. Кроме танцплощадки — никаких развлечений. Подруги замуж выйдут, говорят — еще скучней стало, придет с работы, дерябнет с устатку — ему даже уж и не до тисканья, а на танцплощадку замужняя не пойдешь. А она чего-то ждет, она такая одна тут романтическая девушка. И пока собой она еще ничего, может еще ждать. Ждет-пождет — и тут появляется кто? нормальный еврей. Не из крупных: крупный в таком квартале что потерял? Средний такой еврей со средним образованием. Знаете такие семьи: старший брат — доктор наук, средний — зубной протезист, а младший — вовсе дурак; но это по сравнению с братьями, а для нее он — особенный. Во-первых, не пьет. То есть пьет, но не как лошадь. Во-вторых, не тискает в

* *Fluchtlіng* (Kontingentfluchtlіng) — см. сноску на с. 263.

подъезде, а любит какое-то серьезное развитие событий. Потому что ему нравится себя уважать. То есть он *другой* — и связывается в ее душе с целым кругом представлений о каком-то вообще другом, интересном мире. И вот она выходит замуж за этого экзотического человека — и ждет дальнейшей экзотики. Что он ей еще покажет? А он ей ничего больше не показывает: нечего. Ведь он-то только этого и хотел: жениться как человек, на привлекательной девушке, не — надеть за чем-то сдуру детей и знать не хотеть куда их деть, а сознательно создать семью и обеспечить потомство. Как маленький, но серьезный человек, при небольшом, но серьезном деле. А ей нейдет. Она думает: чего ради? Что такого интересного-особенного он-таки может, ради чего она ждала его и не далась, или там далась, но не в жены, Пете или Васе? А — за границу вывезти! И там он развернется-раскрутится, как здесь, только *там*, на то же он и еврей.

И давай она мылить ему голову, проедать последнюю плешь — и-таки срыгает его с насиженного места продавца в отделе электроники, а то снабженца — и выпихивает их всех с детьми и вещами сюда. И первое время у нее глазоньки горят, а потом она видит — он не фурычит, тут, чтобы встроиться, надо по-другому видеть, чем там, а он, повторяю, человек маленький, он умеет только то, что умеет, а оно здесь не нужно, и он киснет, а она, бедняга, видя, что накормить он ее может только в «Норме», «Алди» или «Лидле»*, а обуть только в «Дайхмане»** — ведь она уже и думать забыла, как на первых порах отъедалась деликатесами из «Нормы» и обувалась в шикарном «Дайхмане», она уж себя сравнивает с немкой, закупающейся в «Тенгельмане»***, а одевающейся в «Пике и Клоппенбурге», — начинает опять проедать ему плешь: зачем уехали от такого хлебного дела, как электроника, и там остались все подружки... Дальше не знаю, как у них будет, поживу — увижу.

Возможны варианты. Не она рубит окно в Европу, а он. Допустим, он коммерческий директор небольшого пред-

*Системы дешевых супермаркетов.

**Магазин дешевой обуви.

***Система супермаркетов для среднесостоятельного слоя.

приятия. Но — *покатило*, и вот небольшое дело принесло большие деньги. А потом унесло. Шли деньжата косяком в одну сторону — пошли в другую. Он должен — ему должны? не разберешь. Но он — крайний. И вскорости ему светит пуля в затылок или продажа всего за долги, а дальше, если не хватит расплатиться, опять пуля. Или он должен *заказать*, а ему не на что. И он оттягивает этот финал, как может, а сам в скором темпе собирает манатки. И вот они здесь. При этом она едет без разговоров, она думает — он и здесь будет коммерческим директором, на то он и сврей. Дальше — по первому типу.

При этом она, заюшка, не вникала и не хотела, как это они там жили-могли и детей в английскую школу водили. Она видит только: там они были люди, а здесь должны учить немецкий язык. И она, зайныка, начинает ему мылить голову: зачем уехали от такого хлебного дела, как отдел электроники, и почто оставила я подруг? И невдомек ей, зайчишке, что такое расстрельные дела по-новорусски. И ее, зайку, можно понять. Он же для нее не мужик как мужик, а таинственный сврей: как взрослый для ребенка — что с ним может сделаться?

— Еще один кандидат наук из Харькова, блин. Я бы их убивал, блин, этих кандидатов наук из Харькова.

— Что за кровожадность?

— Да потому, что это только говорится: еврей — ученый — кандидат наук. Понимающий человек соображает себе: кандидат наук из Харькова — это, блин, тот же хохол «с лычкой». Я ничего не хочу сказать — хохлы пусть будут, если они уже есть, но — не хохлы с лычкой!

— Что это значит?

— Если бы вы родились в Харькове, то и объяснять, блин, не надо было бы.

Интересен всегда другой, не я. И всегда из интереса к себе. Сам себе человек мучительно скучен, единственный его шанс хоть как-то стать себе интересным — это посмотреться в зеркало: в другого. Прехожу немецкий перекресток на красный свет, если не вижу потока машин, машинально: Москва толково выучила тому, что не

сигнал светофора, но единственно моя глазасть и реакция гарантируют безопасность. В России очень рано и пожизненно-всецело впитывается аксиома: все мы ходим под Богом. Но как только в Аугсбурге десяток туземцев, доселе столь же машинально стоявших перед пустой дорогой в ожидании зеленого света, трогается вслед за мной, как овцы, которым не хватало пастыря, вожака, генерала-нарушителя, я выхожу из автоматизма самочувствования и остро понимаю не только — до чего же они неподлинны, но и — до чего же я педоделан.

И вот почему я здесь... Да, почему? Что я здесь делаю, хотел бы кто-то во мне знать. Но кто? Кому из десятка моих внутренних идиотов опять понадобилось узнать то, чего лучше не знать вовсе? Доказательством последнего является то, что Господь сделал это знание, как ни бейся, невозможным — и уж, наверное, не напрасно.

5. МЕНЯ НАХОДЯТ

Когда он позвонил, я еще не понял, что он и есть... даже не кто-то, а что-то, чего я так давно жду. Один из нас (моих внутренних идиотов) затеял эту историю с переездом, чтобы что-то произошло. И ничего не происходило. День за днем, так же, как в России я плохо ел, плохо пил, скучал, закономерно впадал в депрессию, случайно выходил из нее, в Германии я хорошо (по былым своим российским представлениям) ел, недурно пил, скучал, тосковал, иногда ездил по именитым европейским городам, большим и малым, но всегда почему-то именитым, возвращался домой к близким — но ничего не происходило.

Стандарт жизни сменился более высоким, но сохранил свое главное качество: денег, как раньше на все плохое, так сейчас на все минимально хорошее — постоянно и изнурительно было в самый обрыз.

На моей родине есть мнение: человек бесится с жиру. Последние несколько российских лет, давшие тому тьму подтверждений, дали, однако, еще больше поводов добавить: не меньше, чем излишний жир, бешенством человека заражает и чрезмерная худоба.

Но ассортимент бешеных в России велик, как нигде. Есть среди них и такие, что бесятся — ни с жиру, ни от худобы. Не дай Бог никому попасть в их число — говорю это со знанием дела: я один из них, этих несчастных.

Это восприимчивые натуры, подростками начитавшиеся поэтов. Внушивших им со страшной силой, как надо жить по-настоящему: так, чтобы привлечь к себе любовь пространства.

А что знаем мы о любви? Да ничего. Знаем только, что она свободна. То есть по-настоящему я живу только, когда имею возможность свободно привлекать к себе любовь пространства от Рима до Брюсселя, от Мадрида до Бристоля, — и что может быть гаже того чувства, что вот — ты уже внутри свободы, в центре Европы, тебе не нужны приглашения, визы, ты в гробу видал ОВиР, тебе ничего не нужно, только вынуть из кармана несколько сот марок; а вот марочек-то и... Но вот, как сказано, уже залаживаются и путешествия: сам ли подкопил деньжат на дешевый автобусный тур в Испанию, а не то знакомый на своем авто едет во Францию или Австрию по делу и готов подхватить тебя туда и обратно, если ты оплатишь всего-навсего половину расходов на бензин. Вот видишь, побывал и ты уже в Амстердаме и Брюгге, Барселоне и Вене, Венеции и Вероне... Был, был ты в Аркадии, расслабся; ан чувство тихого бешенства все не проходит, пока ты не поймешь наконец: причиной ему — не слишком жирное или худое тело, и даже не пространственные утеснения, а причиной ему — душа, не находящая себе места в смиренной рубашке тела.

Проклинаешь тогда поэтов, внушивших тебе любовь к внешнему пространству вместо необходимости упорядочить и нетесно разместить внутри себя душу; проклинаешь тогда и себя — за то, что ты их послушался — иль не так понял? и чувствуешь — надо же что-то делать; но лечить запущенный процесс — не пиво пить с ребятами. То, что надо было понять очень давно, еще на Востоке, ты понял только теперь, на Западе — и только потому, что сюда попал, чтобы понять на себе. Теперь, позднесрединной порою жизни, смеркается: поздновато. Запад сойдет со своего места, и Восток сойдет — уже сходят; но чело-

век, переместившийся на запад своей души, уже не переместится вспять, на ее восход.

Человек переместился, а — не *происходило*. Шло только то страшное и неинтересное, страшно неинтересное, что финансовый узел на шее семьи, доселе напоминавший о себе, висевший внатяг, но не сужавшийся дальше и дававший дышать, с некоторой поры начал медленно, но верно затягиваться. Но ведь это еще не *происшествие* — для русского Винни-Пуха. Ну так шло оно — и шло бы оно себе на непоименованный в народе (потому что и так известный всему народу) хутор — ловить бабочек, недоведомых даже Владимиру Владимировичу (по злобе — иначе зачем так обидно-невозмутимо? — ругавшему другого Владимира Владимировича «посредственным русским поэтом»), собаку в бабочках съевшему. Между тем, если ты внезапно, резко ломаешь линию своей судьбы, врубаешься в ее массив, то со стороны ее, доселе самой определявшей твоё поведение, подгонявшей тебя под свой размер и фасон, казалось бы, неизбежен отзыв на названный тобой пароль, выкинутое ею в ответ на твоё хамство резкое коленце. Но не происходило ничего, то есть ничего *такого*.

И однако, когда он позвонил, я не удивился, что незнакомый человек из Москвы заехал в Аугсбург со странной целью — повидать меня. Почему? Я не понял, но предпочувствовал: оно.

— Извините, — раздался в трубке чарующий кавказский тенор, отсылающий в те легендарные времена, когда, если верить моему отцу, въехавшего в волжский город Куйбышев в открытом белом автомобиле певца Рашида Бейбутова забросали цветами многочисленные поклонники. — Меня зовут Мухтар. Ваш телефон мне дали ваши друзья (он назвал одну из немногих сигналивших во мне фамилий). Я тут по делам неподалеку, в Мюнхене, и сейчас хочу отдохнуть. Мне говорили, что в настоящий момент вы неплотно заняты.

— Допустим... Но чем могу служить?

— Видите ли, я довольно странный... м-м... бизнесмен. Люди моего профиля предпочитают в качестве отдыха горные лыжи или злчные места. Казино, ночные клубы... Представляете, я думаю.

— Понаслышке. Хотел бы представлять лучше — хотя бы из литературных соображений.

— Ну разве что. А так — фуфло фуфлом. Либо тратишь деньги на очередную шалаву, похожую на шалаву и ни на кого больше, кроме другой шалавы, либо одним дурацким вращением колеса приобретаешь кучу незаработанных денег. Очень противное ощущение — держать в руках кучу незаработанных денег. А?

— Кому как. Еще противнее, по-моему, зарабатывать их, по 8 часов в день клея коробки в Леххаузене. И если бы — кучу денег, а то ведь только кучу коробок...

— Почему именно коробки?

— Или кладбище пуцать*. Социальные работы**. Во семьдесят часов в месяц, по три марки в час, символически, но приучает к правильному поведению. Остальное социаламт добивает до минимума. Казалось бы, все путем. Я свои назидательные три месяца на кладбище отбыл, и скажу — где-где, а уж на смиренном фридхофе работа именно в том и состоит, чтобы не бить лежащих там. Для нашего брата, само собой. Полил цветочки — пауза, смел веточки — перекур. Нам же не доверят такое серьезное дело, как рыть могилу немецкому человеку.

— А кому доверят? Только немцу?

— Прям. Немец, если он не дипломированный алкоголик, так низко не опустится. Копать — это ненемецкий вид работ.

— Кто же тогда роет могилы? Турки, босна, итальянцы?

— Эка разбежались. Они разве аккуратно выроют.

— Но кто тогда?

— Неужели не ясно? Подсказываю: вы имеете дело с Германией.

— Сдаюсь.

— Экскаватор, зельбшверштэндлих***. И не такой, который пригнали слева, со стройки, а специальный ком-

*Жаргон русской диаспоры в Германии — от нем. putzen — убирать.

**Общепотребительное; официально — «дополнительная общественно-полезная работа» (zusätzliche gemeinnützige Arbeit).

***Selbstverständlich — само собой разумеется.

пактный экскаватор, для могил, а не для котлованов. Кто в экскаваторе сидит, не скажу, я его не видел. А вот уже утрамбовывают могилку изнутри турки и поляки, которые на фесте*. Могут и русского взять на фест, если он себя покажет... не как я. Я вообще-то не нарочно, просто руки-крюки. Не дал Бог таланта, а то бы пристроился, как некоторые — и чаевых от родственников покойников имел бы — в количестве, как говаривал один бывший полковник, не большом, но достаточном, чтобы согреться... Словом, они мне там, на погосте, говорили: ты лучше сиди и кури, только не порти нам дело и старайся начальству глаза не мозолить, сиди в сторонке, а мы сами поработаем. Я и говорил до 1 января сего года, что жаловаться грех, не все коту масленица, когда дорогу осилит идущий, тем более, если он в гору не пойдет. Но положение на западном фронте стремительно ухудшается. Нас было 800 по актам синагоги, когда я приехал, а теперь — 1800. Кладбища нами переполнены. Посылают пущать швимбады** и стадионы, а там не скроешься от начальственного ока. Или треклятые коробки. К тому же им уже мало от нас 80 часов в месяц. Цайтарбайт*** отныне не канает. Буквально — гейт нихт! Отработал три месяца на социале — а там — иди давай на рихтиггарбайт****... Они создали арбайтсгруппу, и та медленно, но верно выдавливает на те же коробки, но на полные 160 часов в месяц. Чтобы ты не просто демонстрировал социальный тип поведения, но ассоциировался. Вкалывал, как все.

— Но не снимут же вас с социальной помощи, если вы откажетесь?

— Почему? Если буду вредничать, они имеют право сменить меры кротости на меры строгости: урезать пособие за плохое поведение сначала на 50 процентов, а не по-

* «На фесте»: fest — прочно, твердо; Festearbeit (обиходное, полностью очень длинно, и в карманном словаре я не нашел) — постоянная, не сезонная, работа на полномкладе.

** *Schwimmbad* — бассейн.

*** *Zeitarbeit* — временная работа или работа на неполный рабочий день.

**** *Richtige Arbeit* — «настоящая работа», зд. — любая, пусть самая низкоквалифицированная, но с полной занятостью и оплатой, позволяющей, как здесь говорят, «слезть с социаламта».

может — до нуля. Так они пишут в своих бумагах ко мне, и это опирается на какой-то параграф какого-то закона, будьте уверены.

— Но как можно в социальной стране, где никто не имеет права умереть с голоду, урезать соцминимум, если это соцминимум? Концы с концами не сводятся.

— Стремление до конца свести концы с концами — признак сумасшествия. А немцы не сумасшедшие. Это только иногда так кажется, а как до денег дойдет... Вообще, если вспомнить, что мы в стране Гегеля, мы должны подойти к ним диалектически. Попробуем их понять. С одной стороны — да, закон: каждый имеет право на социальную защиту. Никто не имеет права умереть с голоду или холоду. С другой — должна же иметь страна право высшей меры социальной защиты от тех, кто имеет право на социальную защиту? Должна. И смотрите, другой параграф того же закона гласит — каждый житель страны, какие бы права он ни имел, — обязан работать. И если не работает — нарушает закон. А значит — сам ставит себя вне закона, дающего ему те или иные права.

— Уж эта мне российская интеллигенция — довести стремление понять другого до выдачи ему лицензии на собственный отстрел. Вы, дорогой мой, Александр Блок, да и только... Ну, хорошо. В самом худшем случае — что вы, в конце концов, имеете против того, чтобы вкалывать, как все? И против коробок? Мне в Штатах говорили, что многие их поэты работали в банках и страховых обществах. Причем начинали с клерков, а заканчивал кое-кто директором.

— Ну, если вам не жалко денег дискутировать по междугороднему... Чтобы не тянуть резину: другой вид человека. Чем собака не волк? Только одним — она не волк. Она хочет домой, а волку дом — лес. Загадок мироздания много, отгадок — ни одной. Эллиот или Стефенс без вреда для своей поэтической конституции 8 — 10 часов в день с полной выкладкой, аккуратно — не то бы их уволили, это дважды два! — перекладывали и заполняли бумажки, а Пушкин и прикомандированный к Воронцову — тем бы такие условия! — чувствовал: он им не кенар! он поэт! и если чего не отчебучит, то прям сейчас же, не сходя с

места, перестанет быть способным к исполнению поэтических обязанностей. А если бы ему — нормированный рабочий день? то есть — от и до? в отделении Дрезднер или Дойче Банк, или Нюрнбергер Lebensversicherung AG?* Это же и есть — посадят на цепь дурака! Но вы высоко хваляли — банк! страховая компания! это деньгами пахнет, это для белого человека. Вот бы этого Эллиота да к нам, на картонную фабрику, в Леххаузен, коробки клеить, шлеп да шлеп — сутки прочь... Вы думаете, в Москве случайно клеят коробки в дурдомах и трудгруппах при психдиспансерах? Только психам не грозит рехнуться, продуцируя коробки при русской ментальности.

— А поэты — не психи?

— Возможно. Но это такие ненормальные психи, которые могут рехнуться по второму разу. Не исключено, что при этом они станут нормальными людьми. Не исключено, что они станут психами в квадрате. Но в любом случае они перестанут быть собой. То есть поэтами.

— Возражаю. Если поэт боится перестать быть собой, он вообще не имеет отношения к истине, а значит, он не поэт.

— Класс... Кто вы, говорите, по профессии?

— Бизнесмен. А по натуре — турист. Для меня отдых — когда меня по новым местам водят, рассказывают. Жалею, что кончил только психфак МГУ, надо бы еще искусствоведческий... Ну хорошо, но вы могли бы попробовать разыграть собственную козырную карту. Конечно, на стихах много не заработаешь, но если с толком подойти, что-то из них выжать можно. Имя, престиж. Как москвич и бывший гуманитарий скажу — у вас есть какое-то имя.

— Угу... Какое-то есть... Вспомнить бы только, какое.

— Кто мешает? Найти адреса известных славистов и переводчиков здесь, по-моему...

— Да-да. Проще пареной репы. Но. «Серьезная» литература здесь — спархия серьезных людей. Дипломированных университетских интеллектуалов. А те должны сначала понять, в чем примочка-заморочка феньки-фишки. В чем твое новое слово? Как ларчик открывается? Чужой

*Nurnberger Lebensversicherung-AG — Нюрнбергское акционерное общество страхования жизни (отделения по всей стране).

язык — это очень скучно. Когда не понимаешь дыхание чужих слов, ждешь только *конструктивно* нового слова. Ждешь *чужого своего*. Понятно-непонятного. Что делать, если не я изобрел писать строчки на отдельных карточках или — «видеомы» типа: «Мани — нема»?

— Не нравятся?

— Глупый какой-то разговор. Нравится — не нравится... XX же век: нет единого критерия качества. Дело хозяйское. И это — хорошо. Нашел человек способ словами зарабатывать деньги, изобрел поэтическое эсперанто — ну, не честь ему, так хвала. Остроумие — такой же талант, как любой другой. Я бы тоже хотел стихами зарабатывать, да не выходит.

— А что у вас выходит?

— Да только сами стихи. Когда выходят.

— Что значит — выходят?

— Ну, как? Подставляешь, значит, себя — и живешь. Ждешь, когда шарахнет.

— Что значит — подставляешь? Куда?

— Да не — куда, а — в каком качестве. В качестве поля взаимодействия двух полюсов — логики смысла и логики языка. Что тут объяснять, когда все уже сказано. И ждешь разряда. Шарахнуло — значит вышло. Сидишь записываешь. Нет — сиди живи еще неделю. Месяц. Полгода. Какой срок определяют.

— Подставляетесь, значит?

— Не без того.

— Разрушительно понимаете свое дело, должен сказать. Саморазрушительно.

— Другого не дано.

— Ладно... Какой вы поэт, не мое дело. Но я слышал, вы хороший экскурсовод.

— Это было давно и неправда.

— Не скромничайте, талант не пропьешь (знал он, что бьет в болевую точку, или просто балагурил?). Словом, я бы вас нанял на пару дней как гида. За ценой не постою. Если это не уронит вашего достоинства.

— Достоинство — это из области максимализма. У социального же минималиста... Уже сынок мой... Выкушаешь иною ненастной порою бокал светлого и говоришь

ему: «Мой сын, послушай мой рассказ». Слушает. Содвинешь в себя разом еще пару бокалов темного и продолжаешь: «Ты умный парень. Но я удивляюсь, как это ты и твои товарищи — гимназисты! — ничего не читаете. То есть ровным счетом ни-че-го. Неужели ты думаешь, что человек может состояться как личность, не прочтя хотя бы «Остров сокровищ»?» А это отроча млодо, сопля неполных двенадцати лет выдержки, — мне: «Ты меня, папа, прости, но, по-моему, состоявшийся человек — это человек, который в состоянии заработать состояние. Возьми Фреди Бобича. Он не гений, не Рональдо, просто хороший игрок. При этом, скорее всего, не кончил даже хауптшULE*, потому что в двадцать семь лет начал учить английский, когда его звали играть в Англию. А VfB «Штутгарт»** отстегнула за него 5 миллионов марок, и не нужен ему никакой остров сокровищ. И я его уважаю — он тяжело работает». Вот так; а вы говорите. Что я ему буду вкручивать про князя Льва Мышкина, что-де настоящий человек — что нищий, что миллионер — он все равно идиот, — когда Бобич, без головы, но двумя ногами — работает и зарабатывает, а я со своей умной башкой сижу на хильфе, и он тактично помалкивает, если его не спрашивают, он хороший ребенок, но я по его глазам вижу, что он уже ясно представляет, — повидал жизнь и людей — как мы здесь выглядим, с нашим немецким, с нашей мебелью, с нашими привычками *никогда* не садиться за столик уличного ресторанчика, вообще считать каждую марку, выкинутую на фу-фу, а ведь мы далеко не самые прижимистые из патриотов, мы показали ему кое-какой мир, — как мы выглядим среди *людей*... ведь тут школьник из самой бедной, но *немецкой* семьи просто не имеет места быть без официально положенных ему ташенгельд***: как это — отказывать себе в булочках и кока-коле — притом что бутерброды у них и так всегда с собой в специальных пластиковых боксах? но если я начну ему выдавать по 3 — 5 марок в день

**Hauptschule* — низшая форма образования в Германии, соответствует примерно нашей восьмилетке, но знаний дает меньше; однако разговорным английским владеет, как правило, и выпускник хауптшULE.

**Известная футбольная команда.

****Taschengeld* — карманные деньги.

просто так — это полный подрыв социально-минималистской экономики! А каково ему жаться среди...

— Чего же вы хотели, сюда едучи? Неужели вас не учили в десятом классе, что жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя?

— Во-первых, и там, в Московии, идет к тому же, и в темпе — ему и тринадцати не стукнет, как его накроет прямым попаданием, что он сын бомжа, а не поэта; у детей почему-то очень развита вредная привычка сравнивать себя с окружающими... А во-вторых, выходит — да, плохо учили. Точнее, я плохо учился. Я по молодости лет еще не понимал, что ко всякому умному человеку, даже если он рыжий — рыжий, а зануда, это ли не вздор! — не мешает прислушаться... Ладно. Трудящийся достоин пропитанья. Что знаю — расскажу, как умею. Дадите, сколько не жалко. Но на уровень прошу не жаловаться — я распрактикован, не в фокусе. К тому же вы не даете времени на подготовку.

— Не даю. Вы уже на работе. Завтра утром я у вас по адресу... (он назвал мой точный адрес).

— Адрес вам тоже дали мои друзья?!

— Арбайтер не задает вопросов арбайтгэберу. Но я вам отвечу. Потом. Если еще будут вопросы.

6. ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?

Да. Действительно.

«Чего Вы хотели, сюда едучи?»

Есть сто причин; любая имеет место. Спросите у меня вы и, прикинув, что вас устроит, *какой* «я» вызову у вас понимание, — я назову требуемую.

Хотел ли я дать детям европейское образование? А как же.

Хотел ли спасти старшего от армии? А то.

Может быть, я устал искать грошовые случайные заработки? Неужели нет.

Не хотел ли заполучить европейский паспорт, чтобы без унижений и не дороже денег поездить по миру? А вы как думали.

А не обрыдла ли мне противоестественная московская смесь шикарной тусовки и беспросветной нищеты? Не захотелось ли чего-то менее искусственного вроде однообразной, но достойной бедности? Вот-вот, что-то такое мне именно и мерещилось; вы, как всегда, правы.

Или я просто последовал старому правилу преферансистов: «Если игра долго не идет — надо сменить колоду»? Не без того.

Вот сколько «вас» будет спрашивать — столько причин и назову. Если захочу понравиться. В противном случае я буду неискренен. Ведь это только думают, что когда мы хотим понравиться, то лицемерим. Напротив, я только с тем и искренен, кто мне приятен и в ком я инстинктивно хочу вызвать ответную приязнь — единственным способом, которым ее можно вызвать (а можно и не вызывать, оттолкнуть; тут всегда риск, но в другом случае просто нет шанса — неискренность всегда слышна и всегда противна). Другое дело, что я имею право из многих своих искренностей или комбинаций искренностей выбрать наиболее ситуативно эффективную — и этим правом правомерно правлю. Странно было бы, если бы я рассказывал приятной женщине, приглашенной мною в ресторан (ну, это уже из прошлой... или будущей жизни... но допустим), что женщина за соседним столиком вообще-то нравится мне не меньше, но случай познакомиться выпал так, а не иначе — и в принципе у меня нет причин расстраиваться, шило стоит мыла... Нет, разумеется, я буду с возможной пылкостью объяснять своей спутнице, чем она и именно она меня привлекла — и кто скажет, что я неискренен? Не привлекла бы — не приглашал.

Но, заглянув за свою подлую искренность, туда, где — *на самом деле* (вообще-то у человека в душе поставлен надежный предохранитель, оберегающий его от опасного и малоприятного заглядывания куда не надо, но у некоторых от долгого разгильдяйства предохранитель летит), я (мы, идиоты, составляющие меня) понимаю: на самом деле я покинул родную сторонку... нет, ну, конечно, и по всему названному, и еще по одной причине, которая вот-вот выяснится... но, может быть, и в самом деле еще и по причине, уже названной ранее. Совсем не делающей мне

честь, даже не являющейся простительной, симпатичной слабостью. Я здесь, может быть, из гадкого, чисто эгоистического желания познать себя. Познать себя-из-другого. Потому что нельзя познать себя-из-себя. Я должен быть собой, но я должен отделиться от себя, чтобы себя — увидеть.

Пуститься на такую авантюру, как переезд в другую страну, даже не другой город, а другую страну, даже не другую страну, а страну Германию — это вам не каталонское побережье, где только сдают апартаменты, а на полученные деньги ночь за полночь пьют вино и закусывают ракушками, — я сам видел и все скажу! — и даже не в Германию, а на ее консервативный и чудаковатый Юг (чужая чудаковатость далеко не всегда бывает столь мила, как чудаковатость Паганеля), в особую землю Баварию, и даже того более — в особую из особых баварскую Швабию, имея более сорока лет за плечами, двадцать лет дисциплины переработки по восемь часов в день, отсутствие какой бы то ни было полезной специальности и способности ей обучиться, семью, которую надо тянуть и тянуть годами, пока хотя бы старший (о младшей страшно и подумать) не станет взрослым самостоятельным человеком, — сделать это из столь пубертатных побуждений, как склонность к самопознанию, может только безумец и притом безумец социально опасный — коль скоро семья есть микросоциум. Но поскольку такой я себе не нравился, а главное — не мог уговорить под такую закуску близких поехать со мной, я без труда, то есть опять же совершенно искренно вытащил на свет Божий самые весомые аргументы, возвысившие самый безответственный авантюризм, осложненный к тому же желанием самооправдания, до экзистенциального выбора в пограничной ситуации.

«Ты думаешь, где-нибудь еще, кроме России, русский поэт может чувствовать себя в своей тарелке? И если уж я тем не менее с полной ответственностью, сообразив все наши обстоятельства, говорю — ехать надо, значит — есть такое слово “надо”!» Это был мощный аргумент. Тарап. И вот уже больше года мы в Германии.

Цурюк, мой друг, цурюк...

7. ПОЭТАПНО

Перелет Москва — Мюнхен. Поездом в Нюрнберг через лучшие европейские поля как заяц-гурман. Нюрнбергский распределитель для въезжающих в Баварию переселенцев и иммигрантов, имеющих право на въезд, — две четырнадцатизэтажные башни «Грюндиг». Двадцать лет назад это слово — один из символов свободы как свободы слова в полный голос — материализовалось в приемнике на кухне, по которому я ловил «Свободу» сквозь бешеную дворняжку брехню спецпомех. Сейчас, на своем аутентичном месте, оно воплотилось в страшноватую пересылку с блоками комнат, которые следовало бы назвать камерами, если бы не отсутствие глазка в двери.

«Я тут не останусь! летим назад!» — вскричала жена, только войдя в наш блок-кассету № 204 размерами, думаю, 2,5 на 4, с двумя двухъярусными кроватями-нарами на нас четверых и компактным рукомошкой, какие ставят в наших спальных вагонах на международных направлениях. Тут было все для жизни — стол, три стула, остальное на этаже, спортивная площадка, аккуратный ряд веревок для сушки белья во дворе, экуменическая церковь (безупречно корректный, но взвешенный подход к религиозным потребностям приезжающих — не обязательным, но возможным и положенным по смете — здраво говорил хозяевам, что единая коммунальная церковь — и соответственно один общий священник — стопроцентно заменит несколько изолированных), куда хаживал только я, да и то оглядеться из любопытства, — все для жизни, но в самый здешний воздух, не намеренно, а как-то сама собой, по привычке, ощутимо примешалась ароматическая добавка местной выделки — легкая отдушка Аушвица. «Ахтунг! Ахтунг!» (братцы, друзья, отцы и учителя, мог ли я подумать, что классика и выпрямь вечножива, что услышу легендарную эту команду в свой адрес?), — раздавалось по этажам ровно в 5 утра; и знакомый до боли по сотням фильмов лающий голос живьем вещал, какие семьи сегодня должны, не задерживая людопроизводства, срочно, но организованно

двигать к выходу с вещами: очередной автобус поношенных, б/у человеческих судеб развозили по сданным, обреченным баварским городам*.

«Да брось ты, это дня на два-три, им нет расчета выдавать лишний день четверым по 20 марок на рыло. Определят на место — и на вылет, не успеешь суточные пропить». «Угу. Я как-то тоже сказала одной старой монахине что-то в этом роде: де, согласно учению об апокатастасисе Григория Нисского, после некоторого количества, условно говоря, лет вечности очистительного огня адских мук спасутся все — так что горе не беда. А она мне: «Там, детка, так страшно, что я там и минуты быть не хочу!»

В холле нашей башни творился какой-то немытый сюрреализм: то и дело вновь прибывающие люди с красными широкими лицами в турецкой коже и китайских спортивных шароварах вводили под руки отъявленно деревенских русских старух в оренбургских серых платках, таких же кофтах и светло-карих чулках в резиночку, те ковыляли к окошку регистративно-информационной службы — и внезапно начинали чесать со служащим по-немецки. Это ошарашивало.

Во дворе было ветрено, как-то по-своему, не по-московски, но по-немецки серо, меж аккуратных серых построек, на ровно скошенной мураве, хотя рядом стояли скамейки, сидела кружком на корточках группа краснолицых дюжих мужчин и покуривала в кулаки с тем сосредоточенным отношением к делу, с каким знающие люди учили меня в прекраснотушной юности насасывать косяк анаши, особенно же «пяточку». Откуда они здесь, удивился я, кто они? Я должен был поинтересоваться раньше, еще дома, в какую русскоязычную среду я собираюсь привезти детей, пока они не станут немецкоязычными. Тогда я мог бы своевременно узнать многое о шпэтаусзидле-

*До какого-то момента, если верить местным знатокам вопроса, как минимум парутройку лет, считая с 1991 г. (начало русской миграции в Германию как по еврейской линии, так и по линии массового переселения «домой» этнических немцев), свои лучшие южные места, Баварию и Баден-Вюртемберг, немцы берегли «для себя» и не поселяли сомнительных русских в свой заповедник, пока другие земли не оказались ими перенаселены.

рах*, называемых в здешней диаспоре «казахдойчами», «казахами», — но не сделал этого, будучи ленив и нелюбопытен, как настоящий русский. А ведь въехал в страну как приличный человек: как еврей.

НОВЫЙ НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ**

Реклама кондомов на трамвайной остановке: велосипед, у которого в качестве колес два неиспользованных презерватива. Над ним надпись: «Собираешься в велосипедный тур?» Под ним: «Возьми с собой». Сбоку: «Не давай СПИДу никаких шансов».

А моему старшему девять. Каждый раз, когда еду вместе с ним в трамвае, боюсь — вот сейчас он обратит внимание и спросит: что это? как это нужно понимать?

8. ХАРАКТЕР ГОСТЯ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ

— Да, город просто битком набит всякими древностями и раритетами. Как, говорите, он назывался при римлянах?

— Аугуста Винделикум. Или Винделикорум, если вам так больше нравится***. В честь божественного Октавиана Августа, принцепса, считавшего необходимым иметь принципы. Особенно если не имеешь их.

— Что можно сказать? Разумный человек. Люблю разумных людей... И Дом**** в Аугсбурге жутко интересный, — Мухтар задумчиво жевал жаренную в кунжутном фритюре и политую полупрозрачным, цвета сливового варенья, кисло-сладким соусом гигантскую креветку. Да,

**Spataussiedlern* — букв. «поздние переселенцы» — этнические немцы, массово переселяющиеся в последние несколько лет на свою историческую родину из Казахстана (в первую очередь), Украины и России. В наст. время их число составляет в Германии больше 2 000 000.

**Далее — НИИР.

***Римское военное поселение (будущий Аугсбург), основанное в 15 г. до н.э. на месте жительства кельтского племени винделиков, разгромленных легионерами, посланными, под началом Тиберия и Друза, Октавианом Августом.

*****Dom* — кафедральный собор. «Домский собор» — всюю употребляемый даже в справочной литературе тавтологический оборот.

подумал я, глядя на него, да: наши парни быстро учатся, они уже не ходят в малиновых и зеленых пиджаках, а оде-ты в новом европейском стиле — яркие, пестрые галсту-ки на фоне светло-цветных рубашек и сдержанно-цвет-ных добротных пиджаков смотрятся почти на грани фолы, но — хоть ты что — гармонично, и сами *наши* смот-рятся во всем этом отнюдь не искусственно; да, это надо признать... — Китайская кухня вывозного массового стан-дарта у приличного человека может вызвать только из-жогу. Может быть, у себя дома... глазированный поросе-нок... а в общем, даже не в джентльменском импортном наборе все эти акульки плавники и ласточкины гнезда... Кстати, знаете, что это значит? — он показал рукой на большой аквариум с золотыми рыбками в центре зала.

— Золотые рыбки? Понятия не имею.

— Мне говорили, это означает, что ресторан — из меж-дународной сети взятых под «крышу» китайской мафи-ей. И будто бы количество рыбок в аквариуме говорит о степени защиты. Ступени мафиозной иерархии.

— Ух ты. Пойдемте посчитаем.

— Да бросьте. На качестве кухни это все вряд ли отра-жается. И вообще, за что купил — за то и продаю.

— Значит, в вашем мире тоже... простите...

— Ничего, я не обидчив. Говорите, не бойтесь.

— В вашем мире тоже ничего друг о друге не знают на-верняка?

— Смешной вы. Будто «наш» мир чем-нибудь отличает-ся от «вашего». Да кто ж в этом мире вообще что-нибудь знает точно? Я как-то встретил знакомого, который ин-формирует агентство Си-эн-эн в Москве, а также догова-ривается о времени встреч с ними в российских прави-тельственных кругах. Казалось бы. Да? Так вот, ему позарез нужно было какую-нибудь новую информацию про-дать, а другую — проверить; и он спросил, *не слышал* ли я чего-нибудь интересного, чего он не слышал, и правда ли, что... уж не помню что. Он! у меня! я кто? а он — професси-ональный высокооплачиваемый информатор! А вы гово-рите — знать навер... Но, возвращаясь к серьезному делу: кухня. Я именно люблю почему-то всяческую китайскую бурду, мешанину, их кисло-сладкий соус... У меня с дет-

ства какой-то перверсивный вкус: вместо того, чтобы ценить свою азербайджанскую, по сути иранскую кухню, одну из самых тонких и притом имперски роскошных кухонь мира, я как-то глупо обрусел в кулинарном отношении — люблю гречневую кашу, да еще по-детски с сахарным песочком. Вообще кулинария — интересная область психологии и даже антропологии. Не находите?

— Почему? Нахожу. Я, например, как еврей, понятное дело, не симпатизирую антисемитам. Но в гастрономическом отношении обнаруживаю в себе глубинные антисемитские корни: до тошноты не выношу фаршированную рыбу, тертую морковь и свеклу, форшмак, мясо с черносливом, всякие кнейдлах, все это молотое, как бы до меня кем-то пережеванное... Вот бы где, при корнях, порыться в своих архетипах. В душе уважающего себя еврея обязательно найдется юнгова Тень антисемита... Только я бы не стал на вашем месте задирать нос перед русской кухней — с точки зрения размаха, амплитуды имперского синтеза, если уж это ценить, ей нет равных в мире. А Дом у нас и впрямь всем домам Дом. Я сам не ожидал. В искусствоведческие антологии-хрестоматии он, в отличие от кёльнского Дома или фрайбургского Мюнстера*, не занесен. Сколько упреков я слышал некогда на кухнях всея Москвы со стороны православствующих искусствоведов восьмидесятых в сторону смысла романики: «Небо давит землю», — и готики: «прелестные», иллюзорно-ложные архитектурные формы: камень-де, забыв, что он камень, вместо того, чтобы выявлять свою недобрую тяжесть, честную тектонику несущих-несомых, горделиво, псевдохристиански устремляется вверх, и тэдэ, — и все, главное, вроде бы по смыслу. А в живь попадешь...

Вот у нас в Аугсбурге строится собор, строится, прошу заметить, с конца X по XV век, причем зримо — готика прямо на пополаме въезжает в романику, так что собор раздвигается как безразмерный ботинок, да тут еще XVIII век вставляет сбоку кассету цветной барочной капеллы — и все живет, друг другу не мешая, стильное серое под-утро транс-европейского средневековья и безвкусная, но сердечная домашняя кухня марципанового немецкого барок-

* *Munster* (как и *Dom*) — кафедральный собор.

ко. Именно что никто не давит, ни небо, ни земля — и никакой гордыни кельнского Дома или ульмского Мюнстера, башни не так высоки, не в них и дело, и крест-то на одной как-то по-русски-деревенски покосился, и галка-то на нем сидит, никакого каменного ажюра, «французской манеры» — а есть только длиннющий и на ходу, по потребности, все время еще удлиняющий сам себя корабль, затяжное плавание по морю житейскому — и смерть, как старый капитан, правит к воскресению по звезде на Востоке...

— Да, не без вдохновенья... Нет, серьезно, мне нравится, как вы работаете. И заполировали хорошо, образно.

— Заявляю видершпрух*! Я не полировщик действительности. И не виноват, что на работе остаюсь тем же и чувствую так же, как чувствую вообще. И не виноват, что Цветаева, идучи по следам Бодлера, ненароком облегчила мне работу по формулированию собственных чувств. Поэзия, коль уж на то пошло, вообще если для чего и нужна пользователю, так это — чтобы облегчить ему работу по переживанию жизни, но облегчить парадоксально: не упрощая, а усложняя ее. Бремя ее — пусть она не идет в сравнение с Тем, Кто сказал эти слова о себе — благо, и иго ее легко.

— Тоже неплохо... Скажите, — он выпил глоток вонючей рисовой водки; в окружении запахов соевого соуса, жженого сахара, перечной пасты и кунжутного масла отчетливый запах денатурата преобразался в необходимый компонент увлекательной, пока не переешь жирного, ароматической гаммы, — скажите, а что вы почувствовали, когда узнали, что ваши люди убили Акогопа?

АККОМПАНЕМЕНТ

— Сегодня фрау Боненбергер спрашивает: «Дети, кто спас мир?» Я говорю: «Брюс Уиллис». Она: «Неверно. Кто еще?» Филипп Бауэр говорит: «Иисус Христос». «Правильно! Верно! Прима!»

* *Widerspruch* — возражение. «Hiermit lege ich Widerspruch (сим заявляю возражение) gegen Ihre Bescheid von...» (против вашего решения от такого-то числа), — обязательное начало любого опротестования того или иного решения, с которым вы не согласны.

— А ты сам не знал?
— Да, но Христос спас мир только раз. А Брюс Уиллис два — в «Пятом элементе» и «Армагеддоне».

— Сегодня фрау Боненбергер на уроке говорит: нацисты — это которые кричат: «Германия — для немцев, ей своих девать некуда, долой турок, боснийцев и евреев!» Тут Доминик Шиллер, буддист, вскакивает и орет: «Я — нацист!» А я вскакиваю и в ответ: «А я тогда — еврей!» И давай друг друга мочить. А она нам — сесть на место и писать штрафарбайт. А А-Лонг, китаец, поднимает палец* и спрашивает: «А кто такие евреи?» Фрау Боненбергер показывает на меня и говорит: «Вот он тебе объяснит, он еврей». А я говорю: «Я не знаю, как это объяснить человеку, который этого не знает». Тогда она говорит: «Евреи — это такая же вера, как католише или евангелише**, но другая. Евреи — такие же, как и мослем***, но другие».

— И все?

— Ну. А чего еще?

9. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА

Объявляю торжественно: в Германии нет антисемитизма. Я искал его и не нашел. Игнац Бубис, предводитель еврейства Германии, утверждает, что 30 процентов немцев — скрытые антисемиты. Он может говорить что хочет. На суде, где мое слово будет против его слова, я отвечу смело: куда больший процент мужчин и женщин имеют скрытые, вытесненные влечения разного рода, вплоть до самых неблагообразных. Не более благообразных, чем даже антисемитизм. Опровергнуть это после Фрейда трудно, а учитывая, что влечения эти скрыты от самих их носителей, без того же Фрейда просто невозможно. Ну и что же, мешает мне это уважать хоть кого-

*В России ученик, если хочет ответить или что-то спросить, поднимает руку; в Германии с этой целью принято поднимать указательный палец.

***Evangelische Kirche* — лютеранство.

****Moslem* — мусульмане.

нибудь? Мы существенно живем в мире видимостей, и (чтобы не давать работы бритве новоявленного Оккама, не будем множить сущности и вернемся к уже приводившемуся ранее по другому поводу примеру с рестораном) это наша норма — есть вместе и с удовольствием смотреть в красивые глаза нашей привлекательной спутницы, не представляя себе одновременно незримый, но безусловный и малопривлекательный путь, который пища необходимо проделывает по пищеварительному тракту эфирного существа. Зачем? Мы вполне в состоянии не портить себе умозрением удовольствие от жизни в зримом мире прекрасного.

Наоборот, именно в силу слабой своей способности прорваться за видимость мы не в состоянии его испортить; так уж мы устроены, к нашему счастью. Поселив меня по одному Ему ведомым соображениям (для меня всегда представлявшим великую загадку) в мире небезотходной жизни, может быть, наполовину состоящей из отбросов и экскрементов, слизи и липкой грязи, причем отнюдь не только материальных, Господь милостиво наделил меня неспособностью полного их восприятия. Нечувствием. Ведь я видел, я обонял, например, туалет на Батумском автовокзале (кто был там — вспомнит, а кто вспомнит — тот вздрогнет) — и живу же. По той же причине я благодатно отключен и от внутреннего мира ближнего (за исключением двух-трех самых ближних — а жаль, многим везет от рождения отключиться и от них); для того чтобы общаться с ним и морально оценивать его, мне целомудренно достаточно его проявлений во вне. Говоря словами умнейшего из немцев, — из уважения к нему на его собственном языке, — ближний интересует меня не как *Ding an sich**, а как *Erscheinung***. С этой единственно доступной нормальному человеческому зрению точки зрения сегодняшней немец — никак не антисемит.

Ни в коем случае.

То обстоятельство, что всего лишь 50 — 60 лет назад самые обычные немцы точно так же, как нынче они любят

*Вещь в себе.

**Явление.

при приеме гостей «гриллен» — гриллить? гриллировать? — различной толщины колбаски, так же точно спокойно — гриллили? гриллировали? — различной толщины людей, и люди эти как назло вечно были евреи, — это своеобразное обстоятельство места и времени до сих пор еще слегка отличает их от соседей, например, англичан или французов, тоже ведь не любивших евреев — да и с чего бы, собственно? — но не додумавшихся же до их гриллирования и не осуществивших свою думу во впечатляющей постановке, в мировом театрально-жизненном масштабе, — отличает не только в глазах многих англичан-французов, но и в глазах самих немцев: как-то не полюдски получилось, как выяснилось задним числом. В сущности, они хотели добра, но осуществили его, как почему-то оказалось, в формах слишком новаторских, чтобы быть признанными... И это во времена, когда только новаторство и приветствовалось! и они ли не были достаточно безумны, чтобы не считаться гениальными? откуда же эта двойная мораль в оценке познающих мир — и изменяющих его?..

Так или иначе, уже поколения бывших нибелунгов воспитаны в том смысле, что любовь к евреям и чувство вины перед ними не в последнюю очередь делают немца достойным жителем Европы. А немцы — самая загадочная в мире нация, по крайней мере в одном отношении: воспитанием от нее — почти поголовно, кроме малой горстки маргиналов, — планомерно быстро можно добиться всего, даже чтобы она полюбила то, чего терпеть не может. И теперь старшие немцы любят евреев, которых они, возможно, на самом деле (если кто-нибудь скажет мне, наконец, где на самом деле находится это «на самом деле») вовсе даже не любят. Ведь любовь — зла, а злого в отношении немцев к евреям я ничего, как ни пытался, не увидел.

А молодежь и не знает, кто такие эти евреи. Им, как говорится, все эгаль*. Им скучно быть белокурами бестиями. Им по барабану, что ведущая молодежной телепередачи страшнее атомной войны — была бы только хоть немного не бесцветная. Есть хотя бы четвертушка латино-

*Egal — все равно.

американской крови — уже красна девица. Африканской — звезда. Настоящая, ноздрегубая черная — вообще выше крыши.

Одним словом, когда вас в очередной раз не возьмут на работу, вас не возьмут не как еврея. Вас не возьмут, потому что вы плохо говорите по-немецки.

И попробуйте сказать хотя бы самому себе, что это несправедливо. Жаль, меня не будет при вашей попытке не рассмеяться, произнося вслух или про себя: «Я говорю по-немецки хорошо».

Впрочем, как сказал по другому поводу один немецко-язычный еврей, живший в австрийской (последние три года своей недолгой жизни — в уже не австрийской) Чехословакии, и *это только кажется*. Есть еще множество причин, по которым вас могут не взять на работу. Например, это такая работа, что вы сами сделаете все, чтобы вас на нее не взяли. Самое простое и эффективное в этом случае — при найме на работу написать в анкете в графе «не болеете ли тем-то и тем-то?»: «Болею. И тем, и этим, а также еще...»

Только не говорите об этом никому из русских. Во-первых, это и так все понимают. А во-вторых, если вы все-таки скажете вслух то, что и так все понимают, кто-нибудь непременно капнет в социаламт — тут всюю дает себя знать стукаческий элемент. А в социаламте тоже уже год-другой (раньше какая публика осаждала собес? румыны, боснийцы, турки — ребята простые, небритые, готовые на любую работу, — что готовые? алчущие любого привычного ручного труда, за который заплатят, наконец, не леем, не всякой драхмой или динаром, а немецкой маркой; а теперь? российско-украинские инженеры, врачи, музыканты с высшим образованием, чисто выбритые, одетые лучше, чем пасущие их немецкие чиновники — с чем их едят? куда направить?) как все все понимают, но очень не любят наглецов, которые говорят вслух то, что надо скрывать, как семейный скелет в шкафу.

А знаете ли вы, что в семействе Хельмута Коля великая радость: сын его женится на турчанке?

10. ПОЭТАПНО

Хотели сразу назад, да куда ты денешься с детьми и вещами. Кто Рубикон перешел, тот и жребий бросил. Забросил, стало быть, куда-то жребий свой, не разыскивать же его теперь по сусекам, когда не в газовую камеру гонят, а дают хоть на двухъярусном лежаке отдохнуть, и еще 80 марок в день — на четверых. Это куча денег, с ними можно выйти за огороженное место и ехать гулять в нюрнбергский Альтштадт*, а нюрнбергский Альтштадт, доложу я вам, даже в его новодельном виде — красивейший и мощнейший из всех немецких Альтштадтов, и в соборе св. Лоренца — дивной красоты деревянное скульптурное паникадило работы славного мастера Файта Штосса (именуемого Витом Ствошем в польской части бывшей Священной Римской империи германской нации, в Кракау, где изготовил он свою главную работу — алтарь Марии); и, когда вечером на ярмарочной площади загораются огни, подсвечиваются соборы, а ты при деньгах... детям эта сказка нравится. Большим детям тоже. Дети любят сладкое, а большие дети пиво. Так вот там есть такие... такие... глазированные фрукты на палочке, фруктовый пашлык из клубники, киви, винограда и ананаса, залитый леденцом, и если сладкое запивать двойной крепости темным пивом «Сальватор»... Кто говорит, запивать сладости пивом — это не свидетельствует о хорошем вкусе; но все же попытаюсь выкрутиться, прибегнув к корнеблудию: вкус — это прежде всего когда вкусно.

В анкете в графе «Где хотели бы жить?» мы указали: Мюнхен. На следующий день нас отправили в Аугсбург. Серега же Гольдштейн, харьковский ювелир, просил Аугсбург. Дали Мюнхен. Из чего вовсе не следует, что надо просить, чего не хочешь. А если дадут то, что просишь? Чем тогда очистишь совесть?

**Altstadt* — Старый Город, сохранившийся в немецких городах исторический центр со старинной застройкой или его (часто реконструированный) остаток после союзнических бомбежек. Баварию бомбили, сколько знаю, в основном англичане. На Нюрнберг, в частности, 2 января 1945 года в течение часа обрушилось свыше одного миллиона бомб, так что нетрудно догадаться, что его прекрасный Альтштадт — большую часть новодел, косметическая декорация.

11. ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ*: НОВЫЕ УРОКИ АРМЕНИИ

— Ты согласен, что наши несчастные сбережения нельзя вложить в какую-нибудь «Чару»?

— Ну.

— Что «ну»? Ты согласен, что надо их вложить во что-то, обеспеченное производством?

— Ну.

— Так вот, я нашла. Люди делают носки и шерстяные колготки и берут деньги под 30 процентов рублевых и 10 процентов долларовых. Месячных.

— Звучит физиологично. К тому же избыточно. И так понятно, что не годовых**. И ты готова отдать наши последние деньги?

— Само собой. Иначе завтра у нас не будет никаких.

— Ну, решила — так отдавай. Дело нехитрое. Я-то тебе зачем? У меня строчка не гнется ни в какую...

— погоди ты со своей строчкой! Я тебе русским языком говорю — завтра нам не хватит на пачку пельменей, не то что на твое гнусное пиво! И это как раз очень хитрое дело — отдать, чтобы получить назад. Ты должен поехать со мной в их цех на Шоссе Энтузиастов и все своим глазом посмотреть, чтобы на меня потом не жаловаться.

— Да что с меня проку? Что я там смогу увидеть-понять?

— Не прикидывайся. Я тебя вижу насквозь. Ты всю жизнь прикидываешься лопухом-поэтом. Потому что это тебе выгодно. И это стало твоей второй натурой. А сейчас ты должен понять, что это вопрос жизни и смерти, и тебе выгоднее высвободить и задействовать свою первую, еврейскую натуру. Вставай, поехали.

* * *

— Хорошо. Мы все посмотрели. У вас действительно налаженное предприятие. Вы арендуете помещение в приличном большом ВНИИ. У Вас тридцать итальянских

**Plusquamperfekt* (грам.) — давно прошедшее, «прошедшее до прошедшего» (лат.).

**Ситуация 93 — 94 гг.

и чешских станков. Склад действительно забит чулками-носками. Трудно поверить, что все это ширма. Но если завтра вы разоритесь, Акоп Егишевич?

— Завите проста Акоп. Этава не может быть. Мы все время набираем абароты.

— Но все-таки... Завтра форс-мажор. У вас появились сильные конкуренты. С вами не расплатились покупатели.

— Пусть папробуют.

— Но представим себе: они попробовали — и вы остались без денег. А с вами и мы. Чем будете расплачиваться?

— Прадам станки. Бальные доллары стоят. Еле нашел за такую цену. Еще хачу купить.

— А где гарантия, что вы захотите их продать, чтобы расплатиться с нами?

— Гарантия? Гарантия!.. Га-ран-ти-я — слово чела-века.

* * *

— Ну, что скажешь? По-твоему, это гарантия?

— А вот представь себе. Для восточного человека слово — не пустой звук. К тому же он армянин. Древнейшая христианская цивилизация. Ты Битова читала «Уроки Армении»?

— Да-да-да, уроки Арме... значит, сделаем так: положим часть в рублях, а там понаблюдаем. Если нас не кинут, положим остальное в валюте. Как по-твоему?

— Согласен. И все. И пожалуйста — у меня строчка не гнется...

* * *

Пять месяцев мы исправно получали по 30 процентов. Я перешел с «Жигулевского» пива на «Хамовническое». На завтрак мы ели не мокрую докторскую колбасу, а бельгийскую ветчину, еще чуть-чуть — и съедобную; ужинали голландским сыром. Жена купила туфли.

— Я подсчитал. Если мы вложим наши 4000 гринов, через год мы получим 8800. Через два — около 18 000. Через три — порядка 40 000. Через четыре — под 90 000. Через пять — ...

— Угу. Записки из хижины «Большое в малом». Не сме-

ши. Не то, что через пять — через год тебе никто не даст 120 процентов годовых в валюте. Но на год, возможно, его хватит. И похоже, он честный человек. Всегда на работе, вечно небритый. Помятые «Жигули». Будем сдавать валюту.

На следующий день мы отнесли наши 4000, наш бледно-зеленый хлорофилл, Акоповой жене Гале, работавшей у него бухгалтером, и оформили валютный договор.

Через месяц мы впервые не получили ни копейки в рублях, не говоря о валюте.

— Подождите, пожалуйста, неделю: с нами не расплатились оптовики.

— Придется еще недельку подождать: оптовики на Дальнем Востоке уже собирают деньги.

А в Новокузнецке уже собрали, но трудности с обналичкой.

— Я вас понимаю, но нужно еще пару недель выдержать. Мы же вас ни разу не обманывали. И чего вы волнуетесь — у вас же по договору идут штрафные санкции 1,5 процента в день с процентов. Чем дольше мы протянем, тем нам же хуже, а вам — золотые горы. Какой нам резон вас дурить?

Действительно — какой? Логично. Месяц-другой я утешался подобными логичными соображениями и подсчитывал, сколько денег получу, когда будут выплачены с каждым днем растущие в силу штрафных санкций деньжищи. Через два месяца логика этих рассуждений по-прежнему оставалась столь же безупречной; но я перестал доверять логике. Точнее, я перестал доверять логике человека, которому перестал доверять. Хотя он по-прежнему ни от кого не скрывался и по-прежнему был небрит. Горел на работе.

Собирательная единогласная экспертиза всех знакомых деловых людей, к которым я обращался за оценкой ситуации:

— С обналичкой бывает и подолгу. Возможно все. Возможно даже, он и не врет. Но вообще, старик, ты нас удивил: почему ты, нас не спрося, вошел в дело к армянам? Кать, ты слышала, он вложил все деньги в армянские дела! Кому же в наше время неизвестно — с армянами

дела нельзя иметь ни под каким видом! Ты что, не мог найти хоть кого, хоть даже чечена, пусть даже вьетнамца, ладно даже русского? Но — армяна!..

12. ПОЭТАПНО

В 5.30 утра третьего дни пересылки на ледяном плацу нашу партию при помощи матюгальника с уже привычными «ахтунгами» — ко всему-то свободный человек привыкает, подлец, в том числе даже и тот подлец, кто его за это подлеем называет, — собрали, погрузили с вещами в автобус и повезли, закидывая по две-три семьи в различные населенные пункты баварского края. Аутсбург был конечным пунктом автобусного маршрута. В 3 часа пополудни нас выгрузили у хайма* на Фрозинштрассе (улице Радостных Замыслов, прошу заметить), одной из красивейших и богатейших улиц города. Наш дом, как и все остальные, был построен в типичном провинциальном бидермайере, как-то с ходу переходящем в югендштилль — благоразумно-чишный и в то же время радостно-цветастый. Единственное, что его отличало снаружи, это обшарпанность и граффити на русском языке на фасаде: «Румын — Чмо!» Многие годы я пытался узнать у сведущих людей, кто такой Чмо. Единственный вразумительный ответ гласил: так в армии называют ненавистных москвичей: «Человек Московской области». На какое-то время я успокоился, но теперь вопрос опять будировался со всей остротой, если только не предположить, что Румын — не румын, а москвич по кличке Румын.

Семь семей на этаже, пятеро детей, всего девятнадцать человек. Одна ванная с системой нагревания на пять литров — окатишься водой, бывалоча, намылишься, смоешь мыло до половины, тут-то она холодненькая и пойдешь, ждешь-пождешь, зубами стук-стук, еще три-четыре минуты, пока еще пять литров нагреет, а потом еще по-

**Heim* — дом, общежитие. Аусзидлеры из Казахстана, Урала и Сибири, прошедшие при въезде в Германию многоступенчатую систему «первых» и «вторых лагерей», пока не оказались в хайме по месту постоянного поселения, привычно называют общежитие «лагерем».

стучи зубами, если привык к роскоши дважды мылиться. И два туалета прямо напротив нашей двери.

Что сказать? Разве: большое везение, что нас вселили на последний этаж-мансарду, со скошенными потолками по всему периметру здания; в нижних трех этажах за счет рационального использования площади набиралось еще по комнате с двух сторон — еще человек пять-шесть.

АККОМПАНеМЕНТ

— Я — Леня Резник, и не для того мотал из Кишинева 3000 километров к Западу, чтобы моим соседом по хайму был тоже какой-то Леня Резник!..

— Как, вы еще не имеете письменного бешайда?* А когда у вас термин?** Но без термина у социального бератора*** Вам не видать даже месячного бешайда! Значит, так: вы должны идти в синагогу к Библеру, он вам заполнит анкету, договорится по телефону о термине и в назначенное время пойдет с вами переводчиком. И сразу ставьте антраг на винтеркляйдунг****. Что значит — православный христианин? Ира, тут приехал еврей — православный христианин, заметь, из Москвы, прибавь — с женой и двумя детьми, и говорит, что он — поэт! Я тоже пишу сти-

**Bescheid* — письменное определение, решение, в данном случае удостоверяющее, что с такого-то по такое-то вам будет выдаваться финансовая помощь в размере ежемесячного социального минимума (см. выше). Без бешайда человеку, находящемуся на социальной хильфе, ни пфеннига на счет не переведут. Когда заканчивается срок бешайда, нужно назначать по телефону новый визит к чиновнику социаламта и выхлопывать себе новый бешайд, срок которого — в определенных рамках — во власти чиновника.

***Termin* — срок, зд.: точно, по минутам назначенное время любого официального или дружеского визита — к чиновнику, врачу, юристу, в гости.

*** *Berater* — ваш «консультант», чиновник, сидящий на вашу букву (и по вашей душе) в одном из «амтов» (служб — собеса, прописки, инвалидности, жилищного, школьного и т.д. «Амтов» в Аугсбурге более двадцати).

**** Жаргонная калька с немецкого; «ставить антраг (*Antrag stellen*) на винтер (зоммер) кляйдунг» — подавать заявление на выдачу суммы, положенной ежегодно осенью на зимнюю и весной на летнюю одежду — *Winter (Sommer) kleidungsgeld*.

хи и эпиграммы, при этом я могу сделать первоклассную трепанацию черепа, при этом мне в мои сорок пять ничего не светит — но, заметьте, я приехал не из Москвы, я в своем уме, но, заметьте, херр Библиер тоже в своем уме, ему, как и мне, чихать, в своем ли уме вы — он вам обязан помогать не по вере, а по паспорту — и за зарплату. Так что двигайте в синагогу — или вы вдохавок к православию еще и антисемит? ну да, по-христиански вы должны гнушаться синагогой — но по-христиански ли будет оставить своих ближних без средств?.. В любом случае, я думаю, как еврей вы найдете решение этой апории. Или правильнее — антиномии? Или дихотомии?

— Называйте хоть лоботомией, только в печь не кладите.

— Здесь эта фраза звучит зловеще.

— Н-да... И говорите вы интересно. И операции делаете. И стихи пишете.

— Да. И вот зачем-то здесь... В этой стране три человека в одном — это ни одного человека.

— Я не для того мотал из Кишинева на 3000 верст подальше от Румынии, чтобы немецкому на шпрахкурсе меня учил румын!

— Так. В графе «Вероисповедание» пишем, само собой, ортодоксальный иудей? Что? Какой такой ортодоксальный христианин? Это здесь называется «русский ортодокс». Но тогда что же вы потеряли в синагоге? Значит, как верить — вы православный, а как въезд и денежная хильфе — еврей? Неплохо устроились... Я бы таких, как вы, на понюх не пускал.

— Простите, что за тон? Пускаете не вы, а немцы, которые уничтожали евреев, в частности, моего деда не по религиозному, а по этническому признаку. И пускают теперь они точно так же — что логично...

— Ни хера подобного! Кто там у вас в Москве распускает такие слухи? Идея вторичного заселения Германии немцами возникла в кругах немецкого еврейства, ими продавлена через Бундестаг, и если немцам, зельбстферштэндlich, чихать на то, какой ты еврей, им достаточно паспорта, то нам это совсем не все равно. Сам я ни в кого не верю, но я борюсь за идею. За настоящего еврея! Гадом буду — это что такое делается — по переписи в город завезено уже 800, а на деле синагогу посещает 125 стариков, и то им деваться некуда. И тут еще приезжает та-

кой вот *мешумед** вроде вас — это уже выше крыши... Подрывной элемент. Ладно, кончаем треп. Я вам оформляю документы не как еврей выкресту, а как бывший москвич бывшему москвичу — но прошу как земляка: среди русскоязычных граждан города русским крестом не махать.

— Что получается: муж купил духи мне, а стоит надушиться — бесплатно нюхают все.

Пара из Украины — муж жене (ласково):

— Ты, вонь подрейтузная...

— Ну конечно, для того я и мотал из Кишинева 3000 верст на Запад, чтобы жена на общей кухне готовила селедку под шубой... Ты мне сделай немецкое блюдо!

— Какое, Ленечка?

— Ну, настоящее баварское... Ну, вот я видел у знакомых... Ну, в красивой банке. Ну, резанные вареные свиные головы в сладком уксусе... Едритская сила!

— По телерекламе: секс по телефону, горячая линия. Так садистки в черной коже с плеткой стоят 2.40 минута, а геи — всего 80 пфеннигов. Жаль, что я не гей — экономия втрое.

— То есть правильно ли я понял: вам жаль, что вы не гей, а мазохист?

— А что вас так удивляет? Когда тебя сорок лет мучают — это как-то само собой приходит, как сексуальность в зрелой женщине. Если ее сорок лет не мучить.

— Да нет, ради бога. Вы же не за мои социальные будете предаваться по коридорному телефону радостям публичного мазохизма. Но вообще, если Вам не хватает активной половой жизни, могу уступить Вам свою очередь пылесосить пол на этаже.

13. ПРОМЕНАД

— Что, что? — не понял я. — Убили? Акопа? Акопа — убили? Акопа Джагубяна? Но зачем?

— Именно это я хотел бы узнать у вас.

*Выкрест (*иср.*).

И тут до меня дошло *все*, что он сказал. Не только то, что Джагубян убит, — это я бы еще пережил, — но и то, что убили его *мои люди*... Нужно ли описывать, что сделалось со мной? Скажу одно: поперхнуться, когда ешь, — очень неприятно. Но поперхнуться водкой — неприятно невообразимо. «Но почему МОИ?! при чем тут я?!» — донеслось откуда-то из меня, терзая по дороге обожженную носоглотку.

— Умеете арапа заправлять... Ладно, — сказал он, чуть помолчав и наблюдая, как я перевариваю им сказанное. — Ладно, — обаятельнее прежнего улыбнулся Мухтар, — пока оставим это. Я вижу, Вы еще не готовы к разговору. Взять еще выпить?

ЕЩЕ не готов. Хорошо сказано. Неужели и правда Акопа — ..? А то нет. Просто заехал к тебе незнакомый человек, проездом, погулять и сводить в китайский ресторан. Еще не готов. Недурно. Хорошо хоть, не — *уже готов*. Но — мои люди? Полный вздор. Нужен им мертвый Акоп, как... С момента, когда они его выпустили из подвала, они и пальцем... и я им верю. На понт берет? Но — для этого ехать за семь верст киселя хлебать?.. Ладно. В тон ему — *оставим пока*. В тон ему. Посмотрим. Послушаем. Поживем? Увидим.

— Так взять еще выпить? — так же доброжелательно повторил Мухтар. Терпение — вот сила настоящего восточного человека. Вот чем они берут верх над всякими обрусевшими свреями.

— Честно говоря, мне разонравилось с вами пить, — не вытерпел я.

— Да? Странно, я как-то, наоборот, вошел во вкус. Да и вам... извините, вам ведь не скучно?

— Да уж куда увлскательней.

— Вот видите. Но мне надоела неочищенная китайская ханка. Хочется по-московски посидеть во дворе на скамеечке, с пивком.

— Асоциальное поведение. Не штрафуют, но выразительно порицают взглядом.

— Ну, у московских собственная гордость. Давайте займемся умеренно асоциальным поведением. Вы разбираетесь в баварском пиве? Это входит в культурную программу. Выбирайте — и ведите в уютный дворик.

Автоматически, чувствуя, что стальная коронка во рту начинает кислить, я взял в ближайшем магазине пару банок хефе-вайцен «Францисканер» и повел его в Фугтсрай.

— Интересное. Отдает чем-то... типа гвоздики.

— Местный шпециалитет. Пшенично-дрожжевое, якобы растворяет камни в почках. Якобы от него растут волосы и ногти. Тут его любят даже девушки, хотя на вид оно мутное и толстеют от него катастрофически, — проинформировал я. Похоже, мне предлагалось на время, как ни в чем не бывало продолжать играть роль платного справочника. Что ж, я готов, дорогой. На время. Тебе в тон попробую даже вжиться в роль — безо всякой охоты вживаться в нее.

— А что за место?.. Тут вообще — скамейки есть?

— Посидеть всегда успеем. Давайте походим. Интереснее мест во всей Европе мало. Не то слово в Европе — в мире. В смысле смысла. Это Фугтсрай, первые в мире социальные квартиры. Целый квартал, со своей церковью, больницей, садом, но — в отличие от богадельни — при полном сохранении гражданских и имущественных прав. Начало XVI века. Когда Василия Третьего еще не сменил Иван Четвертый, аугсбуржец Якоб Фуггер по прозвищу Богач*, и вправду богатейший купец Германии, торговец льном, медью, серебром — и чем только не торговал, банкир, ссужавший деньги Ватикану и кайзеру Священной Римской империи Максимилиану, с согласия и при участии своих братьев Ульриха и Георга, купил тут участок земли и к 1519 году построил здесь ни много ни мало 52 дома для неимущих горожан, 106 квартир, город в городе, обнесенный стеной с воротами, разбитый на переулочки, где каждый, при условии, что он католик, уроженец Аугсбурга, женат, беден, но человек с безупречной репутацией, мог получить квартиру из двух-трех комнат. Причем — пикантная деталь — дабы насельник не чувствовал себя получающим милостыню, с каждой семьи взималась плата. 1 рейнский гюльден. В год. И три молитвы о спасении душ застройщиков, братьев Фуггеров. Ежедневно.

* Jakob Fugger d. Reichen.

Он, думаю, решил, что меня несет, как прежде, — и оценил степень моей «духовенности», не убоявшейся никаких угроз; тогда как на самом деле мною двигало теперь именно вдохновение страха — рожденное желанием уболтать самого себя, замотать в слова тревогу, ожидание того момента, когда он неизбежно повернет разговор к Акопу. *Оставим пока.* Это «пока» нужно длить, длить и тянуть, тянуть, и заполнять словами, словами...

— Рейнский гульден — это что? — оживился между тем Мухтар.

— А Бог весть. Знаете присловье: «Вот интересно — жопа есть, а слова «жопа» нет»? Тут как раз наоборот — выражение «рейнский гульден» есть, а сам-то гульден — тютю. Я выяснил только, что тогда он равнялся 30 маркам. Сейчас, после всех пересчетов и девальваций — 1 марке 72 пфеннигам. И так оно и остается, бедняк — при перечисленных условиях — и сейчас может получить тут квартиру. Между тем сейчас, разумеется, подвели все удобства, но плата по-прежнему — 1 рейнский гульден. 1.72 марки в год, — осведомил я в тоне вялотекущей пулеметной очереди. Словно в подтверждение моих слов из оконца второго этажа над нами из-за горшочка герани высунулось седоволосое личико, осеняющее радушной улыбкой пас и свою счастливую, минимально обеспеченную старость. Увидев пивные банки в наших руках, личико поджало губы. — После того как союзники одной прекрасной *Vombennacht* с 25 на 26 февраля 44-го долбанули по центру Аугсбурга, повредив в общей сложности 4600 сооружений, пол-Фуггерая лежало в руинах. Так его — заметьте, на деньги рода Фуггеров, ни копейки из госбюджета — уже к 47-му году восстановили из праха полностью и еще достроили 6 домов. Теперь их 58.

— Н-да... А потолочки низенькие, — сказал он придиричиво, прицельно прищурившись, точно собираясь пойти на побитие рекорда Фуггеров, построив свой Мухтар-рай с потолками не ниже сталинских 3.20.

— Тут есть музей фуггерайской жизни XVI века. Я понял по супружеской кровати, что тогдашний человек и впрямь был ниже ростом. Вообще — компактнее. В прошлом году в Пражском Граде на Золотой улочке, в тех, ка-

жется, местах, где пражский раввин Лева, ежели не ошибаюсь, сотворил Голема, я говорю жене: «Видишь надпись: «Здесь в 1917 году жил Кафка»? А она мне: «Это чистая бутафория для туристов. Ты что, не видишь, тут человек нормального роста жить не может». Я подумал — у нее женский глазомер, а я слеп, как типовой искусствовед с идеями. А потом выяснил, что он-таки снимал эту средневековую нору в 17-м. Конечно, он не был гвардейцем... Да, потолочки ниже среднего. А сознание, за ними стоящее, — выше.

— Интересно. Вот Бердяев долдонит и долдонит, в своей манере гвозди словами заколачивая: русские — коммюнитарная нация. А Европа-то коммюнитарна никак не меньше.

— Была, во всяком случае. «Коммуна», понятное дело, значит община. И «мир» значит община. И истоки обеих — в первохристианских общинах, коммунах, с общей — правда, добровольно — собственностью. А «коммунион» и вовсе значит — причастие. И поди ж ты, при всем том поклонники русского «мира» возглашают, что от самой основы «коммун» смердит западной заразой. Европейской — с вычеркнутым «он» в середине — серой. В последнем они, впрочем, правы — первые христиане-коммунары в недискуссионном порядке были евреи.

— И-да, тема для любителей лингвистической философии... Только вот какой пустячок: коммуна процвела в городе, чтобы горожан автономизировать от сеньора, а мир — в деревне, чтобы одомашнить мужичка для барина.

Вдруг я испытал в полную, развернутую силу странное ощущение — и сразу почувствовал, что именно оно, только в свернутом виде, не покидало меня с самого начала знакомства с ним. Ничего не было особенного в том, что человек по имени Мухтар выказывал чисто азербайджанскую любезность, чуть ли не услужливую готовность всем своим видом, тоном, улыбкой соглашаться с тобой, идти навстречу собеседнику, даже если он мог и собирался раздавить его как муху. Но почему этот человек, совсем не похожий на меня, говорил, как я? Неотличимо от меня. Опять-таки ничего не было странного, что мы говорили одними словами-смыслами, почерпнутыми из одних и

тех же бесед и книг — мы были люди одних и тех же обстоятельств места, времени... разве что разного образа действия. Но и тут незначительное, легкое у начала смещение черт характера и житейских обстоятельств — и через годы, сегодня, он мог бы быть нищим, а я богатым господином как минимум полукриминального типа. Все так; но чтобы до такой степени неотличимо... Он говорит, как я, или я — как он? Или в его лице я говорю с самим собой? Или мы эхо друг друга, но если каждый из нас — только эхо, то тогда обоих нас — нет? Однако был я иль нет, эхо должно было отзываться, и я (назову кого-то так по привычке) отпасовал быстрее, чем описанное ощущение посетило меня:

— Так в этом вся и штука: попервоначально надо *хотеть* автономизироваться. Или быть *согласным* одомашниться, войдя в ряд других домашних животных. Воления противоположные, только что описываются одним словом. И вот вокруг этого «только» сто лет будет пыль столбом и дым коромыслом. Будут по-русски бряцать словами вокруг ужасного слова, вместо того чтобы вчувствоваться в разницу воли — и безволия.

— То-то и оно. Здешние ребята задолго до Ленина поняли, что, прежде чем как следует объединиться, надо как следует размежеваться. Сначала стать гласным, а потом согласиться.

— Ну. Огласить — и согласовать. Но похоже, что в русском языке, а стало быть, и в русской башке сонантная составляющая, хотя численно меньше, но энергетически несравненно сильнее, чем консонантная. Что и приводит к дис-сонансу. А у здешних всяческие диссонантные санации вроде Реформации привели-таки к полному консонансу.

— Будем считать, что я понял ваш птичий спич (а будто можно считать иначе; будто ты сам спичуешь не поптычи, а по-медвежьи; но кто же все-таки, кто-сейчас-говорит?..). Будем считать, что вы нашли объяснение, почему у них даже коммуналки барачного, в сущности, типа, как ваш Фуггерай, изолированные, с цветниками и удобства не во дворе.

— Даже не на этаже... А в общем, все это старо. Скучнее

нет, чем все эти разговоры о закатах России и рассветах Европы, а равно и наоборот.

— Вы не верите в то, что за Россией будущее?

— Ну, это-то как раз неопровержимо вытекает из того, что у нее никогда нет настоящего.

— Однако. Что-то вы не в духе. Еще пивка, а? Для желаемого рывка.

— Да ну его на! А как бы вы себя чувствовали? Рывка!.. — все-таки он был сильнее в таких играх, чем я (еще бы!), не раскрывался ни в какую; так могло продолжаться весь вечер, тогда как я не мог уже не трогать языком больной зуб, не мог больше ждать, когда я, наконец, узнаю от него свою судьбу. Что-то во мне щелкнуло: «Все! не могу!» — и я отпустил себя, не без слезного смирничества, однако и не без искренней горечи. — Рывка!... В кои-то веки заседит интеллигентный человек — ты и рад расстаться, ля-ля ему, как свосму — не важно, за деньги или так погулять — про барок-ко-ко, а он тебе — дуло к виску!

— Дорогой мой, не надо художественных гипербола. Чувствуется, вы еще не видели ствола вблизи.

— Хорошо, выражусь по-другому. В вашем лице за мной по пятам гонится криминальный мир.

— На мой вкус, тоже не так чтобы слишком. Как это лицо может гнаться, да еще по пятам? Но что может понимать азербайджанец в загадках русской речи...

— Да мне уж не до... Вы посмотрите на вещи моими глазами! Сначала ваш Аюп меня разоряет, потом я пытаюсь вернуть свое, неудачно, он оставляет меня без копейки, и именно это, по существу, заставляет меня воспользоваться единственной возможностью дать семье еще несколько месяцев жизни — приехать сюда, — и тут вы меня достаете, когда я, простите, ни ухом ни рылом... Достаете, когда мне и без вас тошно — хоть вниз головой с Вертахбрюке. Но уж вашего-то брата я в нашем темном, но тихом царстве, сказать по чести, не ожидал! Ёлы-моталы, за что моей заднице — этих цорэс?!

Но он не отозвался на этот последний запрос моего пленного духа. Словно не заметил его. Зато подхватил другое.

— С моста — головой? — и поцокал, как у них водится, языком — в знак серьеза. — Неужели из-за коробок?

Играешь в сочувствие? Ин изволь. Поиграем. Хочешь песен? Их есть у меня. Я тебе спою с чувством. Я в тебе вызову скупую мужскую слезу.

— Да при чем тут коробки... Коробки. Да коробки — это так!..

АККОМПАНЕМЕНТ

(В магазине один молодой казахдойче другому):

— Ты что, бля, не видишь, какой хлеб покупаешь? Этот хлеб, бля, не при понтах!

(На подходе к хайму, когда меня как новичка еще никто не знал, группа тринадцати-четырнадцатилетней харьковско-кишиневской полукровной ребятни):

— Я им не мудозвон какой-нибудь, чтобы меня с утра до вечера шиэдила всякая фуэта и расшизденъ, фуй им в... Смотри, вон немец идет, мудила с урами*, ща узнаем, на..., который, сука, час, на... Энтшульдигэн зи битте, ви шпэт ист эс? **

— Двадцать пять десятого. А почему, интересно, ты считаешь необходимым немцу говорить: «Извините, пожалуйста», — а со своими разговаривать исключительно матом?

— Я? Матом? Вы ошиблись, дядя. Я матом в жизни не ругался.

— Ну-ну. Будем считать, что я ослышался.

(За моей удаляющейся спиной, негромко) :

— Эх ты, Стасик, нашел чем новым заняться — перед русским человеком выматериться!

— Да, а как его в темноте отличишь, на.. ?

(Тем же вечером, в хайме):

— Да бросьте вы, это славные ребята. Мухи не обидают. Стасик даже знает сольфеджио. Это они от тоски по дому. Вот у меня знакомая живет в хайме, где 80 процентов — казахдойчи. К ней заходит как-то пятилетняя девочка-соседка и говорит: «Теть Лен, ключ не дадите (там ключи от комнат одинаковые, тоже здорово, правда? немцы не представляли, кто к ним едет)? Опять, блядь, ключ в комнате захлопнула, а родители,

* Uhr — часы.

** *Entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es?* — Извините, пожалуйста, вы не скажете, который час?

блядь, на работе». «Как, как ты сказала, Розочка?» А та смотрит на нее непонимающе и: «А вы что, тетя Лен, не знаете — если в Германии хочешь переспросить, кто что сказал, надо говорить: «Wie bitte?»?»*

14. ПРОМЕНАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

— Да коробки — это так! Для простоты изложения. Я привез сюда семью! На свой страх и риск. Они упирались как могли. Боялись, что потом, когда здесь запрягут и жизни не станет, назад пути не будет. Так оно и вышло. Теперь они привыкли к разврату: к *minimum minimum*, к трамвайной, но сытой, чистой, достойной пище. К любезности по отношению даже к люмпену. И тут нас любезно берут за горло: устраивайтесь на работу. Я не против, я взрослый человек — и с какой, в самом-то деле, стати им нас... Но на какую, простите, работу? А — на любую. Но мне глубоко за сорок. Я поэт. Понимаю, тут гордиться нечем. Сегодня впору этого стыдиться, согласен. Но войдите и вы в мое положение: как мог в году этак 36-м человек, прошедший строжайший отбор и удостоенный-таки приема в «черный орден» СС, элиту нации, знать наперед, что через десять лет он должен будет не гордиться этим, а отмываться как сможет — если сможет. Знать бы, где упал... Да и я в своем роде, в поте своей души потрудился на своем веку — и это меня далеко увело. Поэта далеко заводит речь. От того, что здесь знают о жизни. От того, что здесь вообще знают. Жена пока сидит с младшей, ее еще несколько лет не тронут. Но за меня уже взялись. Я: дайте умушюнг**. Они: пожалуйста, на выбор — слесарь, металларбайтер: заусенцы у штамповок зачищать, и тэпэ. Говорю — а другого у вас ничего нет? Они: для кого-то, может, и есть, а Вам по возрасту не дадим — Вы неконкурентоспособны, чтобы на ваше обучение тратить 20 000 — 30 000 марок. Я: на металларбайтера не пойду, чтобы не запороть вверенный мне участок немецкого

*Как, простите?

***Umschulung* — переобучение, переквалификация.

производства. Другого нет ли чего? Другого? Для вас?! Вы, батенька, верно, офонарели — у нас своих безработных филологов и историков — хоть гетто создавай.

Вообще, позвольте поинтересоваться, о чем вы раньше думали, когда удумали сюда то есть схать? Так я им и сказал. А вам сказать — о чем? Да ни о чем. Что тут думать, когда такой вот творческий кидала вроде вашего Акопа берет и оставляет всю семью... Сказать, о чем мы раньше думали? Да о том, что полгода жизни — это целых полгода жизни, а год — это вообще! а там посмотрим, и на худой конец всегда найдется базис* на 630 марок, из которых ты еще оставишь себе 300 марок *дауу* к соцминимуму, а уж на самый крайний случай — социальная работа по 80 часов в месяц, так что ты две недели в месяц отработал, а две недели гуляй.

И все так говорили, и все так сидели, и так это и было — как бы пожизненно, по неписаному соглашению. Наверху**, у эсдэков,*** я знаю ребят, которые пятый год сидят поэтами на хильфе и сидеть будут. Что уж они тут про нас думали, не знаю, но мы о них — что они добрые люди. И вдруг здравствуй, жопа Новый год — 1 января с.г. выходит новый швабский гезетц, заметьте, не общенемецкий, не даже баварский, а швабский****, это про которых Аверинцев в семидесятые невыездные писал в предисловии к одному нобелевскому швабу, из своего прекрасного далека, как всегда, стильно-авторитетно, в фирменном своем тоне, я бы сказал, грассирующего знания чужого дела, что они, кажется, «чудаки и оригиналы,

* «Базис» (Honorar Job) — минимальная официальная оплата (630 марок в месяц) легально разрешенной «облегченной» работы (2–3 часа в день, 1–2 полных дня в неделю); формы ее могут быть самыми разными — уборка помещений, работа ночным портье, прогуливание собаки по утрам-вечерам у одинокой старой дамы и т.д. и т.п.

** «Наверху» — в северных землях, «внизу» — на юге (Бавария, Баден-Вюртемберг).

*** В верхних землях ФРГ (например Нижней Саксонии) популярностью пользуется (и соответственно преобладает численно в земельном правительстве) партия социал-демократов SPD; в нижних — партия христианских демократов CDU.

**** Баварско-швабский (со столицей и правительством в Аугсбурге); не путать с вюртембергской Швабией (со столицей и правительством в Штутгарте).

погруженные в свои мысли», что такое там «глубокомысленные фантазеры, самобытные искатели истины, правдолюбцы и однодумцы», — и вот, значит, эти самобытные однодумцы и искатели ставят вопрос ребром: робята, хорэ бадеть! отныне Arbeit macht frei*! отныне и во всю вечность до следующего гезэтца всего вашего брата-хильфшика-флюхтлинга** в возрасте до пятидесяти лет загрузим по полной программе «рихтиге арбайт»***, базис и социальные работы больше не канают, по-настоящему освобождают только труд по 8 часов в день! А кто же меня, мальчонку, здесь на него возьмет? Разве что длайфирма****, жидкий алюминий разливать или разнорабочим, при погрузке там чего, и треть зарплаты возьмет себе. 13 марок в час за работу с немецкой выкладкой! Ты, гад искатель истины, предложи это немцу с высшим образованием, академише, я послушаю, что он скажет; а мне можно?..

Конечно, никто-никому-ничем-не, но если уж пошла такая пьянка... Речь-то о мелочовке, такой, что даже безработный здесь дается диву, как мы можем на нее жить и не кашлять. Это область нашего тайного знания. Перед вами эзотерический орден алхимиков минимализма, орден со своими мастерами и гроссмайстерами — а такие раритеты, как секретное знание, надо ценить и сохранять в человеческом музее сквозь века — или уж сразу сжигать на кострах, но не унижать социальными работами; это все я им, а они: да ценим мы, ценим, мы делаем, что можем, чего не делали для вас на вашей родине — но вы забываете, что не только за пиво, этого добра не жалко, но ведь еще и за квартиру

*«Труд освобождает» — надпись на входных воротах Аушвица-Освенцима.

**Жаргон русскоязычной диаспоры: Kontingentfluchtlinge — срен и члены их семей, имеющие право ПМЖ в Германии на основании принятого в 1991 г. закона о так называемых контингентных беженцах.

***«Правильной», настоящей работой.

****Лайфирма (от «leihen» — одалживать, давать напрокат) — обиходное. Правильнее Zeitarbeitsfirma, нанимающая дешевую, неквалифицированную рабочую силу и «временно», сезонно «одалживающая» ее разным предприятиям (конвейерными рабочими, разнорабочими и т.п.). Если цена такого рабочего, скажем, 18 марок в час, то лайфирма берет себе из них за посредничество 5.

вашу надо платить, и за медицину, так что набегает уже не мелочовка; а между прочим, времена процветания Германии кончились; вот уже и Германия, со слезами простившись с экономическим чудом, хрустит костями, как и вся Европа, между технологиями Америки и дешевой рабочей силой Азии; так и свертывай же социальные завоевания, гонясь за Америкой; а куда мы теперь назад, от матеихи российских городов — к такой-то нашей матери? Спускаться — не подниматься, у меня за полтора года всего раз и изжога-то безобидная была, а как там крючило!

Вот пустяк, если посмотреть с горних высот Вечного Возвращения-на-Родину — а все портит, подлец: ежели у тебя серьезно поврежден всего-навсего какой-нибудь этакий кишечник. Бывает такое от дурной наследственности и сорокалетней практики советского общепита? Такое бывает. Что тогда? Тогда тебе положено каждый год делать гастро- и колоноскопию. А это что значит? А это вот что. Это тебя сажают на гибкий резиновый кол без паркоза, 15 — 20 минут задизма*, будто трудно человека отключить, — и ведь за деньги не допрочишься! просто принято мучить людей, стиль такой фирменный на Московской Руси — а здесь не принято делать больному больно, на, на тебе ерундовый укольчик, жалко, что ли, и ты сладко дремлешь, и нам своими стопами не мешаешь, а уж тебя не только просмотрели с входного отверстия до выходного, но и пару ракообразующих полипов по ходу дела удалили! Вы скажете: это не причина — совершенная любовь к родине вон изгоняет страх. А я на это отвечаю: а страх просто изгоняет вон. Подальше от родины-смородины. И не один какой-нибудь страх — его можно и потерпеть, а такой страх, имя которому — легион. Хотя у каждого есть свой главный, когда *эта* мышка выдергивает репку, *эта* форель разбивает лед. У меня вот — резиновый кол. Но не забудем и черную жижу по улицам в оттепель и по весне. Вдохнем и блевотину московского подъезда! Помянем же недо-

*Просьба не относить этот сомнительный каламбур на счет вкуса автора; так само собой вышло «из языка» (или сошло с языка), поскольку «садизм» (Sadismus) по-немецки произносится с начальной «з».

брым словом и тараканов и муравьев даже в домах на Тверской, когда тут в домах для бедных никто тридцать лет не видел таракана, какого таракана — комара, летом, при здешней сырости? Нет, вру, сам видел однажды — и прихлопнул, было дело... И добавим неизбывное — парень-дай прикурить-закурить-двадцать копеек-сто долларов-что положено дай, согласно духу перемен — а получи по этой сходной цене всегда одно и то же: кастетом по башке, кулаком в переносицу, сцепленными ладонями по шейному позвонку, ботинком в пах — словом, паяльником по ...альнику? Но что все это по сравнению со сдачей — полной и безоговорочной сдачей европаспорта — и в заколдованное место, за магическую обводную черту Брестской границы? Но и то еще детский лепет по сравнению с: где устроиться, куда сесть даже на жалкие 200 баксов, на кусок еды? Ряды сомкнулись. Отряд не заметил потери бойца.

Тут не прожить смиренным минус-человеком, больше не дают. Сколько можно — каждый месяц являться к бератору за бешайдом и понуканием — трудоустраивайтесь скорее! и обещанием в противном случае уже в следующем месяце устроить тебе приятную жизнь... это только в начале было нормально по-русски получать деньги не важно за что, но «в получку», — через год там у тебя внутри что-то меняется и само начинает чувствовать: деньги унижительно *получать*, уважающий себя человек их зарабатывает... Но и «там» как жить после «тут», особенно всяким женщинам и детям; нуте-с — и тут еще Вы с Вашим Акопом, мир ему!

— Я же сказал — оставим пока Акопа, — улыбнулся опять Мухтар. — Мы ведь сейчас говорили про мост. Что-то вроде — лучше лежать на дне. Причем, я чувствую, Вы мне все время, извините, с самым серьезным видом вешаете на уши горестную лапшу. А о главном — никак. Все Жомини да Жомини, а об водке ни полслова (он демонстрировал не школьное знание классики, что сразу и успокаивало, и пугало меня все больше). Уж выкладывайте начистоту.

— ?.. А-а, это почему чтобы с моста-то через речку Вертах?

15. ПОЭТАПНО

Две двухъярусные кровати по двум углам хаймовой комнаты. На нижних ярусах — скатятся еще, мало ли что привидится на чужбине — спали дети, на верхних мы с женой. Пятилетняя дочка спала еще более-менее спокойно, зато девятилетний сын подо мной уже вовсю обнаруживал наследственные черты: плохо засыпал и во сне все время вертелся. От этого верхний ярус, укрепленный на тонких стержнях, постоянно пошатывало то в одну, то в другую сторону, и ночами я чувствовал себя то ли плывущим в углом челне под парусом, то ли самим этим одиноким подветренным парусом.

Утром из девятнадцати человек на этаже двенадцать — дети-школьники и взрослые, посещавшие языковые курсы — должны были встать между 6.30 и 7 и, занимая поочередно, поневоле нестеснительно, места общего пользования, на мой вкус слишком хорошо прослушиваемые (оба туалета, напоминая, приходились прямо напротив фанерной двери нашей комнаты), компактно привести себя в порядок, не теряя при этом времени ожидания своей очереди в туалет, затем в ванную, а прямо с невытой рожей жаря на общей кухне яичницу с колбасой, чтобы в 7.30 — 7.40 выйти из дома.

Необходимость — великая вещь. Я слышал, что на войне людям в окопах было не до язвы желудка, и невостребованные язвы закрывались сами собой. Среди моих соседей, возможно, и были люди, страдающие запорами, они должны были быть просто по статистике — но только до вселения в хайм. Перед лицом своих товарищей, перед неумолимыми и неподкупными их глазами, перед неотступным взглядом проклятого настоящего они должны были распрощаться с проклятым прошлым. Либо с запором, либо с утренним стулом, либо с тем и другим вместе. Очередь — лучший гастроэнтеролог.

В ванной, однако, некоторые женщины все же теряли совесть и задерживались надолго. Не знаю, как уж они там после разбирались со своими коллегами по полу; мужчины старались быть выше таких споров. Лучше остаться с недомытой рожей, чем скандалить с дамой из Харькова.

Я не пробовал с нею скандалить, но те, кто пробовал, подтверждают: лучше. Я мог еще гулять месяца три до курсов, но должен был вести сына в школу, пока он еще не освоил дороги, да и по московской привычке просто не мог отпустить его так далеко — 15 минут пешком — одного. Я должен был, значит, не только собраться сам, как и все, но и собрать ребенка. Дома, в условиях, далеких от казарменных, его, необременительно для меня, собирала бабушка. Жаловаться было некому: все родители на этаже занимались тем же самым.

Правда, их утешало то, что жаренная в яичнице колбаса была не чета той, что они ели в Харькове или Кишиневе. Меня это не утешало нисколько: когда выпуждает жизнь, я ем и вареную колбасу, но не охотник до нее с давних пор, когда мой товарищ, биолог, побывал с образовательной целью на колбасной фабрике и затем рассказал мне все в подробностях. Ни до какой колбасы не охотник, даже и до соответствующей западноевропейским стандартам. Стандарты могут быть разные, но суть одна. Голая суть, могу уверить: но на вашем месте я бы не стал спрашивать.

Вечерами в окно светила жирная баварская луна, и, если сосед Слава не врубал за стеной на полную катушку мечту своей жизни — купленный здесь сразу по приезде музыкальный центр (в его городке в 100 км от Киева группа «Нирвана», видно, была последний свист, то есть последний вой с последним нытьем пополам — кто придумал стиль гранж на мою бедную голову?), слышен был колокольный звон из церкви свв.Ульриха и Афры в полукилометре от нас. Я знакомился с очередным сортом рейнского вина или баварского пива. Потом подымался к себе в парусный бельэтаж, и сыпкок однообразно и безумно раскачивал меня до 6.50 следующего утра.

Раз в неделю появлялся хаусмайстер* Вебер. Это неправда, сказала с негодованием очередная дама из Харькова, фрау Коршунова, уже отжившая свое на Фрозинштрассе, в ходе полторагодовой борьбы снявшая себе совершенно выдающуюся квартиру в новом доме и при-

**Hausmeister* — старший дворник, человек, отвечающий за состояние дома или нескольких домов на низшем уровне.

том в самом центре, и притом доме для немцев, без изъяс-
нов, — и теперь помогавшая через синагогу искать квар-
тиру желающим («Я беру 20 марок за работу с газетой, со-
звон по предложениям и назначение термина и потом
20 марок как переводчик, если вы едете со мной; но мо-
жете ехать одни, если знаете язык; но имейте в виду —
я не нагоняю пустых терминов, я заполняю на вас карточ-
ку со всеми вашими требованиями, и вы едете посмотреть
только из того, что вам в принципе нужно»); мы ездили с
ней три раза, отдав таким образом 120 марок, пока не по-
няли — кому как, а нам не судьба снять квартиру с ее помо-
щью. «Это неправда! — сказала она, услышав от меня эти
слова. — Вебер — не хаусмайстер». — «Но так у нас говорят
все». — «И все равно это неправда: Вебер — не хаусмай-
стер, он — вонляйтер*!» И так, с поправкой фрау Коршу-
повой. Раз в неделю вонляйтер Эмиль Вебер появлялся у
нас в хайме, выдавал под опись и подпись получающего
постельное белье и посуду вновь прибывшим, а также
мюнце — монетки для стиральных машин в подвале.

Мюнце выдавались на неделю из расчета на число чле-
нов семьи. Семья из трех человек получала три мюнце, то
есть могла три раза в неделю запустить стиральную маши-
ну, загрузив в нее до 5 килограммов белья. Этого вполне
хватало и вполне чистолюбным людям. Кроме того,
мюнце нельзя было использовать ни для чего другого, т.е.
зажиливать их, пытаясь подменить какой-нибудь пугови-
цей, не было никакого смысла.

И тем не менее кто-то, вероятно, из интереса засунул в
одну из трех машин вместо мюнце неизвестно что, но
что-то такое русское, от чего честная немецкая машина
отказалась работать, причем таким образом, что эту фи-
гулину, квази-мюнце, заклинило в машине как следует, до
очередного приезда Вебера. Вебер принес хитрый не-
мецкий инструмент, с его помощью легко вынул то, что
русский человек смог засунуть, но не сумел выпнуть, — по-
сле чего машина заработала. Но Вебер не удовлетворился
этим. Он не пожалел времени, вызвал одного за другим
каждого поименно к себе и поставил перед каждым три
прицельных вопроса: «Не вы ли это сделали? Если вы, то,

* *Wohnleiter* — управляющий жилищем (жилищами), управдом.

интересно, зачем? Если же не вы, то не знаете ли вы, кто?» Разумеется, никто ни о чем понятия не имел. И действительно, зачем бы взрослому человеку безо всякой корысти портить себе же стиральную машину «Зименс»? Видя, что концов ему не найти, Вебер сказал: «Если бы виноватый признался, наказание понес бы он один. Но виновный не находит мужества признаться. В этом случае я вынужден наказать весь хайм. Я увожу эту машину с собой, хотя она исправна. Через месяц я привезу ее обратно. Оставшихся двух машин, безусловно, мало на тридцать шесть семей, но это научит вас честности, а заодно и порядку — ведь вы же будете вынуждены теперь жестко оговаривать время стирки каждого. Подчеркиваю — это не дискриминация. Штрафные санкции налагаются на вас в чисто воспитательных целях. Спустя некоторое время вы будете только благодарны тем, кто с самого начала учил вас правильной жизни в Германии». Жестко оговаривать время стирки. Ха. Недельный график стирки тридцати шести семей на двух машинах. Разбежался. В келлере начался бардак, пуще которого и не представить. Тазы грязного белья полным-полнешеньки стояли на тазах, а те, в свою очередь, на чьих-то тазах; а между тазами сновали дежурившие, часами бегающие туда-сюда, то в келлер, то к себе на этаж женщины-многостаночницы, безо всяких графиков знающие, когда им пришла пора стирать: вот в эту секунду, когда ты первая подросла забить заряд в освободившееся, опустевшее жерло машины, захлопнуть ее и нажать пуск за пять секунд до того, как вбежит другая, сторожившая еще раньше тебя, но отлучившаяся посмотреть, не пригорает ли ужин...

16. ПРОМЕНАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

— А-а, это чтобы — с моста-то?.. Хотите пачистоту? А вы меня поймете? если я скажу, что с детства, с шести-семи лет, позвоночником чувствовал ничто? Засасывающую ничтожность — совсем близко, всегда рядом с собой. И еще — вопросительность всего, начиная с «себя». Того, кого «я» называю «я». Кто называет, кого и кем? Почему

каждый раз, просыпаясь, «я» опять оказывается в *моей* шкуре, когда за ночь оно спокойно могло переместиться в другую шкуру? и что вообще такое это — «моя» несменяемая шкура на «моей» несменяемой, хотя все время меняющейся душе? И позже меня всегда удивляло... постоянство случайного. Обязательность совпадений. Когда, например, впервые говоришь с англичанином по-английски — разве неудивительно, что те слова, которым тебя учили в русской школе, они и есть — взаправду английские, и он тебя понимает — и значит, странное дело, есть Англия. Она, как сказал бы один шваб-философ, она *присутствует*, у нее, как он это по-немецки-по-индейски говорит, у нее есть Тут-Быть, Dasein*. Ведь ее же могло и не быть, и даже скорее всего!.. Вы вообще-то меня понимаете, или я уже совсем з'глузду з'іхав, як розмовляють у нас на аугсбургской Харьківщині?

— Не важно. Нужно не понимать, а следить. Тогда поймешь... что поймешь. Продолжайте.

— Да... Или вот это, вот это-то Вы должны... это каждый мужчина должен помнить: когда первый раз раздевает девушку — и вдруг все детали ее тела сходятся с рисунками в учебнике анатомии, казалось бы, чему удивляться, так оно только и может быть: если женщины реальные, то они подпадают под общий для них всех закон телесных форм, но именно *вдруг*, уникально, *единственно для тебя* — все вдруг совпало с *общим* правилом, и ты жгуче удивился: чудо — она в самом деле *есть*, она могла под одеждой оказаться *какой угодно*, там вообще могло ничего не быть, и это-то как раз было бы нормально: то, что другого, другой вообще нет реально, значит, «она» всякий раз может образоваться *какая угодно*, без пупка, с тремя пупками, — но она *есть* — и точно такая, как положено анатомически, и именно соответствие всякой детальки, ее непостижимая верность закону восхищает как драгоценность... Вы такое чувствовали?

— Бывало. И не только первый раз. Но в какой-то момент... как рукой сняло. Волнс-ноленс у каждого в свой час наступает такое, что, «красавице юбку задрал, видишь то, что искал...».

*Da — здесь, тут; Sein — быть; Dasein — бытие, присутствие.

— «...а не новые дивные дивы»? И я же о том. Это-то привычку люди и называют вхождением в возраст реализма восприятия. Но возраст тут ни при чем, и реализм не имеет ничего общего с реальностью: реальность всегда приходит как чудо, а не как «то, что искал», хотя *может и совпасть* с формой ожидания себя... Но вчувствуйтесь в свои юные, свежие чувства... Необычайно, безумно не то, что ничего нет, а то, что все — есть. Странен не туман иллюзорности, но необычайно именно то, что хотя все иллюзорно, а значит, *оттуда всякое*, все без ограничений может возникнуть — но почему-то всегда возникает только то, чему *положено* — и так, *к а к* положено! Странно то, что внутри всего в этом мире, мною воспринимаемого как скоротечная иллюзия (а так чувствуют отнюдь не только последователи Будды, но и самый ортодоксальный христианин, стоит вслушаться в слова покаянного канона о «скоромиходящей красоте», или слова ежевечерней молитвы: «Отыми от мене всяк помысел лукавый *видимого* сего жития» , — то есть чем трезвее ты мыслишь и видишь, тем яснее понимаешь, что очередной день — всего-навсего ночь, жизнь — это сон), — внутри всего этого властно отбивает *постоянный* ритм невидимый ударник, чеканит всегда одну и ту же форму невидимый скульптор. Почему Он так дорожит тем, что Сам же соделал однодневкой? придает такую важность мельчайшей частице, какому-нибудь капилляру, сопочку, клеточке того, что Сам же — и справедливо — вложил в уста человека назвать «преходящим образом века сего»? Почему время иллюзорного мира всегда течет вперед и никогда назад? Какая Ему разница: сегодня Он мог бы разыгрывать партию так, а завтра или вчера иначе в Им же созданном мире?..

Обычное квазимистическое представление: за занавесью изученных, нормальных явлений, подчиняющихся обыденным законам природы, скрывается странный, загадочный мир истинной реальности. Тогда как, напротив, уже сам этот зримый мир якобы изученных феноменов — он-то и странен в высшей степени! Снова скажу — если это покрывало майи, то ведь это покрывало могло быть скроено как угодно и без конца, непредсказуемо менять свою расцветку. Ан нет! Это ли не диво?

С какой стати из миллиардов возможных комбинаций *выбрана одна* — и выбрана притом неотменимо и непременно, до скончания эоны? Не знаю. Но это, безусловно, значит одно — зримый мир серьезен, он наделен фундаментальной реальностью. Но ведь он — все серьезные люди мира по крайней мере в этом пунктежимают друг другу руки — он же иллюзорен! Вчера мне нравилась девушка в белом. Сегодня не люблю женщину в белом. Завтра я сам в белых тапочках. Как у такого мира вообще может быть связная история? И тем не менее — она палицо!..

— Странно, — тихо сказал Мухтар.

— И я говорю — странно.

И опять прошелестело, так тихо, что я опять не слышал точно, кто говорит — он или я:

— Да нет, я имею в виду — странно, что и вы тоже об этом думаете. Есть такие штуки, про которые кажется — только ты один над этим способен голову ломать... Да, так и что вы об этом думаете?

— А то, что необходимое безумие сопряжения несопряжимого оказалось доступно лишь христианству. Буддизм по сравнению с ним всего лишь здравомыслиец. Вопрос, почему вообще закон *должен быть*, — это вопрос, которого буддист, похоже, просто не замечает, а христианство не то чтобы ответило на него, но *задало* его. И задалось им.

— Оставим и христианство, — вдруг впервые нетерпеливо прервал он. — Вернемся на твердую почву. Вы ведь говорили о себе. Напоминаю: не о законах, а — чтобы সিগাপুত с моста.

— Да я именно и говорю о себе! С детства я жил ощущением иллюзорности своего «я» — и гипнотической полнотой этой иллюзии. Как мы в детстве верим в киношных роботов, зная, что это кино — и отказываясь верить, что это лишь кино! Но по мере жизнествования полнота чувства выветривалась. По мере опреснения души все на свете перестало казаться прекрасно иллюзорным. Но это не означало прихода реальности. Реальности в ее житейском выявлении ложно приписывают предикаты, по сути всего лишь компенсирующие утрату молодой полно-

ты чувства. Обратные увлекательной иллюзорности бытия; в моем случае — рост ощущения сделанного дела, признание, сужение круга друзей до трех, сужение круга любовей до одной постоянной, взросление детей и твое старение — все, что приятно-неприятно утяжеляет твое существование до самоощутимой его реальности. Это, как нынче говорят, вставляет.

Но мне не повезло: я не вставился. Не потому, что мне не дали премию «Триумф» или не пригласили на телевидение. Если бы мне и дали жить по-человечески, востребованно и при карманном неразмешном рубле на такси и чтобы приятелей угостить у стойки — я бы хрен вставился. У меня, извините, нет вставляющегося органа. Нет штскера — что пользы от гнезда подключения?

— Вам же лучше. Нет, серьезно. Не всем так везет. По большому счету я Вам завидую.

— Возможно. Ежели по большому счету, оно конечно.. Тогда давайте меняться; но сначала прикиньте, куда Вы приткните в своем хозяйстве это: постоянное ёкающее, ухающее чувство воздушной ямы. Нет, не так... Не ямы, в яму можно свалиться, но — невесомости, где ты можешь взмыть или нырнуть, но тебе отказано в том, чтобы приземлиться. Ощутить свою тяжесть, даже ценой того, чтобы свалиться по-настоящему, разбив бабку: все, все на свете, что привычно считается реальностью — не только денежное выражение признания твоего дела, но само это дело, лучшие в мире стихи — реальностью не являются, и между твоими, прошу покорнейше простить, свершениями и тем, кто ты есть *as yourself** — пропасть невесомости. Перед тем как спрашивать, быть или не быть, не мешало бы сначала выяснить, что такое — быть? Швабский философ опять: быть — значит *присутствовать*. Допустим. Тогда: я — присутствую? в чем присутствую я, а не «я»? Выражаясь понятным вам языком, где кончается моя Персона и начинается Самость? Пропать не дает ответа: пропастное эхо вопроса имеет отношение только к самому вопросу, а не к ответу. Поэтому всякое вопрошание вообще бессмысленно, правильно?

*Как таковой (англ.).

— Да.

— Ну и вот. Я настолько не способен был закрыть глаза на эту пропасть, приодеть себя при помощи *мнений*, чужих или своих, без разницы, что решил: пора кончать. Нужно выйти за круг инертных понятий, корпоративных оценок — не только цехово, но и национально, потому что в России, как нигде, слова уважаются большие дел, они, собственно, и есть дело, и если вдруг решено, что ты вошел в круг «настоящих писателей», то ты тем самым и вообще *сбылся*, ведь пока ты без книги, то еще — не целый, а с книгой любой поп-певец или губернатор, любая сволочь — до-состоялась, хоть в гроб клади и к Богу на суд. Нужно уйти к чужим людям, стать не «собой», отучить от «себя» свой глаз, свою привычку себя *мнить* отраженными глазами других — и тогда поймешь, кто ты — в *присутственном* месте.

И вот я здесь, и вот, отклеившись от себя, вижу себя со стороны, и вижу, кто я: Никто. И знаю, где: в Нигде. Я вишу над бездной — и если не падаю, то только потому, что никто не может падать в Никуда. Никто не может падать в Никуда в невесомости, потому что в невесомости нельзя падать, никому, даже Никому. И только страх, только трепетание сердца, только оно, в отличие от остального меня, — не теряет веса, оно может падать — и все падает и падает в том наглухо зашитом бесконечном невесомом Никто-бурдюке, что повис над Ничем. Но самое-то интересное, что и такой ценой я... я только от поддельного «себя» избавился, а реального себя не приобрел. Я на Нуле. Все по нулям!

И так живу, миллиарды поддельных мигнов — и вдруг, неизвестно почему и в какой момент у нуля открываются глаза, они смотрят из темного себя-бурдюка — и видят в ответ два детских взгляда; и те говорят: смотри, смотри-ка, наконец-то ты нас увидел, а мы давно здесь, мы все ждем, что ты поймешь; ты думал — мы часть того, что мешает тебе понять себя, а ведь мы-то и есть то, что ты хочешь понять: реальность; и ты — не «ты», а ты, ты *с а м* — прямоком отражаешься в нас; и, когда ты взмахнешь рукой, ударишь палец о палец, чтобы накормить нас, ты уви-

дишь свою пластику в наших следящих глазах — и поймашь свое *присутствие*.

Но рука поднимается — и падает, поднимается и падает, и меня снова охватывает страх, но уже страх *присутствующий*, весомый, и я чувствую свое тело, как отсыревший кирпич, когда просыпаюсь от страха по ночам, от жуткой тревоги, как ... как когда меня ограбил ваш Акоп, и в холодном поту я знаю только: мне нужен немедленный ответ, немедленный! *как* сделать что-то, будучи никем? День за днем, ночь за ночью, этого не залить даже баварским пивом, и вот тут... Тут вместо ответа появляется вы, а за вами тянется... ну, вы лучше знаете что. Чтобы еще страшнее было. Ёлы-моталы, Вы что — не видите: я — не тот, кого вы ищете? Даже рядом не лежал!

— Нет-нет. Если раньше я и сомневался, то теперь точно знаю: вы именно тот, кто мне нужен. Более того, я именно тот, кто нужен вам. Потому что я и есть тот ответ, которого вы ждете. Точнее, только я дам Вам возможность ответить себе самому.

Тут-то и произошел разговор, составляющий содержание первой главы. Но от главы 1 дочитав до главы 16 — чего только не позабудешь? единого читателя любя, едино его удобства ради — что нам стоит? еще раз:

— Да-да, вы же профессиональный психолог, — я еще пытался язвить, дурачок. — В таком случае вы со мной говорили достаточно. Для того, разумею, чтобы убедиться — сто-про-цент-но — что такому, как я, не по плечу убить. Кого бы то ни было. Даже Акопа.

— Похоже на то. Ну, а ваши люди?

— Им-то это зачем? Им, как и мне, если на что и был нужен Акоп, то живым. С мертвого что возьмешь?

— Тоже верно. Ну, а если они случайно перестарались? это бывает.

— И не сказали мне?

— Ну, знаете, докладывать о мокром деле какому-то фрайсеру... Вы же не бригадир, а только паняли... Во всяком случае, если это и не вы, в смысле — они, по все равно — вы, спяť с себя обвинение вы можете, только отыскав настоящего убийцу.

— Но я и не собираюсь ничего с себя снимать, чего не надевал!

— Придется, дорогой мой. Придется, если хотите жить. И жить как человек.

АККОМПАНеМЕНТ

— Мама, какие немцы чистоплотные — и какие они нечистоплотные! Лестничную клетку порошком моют, а в трамвае ноги на переднее сиденье кладут. Или собаку рядом с собой на сиденье сажают.

Рекламная шапка в газете «Штадт Цайтунг»: «Kompromisslos billig!» — «Бескомпромиссно дешево!»

Котт (человек, живущий в Германии шесть лет, своей сестре, приехавшей полгода назад и увязшей в немецкой грамматике):

— Что значит: нельзя ли выразиться проще — или по-другому? Да если бы немцы могли упрощать свой язык или выражаться *по-другому*, они бы не развязали две мировые войны!

— Сегодня Мануэль, классеншпрэхер...

— Кто?

— Папа, мне за тебя стыдно. Классеншпрэхер — это ученик из класса, который главный, пока училка во время урока выйдет в туалет или еще куда.

— А зачем он нужен?

— Как зачем? Он следит за порядком. Пишет на доске, кто в отсутствие училки дрался или громко разговаривал. Решает, что можно, а чего нельзя. Например, сегодня я говорю Мануэлю: «А можно положить ноги на парту?»

— Ну — и?

— Он подумал секунд десять и говорит: «Нельзя».

— Неплохо. А если Мануэль заболит?

— Предусмотрено. На этот случай есть заместитель классеншпрэхера.

— А его где берут?

— Там же, где и самого классеншпрэхера. Выбирают на год в начале учебного года.

17. БЫКА ЗА РОГА

— Все равно не пойму, почему именно я? Какого, извините, говна-пирога?

— Как это какого, дорогой мой? Судите сами. По словам Гали, к Акопу приходят двое. Один из них, по ее же словам, уже приходил недели за две до того именно с вашим договором — следите? — и с бумагой, подписанной вами же, где этому малому поручается уладить все финансовые недоразумения между Акопом и вами. Неосторожно, дорогой мой. Не будь вы поэтом, я бы сказал — глупо. Но глупость — для поэта похвала, а хвалить вас не за что. Далее. Они сажают его в машину, и с тех пор его никто не видел. Через некоторое время его находят в песчаном карьере в Подлипках. Показать фотографию найденного тела? Прошу. Лица, правда, здесь не видно. Но я видел. Ну, как? Вы бы на моем месте — что сказали? на кого подумали?

Я ничего не сказал. Ничего не подумал. Но почувствовал всем естеством... чтобы не пытаться описать неопишемое, коротко: дело мое — труба.

— Что это вы, дорогой мой? Так-то уж не мрачнейте.

— Я вам не дорогой. И не ваш!

— Хорошо. Чужой и дешевый. Но так-то уж не надо. Убили человека — и ладушки, чего ж самому-то убиваться...

— Ладно. Короче. Как вы меня нашли?

— Да что же может быть легче?.. Вообще-то я мертвого Акопа поначалу задвинул подальше — он сам напрашивался, и давно, и потом он лежит себе и хлеба не просит, а у меня хватало дел посерьезнее; но дошли и до него руки. Думаю, он, конечно, сам напрашивался, но все же — моего человека, какого-никакого, но моего, убили — и убийца, наверно, думает, что за давностью срока выйдет сухим из воды. Нехорошо. Павел справки — сами видите, все указывает на вас. Так. А вы где? Оказывается, уехали. Интересное дело, думаю, сидел человек на месте, писал стихи. Писал-писал — да вдруг уехал. Уехал себе — и ладно; но, между нами, поэт после себя оставляет стихи, а этот — трупы. Интересно, думаю, поглядеть на столь необычную поэтическую натуру. Пришел на очередную литературную тусовку, где ваших знакомых пруд пруди...

И потом, есть женщины в русских селеньях... Ну, а если сказать тому или другой: «Я хочу такого-то издать толстой книжкой, но не знаю, где его найти», — кто-то же да и пожелает вам добра, да и будет в курсе, да и даст ваши координаты. А тут у меня как раз деловая поездка во Франкфурт... Еще вопросы?

Я молчал. Что толку говорить.

— Тогда переходим к делу. Допустим, хотя все говорит против вас, я вам почему-то верю. Скажем, вы мне симпатичны, потому что читали К.-Г.Юнга. Вообще приятно было потрянуть стариной. В тех кругах, где я сейчас вращаюсь, крайне редко можно услышать о Юнге, Адлере или Фрейдичи. Ей-богу, вы будете смеяться, но там спроста могут спугать Леви-Стросса с Леви-Брюлем. Не того сорта евреи, чтобы отличать их друг от друга.

— А каких евреев надо отличать?

— Ну, Гусинского, Смоленского, Ходорковского... Словом, вы мне доставили неподдельное удовольствие; ну, и я хочу дать вам шанс. Теперь. Смотрите, в каком вы удобном положении. Сами же говорите, жена с детьми как нарочно только вчера отчалила к друзьям в Бад-Хомбург до конца рождественских каникул. Каникулы только начались. У вас тьма времени. Я могу с ней созвониться, если хотите. Думаю, что смогу объяснить удовлетворительно, чтобы она не первничала, зачем вы так спешно отбыли в Москву. Что еще?.. Да. За мной, разумеется, наличные деньги на поездку и оперативные расходы. Не скажу, чтобы этого хватило на умыканье девиц у воды и дальнейшее купание их в шампанском... но человек вашего... размаха запросов на эти десять — двенадцать дней почувствует себя человеком со средствами. Психологически это, помоему, для вас своевременно.

— Допустим... Но с какой стати? Я же не частный детектив!

— Вы человек. Когда я из дипломированного психолога превратился в СНГ-вского бизнесмена, я сказал себе: не человек для денег, а деньги для человека. В отличие от вас я не питаю склонности к самопознанию. Дело это, я вам скажу, более опасное, чем русский бизнес, но куда менее результативное. Меня больше интересуют другие.

В том и только в том случае человек может себя уважать в моем... роде занятий, ежедневно общаясь с... неприятными людьми, обходя на каждом шагу какой-никакой, а закон, давая взятки, иногда по необходимости торгуя всем, вплоть до... — словом, только тогда он обретет относительный мир в своем сердце, когда добываемые им деньги будут хотя бы отчасти направлены на благие — и желательно интересные — цели.

— Благотворительность?

— Нет, это скучно. Куда интереснее, например, видя, что перед тобой... в некотором роде подающий надежды человек, считающий себя однако же неудачником и потому, извините, пьющий, — взять и стимулировать его активность. Содействуя его склонности к самопознанию. Для чего поставить его...

— К стенке?

— Если хотите. Поэта иногда бывает просто необходимо — в интересах поэзии — поставить в жесткие прозаические обстоятельства.

— Осторожнее, господин новообразуемый старый класс. Вы не в стране дикого капитализма хищнической эпохи первоначального накопления, не брезгующего самыми звериными средствами для достижения самых скотских целей. Вы — в историческом месте. В гринвичской точке отсчета плюрализма. Вы в городе Аугсбурге, где 26 сентября 1555 года был подписан всегерманский мир в великой религиозной войне между католиками и протестантами. Именно отсюда, со скамейки, где мы сейчас сидим, есть пошел сам принцип уважения не только своей, но даже чужой свободы если не мысли, то иначе-мыслия. На том сию и не могу иначе. Тут у вас это не пройдет! тут вам этого не позволят! Чтобы в Аугсбурге — и несогласных к стенке ставить... Еще чего.

— Ну-ну. Свобода. Имейте каплю уваженья к этой даме.

— Вот именно.

— Ну-ну... А по существу, что вы имеете против моего предложения? Только то, что вы не частный детектив. А вот я ставлю целью доказать, что человек универсален. Сегодня и всегда, а не только в эпоху Ренессанса! если у человека есть что-то в мозгу и за душой, он когда угодно может стать кем угодно!

— Если вы прикажете быть героем?

— Да не я. Жизнь. Довольно приbedняться! Вы говорите — и правильно, — что я и «я» — вещи разные. И делаете первый шаг — перестаете быть «собой» и становитесь никем. Здорово. Ну, а дальше-то, дальше чего вы жметесь, как красна девица? Дала — так не кайся. Теперь, когда вы поняли, что вы — не вы, теперь самое время, оттолкнувшись от пуля, стать кем-то. Вы все равно не станете собой, а только очередным «собой» — вы еще не поняли? — но, поняв, что вы — никто, самое время стать Кем-то. Тем «собой», за которого, по крайней мере, вам не будет стыдно.

— Перед кем?

— Перед собой.

— Но если я все равно не стану собой, то перед кем стыдиться?

— Тоже верно. Но тогда... тогда вы сможете сказать: правильно все-таки я уехал от этой дурной поэтической тусовки, мышинной возни, иначе бы не встретил Мухтара и не узнал, что я и впрямь поэт — и поэт истинный. Ведь вы уже отдали себе отчет, что как пишущий стихи вовсе не есть еще поэт, так и поэт вовсе не тот, кто обязан писать стихи. Ну, бывают совпадения, Пушкин там. А представьте, он бы и всю жизнь не писал ничего, но был бы внутри себя — Пушкин в натуральную величину. Перестал бы он тогда быть поэтом, как по-вашему?

— Вздорный вопрос. Родом из детства. Тем более что я бы о нем тогда и не знал, чтобы судить.

— Тоже верно... Ну, а разве важно, узнаете вы — или другой вы — о Пушкине или нет? Он ведь о вас тоже понятия не имел — и ничего, не от того тужил покойник; я думаю, как раз, если бы он еще кое о ком и о чем понятия не имел, и ему было бы легче, и нам лучше... Но к делу. Говорили вы друзьям или нет: все, что вы умеете, — это готовить?

— Допустим.

— Говорили вы, что, если бы кто-то вложил... тысяч 70, а лучше тысяч 100 марок на первый случай, вы бы открыли русский ресторан и решили свои проблемы?

— Шутка. В порядке бреда.

— Угу... А вот я не шучу. Если вы найдете убийцу или

убийц Акопа и тем самым докажете, что и впрямь чего-то стоите, я — говорю совершенно серьезно — вложу в вас требуемую сумму — для меня вполне посильную, и мы обговорим мои проценты с дохода. Вот увидите, у вас все получится.

— А если нет?

— Тогда я подумаю, как с вами быть, — Мухтар по-прежнему улыбался, но мне окончательно разонравилась его улыбка. — Я пока не теряю надежды, что у вас получится. Но если нет, с вами просто *должно* что-то произойти. Не можете же вы просто вот так сидеть и пить пиво. Свобода свободой, но уж слишком прозаический конец для русского поэта — умереть от цирроза печени, свински разбухнув от пшенично-дрожжевого пива. Свобода свободой, но, если вы не согласитесь на мое предложение, решать, что именно с вами произойдет, буду я. Акоп был моим человеком, и при всей симпатии к вам я не могу позволить, чтобы моих людей убивали просто так. У меня тоже есть свои принципы... не говоря уж о вреде, который наносит общественному самосознанию безнаказанное преступление.

Он связался по телефону с моей женой и что-то наговорил ей такое, что она, подзвав меня к телефону, дала мне «добро» на путешествие в Москву с самой легкой душой. В тот же вечер он отбыл во Франкфурт, откуда на следующий же день должен был лететь домой. Он хотел взять меня с собой, но мне нужен был еще день: как раз на завтра, в 10.00, мне задолго до того назначили термин к зубному-эксперту, от которого зависело — считать ли жизненно необходимой постановку протеза в моем много-страдальном рту (что обязывало собес оплатить все, весьма приличные даже по самым дешевым расценкам, расходы), или считать протез моей косметической прихотью (что вело к законному отказу собесу оплатить хоть марку из моих расходов). Термин такого рода считается — и является — весьма серьезным для множества прибывающих из бывшего «Союза»; из-за большого количества беззубых он назначается за три-четыре недели, и не явиться на него без очень основательной причины значило дать

властям повод обратить на тебя внимание. Что такое, человек сам просил, мы направили, подошла очередь — а человека нет. Да где он вообще? Уехал? Как? Какое право имел уехать туда, откуда он «бежал», да еще не поставив нас в известность и не снявшись на это время с социальной хильфе?.. Словом, чтобы не засветиться, да и утрясти еще кое-какие дела, — по мелочи, но в Германии, а в русской Германии особенно, нет мелочей, — я должен был стартовать через день, из Мюнхена.

АККОМПАНЕМЕНТ

(В двухэтажном супермаркте «Кауфланд»):

— Ищете?

— Ищу.

— Ну и как, много нашли?

— Сыр, пиво... Что надо, то, как обычно, и нашел. А чего тут, интересно, можно не найти?

— Значит, не ищете.

— Да чего же я должен искать-то?

— Вы что, тут первый день?

— Уже скоро год.

— Тогда почему не ищете?

— Да чего — не ищу?

Что-то соображает, потом, видимо, все-таки поняв, что я действительно не осведомлен, показывает пальцем на большой плакат, висящий прямо над головой. С трудом разбирая слова, узнаю: с понедельника идет неделя качества. На этой неделе тот, кто обнаружит среди магазинных товаров продукты с просроченной датой срока годности, получит по предъявлению этого продукта в кассе его полную стоимость наличными.

— А я думал — наши все уже в курсе. Тут когда такой декадник объявляют, многих наших встречаешь на охоте.

— И как сегодняшняя добыча?

— Средне. Два йогурта, копченая макрель и мясной салат... Шесть марок. Мелочовка. Мой личный рекорд — 15 марок. Я знаю одного, он раз нарыл на 19.

— И долго охотиться надо? Или — как повезет?

— Что значит — повезет? Удачу надо организовать.

— Вы и приемы знаете?

— А как же. Здесь у каждого свои ноу-хау. Но самое простейшее, нет смысла скрывать, до этого все додумываются: пока вы ищете банку или пачку со вчера-позавчерашней датой, вам попадают и продукты с завтрашне-послезавтрашней. Наверняка попадутся, надо только разработать в себе боковое зрение, иначе это погоня за двумя зайцами. Берете и аккуратно, запоминающая место и время, засовываете в задний ряд. Через два-три дня, пока неделя качества себе идет, в пятницу или субботу — вынимаете и сдаете уже как просроченную. Просто, как дверь. Вообще трудного нет ничего, работа как работа. Особенно для автомобилистов — нужно только внимание и развитое боковое зрение.

Лозунг сети супермаркетов «PLUS»: «Prima Leben Und Sparen» — «Первоклассно жить и экономить».

(Человек из Харькова):

— Жить надо, как мой сосед Мюллер. Имеет две машины, причем одна — пятисотый «Мерседес», а на работу ездит на велосипеде — шпарово* и для здоровья полезно. Причем велосипедов у него три. Один предложил мне за 70 марок. Велик тянет марок на 400 исходных. Но — ему уже два года. Но — в отличном состоянии.

— Возьмешь?

— Предложил ему 50.

— Шпарово. А он?

— Сказал, через два дня даст ответ. Серьезный вопрос, должен же человек подумать.

ННР

Реклама кондомов на трамвайной остановке. Голубой неиспользованный презерватив в виде глобуса, над ним надпись: «Вокруг света». Под ним: «Прими участие».

А моему сынку уже десять. По-прежнему жду со страхом, когда наконец проезжая вместе со мной мимо, он обратит внимание и спросит — что это такое круглое и голубое.

*Экономно (жарг. от «sparen»).

Часть вторая

И все это были подоби́я

Б. Пастернак

1. ПЕРЕД ПОСАДКОЙ МОЖНО ВЫПИТЬ

Что нехорошо для ежедневной жизни, то бывает очень хорошо для жизни однократной. После уютного Аутсбурга с его невысокой стариной, пунктирно, с промежутками свежего воздуха поставленными домами, четырьмя номерами трамваев — 1, 2, 3 и 4, за полчаса вместе с пересадкой на Кё (так по-домашнему здесь называют Кёнигсплац) разрезающими весь город, как пирог, на четыре ломтя, обилием дешевых магазинов систем «Норма», «Лидл» и «Пеннимаркт» громоздкий, дорогой, неприспособленный для социального минимализма Мюнхен, находящийся всего в 45 минутах езды на двухэтажном удобном поезде SE, даже в самом центре своем — желто-серые окраины его только что опрятны и пристойны, но так же безлики и скучны, как московские Текстильщики и Кузьминки, а местами почти столь же задымлены, как Авто- и Электрозаводские —

не считая пресловуто-роскошной туристической зоны, удручает нависающей над тобой, как живот над ремнем, пузатостью высокой и утрюмой сплошной уличной застройки, при полной ее стилевой хаотичности: между двумя классными югендштильными домами запросто может быть вставлена какая-нибудь стеклянно-стальная коробка или продолговатое бетонное страшило. Да, правда, есть там еще добрый старый Швабинг... да, Швабинг... увижу ль тебя еще?

Но если в кои-то веки ты оказываешься в мюнхенском аэропорту — современная стеклянно-металлическая дребедень перестает дребедеть. Преображенная, зовет она в распаханное пространство еще до того, как ты полетишь вверх на 10 000 метров, а затем вдоль на 3000 километров. Зовет в полет задолго до полета. Тогда понимаешь, где ты: не в надувшей щеки самой особо немецкой из всех особо немецких земель, но в светлой европейской столице, открытыми воздушными путями напрямую связанной с другими столицами Европы — нашего почти уже общего дома, и расширяешься сам... и хочется позволить себе.

Короче: быть в мюнхенском аэропорту с пустым карманом и с полным — два совершенно разных состояния. Первое я испытывал несколько раз и могу заметить со знанием дела, что в нем ничего особенно приятного нет. Последнее я испытывал только раз: сейчас.

Разумеется, я представлял себе это состояние. Разумеется, я представлял его иначе.

Я думал, голодным своим воображением рисовал я портрет человека свободного, не зависимого от деформирующих обстоятельств бедности, переливающейся в нищету, человека с распрямленными плечами, входящего, от души улыбаясь, за два часа до отлета в ресторан, уже зарегистрировавшись, сдав багаж, и вот теперь, предвкушая одно чистое удовольствие как следует позволить себе, помогая расстегиванием кошелька расширению души, говорящего, опять же с удовольствием слушать самого себя, слова обеспеченного господина, голосом, отнюдь не стиснутым комплексом финансовой неполноценности: «Двойную порцию «Блэк лэйбл» безо льда, воды со льдом, жареный миндаль, а там посмотрим». Эта-

то самая возможность *посмотреть*, возможность заранее обеспеченного столкновения с псевдомым более всего и прельщала.

А представлял это себе я, казалось бы, ученый жизнью человек — ах, когда, когда мы поумнеем? — так: я прежний, но ситуация изменилась, и, получив то, чего он хотел, прежний человек ловит кайф, переходящий в галоп.

Сейчас, получая то, чего хотел, я ощутил всем естественным: получает всегда другой. Не тот, кто хочет, а тот, кто получает. Ситуация не меняется без изменения ситуирующего. Новый я мог позволить себе многое из того, что хотел старый, но чаемой радости не испытывал: мне дали денег, чтобы я пошел туда, не зная куда, и нашел того, не зная кого — в противном случае мне грозило известно что. Грудь в крестах или голова в кустах — эта ситуация вяжется с чем уютно, но не с удовольствием от нее. Если, конечно, ты не геройский парень по натуре. Я же был авантюристом совсем не геройского склада.

Сказать, что тревога переполняла меня всего, — это сказать слишком мягко. Она парализовала мою волю, и, если бы было хоть полшанса не действовать, я бы застыл в ступоре; но этих полшанса не было, и отвратительным до тошноты усилием воли приходилось преодолевать паралич, ехать, затем лететь, затем по прибытии как-то действовать по направлению к почти заведомо недостижимой цели и, стало быть, к почти заведомо плохому концу. Очень плохому концу.

Но, если верить Станиславскому, у меня был шанс через внешнее попасть в воображаемое внутреннее: сделать то, что, как воображалось априорно, я делал бы с таким удовольствием, — а там, глядишь, и захотеть того, что делаешь; там и всамделишно стать таким, каким себе мнил.

Я взял двойной «Блэк лэйбл» безо льда, воды со льдом и жареного миндаля. Там посмотрим. Посмотрел. Двенадцать лет жизни в бочке, а виски как виски. Как мягкое виски. Платишь вдвое, а виски остается тем же самым, только смягчает. Хуже, однако, было то, что и я, вопреки Станиславскому, остался собой — теперешним; и хоть бы мне помягчело. Впрочем, что такое двойная порция? Не

знаю, как в Америке, в Германии это 40 граммов. Я взял еще одну двойную, коньяка. Не помягчело, но потеплело. Уже кое-что. Не войдя в прежнее, я на время все-таки вышел из холодающей тревоги настоящего — в другое настоящее? А если из него выйти еще в боковую дверь третьего настоящего etc. — и так уйти от себя в себя? Нужно будет только остановиться на том себе, который для себя переносим. Не промахнуть эту дозу.

Сколько раз пытался я решить задачу на точность взятой дозы, но никогда еще так не нуждался в правильном ее решении.....

.....

— Простите, вы русский?

— Как вы это поняли? — я был застигнут на пути к третьему настоящему, при помощи рома «Баккарди»; вдумчиво посвятив эту дозу Ремарку, я лениво обернулся от барной стойки на голос.

— Да прямо так и понял. Ваши быстрота и натиск, мой глазомер.

— А если бы я был поляком?

— Тогда были бы поляком, — сказал он. — Но Вы же не поляк.

Интересное лицо, из тех, которым мешки под глазами — притом, что в остальном человек имел едва ли не лощеную внешность — придают не вид опускающегося человека, но интровертную нагруженность, помноженную на живое обаяние зрячего и именно на тебя зрящего взгляда. Такие лица не слишком портят даже мясистые — не люблю мяса в человеческом лице — щечки; даже позорные красные пятна от выпитого на бледном от выпитого ранее лице. Такие лица словно сохраняют параллельно все прожитые последовательно стадии жизни, не возрождаясь, как Феникс, после очередного прошлого, моментально редуцируемого к нулю новым мигом жизни, и говорят они о том, что хозяевам их отказано в единственном, кроме умения зарабатывать деньги, стоящем умении — умении по-настоящему жить, то есть жить настоящим.

— Присоединяйтесь, — перед ним стояла на треть опорожненная бугылка «Смирновской», — или вы продолжи-

те салопотовать Ремарку? Но, во-первых, мы в Баварии, а не в Оспабрюке, а покойный, сколько могу себе представить, если чего и не выносил в немецком менталитете, то пуще всего того именно, чем набит баварец.

— Заявляю видершпрух. Он называл комплекс, о котором вы говорите, пруссачеством. Центром коего ему, разумеется, виделся Берлин.

— Да? Вот что значит рассуждать о том, в чем ты не специалист. Например, о литературе для юношества... А все же я еще помню от юности моя, что, так сказать, tribute to Remark*, следовало бы, сменив сначала коньяк на ром, сменить теперь ром на кальвадос, а кальвадосу-то здесь и — ... — он падул губы и издал ими пукающий звук. — Во-вторых, покойный поэтизировал и русскую водку, находя в ней сравнительно со шнапсом что-то особенное, кажется, что-то «вкусное» и чуть ли не «свежее». Интересно, что он имел в виду?

— Откуда мне знать? Большое видится на расстоянии. Вкус водки понимают только иностранцы. Русские водкой папиваются. Я, безусловно, русский. И в самом деле поминал Ремарка. Проницательности вашей нет меры, — я присел за его столик, снял свою парку и повесил на спинку стула. На спинке его стула висел плащ: даже по баварской зиме это было легковато, а уж лететь так в Россию... — Что еще скажете обо мне?

— Ну... семидесятник гуманитарного профиля. Судя по некоторым деталям... беря только вербализуемое: шикарный пиджак без галстука и при пошлых джинсах, художническими ключьями облетевшая шевелюра и неостановимая психическая атака на спиртное, считаете себя первичным деятелем культуры — писателем или художником, а таких, как я, — вторичными ее деятелями, комментаторами. Я, по-вашему, супротив вас — Вагнер супротив Фауста, сиречь плотник против столяра. Русские маэстро еще не усвоили того, что на Западе давно аксиома: настоящий, толковый Вагнер в наше время, когда художества собственно накопились сверх потребности и требуется новое художество, художество художеств — привести, па-

*Чаще всего — музыкальное приношение (покойному) знаменитому музыканту от его коллег; здесь: в честь Ремарка (англ.).

конец, хозяйство в порядок и притом увить его стильным артистическим метабеспорядком, расшифровать, но перекодировать usw.* — так вот, с чисто художественной же точки зрения артистический нео-Вагнер — фигура интереснее десятка гипотетических Фаустов... С другой стороны, вас и осуждать нельзя — инерция писателепоклонничества даже сейчас в России сильна, как нигде на Западе, а всего десяток лет назад была сравнима разве с писцопочитанием в Древнем Египте; следственно, сначала наши отечественные Эко и Павичи должны доказать пусть сузившемуся кругу широкой читающей публики, что им вполне по силам поверить своей алгеброй вашу гармонию, не проиграть вам на вашем поле сочинительства — тогда так называемому художнику слова поневоле придется, подчиняясь власти общественного сознания, взглянуть на ученого-словесника как на равного. Так ведь нет же у нас ни Эко, ни Павича, из сочиняющих комментаторов-интерпретаторов только и приходит на ум, что Виктор Ерофеев, а чтобы из головы выдумывать его бяки-закаляки пекусачие, вовсе необязательно быть филологом... правда, в поэзии по вашу душу уже кое-кто из наших пришел всерьез... но, в общем, идея вашего первородства а priori — в России пока еще жива. Вот интересно, хватит ли ее жизни на вашу?

Я не ответил; по мою душу откуда ни возьмись пришел еще один, непрошенно говорящий со мною моими словами, только этот уже — совсем-совсем неотличимо от меня. Господи ты Боже мой, с чего вдруг послал Ты в два последних дня такой урожай ягод одного со мною поля — после двух лет интеллектуального затворничества? Зачем? Будто бы это мне сейчас нужно, будто бы мне до гуманитарной говорильни — накануне самых грозных действий. Да ведь после комфортного трепана о художестве так увязнешь в себе-прежнем, что промахнешься и с шести шагов!.. не дай, не дай себя вовлечь. Keep distance. Be careful.** Пусть он говорит, и ты; но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Помни: не для умственных слов ты выковыывал слух.

* *Und so weiter* — и так далее.

**Соблюдай дистанцию. Будь осторожен (англ.).

— Между тем, повторяюсь, творец сейчас, — продолжал он тем временем, не затрудняясь моим программным молчанием, — интерпретатор, герменевт; открыватель новых горизонтов больше не какой-нибудь новый Рембо, который невозможен не потому, что невозможен, а потому, что избыточен, — но какой-нибудь Ролан Барт; с моей личной маленькой колокольни и тот и другой — молодцы против овец, причем именно в области этих самых вечно новых горизонтов. По сравнению со старым добрым... не скажу с кем. Угадайте с третьего раза.

— С первого — резко отказываюсь.

— Ну и правильно... но, увы, есть правда вечного смысла — в которой мы мало что смыслим — и правда сегодняшней культурной ситуации. Согласно же последней, Вагнер нынче и есть Фауст, а...

— А Фауст — говно?

— Ну, зачем же так.

— Нет, уж вы договаривайте... Молчим?.. Знаете что? Стоило тратить порох после того, как сначала вся практика двадцатого века, от последствий черного террора и красного квадрата до плачевных итогов жизнесмерти последних героев рок-н-ролла, сначала вполне заслуженно вбила осиновый кол в грудь тому, за кого вы меня принимаете, а потом постмодернистская теория, окончательно стерев его в порошок, сама же воссоздала из праха, чтобы из соображений культурной экологии, в отличие от вас, политкорректно восстановить Творческую Личность — по всей ее амплитуде, от романтического эскэйпизма до авангардистского революционаризма — посмертно в правах, но только наравне с остальными, в одном горизонтально-плюралистическом ряду. И тоже заслуженно. Так что мы уже давно все осознали, готовы исправиться и, поставленные на место, только что просим нас ногами не бить. Даже экологически чистыми ногами.

— Ах ты, *meine Gute!** кажется, так тут выражаются?.. Во-первых, для того типа, представителем которого я вас якобы считаю, «наравне-с-другими» — это уже никакие не права, а именно конец всех прав на самоопределение и вообще конец жизни, так что и осиновый кол мож-

*Батюшки святы!

но убирать за ненадобностью. А во-вторых, на самом деле я ни за кого вас не принимаю, кроме как за вас — и только. И по глазам вашим вижу, по всей вашей обидчивой гоношистости, что уничижаетесь вы паче гордости, и ничего вы не готовы исправить, а чувство превосходства из вас так и прет, как будто на дворе XIX век и умами и сердца как ни в чем не бывало повелевают лорд Байрон или Фридрих Ницше, а не Билл Гейтс и Тэд Тернер. В компании с Джорджем Соросом и Карлом Лагерфельдом.

Я неприятно почувствовал, открывая рот, что сейчас буду не вполне ровен и сдержан. Что по многолетней привычке к словесному алкоголизму против воли втягиваюсь в игру. Такие типы всегда умеют зацепить типов себе подобных за живое. Рыбак рыбака видит издалека. Вот паскудство какое, когда ты все понимаешь, но не в силах закрыть свой же открывающийся рот. И все же, догнав себя на пути в срыв, можно хотя бы попробовать на ходу удержать себя от него, погасить его распор, растворить его энергию в криволинейных околичностях речи.

— Что делать. Знаете, как безумный гений теории-практики, фауст-вагнер истории-кулинарии Вильям Похлебкин* пишет про классическую восточную пряность ассафетиду? Вкус-запах ее «можно охарактеризовать одним словом — отвратительный»; причем вкус этот во рту не смывается ни водой, ни водкой, а сковороду от этого вкуса-запаха два-три дня не выветрить и не отмыть чуть ли даже соляной кислотой. Так и во мне эта штука, кто ее ни вытравляй какой угодно дерридой, Вы вот, или я сам, трудно истребима — по врожденности. Но потом я так подумал: отвратительная едритской силы ассафетида тоже нужна и даже издревле входит в список классических пряностей, т.е. таких, без которых кулинарная культура непоправимо обеднела бы. Она, следовательно, от века неотменима, только в малых дозах. Похлебкин пишет, что ее даже не кладут в пищу, а проводят ею по дну большого котла черту — и лады, а две черты — уже пре-

*В 1988 г., когда это писалось, В.В. Похлебкин был еще жив; оставляю и в этом издании как свидетельство того, что многие *литературные* пассажи его кулинарных работ по сей день хранятся в благодарной памяти.

дельная дозировка. Так, может быть, и человек моего типа, может, даже и я сам — чисто теоретически, — необходим в общечеловеческом раскладе как отвратительно-жгучая ассафетида. В малых дозах, но именно в *полном* своем самосознании, то есть этом самом, разоблаченном сто раз — и поделом. Сознании своей исключительности и первородства. Я, может, сам не хочу быть носителем такого сознания, оно мне, может, самому противно; но что делать — ассафетида не выветривается. Так вот и несу, если на то пошло, свой крест.

— То есть — попросту — не получается быть скромней?

— Почему? Пока фаустов не мешают с дерьмом, я всегда готов признать высокое призвание вагнеров. Взять хоть мой случай. Райнер Вагнер — единственный цветок добра нашего социаламта. Спросить меня, так он достоин пазываться не просто Райнером, а Райнером Марией. Пока он был моим бератором, я горя не знал. Он не кричал в лицо: «Kein Englisch!», а покладисто переходил на английский, никого сразу не гнал на шпрахкурс*, а полгода давал погулять, сам без письменных антрагов выдавал винтер- и зоммеркляйдунгзгельд. То есть, будучи облечен властью, тем не менее абсолютно — представляете? совсем-совсем! — не пахотил вкуса в унижении людей. Просвещенный человек — что говорить, когда у него на стене висела графика Морица Эшера, а не вечный слоеный сладкий Кандинский, как у них у всех.

— Вы считаете, любовь к Эшеру говорит о большей просвещенности, чем любовь к Кандинскому?

— Да сама любовь к кому-то, кто не утвержден сейчас лучшим, главнейшим художником эпохи, всенемецким всем — уже одно это в Германии знак Человека! У всех висит Кандинский, иногда Шагал — это как у нас раньше не то что «Утро в сосновом лесу» или там «Девятый вал», нет, это как... как канцелярский портрет Ленина в коричневой тройке с галстуком и взглядом в сторону — у одного этого Эшер. Да если бы у него висело что угодно, только не назначенный неведомой, но определенно высшей

*Обязательные полугодовые языковые курсы по 8 часов в день (для аусзидлеров и контингентфлюхтлингов — большая льгота — бесплатные).

культурно-бюрократической инстанцией Кандинский, — что угодно, самая что ни на есть красивая краса красот, вплоть до «Неизвестной» Крамского — и тогда я считал бы Вагнера просвещеннейшим из баварских швабов. Шутка ли, у чиновника — свой вкус!

— Так что, он больше не ваш бератор? Почему?

— Не знаю, как где, у нас в Аугсбурге их время от времени передвигают. По кругу алфавита. Мало того, что их сажают по двое в каждой комнате, на каждую заглавную букву наших фамилий — мы так думаем, чтобы смотрели друг за другом, для профилактики искушения взять взятку — от нас! — но еще каждые несколько месяцев перетасовывают — а вдруг мы таинственной силой русского криминаления все-таки одолеем и этот барьер — и войдем в сговор, чтобы уклониться от социальных работ? сесть на хильфу надолго и всерьез?

— Не уважаете, значит, немчуру? — он налил по рюмке водки. — Цум воль!

— И вам того же. С какой стати я буду уважать немцев раньше, чем они меня об этом попросят? Я их больше чем уважаю — испытываю к ним сильнейший интерес. Если угодно, восхищаюсь ими. Всегда ведь интересно только то, чего не умеешь сам. Не говорю о том, как они вежливы даже с подозрительной публикой вроде меня — я бы, глядя на себя со стороны, себе не улыбался бы. Не будем об этом. Но возьмите, например: у нас в этом году был редкий январь — минус 18, так они продолжали ходить в куртяшках на футболку, без шарфа и без головы. Нет такого кашля и насморка, который помешал бы немцу ждать трамвая грудь нараспашку. И в трамвае этом они продолжают всю чихать и кашлять, то есть заражать друг друга по кругу, так что грипп у них не по сезону, а круглый год, как и овощи и фрукты, — и в таком состоянии все равно прут на работу как на праздник! Мне битва под Москвой кажется теперь былинной небылицей — не могли они ее проиграть из-за какой-то зимы! не могли, и все! русская зима им, извините, как два пальца об асфальт! а раз такое дело, то битвы и вовсе не было. Вернес, она могла быть, как могут быть НЛО, от которых тоже сохранились кадры и фото, и воспоминания очевидцев, по

ведь другим от этого ни жарко ни холодно, это было в-пространстве-где-меня-нет, а значит — было ли? так и битва под Москвой, возможно, есть в параллельном пространстве-времени, с параллельными немцами-русскими... Правда, у меня дед погиб под Смоленском, но приходится допустить — не хочу показаться циничным, надеюсь на ваше понимание — но едино из интеллектуальной честности приходится допустить, что это был параллельный дед...

— Параллельного вас?

— Вот тут-то и загвоздка. Теоретически — у меня здешнего был дед; именно дед, который у меня был — погиб в сорок первом... словом, теоретически, если здесь и теперь есть я, то, отматывая логически, именно под Москвой *этого* мира была и битва под Москвой. Но практически — да и теоретически — вопрос, *было* ли прошлое, точнее, *есть* ли ненаблюдаемое прошлое, которое мы к тому же не в состоянии удостоверить личным опытом, для меня — один из неразрешимейших вопросов жизни. Возьмем такой пример: я православный христианин. Стало быть, ничего глупого в почитании святых не нахожу, ревизию и редукцию их житий в смысле: вот это могло быть, значит, было, а этого быть не могло, значит, не было — производить не собираюсь. Я беру житие, скажем, св. вмч. Георгия целостно — то есть принимаю его на веру в целом, вплоть до дракона и девицы — и так, по моим наблюдениям, делают все культурные, т.е. укорененные в культовой традиции православные, кроме специальных людей — верующих, но — безо всяких психологических потерь — профессионально исследующих жития в плане сращений-скрещений с прежними местными верованиями, языческими преданиями и т.п. Но почему мы допускаем дракона как возможное, как реальность нашей просвещенной веры? Либо потому, что бы мы ни говорили, что на дне души каждый из нас не лишен сказочного сознания любой баушки. Арины Родионовны, либо — потому, что мы имеем дело с областью «прошлого», а в «прошлом», в отличие от «настоящего», *все бывает* на правах равно возможного.

— Угу... А не допускаете, что мы воспринимаем драко-

на как возможное, помещая не в прошлое, а воспринимая житие как икону: как перевод описываемого в плоскость преобращенного мира, то есть мира иного, в котором все земное сохраняется, но уже в вертикальном, а не горизонтальном расположении и столь претворенном виде, что, хоть на земле драконы невозможны, но здесь, по ту сторону явлений, в мире, где только и есть *на самом деле*, небесно-земно вечном, если угодно, возможно и неудивительно, что святой Георгий вечно-сиюминутно-реально убивает дракона; дракон же сей, животное столь одушевленное, что питается исключительно красными девицами, находя вкус только в дщерях человеческих, тоже вполне правдоподобен, потому что мы имеем дело не с миром явлений, а с миром уже самих вещей-в-себе, в котором — не зная о нем на земле ничего, кроме только того, что он *есть* — мы мысленно располагаем как правдоподобную любую возможность?

— Не лишено смысла. Но я не держусь за свою интерпретацию житийного сюжета. Я вообще — о вещах, связанных не с вечностью, а со временем. После Бергсона для чувствительного к теплым и холодным временным течениям человека, если он до того и боялся верить себе, вообще ничего не стоит предположить иную временную топологию: рассматривать прошлое не как бывшее до настоящего, а как существующее, например, рядом с ним, параллельно или еще как-то, но не так, как мы о нем привыкли... Я в юности чувствовал «прошлое» как чисто зрительный образ — «прошлого» нет, это просто отодвинутое настоящее — отодвинутое и тем перспективно уменьшенное. Телеграфные столбы тоже уменьшаются по мере удаления в наших глазах, но это не значит, что их нет. Таким образом, в «прошлом» я имею *миллионы отодвинутых моментов настоящего*, причем в каждом помещается по «мне». Улавливаете закрутку? Сейчас я чувствую, что и это не так. Не я живу во времени, а...

— А оно в вас? И вне вас временной последовательности нет? Почтенная мысль. Только вот почему же оно вас старит и в конце концов убивает — и это объективный факт? Или и старение, и конечная смерть наша — лишь субъективны? Вы это хотите сказать?

— Да нет, не это... Не то и не это... Я вообще дурак дураком. Когда ясно вижу картину времени — не могу ее описать, только *вижу*. А потом, когда она исчезает — а она ментально исчезает, — я совсем теряюсь. Особенно здесь, в Европе. Замечали — здесь время другое, чем в Москве? кажется, его здесь вообще нет.

— А что, в Москве оно, по-вашему, есть? Думаете, сегодня там творится История?

— Да нет, но там хотя бы творится очередное безобразие, по нахалке выдающее себя за Историю, — и как знать, может быть, оно-таки станет Историей, хотя бы концом Истории. А вот здесь, где оно на самом деле только по-настоящему и было, прямое время Истории — стрела из прошлого в будущее, — отсюда-то куда оно подевалось? Иду по своему Аугсбургу: роскошный город, вольный имперский город что-то такое с 1272 года, любимец Габсбургов, кайзеров Священной Римской империи. Роль его в европейской жизни была не ниже, чем роль Флоренции. Столица финансового капитала Европы в XVI веке. Тут жили богатейшие и влиятельнейшие люди Европы. Сидя здесь, Бартоломеус Вельзер лично владел Венесуэлой. Сам Карл V — из Вены или Мадрида — приглашает именно сюда самого Тициана — из Венеции — писать свой портрет. И здесь же на диспуте Мартин Лютер дал отпор по всем статьям папскому легату кардиналу Каэтану, но ночью благоразумно бежал — тогда-то и заварилась настоящая каша. Филипп Меланхтон и «Аугсбургское исповедание» на здешнем рейхстаге 1530 года. Эпицентр протестантизма, религиозной войны при Карле V — и точка мира уже при Фердинанде ставится здесь же. А местный Дом всеми своими составными вещает об еще более ранних событиях — о пятистах последних годах средневековья. И рядом — раскопки римской колонии *before Christ**. Здесь родился Хольбайн... извините, Гольбейн, своим «Мертвым Христом» столь напугавший Достоевского — четыреста лет спустя, — видать, ухватисто был силен! Прадед, дед и отец Моцарта — все они жили здесь, все они швабы. Откуда-то отсюда и Альберт Великий, тоже шваб. А если оттуда легку стрелку заострить в наш

*До Рождества Христова (англ.).

век — одна из загадочнейших историй столетия: как раз из Аугсбурга, с летного поля Мессершмитта, в 1941 году Рудольф Гесс с тайной миссией летит в Англию... Плотнее уж нельзя начинить город историей. И что? Живешь в ней, шагаешь по ней, тонешь в ней по уши — а ее нету. Живешь как в Вышнем Волочке. Куда она ушла-то — из самой себя?

АККОМПАНЕМЕНТ

Теща у нас в гостях, походивши по нашему отуреченному району, где больше турецких лавок, чем даже пивных и аптек, и теперь глядя в окно на очередного турка, катящего через перекресток коляску с двумя детьми, — турок всегда и работает, и коляску катит, и еду готовит, доверяя серьезные вопросы жизни только себе, — и семенящую рядом жену в платке и сером уни-пальто:

— А у вас здесь много приезжих.

Ж е н а:

— Ты хочешь сказать, иностранцев.

Т е щ а:

— Ты так их называешь?

Друг, живущий во Франции:

— Ну что, со свиданьем.

— А что мы пьем, бургундское или бордо?

— Мы пьем 35-франковое вино. Значит, не из дешевых. Но и не из дорогих.

— Но все же?

— Я тебе так скажу: на пятом году жизни во Франции я понял одно — нет вина бургундского и нет вина бордо. Нет вина божоле и кот дю Рон. Нет вина анжу, корбьер, кот де Прованс, кот де Руссильон, кот д'ор и кото де Лангедок. Нет вина лозы гамей, каберне, мерло или пино нуар. Нет вина сухого и полусладкого. Нет вина белого и красного. Есть вино дорогое и дешевое. И дешевое всегда будет плохим, а дорогое хорошим. Но чтобы понять это, надо еще хотеть почувствовать разницу. А это желание блокируется уже к концу первой бутылки. И дальше ты человек человеком, плати за вторую хоть 13 франков, хоть 135.

Два дня спустя, уже дома, в Германии. Сосед по хайму, в ответ на пересказанный мною французский разговор:

— Да? Все дешевое вино плохое? Он, наверное, забыл вкус вина, подкрепленного техническим спиртом. Так что скажем уж лучше, как таджики о плове: если у тебя есть деньги — ты пьешь бордо; если у тебя их нет — пьешь только бордо*.

— Вы заметили, как еврейский человек ассимилируется с теми, с кем живет? До упора. Еврей из Питера или Саратова, если ему там футболка не нужна, ребенок из нее вырос, перед тем, как выкинуть ее, поинтересуется у тебя — твоему пацану не сойдется? и если да, отдаст даром. А еврей из Винницы еще попробует за нее слупить с вас 3 марки. Правда, и тот и другой — сначала поинтересуются у вас. Русский просто выкинет. Упор упором, а зазор зазором.

— Вот и Кафка говорит — все, что возможно, происходит. Но происходит лишь то, что возможно.

— Да? Умный был еврей. Почти как Березовский. Но не того размаха. А почему? Опять же потому, что жил с чехами.

2. МОЖНО И ПОГОВОРИТЬ

— Н-да, — сказал он. — Если это не простое водочное вдохновение, то вам должно быть полезно здесь жить. Коль уж вас так зарубает — стало быть, вы счастливы: чего еще, кроме стимуляции мысли, недостает артистическому сознанию?

— Денег, конечно. И вообще, что такое счастье — это

*Высказывание, в общем соответствующее действительности: в простых немецких магазинах, не говоря о специализированных винных лавках, я встречал — навскидку — вина бордо стоимостью от 3.59 (в Норме) или «Кауфланде») до 39.95 марок («Шато Марго» или «Сен-Жюльен» — в «Карштадте»); безусловно, вкус моего собеседника особо тонким не назовешь: бордо за 3.60 только так называется — вино, мягко говоря, среднее; — но для меня лично дело тут не в тонкости вкуса, а в загадочной обязательности самой категории *вкуса* внутри представления о человеческом *достоинстве* (мало ли что очередной я говорил раньше о несуществующем достоинстве минималиста) — если помнить, что спроста можно купить литр сухача в картонном пакете и за 1.59, и оно тоже будет разрешенным к продаже в странах EU, т.е. (по нашим меркам) неотравленным.

каждая семья понимает по-своему, по ходу созидания своего индивидуального несчастья.

— Задумчиво. Но мило моему уху. В сущности, в разговорах друг с другом мы никогда не ищем смысла, а только — родную группу крови. Мы слушаем именно что ухом — и душой, а не мозгом. Понятийный аппарат европейского интеллектуала употребляется им по прямому назначению, но мы, переняв его, переставили акценты, сделав главным косвенное — проверку на «своих» и «чужих». Ваш контаминирующий парафраз... кстати, и чисто музыкальное удовольствие от комбинаций русскоязычных варваризмов доступно во всем мире только малому стаду — русским гуманитариям с их любовью к мятно-освежающему чужестранному акценту родной речи... Выпьем-ка вот за что. За то, что мы с вами одной, вековечно умерщвляемой, но почему-то не убывающей крови — крови русского умника...

— Кажется, это где-то уже было, я даже вспоминаю где.

— Истина не тускнеет от повторений.

— Ого! Люблю людей, не боящихся пафоса. Прозит. Куда летите?

— В Лос-Анджелес.

— Ага. Небось на какую-нибудь конференцию по какому-нибудь Мандельштаму? Толкать доклад о хищных осах жирным стрекозам?

— Откуда все-таки в вас столько этого вашего ассафетидства? Вроде бы уже не мальчик, пора примириться с людьми. Но как ни странно — горячо. По Мандельштаму, и не только, но не на конференцию. Я в одном калифорнийском городишке с недавних пор трублю контрактным профессором, совмещая в одном лице ассистанс- и ассошиэйтед-профессора.

— Ух ты. Снимаю шляпу. По слухам, русских славистов теперь нигде почти не берут. С солидным именем — и то от ворот поворот.

— Ганц гснау*.

— Вот интересно — почему наш брат так любит щеголять иностранными словечками? в прошлом веке — французскими, сейчас — английскими, мы вот тут — не

*Ganz genau — совершенно верно.

мецкими... Здесь это совсем не признак образованности, напротив, наш преподаватель на языковых курсах — из бывшей ГДР, сравнительно неплохо знает русский — говорит: «Обходитесь без словесных эмболов. Не думайте, что, если вы вставите в свою русскую речь пару немецких словечек, это будет свидетельствовать о знании немецкого. Это просто дурной тон. Старайтесь, с любыми ошибками, говорить полностью по-немецки, а щеголять им не надо».

— Так, да? Так он о нас думает? А я думаю, он плоховатый этнопсихолог: русский человек, конечно, всегда не прочь щеголынуть заграничным по дешевке, но больше — хочется речь нарядить как красну девицу, привкуснить, подпрянуть, что парой матерных слов, что иностранными. Это все не к снобизму, а к помянутому вами Биллу Похлебкину, по его части. Уж будем какие есть, и да здравствует эмболия речевой артерии!.. Так вот — возвращаясь к нашим баранам — я вчера на мюнхенской конференции славистов сказал, что нынешняя защита кафедр европейской и американской славистики от носителя славяности, русского писателя или филолога — это такая же государственная политика, как защита отечественного производителя пива и колбасы, но, в отличие от упомянутых, вздорная и крайне вредная для культурного процесса.

— Na und?

— Результат — в пяток, по крайней мере, немецких университетов, если бы и захотел, могу носа не совать.

— Глухо.

— А вы думали. Как в танке. Верно вы говорите — немчура.

— Я? Это вы говорите. Я не страдаю ксенофобией в местах, где я сам иностранец. На всякий случай, знаете. Еврейская кровь. Хотя вы решили, что я русский.

— Одно другому не мешает. Угадано главное: вы не поляк. Насчет же местных жителей... Ничего не хочу сказать о немце вообще, я его не знаю, но я спрашиваю: кто такой полный немецкий профессор? Вы спросите в ответ: во-первых, какой именно — филолог там или астрофизик? Мой ответ на вопрос в ответ: и во-первых, и во-

вторых, и в-третьих полный немецкий профессор — высочайший государственный служащий с вытекающими отсюда привилегиями и пожизненной обеспеченностью. И только в-четвертых он — филолог-славист или астрофизик, который имеет возможность почти безопасного выхода в астрал, *per aspera ad astra** — в худшем случае своевременный выход из астрала с букетом астр на безбедную пенсию ему гарантирован, — но никогда не позволит себе такой несолидной выходки. При этом служащий может любить свое дело — например, славистику, хороший чиновник даже должен любить его, во всяком случае, испытывать к предмету своей деятельности уважение... Но — к самому предмету, обрабатываемому продукту, а не к его производителям, по крайней мере живым. Уж ваша-то братия, если только не научится по духу времени и вкусу надувать щеки и повязывать галстук, ваша немая братия для него...

— А для вас?

— Сравнили. Я к вам отношусь с раздражением. Не люблю петушиной спеси, даже прикрытой самоиронией. Это значит — против воли отношусь всерьез. Ведь если бы я с детства по-старорусски не обожествлял литературу, то бы не полез в филологию. А кто в детстве начал грызть ногти — тот, хоть тресни, будет грызть их и в гробу. Они же и там продолжают расти, а он, значит, втихаря, благо никто не видит... Да, а немецкий профессор на вас смотрит просто как приличный человек на бомжа, вот точь-в-точь, как, вы говорите, нехороший бератор вашего социаламта. А между тем вами же и кормится.

— Чиновник социаламта тоже нами кормится. А уважение его к нам от этого что-то тоже отнюдь не растет.

— Поправка принимается... Американский профессор — дело другое, там протекционизм чисто стэйтсовый. Объяснить?

— Зачем. Зачем мне тайны Нового Света, когда за сорок с лишним лет я не смог разобраться со Старым? На хрена мне чужая Аргентина, когда не разгадана еще загадка каховского раввина... Да, но как же тогда вы-то устроились?

*[†]Через тернии к звездам (*лат.*).

— Да вот, как же я... Это, батенька, коммерческая тайна. Но могу рассказать. Если очень попросите.

— Как хотите.

— Тогда не расскажу. Пока что. Рано еще, сыро еще, — и шлепнул рюмку. Выпил без меня. — Правда, здешний «Смирнофф», в 37 с половиной градусов — жуткая дрянь? с аптечным привкусом резины; и что интересно, то же и во Франции. То ли дело наш, аутентичный американский «Смирнофф». Что бы там ни говорил Ремарк, утверждаю обратное — у водки не может быть хорошего вкуса, водочный вкус гадов *per definitionem**; но хорошая водка — есть, и у хорошей водки может и должен отсутствовать какой-либо вкус. Вот тогда наливай и пей — это и есть то, что доктор прописал: чистая отравка. Чистая рубашка перед смертью.

Эге, да ты сам себе русский Ремарк; я посмотрел на него внимательнее. Гладко выбритый человек, пахнущий одесолопом «Кельвин Кляйн» или «Давидов» (не имею точного обоимательного слуха), в мокалинах из мягкой кожи и джемпере «Ральф Лоран» с вышитым на нем всадником, играющим в поло. Человек, явно имеющий не вынужденную привычку, но природную склонность следить за собой, нуждался сейчас в спиртном не меньше меня — по причине едва ли не противоположной. Я уже третий день пытался отодвинуть страх перед неминуемым тупиком, а значит, стенкой, которой закончатся мои поиски. Хотел скрыть свой страх от себя или скрыться от него. От моего собеседника, напротив, физически ощутимо исходило желание что-то свое хоть кому-нибудь открыть, обнаружить — и одновременно противожелание удержать себя от обнаружения пока еще целомудренного скрытого.

Первое желание обречено было на победу — алкоголь; он и хотел, чтобы оно победило, иначе не выбрал бы худший способ сохранять стыд и играть в молчанку: прибегнуть к водке. Коньяк располагает к молчанию и уходу в себя, вино и даже скотиноватое пиво позволяют общаться на безлично-межличностном уровне, просто сообщая радоваться жизни, но уже после стакана водки невозмож-

*По определению (*лат.*).

но остановить душу, рвущуюся к самой невозможной и самой желанной из всех земных целей: перелиться от избытка из собственного вместилища во вместилище собеседника, не беря в толк, что последнее уже под завязку занято такою же, но *своею* туго, под давлением, закачанной газообразной душой.

Плохо, значит, было ему; возможно, даже, не лучше, чем мне.

— А вы что здесь делаете?

— Живу. В качестве контингентфлюхтлинга.

— Давно работаете евреем?

— Работал. Позавчера отправлен... на умшулюнг. Или фортбилдунг*, леший его разберет. Одним только евреем быть уже недостаточно. Надо либо быть им на 150 процентов, либо кроме еврея еще быть человеком. Что-то еще уметь. Но вообще больше года.

— Угу. И как кривая ностальгии?

— Как ей и положено. Через полгода резко пошла вверх, дойдя до уровня бреда. Когда месяцев восемь тому увидел в мюнхенском Ленбаххаузе на американской выставке два парных уорхоловских портрета Ленина — представляете — растрогался до слезы: свой! Потом пошла мутация-фрустрация, какая-то, шут его знает, антиностальгия — то есть ностальгия же, но... знаете, как в меню итальянского ресторана: паста — антипаста. Давеча вот смотрю по местному ТВ документальный цикл «Помощники Гитлера», Борман там, Шпеер, Геринг — и, можете себе представить, опять растрогался до соплей. Вот, думаю, хоть что-то *свое*, до боли близкая шобла, родом из детства...

— Любопытно.

— А вы думали... Один здешний, правда, сказал, что праздность — мать психологии. При этом сам-то он праздностью не грешил — подозреваю, фраза эта пресловутая сказана им была не без иронии, переходящей в сарказм. Он, наверное, хотел сказать «психопатологии», но в восемнадцатом столетии еще не изобрели та-

* *Fortbildung* — обучение по уже имеющейся специальности с целью усовершенствования квалификации или немецкого подтверждения твоего русского диплома.

кого слова... А вы в самом деле специалист по Мандельштаму?

— Вот не ожидал от вас такой глупости, — он вдруг рассердился. — Слушайте, а вы специалист по собственной жене?

— Не понял.

— Ну, так научитесь сначала понимать, а потом уж будете говорить глупости, коли не расхочется! Ведь жену-то свою вы наверняка лучше знаете, чем я Мандельштама. Я с ним ночью по душам не разговаривал. Но какой идиот скажет: «Я — специалист по собственной жене»? Вы же не немец, чтобы думать, что по живым людям бывают специалисты, как по починке унитаза.

— Ну, простите, я неудачно... вообще я тут полтора года, с кем поведешься... я хотел только, чтобы вы мне объяснили про эту ласточку. То слепую, то живую, то мертвую, то каким-то образом связанную в легионы боевые, а то она и вовсе — хилая, разучившаяся летать, но почему-то именно ей следует отдать строгий отчет, да еще не за себя, а за некоего Лермонтова Михаила. Когда-то она как влетит в мою душу...

— С стигийской нежностью?

— Не без нее. И с тех пор все не вылетает, так все и машет веткою зеленой, а я так и не могу понять, кто у меня там без спросу носится туда и сюда. Хлещет по душе зеленым веничком. Может, вы наконец...

— А может, вы — мне? — с яростью почти рявкнул он, уставясь в меня, как в стенку. — Может, я и сам двадцать лет жду, когда мне кто-нибудь объяснит, наконец, бля буду, о ком все-таки я написал столько умных страниц и так ничего и не объяснил — ни себе, ни людям...

И, отвернувшись, пробурчал себе под нос:

— Ясно одно: эта ласточка — не лапочка и не лапонька... Как и та касаточка, что влетела под крытую колоннаду дворца Ирода, чтобы нам с вами и с Понтийским Пилатом жизнь медом не казалась... Будем.

И так, отвернувшись, и выпил. Видать, не хотел мешать мне не мешать ему побороть себя, чтобы все рассказать мне. Если я ясно выражаюсь.

АККОМПАНЕМЕНТ

— Вы заметили, у них очень любят котов, но всех котов кастрируют?

— Ну и что же? При разумной любви одно другому не мешает. Котят топить не надо, кот на улице не просится. Не убежит и блох не принесет.

— Да нет же, у меня вопрос не к моральной стороне дела. Я что спрашиваю: вот откуда они берут новых котов, если кастрировали всех старых?

— Вы заметили, у них всюду, в любой газете, возле фамилии любой актрисы или принцессы написан возраст. Как будто она мужчина. Как будто мы спрашиваем, сколько ей лет.

— Допустим, вы не спрашиваете. Но если она будет скрывать свой возраст, кто-то может подумать — ей есть что скрывать. Может быть, даже укрывать — от налогообложения.

При просмотре криминального немецкого фильма по ТВ:

— Я не понял, кто это?

— Да это и есть полицейский. Ты что, по нему не видишь — он один в фильме думает?

— Сегодня меня Той Зельчик в спину стукнул и удрал. Вижу — не догоню. Он хоть и турок, а бегают хорошо. А надо, чувствую, проучить. Говорю Юлиану — он сильнее всех в классе и бегают быстрее Зельчика, тем более меня: «Если догонишь Зельчика, скрутишь, приведешь ко мне и поддержишь, чтобы не удрал, пока я ему надаю как следует — плачу 10 пфеннигов». Он как заорет радостно: «О, майн Гот, как я люблю зарабатывать деньги!» — Зельчика в момент притащил и держал, чтобы не убежал, пока я тому не навтыкал.

— Милое дело — русский будет нанимать себе немца, чтобы тот пригнал ему турка!

— А что такого? Если немцам нравится пыхтеть, а русским — головой работать? жалко 10 пфеннигов, что ль?

3. ПО ДУШАМ

— Ладно, — он вдруг повернулся ко мне и поманил пальцем, — какой мне прок перед вами делать вид, что я знаю

то, чего не знаю? Мы же не на конференции. Вам как своему человеку я скажу как есть: ничего я не знаю про эту ласточку наверняка. И каждый, кто скажет, что он все знает про всю эту его летучую живность, соврет. Хотя соврет, может быть, искренно, от глупой важности. В нашем деле как нигде много глупых серьезных интеллектуалов. Итак, честно: я, дипломированный доктор филологии, не знаю. Dixi*.

— Уважаю.

— Спасибо. За это я вам сообщу все, что знаю: Мандельштам — больший поэт, чем все его современники — *getrennt und zusammen***.

— Ну, для доктора наук таки глуповато — лучше, хуже... И старовато. Это я слышал не раз. Я и сам это не раз говорил.

— А, так вы с этим согласны. А почему, как думаете?

— Когда как думаю.

— А вот я не думаю, я знаю. Именно это я знаю наверняка: Мандельштам лучше их всех потому, что он, в отличие от них — и почти всех нас, — толковый предатель.

— Как-как?

— Как слышали. Толковый, качественный предатель. Предатель-смысловик... Я что хочу сказать? Вы замечали такую странность: все грешат — и все прощают себе все грехи. Считают их простительными слабостями. Но есть один грех, который так называемый приличный человек считает непростительным, за который Данте и с ним все европейское по крайней мере человечество с давних времен бьет морду и сажает в последний ров ада. И большинство людей так вам и скажет: я виноват в чем угодно, но я не сука! я не предавал! не закладывал! А я, вопреки толще бытующего мнения, берусь утверждать: предательство следует нравственно...

— Разрешить?

— Боже упаси. Его именно следует оставить запрещенным, но — осознав не только как величайшую подлость, но и как величайшую возможность и обещание. Как радикальный акт самопознания. Крайне рискованный — да,

* (Я) сказал (*лат.*).

** По отдельности и вместе взятые.

если ты не готов извлечь из него все, что оно в тебе открывает, не умеешь выйти из него с толком, это губительно. Но если готов... Ведь предательство — не только гнусный удел Иуды, но и переломный момент высочайшей судьбы Петра. Еще раз — это запретный, гадкий, подлый, как хотите, но — единственно эффективный для каждого момент истины о себе. И единственно доступный любому. Попросту неизбежный. Ведь на самом-то деле, как бы мы ни отбрыкивались, жизнь абсолютного большинства из нас просто вертится, как вокруг оси, вокруг тьмы не только чужих, но и собственных предательств, которые мы только так не называем, которые мы просто *не видим*, по той же причине, по которой Вронский считал, что не заплатить шулеру нельзя, а не заплатить портному можно и должно. Я знал человека, который в те еще времена вел себя на допросах в ГБ, в весьма пешуточной ситуации, в высшей степени достойно; он никого *не сдал*. При этом он изменял жене при всяком мало-мальски серьезном поводе — без особых угрызений совести. Он просто не считал возможным то ли к шалостям природы применять столь серьезные слова, как «измена», то ли наоборот, к столь сложной и тонкой сфере, как область чувств, применять плоскую систему моральных измерений...

Так вот, и Мандельштам, разумеется, в этом отношении вполне человечен. Вот он искренно полагает, что со всеми обольщевает, дыша — будто бы уж человек старой школы не подозревает по крайней мере, что между «дыша» и «большевее» нельзя поставить «и», но только «или». Вот он временами таки режет правду-матку, потому что долго быть предателем у него не выходит, но вряд ли осознает формульно свою внутреннюю проблематику, — а временами едва ли не шизофренически-естественно раздваивается. Ведь что такое эти его пресловутые «двойчатки»? Я лично, что бы кто ни говорил, допускаю как психологически правдоподобное — как соседствующие — и вариант «будет будить разум и жизнь Сталин», и параллельный якобы приписанный ему вариант «губить» вместо «будить».

— Запросто. Только я связываю это не с шизофренией, а с программной неуверенностью в понимании современ-

ником — им в том числе — действительного смысла при нем происходящего и желанием на всякий случай запечатлеть обе смысловые возможности как равноотносительные и возможные. А может быть, даже, с обогащением поэтической мысли, как в физике, принципом дополнительности обоих смыслов, которые не противоречат друг другу на более высоком смысловом уровне, синтезируясь на ступени абсолютного смысла.

— Это вы о сталинщине? как части высшего смыслового синтеза? о большевизации России? Ради красного словца?

— М-да... будем считать, что я докатился. Иной раз воспарилшь этак безответственно мыслью, и до того тебе приятно покажется в полете, свободном от догматизма... и тут тебя поставят на место. Приведут в чувство. Какой-нибудь интеллектуальный провокатор обернется вдруг посетителем славянской совести старинной... Ладно, будем считать, что вы меня вогнали в краску. Продолжайте. Итак, что там? Болезнь совести ведет к раздвоению ума...

— Да. Шизофренически раздваивается. Но это все — пока о местах, где всего круглей земля, тут у него и в первом, и во втором случае — чувство артиста, влюбляющегося в предмет изображения, обольщающегося своим героем, затевающего с ним любовную игру, одевая то в жертву, то в палача, как в «Ночном портье», да? ведь без двоеения и перепадов любовь не игриста, не пьянит, — тут у него чувство Творца, всегда помогающее стоять на своем, быть Поэтом при полной человеческой податливости. ПАДАТ-ливости.

Но однажды до него доходит, его прошибает то простое, что почему-то, однако, толком не прошибает никого. И опять-таки при очень простых, всем, казалось бы, интимно знакомых обстоятельствах: человек при живой жене влюбляется в другую. Опять-таки — кому какое дело, что кума с кумом сидела? Главное — и жене-то его допрежь того — какое было дело до всех этих Гильдебрант и Андрониковых! Но тут — ей вдруг стало не все равно. Одно дело — этикетная влюбленность в артистку, вокруг которой все поэтические натуры, даже с приголубью, дежурно увивались, другое — в женщину извне, просто — в

женщину; это серьезно. И он вдруг впервые — ясно видит. Как мало кто ясно видит себя: как фильм, проходящий перед своими же глазами. Изменяет жене — и видит в упор, что все это вот — «сложное, мучительное чувство», на которое уж поэт ли права не имеет? — все это и есть — то самое настоящее, не *другое*, высокое и тем оправданное поэтическое чувство, а то самое, за которое морду бьют и в ров сажают. Обычное подлое предательство. Ведь это он же сам обучил, подогнал жену под размер своей души, а потом взял и оставил ее без единого на потребу!

— Экие страсти. И вольности толкования. Пусть хоть кто попробует Надю Хазину «подогнать под размер своей души», я ему не позавидую... Ладно, мне чего, в конце концов... а только, сдастся мне, вы... не совсем о Мандельштаме. Что-то другое Вы подгоняете под размер чьей-то другой души.

— Может быть. Но если и не «совсем», мне хочется видеть этого «не Мандельштама» именно в нем. Мне так на душу легло. Допускаете вы, фауст фаустыч, что и вагнеру что-то может просто так на душу лечь, отклонив его от «науки»? Да и это не для статьи в каком-нибудь НЛО, а для пьяной затравки. Поэтому безответственно продолжу. Ища свое второе «я» — и найдя его, по крайней мере думая так, что бы ни думали мы с вами о Надежде Яковлевне, пожив-то при второй своей половине, не ополовиненный, как несчастные девять человек из десяти — потом берет и сам бросается от нее, от *целого себя*, по мановению какой-то унизительно извне-находящей, крошечной страсти — к какой-то там Ваксель! которая к тому же все, что находит возможным сказать о нем, так это: «Муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он оказался довольно слаб и лжив»; слаб и лжив! еще бы, для него каждая из них драгоценна, и каждая по-своему, он частицу каждой из них боится утратить; можно подумать, если я всеми фибрами души люблю картину Рембрандта, в этих же фибрах еще не найдется достаточно, чтобы дорожить и каждым миллиметром Вермеера; конечно, то ли дело — Ваксель, она и сильна и честна; а на самом-то деле — просто «ей ничего не значит»: баба, как влюбится в следующего мужика, так

забывает о предыдущем, для нее просто нет прошлого, вот и вся загадка ее пресловутой целостности...

— Простите, может, я тривиален, но это и для меня великая бабья загадка. Умение жить только настоящим, собственно *жить*, для меня — одно из самых непостижимых и недостижимых.

— Да для меня — тоже. Но ведь у них это не умение, им-то оно дается просто от рождения, как Вы не поймете! и вся недолга!

— Недолга-то недолга, но от этого не менее загадочная. Ладно. Дальше.

— А чего дальше? дальше он видит, что натворил, — и что делает? Да ничего он не делает. Только всего, что называет вещи своими именами. Ничего не переименовывая, прямо как есть и называет. «Изолгавшись на корню», — вот я кто и вот что я таков; и мне ли кого в чем после того еще випить?

И больше ничего.

Но вот это-то «и ничего больше» — великая вещь: человек от простого осознания собственного ничтожества — простого? да ведь они все, эти Пастернаки-Цветаевы, никто этого и не понимал, как это вообще делается и с чем его едят! ведь они что ни творили, как ни терзали умученных ими же жен-мужей-возлюбленных, последовательно и параллельно, все равно думали, что это только они сами пропали, как зверь в загоне, что это их безвинно гонят, что виноваты они лишь собственной гениальностью тире безмерностью, несовместимой — потому что неместимой — с бездарной властью и бездарными читателями газет, но вместимой лишь безразмерными почитателями Поэта — и вдруг человек столь же из рук воп безмерно гениальный ошарашивает всю эту бодягу, всю эту кармическую жисть, одним словом: я — никто, я такой же, как все — не лучше. Ровно нуль, меньше нуля: предатель. Самый последний, самый непростительный гад из всех, по представлениям любого Данте и любого гимназиста. Винить мне некого, ни на что права я не имею, и вполне справедливо будет меня-паршивца засадить на полную катушку в девятый круг ада моего любимца.

И всё! и только. И человеку становится — не четыре года! он входит в полный возраст! сиречь — как только человек осознает и засвидетельствует нулевую точку своего личностного развития, он и становится личностью. Но как это сделать? А очень просто. Нужно только дожить, когда наступит неизбежная обыденная пограничная ситуация каждого: ты — предашь. Когда это произойдет — а оно произойдет, это уж будьте благонадежны! тогда твое дело — не быть лучше самого себя, но быть всего лишь внимательным к себе. Ты должен *засвидетельствовать* свое падение — и только. Но без малейшего уклона к самооправданию и всяческой возвышающей травестии. Тогда, стоя в этой точке оловянным солдатиком, ты перегоняешь подлость в подлинность. Если получится стойко стоять — это ведь из области «сказать легко...» — ты увидишь, что произойдет.

— Что же?

— Попробуйте — узнаете.

— А вы — узнали?

— У-тю-тю... Не уверен — не обгоняй... Ну, еще по одной, «дар па вену» или как там называлась литовская водка, если вы ее застали до очередного проведения литовской границы.

— Точного написания тоже не помню. Во времена Твердых Цен мы называли ее «вдарь по вене».

— Неплохо. А вы знакомы с действительной практикой... шли вы когда-нибудь не путем вина, а путем вены?

— Нет, я дальше анаши и циклодола* — советского эрзац-ЛСД советских эрзац-хиппи не пошел. Пробовал как-то пить раствор опиума-сырца. Но остался верен простому хлебному вину. Если не считать изменой ему увлечение также виноградным и ячменным вином.

— Да, циклодол... а лучше гэдээровский норакин; а то еще помните коктейль из кода с ноксом**? Если взять

*Дешевый (в 70-е годы пятидесятиаблеточный пузырек стоил 21 копейку) препарат, используемый в психиатрии как корректор, купирующий тяжелые побочные действия нейролептиков; в больших дозах (впятеро—вдесятеро — самодеятельное творчество масс — превышающих лекарственную) может действовать как галлюциноген.

**Соответственно кодеин и ноксирон — исчезнувшее ныне венгерское снотворное.

пачку апикодина или кодтерпина и столочь в порошок, а потом развести и процедить через промокашку...

— Только мне не нравилось, что пить надо медленно, а вкус противный. А помните центровую Ригу, поголовно поделившуюся на две презирующие друг друга партии «наркоты» и «кривоты»?

— Н-да. Должен сказать, в отличие от вас, я пробовал и кислоту*, в Таллине. Но вовремя испугался открывающихся ложных возможностей. Сядешь на подоконник — чувствуешь: нога до земли достанет, если ее как следует протянуть с третьего этажа — так и протяни же; и краски кругом такие... те же, но только истинные — один я их вижу, какие они на самом деле. Вообще странная была юность в начале семидесятых, да? у приличных серьезных парней вроде меня, имею в виду. Днями пропадаешь в библиотеке, а вечерами в поисках приключений духа со знакомой хипней из генеральских или бомжовых семей сидишь под балдой на корточках на заплыванном чьем-то полу среди грязноволосых подруг и подпеваешь какому-нибудь Харрисону, как сейчас понимаю, нечто сверхэкуменическое: «Май свит Лорд, Алиллуйя-Харе Кришна!» Да. Но вижу, вы чему-то верны. Не из настоящих предателей. Жаль. Однако любопытство, судя по послужному списку, имеете. А это уже кое-что, ибо говорит о порочных наклонностях к экспериментированию на себе. Последнее же — залог самопознания.

— Это еще надо доказать... Так вы — апологет предательства? Точнее — просвещенный любитель этой темы?

— А вы сейчас скажете какую-нибудь из-банальностей-банальность вроде: «Я все могу простить, кроме предательства — и не выношу его апологетов».

— Последнее совсем не банально — я впервые в жизни встречаю апологета предательства. Вы же сами говорите — все предают помаленьку-втихомолку, и никто себя предателем не считает. Первое же не обо мне. Я лично чего больше всего в людях не выношу — это так называемой верности самому себе. Ровной, до краев наполненной собой уверенности в своей правоте.

— О, в таком случае мы еще не потеряли шанса найти

*ЛСД.

общий язык. Не пойму только, как Вы тогда уживаетесь с немцами.

— Mit Ach und Krach*. Пока стараюсь за страх, но надеюсь за деньги со временем обрести и совесть. Люди очень разные. Совсем противоположные бывают люди. Ленин потерял же совесть за немецкие деньги — а я, глядишь, как раз найду.

— Протестую. Ленин потерял совесть задолго до немецких денег. Поэтому, когда он их брал, он вообще не думал, хорошо или плохо брать чужие деньги на свои дела, он думал только: дают — бери.

— Вот-вот, чужие — на свое. Именно-именно: дают — бери! И я же точно так.

— Значит, и вы совесть потеряли.

— Так а я о чем? кабы я ее не потерял, с какой стати стал бы я чаять ее отыскать?

— Ну, дай вам Бог... Что же до предательства, то я не любитель, как Вы изволили выразиться. Я профессионал.

АККОМПАНЕМЕНТ

Коан:

— Папа такой странный, говорит, что христианин, а сам очень переживает, что от него здесь останется. Кто сейчас или потом о нем что напишет или скажет. Мне это вообще непонятно. Если бы я, например, спасся, попал, допустим, в рай — и оттуда бы услышал, как здесь обо мне еще что-то там говорят — я бы им оттуда: «Да заткнитесь, козлы!»

— Слушай, пап, кассирша даже не посмотрела, что у тебя в другой сетке. Из предыдущего магазина. Ты туда здесь мог сунуть всяких конфет, мороженого, печенья — и не заплатить.

— Запросто.

— Почему же ты (даже запнулся)?!

— Ну... потому что (просто и весомо) Бог категорически запретил воровать.

— Да, — и, вздохнув, рассудительно: — А жаль.

— Сегодня на этике фрау Боненбергер мне говорит: «Ты кто?»

— А ты что?

*С горем пополам.

— Говорю: «Ортодокс». Она: «Еврейский ортодокс?» Говорю: «Русский ортодокс».

— А она?

— Говорит: «А в кого вы верите?» Говорю: «Во Христа».

— А она?

— Говорит: «Это правда?» Говорю: «Да». Она подумала и говорит: «В Иисуса Христа?» Говорю: «Да».

— А она?

— Задумалась и молчит. Потом говорит: «А главный у вас Папа?» Говорю: «Нет. У нас не Папа. В Москве был не знаю как по-немецки, а здесь бишоф*, а кто над ним главный — не знаю, но не Папа». Она — опять думать. И в классе тишина. Все думают. Когда немцы думают, всегда тихо-тихо. Как когда говорят, то всегда громко-громко.

— А чего им думать?

— Как чего? Серьезный вопрос — кто такой русский ортодокс. Не успели с еврейскими разобраться, а тут еще русские. Представляешь, сама Боненбергер не знает — и думает. Подает пример. Они за ней. Думают-думают, придумать не могут. А я сам толком не знаю, а чего знаю — не могу объяснить. Наконец она говорит: «Я все поняла. Дети, ортодоксы — это русский мисунг** католише и евангелише».

4. ПО ДУШАМ. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

— Я вообще-то сейчас все думаю о том, почему о темах любви и смерти в мировой культуре нашим братом-вагнером написано кое-что вразумительное... или мне так кажется? нет-нет, все-таки Эрос Танатович нами, что ни говори... Вы, кстати, держите старого доктора за вагнера или все-таки за фауста?

— Во всяком случае, не за «венского шарлатана». Но и Набокова можно понять, так все здесь рядом, один Бог знает, кто есть кто... ведь, согласитесь, никто так не схож с мифообразователем, мифо-со-творцем — тем, через кого Творец говорит мифом, — как шарлатан, но непременно искренний шарлатан: мифотворец-от-себя. Люди Мифа и делятся на эти два сорта.

**Bischof* — епископ.

***Mischung* — смесь.

— Ну да. А остальные делятся на два сорта по отношению к ним: первые мифосотворцев считают шарлатанами, а вторые шарлатанов — великими мифосотворцами... Ну а все же, за кого вы держите дедушку из Пршибора?

— За самого безотрадного из мучеников науки, который совершенно убежден, что знания и знание — одно и то же, а потому даже если мертвый на его глазах воскреснет, — что там, если сам он на своих глазах воскреснет — в личности и теле, то подумает первым долгом: о каком из вытесненных сексуальных влечений трактует это сновидение? Удивительно законченный и потому мрачнейший тип, что находится в удивительном же противоречии с его именем*.

— Ну, положим, само это противоречие как раз прочитывается непротиворечиво — в полном соответствии с учением о компенсаторике... Да, что ни говори, а эротика-танатика нами охвачена и перелопачена не так уж плохо; тогда как третья фундаментальная вещь, на которой стоит человеческая жизнь: предательство, столь часто совершаемое из любви и столь часто ведущее к смерти, — не нашла своего настоящего, преданного — простите за каламбурчик — исследователя. Или мне просто не вспоминается? черт его знает... То есть написано-то — ого-го... и название может быть отличное, как у Борхеса, «Тема предателя и героя»... но все не в том аспекте, который мне представляется главнейшим, жизненно-смертельно важным. Ну, хотя бы... Вы, надеюсь, простите, мы по пьяному делу не будем просматривать академически весь ряд, а так, погуляем по этой местности — и кое-где простежки, для затравки, ткнем пальцем... Да, собственно, опустим их всех, от Каина и Иосифовых братьев; забудем на время мужеубийцу Клитемнестру, клеветницу Федру, изменника Ганелона. Оставим их, оставим всех этих дантовских Альбериги и Брапка д'Орья... и еще десяток фигур за ненадобностью, забудем обо всех, даже о Хаджи Мурате, — потому что полную сводку об интересующем нас вопросе мы и без них найдем у главного коллекционе-

*Игра слов: фамилия Фрейд в оригинальном написании, как известно — Freud. Freude — радость.

ра предателей и предательств всех времен и народов. Вот он дело понимал, у него без подобающего коварства человек не чихнет, и правильно; он напек негодяев, как блинов на масленицу, и что ни мерзавец — то и заглядение.

— Имется в виду таинственный Лебедь, которым те-перича предложено любоваться не на Эйвоне, а на лоне вод Бельвуарской долины?

— Натюрлихь. Подадимся не в сторону Свана, но в страну Свана*... Пеплохо также, по крайней мере сегодня, звучит: «(В сторону): — Но не генерала Свана». Можно к тому же, выйдя за пределы словесных забав, имеющих отношение лишь к бывшим странам Аптанты, и, вспомнив о «центральных державах», обратить сентенцию от французского стола напрямик к вражескому немецкому: сколь мало расстояние от великого до смешного, от возвышенного до непристойного: от «швана» до «шванца»** — расстояние лишь в одну букву. Шван-ц. Бен-ц. Но, как русский интеллигент русскому интеллигенту: не будем дешевыми пошляками. В американском смысле — не будем пошляками задешево. А вообще — что за цирк... Такое впечатление, что все, даже критики и гинекологи, пынче только Гилилова и читают. Даже вы в германском захоlustье. Это как один мой знакомый говорит: «Ну кто такой Патрик Зюскинд? Человек университетской популяции, писавший простую интеллектуальную прозу. И вдруг в тридцать шесть лет посещает человека «корючка»: парфюмер-убийца! в погоне за совершенным запахом! вытяжка аромата тела свежееубитой девственницы! во закрутьи! и вот весь мир у Зюскинда в зюзьке, а он уж и интервью давать считает ниже своего величия». Вот и нашего брата-вагнера посетила корючка, а я еще кручинился, что российская земля не может рождать собственных Эко. Эка! первостатейный бестселлер, да? Человек, написавший: «Весь мир — театр, а люди в нем актеры», сам не пашел ничего другого, чем сыграть — в актера. Чело-

*Swan (англ.) — лебедь.

**Schwan (нем.) — лебедь; Schwanz — (букв. «хвост») — распространенное обозначение мужского полового органа, подобное английскому «prick» или русскому «конец»; более нецензурного обозначения в немецком языке нет.

век пишет «Ромео и Джульетту», а некоторое время спустя его платоническая супруга через неделю после его смерти принимает яд... Класс.

Ну да, он, не шизокрылый, но белоперый. Давайте сгруппируем его предателей в два подвида. Не надо их всех вспоминать — во-первых, всех сразу все равно не упомянуть, во-вторых, поверьте на слово, подвигов ровно два, при всей энциклопедической амплитуде индивидуального несходства. Пару исключений — Кориолана, Брута — оставим в покое. Риму — мир. Итак, два. Первый — Яго, Эдмунд, этот, как его, очередной брат-гад из «Бури», Ричард III и проч. — лица, я бы сказал, предательской национальности. Им коварство — дом родной; будучи людьми в прочем, как говорилось когда-то, в прочем весьма талантливыми и отважными, они до гениальности легки на предательство. Эти Моцарты предательства, рыцари обмана, поэты измены — всесторонние порождения ада, то есть не только в аду, но и для ада рожденные. Живущие полной свежего адского воздуха и адского вдохновения жизнью. Шекспировский ад вообще не ортодоксален, в нем царит творческий простор для свершений адского рода, тут вообще нет места бездарям, за исключением разве Розенкранца и Гильденстерна, остальные бездари прописаны где угодно, но не в аду.

Вторые же — Клавдий, Макбет, этот, стало быть, который Анджело, которому воздают мерой за меру — не рождены для ада предательства, не суть органические существа преисподней и потому, совершив предательство, — ведь ничто человеческое, в отличие от преданных и убитых ими «людей в полном смысле слова», им в полном, словом, смысле не чуждо, — способны увидеть последним, еще *внешним* взглядом, как моментально перемещаются в ад, и тут же затем дверь захлопывается, и вот они внутри ада, и тут их припекает несказанная мука — им открывается, как любому предателю, правда об аде в себе и о себе в аду — а вынести ее жжение не всякому предателю дано... То есть, как сказал бы их коллега по несчастью московский царь Борис, это люди с совестью. Но — также и люди, способные на поступок. Ведущий к ее потере. Заметьте — они теряют совесть, но вместо нее приобрета-

ют муки совести. Каково им, беднягам, быть в таком положении?

— И не говорите.

— И-да... В этом положении главное — нельзя устоять в одной точке. В точке ж-жения нельзя ж-жить. Ад упраздняет постмодерную горизонталь. Либо тебя раскаянием выталкивает наверх, — но для этого надо знать Бога, — либо ты идешь вниз, самую динамикой хода, лихой залетностью его, красотой и размахом горения маскируя для себя на время его непереносимость. Герои Шекспира всегда идут вниз, и это понятно — если бы они были способны к раскаянию, не было бы пружины действия. Они могут черпать временное удовлетворение только в самом своем «самостоянье» во грехе и аду, как человек, давящий языком на большой зуб, и обречены выводить из исходной точки греха все новые витки прегрешений.

— Уж простите навязчивую мысль... по пьяному делу... но все сдастся мне — то было не совсем про Мандельштама. А теперь не совсем про Шекспира.

— Все-таки не можете не залезть в конец. Так и тянет спросить, нет ли у меня на совести по крайней мере трех злодейств.

— В Евангелии говорится: «Ты сказал».

— А у вас? Разве у Вас в квартире не газ?

— Допустим, у меня электроплита. Но и я двуног. И злодейств, конечно, и на моей совести хватает.

— Угу. Вам хватает. И вы на это живете?

— А на что же еще? Не вам же объяснять, что клубника лучше всего растет на человеческом дерьме, а лучшая поэзия вырастает из греха. Ведь поэзия — дитя или орудие все того же самопознания, то есть чего же еще, как не познанного в себе греха. Чего там, в себе, еще-то познавать? Процесс слюновыделения? Мне кажется, вы недостаточно буквально понимаете Ахматову, хотя ахматоведение взяло нынче уже бригадный подряд в поисках утраченного сора, из которого выросли стихи. Не мне вас учить, но скажу от имени своего цеха: люди все-таки пишут буквами не просто так, а для чего-то. В поисках все новых интерпретаций литературоведы научились видеть текст насквозь и отучились видеть его в упор. Вы вообще-то за-

думывались когда-нибудь всерьез над пресловутым вопросом, почему это образы всякого зла и порока или по крайней мере герои, наделенные полнотой смуты, темных страстей, проповедующие сомнительную любовь отпетым словом отрицанья, в литературе выходят так сильны, выразительны, а образы добра чаще всего бледны и безжизненны? А ответ на этот сакраментальный вопрос прост — зло автором вычерпано и вымерено из опыта познания собственного греха, что ему вменено в урок, для чего ему открыты возможности; все же, что вымерено, может быть воплощено. Свое же добро, даже если автор и пытался жить добродетельно, вымерено быть не может: Бог не велел человеку мерить, познавать *собственное* добро и не дал инструментария его измерения, а велел, «даже аще и все сделает» хорошего, что должен, быть «яко раб неключимый», — и кто пытается перейти эту черту, ее же не преjdeши, тот вместо опыта познания добра впадает лишь в оболыщение, «прелесть» — а не познанное не может быть воплощенным.

— То есть вы думаете, что, скажем, рефрен Алтарной сутры: «Познающие добро...» противоречит христианскому опыту?

— Почему. У всех умных людей «познавать» значит не мудрствовать, а практиковать; а практиковать добро можно и не познавая умом — просто по мере познания зла отлепляясь от последнего.

— Легко излагаете. Слишком легко. ПокОтило — и кОтите. Слова как-то уж так пришлифованы к Вам, чтобы говорить — и с комфортом оставаться собой. А *такие* слова — и комфорт... Если вы по ним не живете — они у вас колом в глотке должны застрять. А если живете — у вас их вслух сказать не получится... И все-таки: вы — или вас — вообще-то когда-нибудь по-серьезному преда..? Вы вообще по-шкурному, по чревно-кишечному чувствуете дику, вечнозеленую свежесть этого ямба — преда-тельство, об-ман, из-мена? Всегда кисло, оскоминно-недозрелую — и всегда перезревшую, тяжелым падальцем быющую о сердце...

И тут он меня достал. Я давно распрощался с деньгами, давно забыл Акопа, и хотя сейчас встрял в скверную

ситуацию опять в связи с ним, думал о чем угодно, но только не о нем, не о последних наших деньгах, которые он обманом у меня отнял. Но никогда не знаешь ни свою сегодняшнюю болевую точку, ни кто и как на нее нажмет. Что тебя вставит и включит.

Слово «Акоп», так часто звучавшее в последние два дня, вдруг снова вторгнувшееся в мою жизнь, стало знаком новой беды, опасности, но ничего угасшего в моей душе не разбудило, а слово «обман», будто оно не было синонимом слова «Акоп», вдруг включило в ней, казалось бы, стопроцентно отключенной опьянением от какой бы то ни было остроты переживаний, все отговорившее — на полную громкость. Может быть, виной тому было само звучание, само колокольное произнесение им слова. Обман-н. Алкоголь, долженствовавший заключить меня в вакуум «строгой сенсорной депривации», в настоящем действовал весь этот час исправно, но — как все-таки важно правильно задать программу защиты, а для этого учесть все возможные варианты нападения — вдруг до боли в ушах взрывчато-гулко резонировал в сторону прошлого. Защиту прорвало. Я весь ушел в игольчато-узкое переживание двухлетней давности.

5. ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

— Па-чиму Вы мне не верите? Я жы вам дал слова чила-века! Мама-й кля-нусь, деньги идут. Чирез три дня будут. Званите ва вторник.

— Дениг пака нет. Ни могут обналичить. Я жы на месте. Вы видите, я никуда ни деваюсь. Всегда можете миня найти. Зва-ните в читверг.

— Знаи-ти что, а? Приходите к нам дамой. Тока вам даю адрес.

Он жил у Гали, на первом этаже двухкомнатной хрущобы с двумя детьми от ее первого брака. Меня напоили кофе по-турецки. Я узнал, как много Акопа подставляли за его долгую жизнь из-за его доброты, но сам он никого не подводил ни разу по своей порядочности. Он прощал всех всегда и продавал последнюю движимость, чтобы

расплатиться за других. Акоп курил длинные коричневые сигареты «Сент Мориц», прикуривая одну от другой. Он рассказал, как плохо теперь жить в независимой Армении, но выразил надежду, что новый министр внутренних дел, бывший детский писатель и — закономерно — поборник жесткого воспитания, наконец разберется с нечестными людьми. На прощание он попросил меня звонить во вторник.

После серии «вторник — четверг — вторник» я зашел к нему домой уже по собственному настоянию и поинтересовался, что все-таки дальше и сколько меня будут кормить вторниками в четверг. После порции уверений «деньги — в пуги», перемежаемых клятвами мамой, удалось добиться от него обещания после такого-то числа начать продавать свои заветные станки, чтобы расплатиться с кредиторами. Ему очень не хотелось расставаться с любимыми орудиями производства. «В крайнем случае адин прадам. Хватит всем атдать». К такому-то числу деньги не пришли. Акопа тоже не было. «Он в банке». Это вселяло надежду. В банке он пропадал три дня с утра до вечера. Наконец он явился сияющий, и от сердца начало отлегать. Он заявил восторженно, что ему удалось получить кредиты и закупить пряжу. Сердце стремительно упало опять. «Какая пряжа?! Вы получили деньги — так расплатитесь!» Последовала фраза, сплетающая два объяснения: почему кредиты никак не могут быть обналичены, но могут в безналичном виде быть направлены на закупку пряжи и почему без закупки пряжи никак нельзя произвести товар, без продажи которого и думать нечего расплатиться с нами, — в одно, виртуозно невинное и потому авторитетное. Так на моей памяти умел говорить только первый последний президент Империи Зла, обратившейся от его магических слов в руины всякого плохо лежащего добра.

Потом была серия совместных поездок в банк; точнее, одна поездка, все остальные были только им назначены, но под разными предложениями он не являлся. Наконец мы с ним приехали куда-то в Строгино, куда на его счет, по его словам, сегодня должны были прийти деньги от покупателей из Новокузнецка. Денег, однако, как ни странно,

не было; Акоп заявил, что они обязательно придут сегодня, только после обеда. Я предложил остаться до после обеда; хотя стояла мерзлая зима, я чувствовал, что могу пережить два часа на морозе, зато потом согреюсь как следует, если со мной, наконец, расплатятся. Но Акопа неумолимо ждало производство, и мы договорились встретиться у банка назавтра. Назавтра я встал перед банком, как лист перед травой. Одиш.

Потом мы еще встречались в метро, где он тыкал мне в нос платежку. Из нее явствовало, по его словам, что деньги из Новокузнецка перечислены, я же видел перед собой только замусоленную размытую бумажонку, точнее, ксерокопию изначальной бумажонки, из которой ясно было только, что А.Джагубяну что-то такое откуда-то причиталось, но когда, откуда и сколько — решительно невозможно было понять.

Тогда наступил момент, когда я распрощался с последними надеждами на «слово человека» и сказал себе: смотри на вещи бесстрашно — перед тобой мошенник, лишивший тебя последних денег. Твои действия?

Но, прежде чем я продумал план ответных действий, позвонила Галя и сказала: «Завтра после обеда приезжайте на производство. Будем расплачиваться». Теперь мне уже было трудно вернуться к мысли, что Акоп — честный человек, но я сделал над собой усилие — и почувствовал: хорошо думать о людях — приятно.

Слово «расплачиваться», однако, своей двусмысленностью наводило на размышления; я взял с собой дюжего приятеля — бывшего монаха мюнхенского монастыря Зарубежной русской православной Церкви, после пяти лет монастырской жизни понявшего, что монашество не его призвание, вернувшегося на родину и сейчас делящего время между службой в охране одной фирмы, возглавляемой его бывшим одноклассником, и походами в библиотеку и консерваторию, где он наверстывал упущенное за пять лет. Он как раз собирался на концерт Губайдуллиной, но я сказал волшебное слово: «Христа ради».

На производстве уже собрались должники, человек сорок, а то больше — это производило впечатление, — а Акопа все не было. Приятель пришел с кейсом, я — с ви-

давшим виды портфелем. Мы обсудили тему канонизации в РПЦЗ (она же Синодальная, она же карловатская) свят. Иоанна (Максимовича), и приятель, бывший год назад на его прославлении в Сан-Франциско, рассказывал, как дело делалось; по его, делалось оно так долго (владыка умер в 1966 году), поскольку многие архиереи считали святителя недостаточно православным, в силу характера его действий: например, в страстную пятницу он обходил все православные церкви города, в чьей бы юрисдикции они ни находились, и в каждой прикладывался к Плащанице. Мы обсудили далее самую проблему сегодняшнего смысла церковного раскола, духовно-политических боев «сергиан», «карловчан» и «евлоган» и возможности их соединения в единую русскую Церковь. Затем перешли к проблеме раннего, зрелого и позднего экуменизма. Мой приятель считал, что это одна малина (чувствовалась пятилетняя строгая выучка), я же был другого мнения.

К тому моменту, когда мы дошли до братства о. Георгия Кочеткова, и мой приятель сказал: «Мне тут один шевкуновец давеча говорит об одном кочетковце: уж и не знаю, говорит, что и делать с ним — то ли возлюбить его как врага, то ли яду ему в чай подсыпать», при чем я сардонически расхохотался, тогда как мой товарищ настроен был крайне миролюбиво, повсдава, что, во-первых, греки или сербы и не так машут руками, а уж предавать друг друга анафеме — хобби греков-старостильников всех восьми толков, а во-вторых, ему после западной теплохладности такая русская опламенелость просто милей драгоценного, — к этому моменту, после двухчасового ожидания, подгреб шустрым мышонком Акоп, еще более небритый, чем всегда, а за ним с мешком на плече (тут сердце зашлось, скажу честно, грешным делом, куда больше, чем от неправых гонений на кочетковцев: в мешке-то — деньги, деньги!) незнакомый молодой человек в кашемировом пальто.

Как всегда в этих случаях, установилась живая очередь; но людей выкликивали — как хотели, даже не по алфавиту — Акоп, Галя и молодой человек. Точнее, молодой человек и Акоп с Галей. Наконец дошла очередь до

меня. Мы вошли. «Почему вдвоем?» — сурово спросил молодой человек. «Простите, а почему вы задаете мне вопросы? Вы кто?» «Соучредитель». «Допустим. Но когда я вкладывал деньги в предприятие Джагубяна, ни о каких соучредителях речи не было, на договоре стоит только его подпись, поэтому говорить о деньгах я желаю только с ним. Надеюсь, это не возбраняется?» Мой тон не понравился молодому человеку. Он подошел к Акопу и тихо сказал что-то ему на ухо. Затем тяжело уставился на меня. Его глаза без зрачков в сочетании с руками, засунутыми в карманы, даже самое распахнутое черное кашемировое пальто с белым шарфом рождали худое чувство. «Выйди, — тихо сказал мне приятель, бывший монах, а ныне охранник. — Ты его напрягаешь. Давай договорные бумаги и выйди, я с ним поговорю». Я понял, что порчу, может быть, самое серьезное дело в своей жизни, и послушался. Из побывавших в кабинете Акопа не было ни одного довольного. Одна пожилая женщина плакала. Другая ругалась последними словами. Двое мужчин итээровского вида о чем-то договаривались. Остальная толпа тихо, но самоочевидно надувалась и накаливалась. Минут через десять мой приятель вышел и сказал: «Пошли». Я продолжал его слушаться: в такого рода делах всякий, берущий на себя роль специалиста, внушает мне больше доверия, чем я сам.

На улице он споровисто переложил из своего кейса в мой портфель пухлые пачки денег, перевязанные мохнатым шпагатом. «Сколько?» «Если перевести в баксы, что-то в районе... 1300». Это была пятая часть основной суммы, считая с первоначальными рублевыми вложениями, не считая процентов и процентов штрафных санкций с процентов. Считая со всем, долга выходило тысяч на 30 — 35 зеленых. «А остальное?» «Я еле вышел на эту сумму. Этот паренек, Олег Георгиевич, тут явно за хитрого, то ли твой Акоп вообще зиц-председатель, а Олег — настоящий, то ли Акоп — действительно цеховик, тогда Олег представляет «крышу». Он сказал поначалу, что и о том речи быть не может, в очереди пятьдесят человек, и если каждому дать много, то не хватит на десять человек... Галя с Акопом взяли твою сторону, сказали, что ты

один из главных вкладчиков и тебя надо беречь, тогда он добавил пару пачек, но... Мне пришлось с ним говорить очень внушительно как твоему доверенному лицу. То есть, сам понимаешь, представителю твоей «крыши». В итоге он сказал — это все, что он может дать сегодня, даже обделив остальных. Если он даст на миллион больше, их сегодня порвут на части. Правдоподобно. Говорит, это первая очередь отдачи денег, через две недели вторая, в конце концов расплатятся полностью. Вот это малоправдоподобно. Такими пустяками не рассчитываются, когда хотят отдать деньги, а только — когда надо заткнуть рты. Хотя все может быть. Две недели я бы подождал для очистки совести. Ты видел, чулки-носки продолжают выпускать, производство как будто не сворачивают. Вообще я бы на твоём месте поставил вопрос о том, чтобы с тобой расплатились на всю сумму колготами и носками, а их попробовать толкнуть оптом по дешёвке. Основную сумму, во всяком случае, можно вернуть». «Да кому ж я... Ты меня-то предста... И мой круг знакомых... Каких-то колгот в резиночку для холодного климата на сто миллио...». «Это можно подумать. Пока подождём две недели».

Через две недели не последовало ровным счётом ничего. Телефоны производства и Галин домашний телефон молчали или издавали безнадежный писк факса. Я дал Акопу ещё неделю. Потом поехал требовать, чтобы со мной расплатились товаром. Акопа не было. Галя была в отгуле. Бухгалтер Татьяна Михайловна ничего не знала. Рабочие продолжали сосредоточенно изготавливать на импортном оборудовании чулки-носки. Я пошел на склад. Он был запёрт. Где кладовщик, никто не знал. Я понял окончательно: нечестный человек из армян взял себе все прожиточные деньги моей семьи. Просто потому, что ему захотелось денег.

АККОМПАНЕМЕНТ

(Верующий мальчик из благочестивой семьи, наигравшись в компьютерную игру «Mortal Kombat 3»):

— Если бы в рай попадали за убийство, я бы каждый день по

человеку убивал. Стреляешь в упор — кровь рекой, кишки наружу. Класс!

— Зачем каждый день — по новому человеку? В смысле рая. Если ты уже за первое убийство попадаешь в рай, зачем убивать следующих?

— Ну как... А если Он меня за одного убитого только на время туда пустит? Надо же Его постоянное доверие заслужить.

(Он же):

— Мама, а в раю животные будут?

— Конечно, сынок.

— И тигры?

— Ну конечно. И будут лизать тебе руки.

— Здорово. А динозавры... неужели и динозавры там тоже будут?

— Будут. Обязательно.

— Отлично. Наконец я смогу подойти к тиранозавру и спокойно дать ему пинка!

XXI-th century schizoid man*.

(Мальчик двенадцати лет, отрываясь от компьютера с игрой «Tomb ríder 2», звонит по телефону приятелю):

— Илья! приходи ко мне. Того мужика с огнеметом мочить не надо, я его уже замочил из гранатомета — так что мы теперь уже в третьем уровне. Тут клево: людей нет — одни крысы и мыши!

6. ПОЭТАПНО

Я позвал семью в кофейную лавку «Эдушо», попить кофейку за полцены: недельный ангебот**. Заказал себе «эспрессо», жене «капучино», детям горячий шоколад. Зачем я взял с собой целлофановый пакет, как здесь говорили, «тютэ» из «С & А», где лежали все наши бумаги, все документы? Бог его знает... А, вот зачем, вспомнил: я только что поставил семью на учет в социаламте и получил бешайд, гарантирующий обеспечение на три месяца,

* «Шизонд XXI века» (англ.) — песня группы «Кинг Кримсон».

** *Angebot* — предложение (в главном для любого вновь прибывшего ауслендера смысле слова: предложение товара со скидкой).

возможность три месяца просто пожить на чужих хлебах или отдохнуть от жизни на своих хлебах — как кому нравится. Мне — нравилось. Я страшно гордый во всех отношениях, кроме этого. Собственно, для того я, прямо по выходе из социаламта, с сумочкой в руках, их и пригласил по пути домой в «Эдушо» — обмыть радостное событие. Теперь вспомнил все.

Да, так я положил в лавке «тютэ» под столик, чтобы не мешала; попили кофейку-шоколадику и ушли. И забыли в лавке под столиком все наши документы. А когда вспомнили, что забыли, лавка уже закрылась. Германия — очень своеобразная страна, все гешефты, кроме больших магазинов, работают здесь до 18 — 18.30. Большие магазины — до 20. В субботу — до 13, большие магазины — до 16. Не успел закупиться в субботу до четырех — сиди два дня без еды. Немецкое *Gerechtigkeit* — справедливость — даже не намекает на какие-то переключки с той «правдой», которая есть «праведность», следственно, с одной стороны стремится не к земному закону, а к превосходящему его Небесному милосердию, с другой же — праведно сносит всякие беззакония как, возможно, являющиеся частью неисповедимой Божественной справедливости.

Gerechtigkeit происходит от *recht* — правый=истинный (!) — и естественно отсылает к *Recht* — право. По какому такому праву продавец должен работать, когда покупатели отдыхают, ежели он имеет такое же право на отдых? Справедливо ли обязать зубного врача работать после шести, если он человек с теми же правами, как тот, у которого болят зубы? Каждый немец знает — его зубы не должны болеть после шести-семи часов вечера, потому что даже дежурные дантисты (по выходным и праздничным дням в нашем городе работают ровно 2 стоматолога — по очереди, при этом один — в центре, другой — у черта на рогах) работают всегда только с 10 до 12, потом с 18 до 19 — и шлюс. После семи хоть тресни надкостница, хоть умри, а доживи с семи вечера до утра. Каков же выход из справедливости? он прост — запретить своим зубам болеть. Но как? Очень просто — отдать приказ. Немецкие зубы не могут не выполнить приказа. А не немцу? А не немцу стоит подумать — жить ли в Германии. Это не

менее ответственный шаг, чем немецкому предпринимателю вложить деньги в русский бизнес.

Итак, все папирэ. Русские — свидетельства о рождении и заключении брака, дипломы и трудовые книжки; немецкие — прописочные «статусы», выданный бешайд на три месяца и кранкеншайны на бесплатное медицинское обслуживание и отдельные кранкеншайны к зубному врачу — тоже на квартал. Что-то еще. Словом, все. Кроме паспортов, случайно еще с перелета из Москвы застрявших во внутреннем кармане моего пиджака. Пустячок, а приятно.

Без документов человек в Германии — не человек. Он и в России без документов не человек, но в России он и с ними не человек, а тут — только без них.

Мнение соседей по хайму, среди которых попадались и старожилы, было единодушным: документы неизбежно найдутся. Во-первых, хозяева лавки ничего просто так не выкинут, а рассмотрят папирэ, поймут их важность и сохранят у себя до востребования. Во-вторых, если их кто и взял из посетителей, то он отдаст хозяевам лавки. В-третьих, даже если он возьмет их с собой и по дороге увидит, что это документы, то он никогда не выкинет их, а на следующий же день отнесет либо в лавку, либо в бюро находок, либо в полицай*. В-четвертых, даже если взявший и выкинет тютэ вместе со всей начинкой — случай невероятный — ее непременно найдет участковый полицейский. Но на 90 процентов мы найдем их завтра же в лавке.

Назавтра в лавке документов не оказалось. В полиции посоветовали обратиться в бюро находок. В бюро находок — мы являлись туда день за днем по два раза в день — ничего не сдавали.

Чтобы восстановить немецкие бумаги, в первую очередь городскую прописку — «статус» жителя Аугсбурга, надо было попросить у вонляйтера Вебера взамен утерянной бумаги о временной прописке в общежитии на Фрозинштрассе ее копию. Со страхом ждал я приезда Вебера

*Один из многих языковых микрошоков: русское, со времен войны, склоняемое «полицаи» в применении к человеку, оказывается, безграмотно: «полицай» — это полиция, полицейский участок; полицейский же — «полицист».

в очередной понедельник в хайм и, дождавшись своей очереди, вступил в его каптерку и, за незнанием немецкого, загулил на своем плохом, но бывалом английском. «Kein Englisch! — отрубил вонляйтер. — Ich spreche nicht Englisch!»

Это я понял сам.

Дальнейший его короткий, но пламенный спич мне перевела женщина-казахдойчин, жившая здесь уже второй год (переселенцы из Казахстана, что понятно, очень неприхотливы в быту, многие годами живут в хаймах, чтобы не платить денег за квартиру — они хотят и идут работать как можно быстрее и оплачивают квартиру из собственного кармана) и давно обратившая на себя мое внимание полнейшей добродушной невозмутимостью и еще тем, что всегдашний ее серый сарафан вечно же обнажал девственно, от начала появления вторичных половых признаков небритые и даже нестриженные волосы под мышками, белокуро ниспадавшие по-за проймы сарафана чуть не на аршин... Я правильно помню, что аршин — это 70 см? а то я стал путаться, и немудрено, ведь, скажем, немецкий фунт — это не английские 409 граммов, а полкило... Наверное, так у них положено, думал я; но не сказать, что симпатично; но это с непривычки. Я в детстве маслины тоже не любил, а потом вошел во вкус.

Смысл же речи Вебера был таков, что ежели кто, стало быть, в Дойчланд приехал жить, тот, значит, и заруби себе на носу: это в Англии говорят по-английски, а в Германии говорят по-немецки. Иначе ему нефиг в Германии делать. «Ферштеен зи?» «Ихь ферштее». Смысл моего прошения был также доведен женщиной-казахдойчин до понимания Вебера. Он нахмурился и говорил, говорил, и мне уже никто ничего не переводил, я сам понимать должен был, какое преступление совершил, потеряв бумаги, свои и всей своей семьи, и чего можно ждать от такого человека, как можно будет поручить ему хоть какое-нибудь ответственное задание, например, сначала сортировать мусор правильно, а затем уже выносить его, как можно вообще хотеть от него простейших вещей, на которых стоит цивилизация и которые автоматически выполняет любой школьник, как можно добиться хоть чего-

нибудь от взрослых людей, которые теряют бумаги, дающие всей твоей фамилии право на жизнь, работу и медицинское обслуживание, — но он, Вебер, все равно добьется от своих подопечных, сколь бы тупы они ни были, чтобы они стали разумными людьми, прежде чем выпустить их в цивилизованную жизнь, даже если ему — для моей же пользы — придется проявить твердость, твердость и еще раз твердость.

— Мели, Эмиль, твой миттельшпиль, — пробормотал я сквозь зубы, продолжая глядеть на него во всю ширь окова, как отличник на учителя. Он вопросительно посмотрел на женщину-переводчика, и та перевела ему без тени задней мысли, как поняла: есть такая игра — что-то (она не понимает что) молоть, и сейчас, в середине этой игры, его ход. И покрутила рукой воображаемую ручку мельницы. Он непонимающе посмотрел на меня — потом понял: что бы я ни сказал, я сказал дерзость — и твердо решил меня проучить, пусть на грани не положенного ему (по логике вещей он-таки обязан был, пусть после хорошего нравоучения, выдать мне на первый раз просимую копию), но единственным доступным способом: отказавшись выдать бумагу.

В отчаянии поплелся я на Германштрассе, 11, в отдел прописки. И тут мне повезло; видно, три румына, два боснийца и семья турок, шедших в очереди передо мной, вычерпали весь наличный дневной запас чиновничьей энергии, но только бератор, установив факт моей прописки по компьютеру, безо всякой дополнительной бумаги от Вебера и без назиданий устало выдал дубликаты статусов — поименно на каждого члена семьи. В социаламте добряк Вагнер даже сострадательно-недоуменно (понять, как можно потерять все документы, этого и он понять не мог; думаю, этого у них не понял бы и Ницше даже сумасшедшего периода творчества своей жизни), но сострадательно, а не осуждающе-недоуменно покачал головой, наморщил лоб, опустил концы губ и безо всякого моего письменного заявления об утере и прошения о вторичной выдаче тут же выхватил из принтера и выдал дубликат бешайда.

Дубликаты всех русских документов прислали через

пару недель мать и теща. Всех, кроме копий дипломов — теперь я знаю и сообщаю всем, кому может пригодиться: согласно существующему в России положению копия диплома о высшем образовании при его утере не выдается никому, никогда и ни при каких уважительных обстоятельствах. Поэтому, если Вам для чего-нибудь, — уж не знаю, для чего, мне он последние пятнадцать лет ни разу не понадобился, — ну, для самоуважения нужен диплом, потеряв его, не тратьте время на его восстановление, а сразу ступайте к метро «Арбатская», купите там на развале за два доллара пустую корочку диплома — и заполните ее по вкусу. МГУ, МГИМО, сельхозакадемия — не знаю, что вам приятно кончить, не начав. Печать... если соберетесь в Германию, вам ее может поставить любой из ваших бизнесовых приятелей со штемпелем — кто тут будет разбираться в кабаллистике кириллических букв, бегущих по кругу?

Через три недели для последней очистки совести я зашел в бюро находок. «Это ваше?» — сказали мне с радостной улыбкой, протянув оба наших диплома. Полицейский нашел их под мостом через Вертах. Больше он не нашел ничего — ни пакета, ни остального его содержимого. Только две корочки с непонятной кириллической начинкой. Загадочный мистический факт. В чем его целокупный смысл? Понятия не имею. Но свидетельствую: это было. На всякий случай.

После того как мы непросто, но все же сняли квартиру, — рано или поздно здесь это происходит с каждым, — мы должны были выписаться из хайма, для чего сдать полученные во временное пользование ложки-вилки-тарелки и постельное белье — под опись, для чего предъявить и саму эту опись с моей подписью. Но она лежала в злосчастной тютэ и исчезла вместе с остальными бумагами! Вебер наверняка не удовлетворится сдачей самих вещей по логике самих вещей, по количеству членов семьи, не сочтет без папиры вещей существующими, значит, сдачу их действительной — и не выпишет нас отсюда никогда.

Но кто сказал, что жизнь предсказуема и что немцы неживые? Вебер посрамил мою предвзятость. Он понял главное: я слезаю с его шеи, — и не захотел мне в этом ме-

шать. Пусть тот, кто, столкнувшись со мной, не поймет его нежелания мешать мне исчезнуть с его глаз долой, пусть тот первым бросит в него камень. Он составил новую папиру, помеченную старым числом, я подмахнул ее. И он принял по ней вещи и отпустил меня с Богом, шлепнув необходимый штамп. Последние слова, которые я в своей жизни от него услышал, были: «Все, что я говорил вам, я говорил для вашей же пользы. Если из встречи со мной вы вышли хотя бы то, что документы терять страшно, — считайте наше знакомство бесполезным». И сказаны они были благожелательно, непамятозлобиво, с едва ли не русской ухмылкой.

Но только когда я вышел от него навсегда, только тогда до меня дошло — он говорил только что со мной, он сказал все это — по-английски. Выписанный, я был отныне вверен не ему, и он мог позволить себе обнаружить знание английского.

Спи спокойно, воляйтер. Пусть подушка твоя наполнится сладкой горечью трав, павевающих покой альпийских лугов, откуда спустился ты нам на благо; пусть в спальне квартиры твоей, с положенной тебе по службе сниженной *miete**, квартиры, чья полная месячная стоимость да не вычитается никогда из твоего жалованья, во хладе спальни твоей, не топленной и зимой из рачительного попечения о кошельке своем и телесном здравии, перина твоя из чистого гусиного пуха, купленная мудро на зимней распродаже, защищает твой сон от видений.

Да не привидится тебе, честный Эмиль, как под покровом мглистой ночи, затмевающей бдительный взгляд сторожевой псецкой луны, выходим мы тайком во двор, влеча мешки с мусором, дабы свалить без разбору бутылки, пакеты и объедки в один серый контейнер с целью расстроить функционирование лучшего в Европе аугсбургского мусороперерабатывающего завода.

Поклянемся перед лицом спящего проверять и мы свою совесть на сон грядущий. Всегда ли выполняем мы

*Месячная плата за квартиру; в отношении хаусмайстеров и воляйтеров, имеющих чаще всего в подведомственном им доме дешевую квартиру. Германия, как ни странно, руководствуется знакомым принципом — «что охраняешь, то и имеешь».

ее строгие веления? Опускаем ли в серый контейнер лишь объедки и всякую гниль, в желтый — упаковки, тщательно отмытые стаканчики из-под йогурта и пивные банки, газеты же в зеленый, тогда как «естественные отходы»: восточки, листики, картофельные и свекольные очистки — в коричневый? Опускаем ли пустую стеклотару в специальные контейнеры для стекла, при этом: бутылки белого стекла — в один, зеленого стекла — в другой и коричневые — в третий? Запираем ли в ровно в 21 час входную дверь на ключ, чтобы не дать экстремистам, которых никто в глаза не видел, но процент которых известен, шанса бросить ночью в подъезд ненавистным ауслендерам бутылку с коктейлем Молотова? Тщательно ли пылесосим по очереди полы всех четырех этажей единственным, но мощным пылесосом фирмы «Зименс»?

Будем же верны своему наставнику. Будем, как он, верны в малом, — и пас, как его, поставят над большим.

Пойдем вослед.

Людьми станем.

Матери, аккуратно и своевременно опорожняйте содержимое горшков после отправления в них нужд ваших младенцев, после чего ополаскивайте сами сосуды.

Молодые переселенцы из Казахстана, поклянитесь и вы никогда не оставлять в душевой подвала после инъекции опиума-сырца одноразовых шприцов. Тщательно отмытые, должны они быть приравнены к стаканчикам из-под йогурта и дозам из-под пива; место им в желтом контейнере.

Клянемся. Клянемся. Клянемся.

Пред лицом голкипера аугсбургского рая. У изголовья Удерживающего.

Удерживающего караптинный щит между монголов и Европы.

Но не вбивающего между ними клинья.

Да и кто может, держа десницей щит, оставшейся шуйцей вбивать клин?

Тот, кто использует щит в качестве молотка, вбивающего клин.

Так говорящий — никогда не знал Вебера. Вебер не стал бы использовать никакое «одно» в качестве ничего

«другого». Человек, у которого все на своем месте, не знает слово «вместо».

Спи, доблестный Вебер.

Воцляйтер от Бога. Швабский житель от верхнего барца и нижней франконки.

Ниспешший с альпийских гор к нам, людям древлей запущенной воли.

7. ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Между тем месяц мы прожили в долг, и его надо было отдавать. Я брал деньги в рублях; в валюте их уже никто не давал взаймы без процентов, но рублевые люди еще находились, среди поклонников поэта даже в наше время — Россия! — находилась какая-то добрая, бесхитростная и слегка денежная душа. Среди плохих людей, которыми, по внимательным наблюдениям за собой не одного только Блока, по вине или беде рождения непреложно являются поэты, я выделялся относительной порядочностью, например, сликовозможной честностью в денежных делах, и не знал, гордиться мне этим или печалиться — могло статься, что моя неизбывная порядочность как раз и была знаком моей неизбывной поэтической второстепенности. Но это должна была рассудить история; сейчас же было время отдавать долг.

За мной было шестьсот тысяч. Курс доллара уже три дня стоял ровно на трех тысячах.

Я взял двести баксов из отданных Аконом и пошел в обменный пункт напротив через дорогу. Стояла рашняя ноябрьская тьма. Я увидел небольшую очередь и приготовился ждать. Сбоку подошел просто, но очень прилично одетый человек моих лет с грустными глазами грузинского интеллигента. С таким же интеллигентным акцентом на вполне литературном русском он спросил, не продаю ли я доллары, и предложил мне сделку, выгодную для нас обоих: купить у меня доллары по курсу, среднему между заявленным курсом покупки и курсом продажи. Это показалось резонным — зазор между обоими курсами был высоченный, чуть не в сто пунктов. К тому же не надо стоять. Я выпул две сотенные бумажки.

Он подвел меня к фонарю, взял купюры и принялся проверять их на свет, при этом аккуратно и странно складывая чуть ли не корабликами. «Можете не проверять, деньги из банка». «Верю. Но порядок есть порядок, извините». В этот момент к нам из темноты на свет выбежал мужичок с какой-то повязкой на рукаве. «Так. Незаконная скупка-продажа валюты. Ну-ка разбежались по одному, и чтобы я вас больше не видел, а то...» Советского путаного человека не надо долго стращать. Грузинский интеллигент протянул мне обе зеленых бумажки, и мы расстались быстрее, чем я успел спрятать их в карман. Очередь в обменный пункт как раз схлынула, я вошел и протянул обе сотенные в окошко. «Так. Два доллара. Шесть тысяч. Витек, у тебя мелкие есть?» «Простите, какие два доллара? Двести долларов, Вы хотите сказать?» «Мужчина, Вы пьяный? Посмотрите, что в руках держите!»

Только тут я взглянул на сложенные корабликами, а затем расправленные купюры. Они сохраняли следы грузинских манипуляций, они были те же самые, каждая по-прежнему гласила: «In God we trust*», удостоверяя, что в мире нет и не было другой такой религиозной страны, где не только малые мира сего — люди, но даже сами деньги верят в Бога; только в верхнем уголке каждой, где стояло «100», теперь стояло «1», а там, где две минуты назад стояло «one hundred**», теперь стояло просто «one». Два нуля исчезли — это бы ладно, ноль и есть ноль, но с ними за компанию исчезло целое слово! Этого быть не могло; он проверял бумажки перед моими глазами, крупным планом, в свете фонаря, я ни доли секунды не терял их из вида. Я посмотрел изо всех сил, вкладывая в свой взгляд всю волю к: «Туз выиграл!»; но невозможное стало возможным, оно материализовалось. «Дама ваша убита», — ответил мой же взгляд. Мне показалось, что единица на месте сотни прищурилась и усмехнулась. «Грузинская гадина!» — закричал я в ужасе и выбежал на улицу.

Но куды! что такое две минуты форы для профессионала в ноябрьской мгле! он растворился в ней, как соль в воде. Мир завалился во тьму; фонари потухли. То, чего не

*«Мы верим в Бога» (англ.).

**Сто (англ.).

могла сделать потеря нескольких тысяч, сделала потеря двух сотен. Я слышал об этом фокусе с подменой денег много раз, но — с другими, с дурачками, со мной этого быть не могло! и потом, повторяю, повторяю — я сам видел все открытыми глазами, прямо перед носом! И какое же привлекательное лицо было у него — лицо трагического поэта или абрека, Дата Туташхиа, но не вульгарного кидалы, мелко обманывающего предпоследних бедняков!.. Я шел домой, бормоча необыкновенно скоро: «Старуха, грузинская гадина, двести зеленых!»

Поняв, в чем дело, жена открыла было рот, но, взглядевшись в меня и поняв дело еще лучше, погрузилась в находящееся здесь же, к нашим услугам, молчание. Его было сколько угодно. Оно было проникновенным. То есть проникало в нас, а мы проникались им. За последнее время нас кинули дважды, один раз по-крупному, другой раз мелко и оттого совсем пакостно. Из деревни Кидалово в село Попадалово. Кто сказал, что бизнес интернационален и потому есть лучшая профилактика этнических конфликтов? Я готов расцеловать его за эти святые слова! Грузины не любили армян, но это не мешало тем и другим делать общее дело. Меня уже два месяца как уволили с очередной работы, и следующая на сей раз даже туманно не светила. На четверых у нас оставалось 900 баксов, после того как мы все-таки отдали долг следующими двумя сотенными.

Москва не Тамбов, более того, по педантичным статистическим выкладкам немцев, она вместе с Токио, Пекином и Гонконгом прочно удерживает первое — четвертое места в мире по дороговизне потребительской корзины*. Допустим, допустим, русский человек ползучее всех летучих драконов, он и в самом дорогом городе мира вчетвером проживет на \$900... месяца... если поднажмется, если без малейших излишеств, месяца... три? четыре? пять? Ну, а дальше? Дальше — тишина. Оставить без малейшего загашника семью с малыми детьми... и Бог попустил это... и, кажется, безо всякой нашей вины... не по грехам, значит, нашим, но только для того, чтобы кому-то что-то «на нас *явилось*»! уу-у...

*Имеются в виду данные до августовского дефолта 1998 г.

Дней через десять я заглянул в кошелек. Еще недавно здесь лежало ровно девять сотенных. Зачем я полез туда? Или не знал, на что жили мы целые десять дней? На что надеялся я? На то, что доллары, в отличие от рублей, неразменны? Напрасны, глупы были эти надежды... И тут, да, тут, какую-то недолгую вечность спустя — в меня *вошло*. Шестов назвал бы это апофеозом беспочвенности, но не дай Бог никому пережить этот апофеоз. Я не мог сидеть дома: здесь, где вся семья была неотступно перед глазами, меня неотступно же преследовала мысль, что мы неизбежно умрем через некоторое время голодной смертью — да, именно *голодную* смертью, я мог даже высчитать, когда именно; и я рвался на улицу.

Но улица пугала меня еще сильнее, прохожие тревожили обращенными словно бы на меня одного недобрыми взглядами; особенно же не мог я стоять в очереди в магазине, все казалось, я сейчас свалюсь от напряжения, от изнурения: жизнью, продавца-продавищица-ми в когда-то белых их зондерхалатах, голосами их, впадающими то в маниакальную агрессию, то в депрессивную вялость, запахами смерти, распада полутухлого, задохнувшегося сырого мяса.

Хуже всего было в метро: пока я стоял в ожидании поезда, я ждал взрыва из оставленного кем-то на скамейке свертка, когда же ехал в поезде, то ждал — вот-вот начнет пожар из-за неполадок электропроводки или опять-таки рванет; но страшнее всего было ступить на эскалатор и затем ждать целых полторы-две минуты, пока поднимешься или спустишься: сколько раз за это время он мог обрушиться под нечеловеческой тяжестью человеческой толпы — и все мы полетели бы в бездну, перемалываемые по дороге с хрустом и чавканьем всеми зубьями и шестернями, скрытыми за лживо-успокоительной, якобы прочной ступенчатой лентой эскалатора. Я не мог понять, почему так спокойны окружающие; неужели до них не доходит, как легко происходят все эти ужасы, как они правдоподобны в мире техники, сделанной всего-навсего человеком, в пост-человеческом мире, в пара-человеческом его заповеднике, в зоне до-временной аварийности.

Неужели их успокаивает то единственное обстоятельство, что пока еще с ними ничего не случилось? Да ведь это значит только: тем с большей вероятностью вот-вот случится! ведь оно держится только на Божьем честном слове, которого Он к тому же не давал, ведь попустил же Он разорение моей семьи — а чем я виновнее большинства людей, стоящих рядом на эскалаторе, именно что лестнице-чудеснице, коль скоро она еще не провалилась, — впрочем, было уже раз, когда, — еще при советской, в таких-то делах хоть какой-то власти! — на «Авиамо-торной» поставили новаторские пластмассовые заклепки вместо металлических, и лестница-чудесница полетела, свернувшись жгутом, и сколько их упало в эту бездну?! а пожар на «Октябрьской»? а взрыв в перелете «Тульская» — «Нагатинская»? — и кого это научило?

Да, но я ведь, я сам еще недавно не боялся ничего, как и они; так что же; я был, как и они, во власти автоматизма, колдовской инерции. А сейчас я освободился, в отличие от них я ясно вижу действительность — и это ясное видение не дает мне жить. Именно-именно. Ясное-то видение они и называют безумием. Но разве не безумными считали они всех первооткрывателей? Что там, разве не безумны христиане с точки зрения иудеев, веруя в человека как в Бога? Человека, сказавшего о себе, что он видел Авраама, жившего за сотни лет до него? И разве не безумен сам Бог, если, зная человека лучше, чем я его знаю, — а уж я-то его знаю, я знаю *себя*, а значит, и нас, всего-навсего 5 миллиардов таких, как я, *нас*, и знаю, чего от меня и нас ждать! — если Он все же верит в человека настолько, что требует (и терпеливо ждет, когда его требование исполнят) и от него в ответ — безумно отважной веры?

Свет истины открывается лишь безумцу, потерявшему разум в поисках Разума, — и делает жизнь невозможной. Я захотел умереть, но сначала должен был обеспечить семью наперед, а я не знал, как обеспечить ее дольше, чем на считанное количество недель. Я вдруг понял Раскольников — и понял, что понять его очень просто; литературоведы насчитали сначала сколько-то мотивов преступления и теперь решали, какой объявить истин-

мым, а какой подменным, — а нет бы самим недельку-другую пожить в его шкуре, чтобы разуть глаза: у интеллигентного, чувствительного молодого человека от кошмарной тупиковой нищеты при нарождающемся диком капитализме поехала крыша — а чего же еще ждать? — а если помножить серьезность прибабаха на его изнуряющую длительность, вытягивающую мозг из костей, требуху из потроха, если бы, то есть, я был в таком состоянии не неделю, а, как он, уже давно, если бы, значит, мы *все уже давно съели*, — то совершенно не важно, какой мотив сам собой сочинился бы в голове, чтобы только оправдать немедленную необходимость действовать! невозможность не действовать более! изменить ситуацию! взорвать все к чертям; но вернуть себе утраченную способность жить, не сходя с ума в полуголодной хмаре от представлений о дальнейшей неизбежной участи.

Представим, что Раскольников захотел только ограбить старуху-гадину (ведь она несомненная гадина, так или нет?), но при этом не убивать ее, — и изобрел бы, как это сделать. Правдоподобно? Вполне. Что ж, оправдал бы его в этом случае Достоевский? Да ни Боже мой. Конечно, Раскольников меньше преступил бы, не убив, — но все равно преступил бы как следует. Потому что Достоевский отстаивает сам принцип: неча валить на то, что «среда заела», а человек в себе самом должен иметь Божью правду и т.д. Так. А наши литературоведы — оправдали бы? Еще чего! как можно лезть вопреки Достоевскому в пекло? Потому что не жизнь их учила, а Достоевский. Учивший «довериться жизни», да так ничему и не научивший.

А вот меня жизнь научила, может быть, и дурному, но я заглянул в себя до зела — и душа моя уязвлена страданиями стала! да, собственными страданиями, но чем собственные страдания меньше любых других? и скажу честно, не боясь никого, хоть даже Достоевского, — если бы я только знал, как *взять* банк, да-да, как ограбить его, не убив никого и не попавшись самому — я ограбил бы, взял бы деньги. По тому же самому, почему и Раскольников: потому что старуха — гадина, и мне не стыдно брать ее (даже не ее, а неизвестно чьи) деньги. От нее никогда не увидет,

зато мои домочадцы долго не помрут. Преступление? Какое преступление? Я никакого преступления не совершал, а только не знал, как взять банк безнаказанно; но в своем случае пришел к безотлагательной необходимости действовать — и любимыми эффективными способами — быстрее, чем Раскольников.

— Ты можешь выколотить долг из Акопа? — спросил я монаха-охранника. — Совесть позволяет?

— Совесть-то позволяет, — ответил он, — да привычки нет. Какой-никакой, а я бывший монах. Я, понимаешь, привык, что мне не позволено мышь убивать, а ты мне предлагаешь человека прогладить утюгом, чтобы задымилось в области живота.

— Да это не человек, а клоп. Кровосос. Его сам Бог велел давить.

— Это вопрос открытый, сотворено ли в этом мире Богом хоть что-то, что Им же велено было бы давить. Конечно, ежели зайти со стороны принципа икономии*, то клоп — он хоть и живой, но если он тебе как раз этим самым жить мешает... Ну, а с точки зрения принципа акривии** — мне и клопа не велено было губить. Да в мюнхенском монастыре клопов и быть не могло. Я считаю — это лучшее решение вопроса. Так что не все так сразу. Дай пообвыкнись к новой жизни.

— Как же ты охраняешь?

— Да по факту. Просто сижу и охраняю. Мне платят, чтобы я сидел с грозной рожей в камуфляже, я и сижу. В камуфляже. Фактура у меня хорошая.

— А если нагрянут с «калашами»?

— На все Божья воля.

— А твои действия?

— Помирать. Как там этот сказал тому, в декабре октября: «Ах, как славно мы умрем!»... Как их, не помнишь? кто кому? Бестужев Марлинскому или Азадовский Завадовскому?

* «Икономия» — от греч. «oikonomia» (в новогреч. форме «ikonomia») — «домостроительство» — зд. принцип применения церковного права «по возможности», делая разумную уступку житейским обстоятельствам в целях эффективности.

** «Акривия» — от греч. «akribia» (строгость) — принцип максимального соблюдения буквы церковного права.

— Кажется, Якубовский Якубовичу... Но кроме шуток.

— Какие шутки. Сижу и молюсь, чтобы миновала чаша сия. Пока мне самому не выдадут «калаш» с лицензией. Говорят, с той недели на стрельбища, а как научат — дадут.

— Да, тогда, конечно, проще.

— Не скажи. Тогда-то и начнется проблема нравственного выбора. Принципа икономии или акривии. Хотя были же монахи-воины. Почитать хоть Авраамия Палицына об осадном сидении Лавры. Или еще раньше — Пересвет...

— Я тебя умоляю, Пересвета оставь в покое... Хоть пугнуть его ты можешь?

— Ничего себе «хоть». Пугнуть-то в этом деле — самая сложная вещь и есть. Пугнуть надо так, чтобы клиент, бывалый, понял, то есть такой, что его на понт не возьмешь, сразу просек: с ним не шутят. До такой степени сразу, что без дальнейших разговоров побежит и принесет тебе деньги. Потому что дважды пугать — только смешить. Притом, если у него крыша, пугать его бесполезно, будет спокойный разбор, и не с ним. Нужен толковый терщик. И это не я, зельбстферштэндлих.

— Что же делать?

— Я вообще патриот. Но тут советую поступить по-немецки. Не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалисту.

— А у тебя есть?

— Есть один, дальний родственник. Владик. Папа у него был полковником еще в ГБ, сына пристроил уже в ФСК, но парню на жизнь не хватает, двадцать семь лет, дело молодое, а чего там нынче взять в чине капитана? То есть нам бы с тобой хватило на обоих, но мы кто? Я вот хоть и в охране, а до сих пор пью водку тульскую «Левша» или курскую «Исток».

— Так ты же этого и хотел — вернуться к истокам? Или я тебя не так понял?

— Да нет, меня-то ты понял как надо. Хотя я бы не возражал, чтобы истоки были кристалловски чистые. Но я человек постный, я и такую поню, а у него эта... как там ес... типа — жажда жизни. Словом, Владик, по слухам, за-

нимается делами типа твоего. Кажется, из 50 процентов. Ты как?

— Да пусть хоть так. Но хотя бы — 50 процентов от результата? Без аванса? У меня авансы поют романсы.

— Я узнаю. Глядишь, возьмется. Какой ни есть, а он родня. Но имей в виду — я его в деле не видел, это все были и небыли. Были и сплыли...

— Ответственности не несешь. Действуй, родной мой, действуй!

АККОМПАНЕМЕНТ

(На языковых курсах — преподавательница, нам):

— Сегодня мы с вами будем играть в обычаи — я говорю, вы вставляете немецкое название того или иного народа. Итак, первый вопрос. Кто всегда пьет чай с молоком — французы, немцы или..?

Аусзидлер Вахенрот из Акмолы — радостно:

— Казахи!

(Там же, она же, тем же):

— Аллес кляр?*

Флюхтлинг Альтишулер, повар:

— Натюрлих.

Его жена — вполголоса:

— Что она сказала?

Он:

— Ты что, даже этого не понимаешь? Все в кляре**!

(Там же, все те же):

— Я буду спрашивать, что вы любите пить по утрам, а вы отвечайте. Итак. Вы, херр Трофименко?

— Я пью чай.

— Вы, фрау Либрейх?

— Я всегда пью кофе с молоком.

— А Вы, херр Аронсон?

Аронсон часами на одной ноте, негромко, но отчетливо отчитывает жену за нерадивость и бестолковость. Она нервно

* *Alles klar?* — Все ясно?

** Приготовить в кляре (*кулин.*) — обжарить, обваляв во взбитом яйце.

парирует, бесплодно пытаясь сбить его с панталыку. Это постоянный фон занятий для сидящих рядом.

— Так что вы пьете по утрам, херр Аронсон?

Громкий шепот-подсказка за спиной Аронсонов:

— Кровь-своей-жены.

8. ПО ДУШАМ: ОЧНУВШИСЬ И ВСЛУШАВШИСЬ

— ...мся к Мандельштаму. Чем он, простите, подкупает — скромно и ненавязчиво? Тем, что решил квадратуру круга: как устоять в точке проясненного греха-ада, не идя наверх, но и не скатываясь вниз. Ведь это же главная вещь!.. Вы православный, говорите? Вот я вас и спрошу, как православного еврея русский агностик, — по агностик русский, то есть на всякий случай совавшийся и не в свое религиозное дело: помните, как у старца Силуана? «Держи свою душу во аде и не отчаивайся!» Вот — точка отсчета ясного видения. Но попробуй жить во аде, не отчаиваясь, когда отчаяние и есть первейший предикат ада! Силуану это, возможно, благодатно, а прочим? Но вот Мандельштам — стоит. Стоит в черном бархате всемирной пустоты. Стоит в Элизиуме теней. Стоит от начала до конца в царстве сухости, без живой влаги. Интересно, сам он осознавал это противоречие собственного опыта и опыта своего кумира Данта, в аду которого хлещет ледяной дождь?

Сухость. Без конца это слово. На дне сухого Стикса. Дыша сухою влажностью черноземных га. Ворожа сухими губами. Находясь по ту сторону неба и земли, где нельзя дышать и твердь кишит червями, где только черпый бархат советской ночи — мачехи звездного табора накинут на хоронимое солнце! где воздушный океан — вещество без окна. Воздух просится на свежий воздух — а нет окна, ни форточки! ни дна воздушной ямы, ни гробовой покрышки в яме земной! Что дает ему силу дождаться вести-светопыльной обновы с небес — в безвоздушном воздухе, на земле, стоящей ему десяти небес, а вместе и под землей, в земле, губами шевеля? Почему он не задохнется с облегчением от астмы, а все борется за воздух

прожиточный? С какой стати должен, нет, как может он жить, хотя дважды умер, пусть это сказано много позже — но ведь мы-то же с Вами чувствуем, что и раньше он-таки непременно *уже* умер.

Ведь его писания еще 20-го года, за несколько лет до облома с этою Вакселью — это уже явно: немислимый, потому крайне редкий, но — достоверный — и потому полувнятный репортаж *оттуда*, из чертога теней, голос если не прямо из Элизейского хоровода, то со здешнего Элизейского подворья теней (и как это в нем почувствовал Тынянов, что из области теней могут *сюда* просочиться только «тени слов»! и как он сам горячечно отбрыкивается в письме к тому: но-но, какая я вам тень? я еще сам отбрасываю тень! — а на воре-то шапка горит), топчущих нежный загробный луг, где бессмертник не поет (но бессмертие-послесмертие *есть*) — а мы еще сетуем, что оттуда никто не возвращался и вестей не доносилось! — немой голос человека, совершенно, до сухих белых косточек истлевшего, воображимого только в муаре черно-бело-золотой, бесплотной, потусторонней вашей еврейской графики (теневого кабинета европейского искусства), но и — всю, до мозга сухих костей живого человека! Так что дает ему жизнь внутри смерти? И откуда его смерть при жизни?.. Треснем, а? Треснем?

— Что-то пока не хочется.

— А мне, думаете, хочется? Но — понудим себя. Без саможаления и самопотакания.

— Понудим, так и быть. А ради чего?

— Да именно ничего ради. Вы, может быть, считаете тривиально, что человеческая высота определяется высотой цели. А я тривиально стою на том, что в человеческом мире нет ничего выше бескорыстия. А что же есть абсолютное бескорыстие, как не полное отсутствие цели?

— Уговорили. Но хоть — за что?

— Почему никто никогда не добавляет: и против чего?.. За гремучее «God bless»* бредущих веков, за что же еще. За гребущее племя людей. Против загребущего.

— Принято. Вообще-то я нечасто видал толком пьющих филологов...

*Господи, благослови (англ.).

— А что, ежели, значит, вагнер — то уж и не человек? Уж и в Бога не верует, и водку не пьет?

— Я не сказал просто — пьющих, но — с толком. При серьезном количестве и немалой длительности важен... как же его... — о! вектор. Одно дело — по-простому натёпаться в стельку. Другое то же самое — по-интеллигентски нарохаться в дупель. Третье дело — короткий маршбросок-побег на рывок с последующим всенощным подлетом к потолку. А совсем иное, чем первые... три? трое? совсем-совсем иное, верите ль рыбаку, узревшему рыбака — на длинной дистанции с полной выкладкой доклюкаться со вкусом до неподдельного офаустения...

— Увы, с утренним синдромом острой офаустиненции... А что, в последнем случае обязательно быть избранным составить свое «Избранное»? для чего уметь взять вслух три собственного сочинения дактилических аккорда?

Надулся. Не люблю, когда на меня дуются. Что ж за задача такая, Господи: хочешь сделать приятное, говоришь комплимент — на тебя обижаются. И вечно так в моей дурацкой жизни, вечно чувствуешь себя виноватым из-за такого пустяка, как я. И хотя бы компенсация какая; например, наоборот: хочешь сказать что-нибудь обидное — делаешь приятное человеку. Куда там, тут тебе полное и прямое исполнение желаний. Только захоти обидеть — обидишь за милую душу, и никогда — наоборот. Ну, так и мы обижаться мастера. Издевается, гад, — и над кем? над своим же братом-словесником.

— Дактилических, говорите? А может — птеродактилических?

— Глядя на вас — дидактило-скопических.

— А может, уже сразу — скопческих?

— Ну, зачем же сразу. Мы подождем до непременного чтения Вами своих стихов. Я кладу на это еще максимум две рюмки.

— Не дождетесь, господин хороший. Не дожде-те-сь! и после третьей лишней.

— Искренно хотел бы надеяться.

— Подлинно: есть у тебя друг блондин, только он тебе не друг блондин, а сволочь. А еще говорите о чужом асфетидстве.

— Простите. Когда бьют филологов — когда не я сам их, нас, бью, — я по пьяни всегда обижаюсь. Комическая черта, да?

— Да будет вам. Кому дуться, так это мне. Но я думаю: брось, в кои-то веки попался человек с перчиком, выпил, крикнул — и говорит с приподкрячинкой... Нет, я тоже согласен со всеми нами, что спортивное отношение к половому общению безнравственно, но я старый вокабулярный жук и не согласен, что ровно так же безнравственно и спортивное отношение к общению словесному. Надо отличать потребное потребительство от непотребного. Попасть в ритм, в драйв, покачать осевшие речевые мускулы — что ни говори, а в нашем возрасте что еще-то осталось от удовольствий жизни? Еще говорят, что пьяный лыка не вяжет. Да я никогда так лихо не вяжу лыка, как будучи кирякми! Честно, очень не хотел того, — и говорить не хотел, — но давно мне так в пас не умничалось, как сегодня — если учесть к тому же еще мои обстоятельства, о коих умолчу... Нет, в самом деле, кончайте мрачнеть... Так откуда?

— Что — откуда?.. А! да. До конца сам не пойму. Но у него это — есть. Он — может. Вы — не знаю. Я — нет. А он — может. Почему? А? Я вам вот что скажу, на ухо, наклонитесь: не без того, что он имеет безопорную точку опоры.

— Простите?

— Ну... Скажем его словами: он — «потерял себя». У него больше нет личного самостоянья. Он лишил себя возможности на себя же — опереться. И не строит иллюзий. И вряд ли знает точку опоры в Боге. Это ведь только сейчас каждая гуманитарша-гуманья-иня, стоит ей воцерковиться — если занимается кем, то и подопечный ее любимый сразу, ясное дело — христианин. Рази ж не ясно, у него же вот тут прямо сказано: «Божье имя вылетело из моей груди», да к тому же он сам покрестился, хоть и в лютеранской кирхе. И вот: «Э!» — говорим мы с Петром Ивановичем! А я вот лично у себя в Питере Ивановиче знал таких умных, и сознательно крестившихся, и хорошо пошедших — а дальше забредших куда Макар телят не гонял, где одни астральные клочки летят по рерихнутым закоулочкам — от большого ума, по малому своеволию да по великой пьяни с болотной смури... И из этого выводы выводить?

А мы вот не будем играть себе в поддавки. Мы будем выводить только из несомненного: знал он Бога, нет ли, но себя он знал — и невысоко ставил. Но голову задирал — высоко. От чего же? От чувства, как он формулировал, поэтической правоты. Поэтической, но не *своей*. Он не знает Бога, но знает — и это уже много, уж вы-то повидали поэтов — некий *иной*, внеличный источник правоты. Им владеет двойное чувство: полнейшей личной неправоты при полной имперсональной, всепоэтической правоте. Он онущает в себе оба эти начала-концы и хватается за них одновременно. Разумеется, его левая рука повисает в пустоте.

Но, между прочим, повисает и правая — Бог, видя, что человек способен *внимать* и потом не переименовывать, отнимает у него и чувство поэтической правоты, лишает его не только чаши на пире отцов, но и чаши на своем собственном пире, источника «веселья и чести *своих*»: после истории с Ваксель паш О.Э., рожденный гением в девяносто одном, просто не может выдавить из себя ни одной — буквально — поэтической строчки.

Как Савлу, ослепшему из-за гонения Христа на три дня, ему посылается поэтическая немота — на пять лет! вы-то ведь понимаете, какая это пытка — отсутствием электротока? когда от всего человека остается одна «беспомощная улыбка человека»! только подумать — как он эти годы жил и выжил? другой бы из капавы не вылезал. А за что? За — чтоб понял, наконец: человек один, и человеческое предательство едино и не мерится «ковенцией Вронского», когда в ГБ закладывать нельзя, а жеп бросать сам Бог велел, и человек *любое* предательство свое должен оплачивать до упора, до сокрушения чрева, до самого дорогого, что в нем есть, в данном случае — чувством уже не только советского, но *внутреннего* бесправия, последней поруганностью — утратой лиры звонкой. Это когда Цветаева творила что хотела и даже чего, может быть, не хотела, а писала все лучше и лучше, что только укрепляло ее — при свете совести, заметим-с! — в допустимости самой адской вседозволенности для поэта. Не дали ей при жизни вразумления, жалко, конечно, но — почему не дали? А потому, что все равно — *не услышала бы*.

А этому — кулак в рыло! такой здоровенный фауст*, чисто фаустнатрон! Потому — увидели отсюда, что этот — поймет, что его — есть смысл разрушать до оснований. И вот, когда исполнилась мера его вавилонского пленения, когда Бог видит, что человек — пусть он и не знает еще Его, да и как, когда Он только Сам может открыться, кому пожелает? — пусть у него сдет крыша и всякий нерв болит и воеет, но — он стоит во аде и, даже если отчаивается, все равно *стоит*, и в точке отчаяния он все равно называет вещи своими именами, все равно не ищет утешения в самообольщении, он больше не движим *своим*, он и в отчаянии не заслоняется своим величием и безмерностью, которые на что-то там такое «дают право», а беспомощно улыбаясь, прислушивается к чему-то в себе *не своему*, — когда Бог видит: этот человек до конца кончен — и тем только начат снова, ему можно, как ново-рожденному, и Свой пальчик показать, чтоб он *увидел* — и засмеялся. Потому что не защищен — сам собой же.

Поясню. Возьмем главную предательскую пару — Иуду и Петра. Стоит ли говорить, что отступничество по слабости — тоже чистейшей воды предательство, особенно в этом случае — ведь от *кого* отступаешься? и что только что сам о себе Ему говорил? Но почему Петру, в отличие от Иуды, уготованы прощение и дальнейшая великая судьба? Оба они после предательства — в полноте ада: в точном знании, что они — в аду. Вообще-то мы все — в аду, мы рождены в нем, хотя и не для него. Но в аду мы только, когда *понимаем* это... пойми мы, как сказал один красиво умирающий литературный герой, что мы уже в Раю — и тут же станем в раю... Да, и вот, значит, один вешается, чтобы убежать из ада, еще не зная, что из ада, самоустраившись, переставишься можно только в ад же, то есть вообще самоустрапиться — невозможно. Но он не знает; он знает одно, он полон *собой* — и не в силах вынести мысль о собственном ничтожестве, о себе, столь низко «согрешившем на небо и пред собою» — и потому отныне больше никем — и прежде всего собой — не любимом. Петр же — «плакал горько». Он и в предательстве — любил, и никакое *свое* ничтожество не в силах было затмить Любимого, саму силу любовного влечения, и страшная

* *Faust* — кулак.

сила любви дает Петру живую влагу слез, а Иуду стубило сухое отчаяние... на сухой осине... Что? что так смотрите? пошла уже навязчивость, да?..

— Баню — любите?

— Что? баню? какую еще баню?

— Русскую — против тутошней сауны. Влажный пар против сухого.

— А-а... Вы еще и психолог. Сейчас заведете о русском коллективном бессознательном во мне. Нет, русская интеллигенция как на Юнга села, так на нем и сидит — и дальше, в настоящую-то душу — не лезет. Ей все подавай престарелых кудесников.

— А я вот баньку люблю... Вы какой веник предпочитаете — березовый или дубовый?

— Дубовый, допустим. А вы березовый?

— Нет, я-то дубовый. Широкий, мягкий. Но я же не русский. Большинство русских любят сечься березовым. Отчаянные мазохисты. Но извините. Продолжайте.

— ... Да, давайте-ка пока оставим взаимные любительские психраскопки. Так вот, как Петр, и Мандельштам. Что-то, пусть искаженное преломлением, но Божье, не пустое, прольется сквозь него в мир, как сквозь стекло. Тусклое, если смотреть Оттуда, а отсюда — сверкающее. Как витраж снаружи — и изнутри. Может быть, это точка безумия, а может быть, это совесть его: неподвижно *стоять* в нулевой точке самости, точке признания-никого-не-винения, что ты изолгался на корню, сжигаясь огнем ада, но из-за последних сил стоять, не сдвигаясь в утешительный-огнетушительный детский соблазн своей всегдашней правоты и не отказываясь даже под пыткой от не-своей правоты поэтической... Невнятно излагаю? Потому я и не Мандельштам. Ведь что такое, в сущности, поэт?

— Вот-вот. Хотелось бы знать, наконец, что он такое. И именно, именно — в сущности. А то мне тут давеча один тоже интеллигентный человек — такие, знаете, урожайные дни — больше года сидишь в медвежьем углу диаспоры, где трио «Джими Хендрикс Экспириэнс» не отличат от трио «Ламберт, Хендрикс и Росс», а Ролана Барта от Джона Барта, не говоря уж о Карле Барте, то есть просто не было ни гроша, и вдруг за последние два дня два алгына! — давеча, тому как два дни, один интеллигентнейший госпо-

дин, не хуже вас, не думайте, из бизнесменов, доходчиво объяснял, что поэт — не есть. Такая апофеизация вполне уместна в его положении. Он — кто такой, чтобы быть с поэзией на короткой ноге? Как совершенно непонятно, но вполне доходчиво шутят немцы, was versteht der Bauer in Gurkensalate?*

Но Вы как бераатор поэтдепартамента просто обязаны дать мне катафатическое определение поэзии — только попрошу, чтобы по существу.

— Презираю. Не вас, но вашу еврейскую иронию. В пикку ей продолжаю, как и начал — серьезно. В случае с поэтом всегда видна разница между «ясно», «просто» и «легко». Совершенно ясно, что есть поэт и в чем его задача. Но при этом поэтом быть не то что непросто, а совершенно невозможно, ежели ты не поэт по природе, как бы ни версифицировал и ни мистифицировал. Но если ты родился поэтом — тогда не быть поэтом тебе невозможно, хотя бы ты и перестал писать.

— Вот и он мне давеча так говорил.

— Кто, бизнесмен? Молодец парень, не зря пошел в бизнес. В случае, ежели ты поэт, достаточно жить как живется и в конце жизни умереть. Это просто, но — крайне нелегко. Ясно же — что? Поэт — это кто достаточно безумен, чтобы увидеть истину прямым безумным зрением, когда покров земного чувства снят, — и одновременно достаточно разумен, чтобы узрешнюю истину со-общить, пусть не понятийно, но удовлетворимо образно, музыкально внятно для земнородного — для нас, и даже для себя самого. Причем это вовсе не обязательно безумно, непонятно *выглядит*. Выглядеть может просто. Невинно. Так это — выхожу один я на дорогу и все такое. Чтобы кому так проще, тот сказал: все гениальное просто. А я вот до сих пор не понимаю, что такое — «но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть»? Как это — заснуть *навек*, но не сном могилы, а «чтоб в груди дремали жизни силы»? Не латаргический же сон он имеет в виду! а тогда что? Пусть мне кто-нибудь объяснит, только внятно, без дураков. И при том я чувствую — это именно без дураков сказано: он знает что говорит. Да... Так вот индивидуальная пропорция безумия и разумения-то и определяет на вкус чувствуемую разницу между одним подлинным поэтом и другим. Понятно, что, если меня интере-

*Что понимает крестьянин в огуречном салате?

сует глубина соприкосновения с реальностью, стало быть, глубина безумия, я необходимо должен принять сопутствующий благодатному безумию недостаток благодатной ясности=музыкальности выражения — предпочесть позднего Мандельштама Пастернаку. Но в любом случае поэт необходимо под- и над-человечен в видении и слышании — и необходимо человечен в со-общении, выражении. Разумеется, он всегда виноват в том, в чем его корят его женщины или мужчины: в неверности, двуличии. Как ему не быть двуличным, когда он двуглав, ежели не двусердечен?.. Но Поэт говорит несказанно, я же могу лишь несказуемо брызгать слюной после литры выпитой.

— Не прибедняйтесь.

— Как скажете. Не буду.

Теперь лицо его, доселе покрытое по бледной основе неопрятно-хаотичными красными пятнами, приняло ровный, по-своему благородный пурпурный тон. Тон исполнения сроков, когда осмысленно пьющий обретает высоту печали и с ней высоту самодостаточности — и падает с этой высоты камнем, сбивающим любой замок. Но и я принял уже довольно для того, чтобы отключиться от собственных тревог, и начинал приобретать тот спиритуально-спиртуозный интерес к другому, то острейшее пятиминутное чувство близости, когда ты подставишь за ближнего свой живот в драке, а назавтра не вспомнишь, из-за кого тебя чуть не убили. Сейчас скажет, подумал я. Сейчас скажет.

АККОМПАНеМЕНТ

В немецких продмагах в очереди к продавцу-кассиру, где де-вать человек из десяти идут с колясками, забитыми снедью, чтобы не отвлекаться лишний раз от жизни на такую ерунду, как закупка продовольствия, принято пропускать тех, кто идет с какими-то случайными пустяками в руках, вперед себя. В магазине «Лидл» человек с лицом последнего пропойцы, одетый, как последний пропойца, в тряске и ознобе последнего пропойцы берет пять литровых картонок самого дешевого красного вина по 1.59 и швыряет в коляску, где лежит уже 200-граммовая упаковка нарезанной дешевлешей вареной колбасы за 1.29 и полкило самого дешевого хлеба «Тостброт» за 79 пфеннигов, тоже нарезанного. Очевидно, это его дневной рацион — с ним он ка-

тит к выходу. Встает в очередь, продолжая трястись и свесив голову на грудь. За ним появляется женщина без коляски, с одной только пачкой тампонов «o.b.» в руках. Ханыга выпрямляется, приобретая твердую осанку, и тоном, полным достоинства и учтивости, говорит:

— Darf ich Sie vorlaßen?*

И делает плавный жест рукой. Не видел болсе величественной сцены.

— Ну как, похвастался сегодня своим новым плеером?

— Прям! Приношу его в класс, вынимаю, думаю, сейчас как налетят: «У! «Сони!» Куль!** Сколько?» А они хором: «Как ты смеешь? Ты разве не знаешь, что нам запрещено приносить в школу электроприборы?!»

—

— Сегодня наш класс (4-й) голосовал: кто хочет схать после-завтра на целый день в Фюссен, вокрут Людвиговых замков по горам лазать. Десять были «за», девять «против», пять воздержались. Тогда училка говорит: «Решение принято большинством в один голос. Мы живем в демократической стране, и поэтому все едут в обязательном порядке».

Иду. Навстречу мне страшный панк — огромный, вонючий, в драной коже с заклепками, с зеленым индейским оселедцем на выбритой голове, с кольцами в ушах, бровях и на кончике языка, с физиономией, плотно, по-филоновски, включая веки, открытой разнообразной татуировкой. Далее следует разговор:

— Entschuldigung, könnten Sie mir bitte etwas Kleingeld geben?

— Es tut mir leid, ich hab' nichts.

— Danke***.

— Завтра еду на рыбалку. Под Ульм.

— На Донау****?

*Позвольте пропустить вас вперед?

**Cool (звмств. из англ.) — круто.

***— Извините, не могли бы вы дать мне немного мелочи?

— Сожалею, но у меня ничего нет.

— Благодарю (за то, что я вообще снизошел до ответа, мог бы пройти мимо, не моргнув).

****Donau — Дунай. На сегодняшний день в Аугсбурге я знаю только одну семью ауслэндеров, кроме своей, где еще называют по-русски средиземную реку Дунаем.

— На Донау, само собой.
— Меня возьмешь? С дома не рыбачил.
— А у тебя права есть?
— Водительские?
— При чем тут... Права рыбака.
— А у тебя?
— Само собой. Четыре месяца курсов. Раньше было 860 вопросов. Теперь 920. Каждый отвечает на выборочные 32. По подвидам «биология рыб», «отличительные признаки пресноводных рыб», «германское законодательство о ловле рыб»...

ННР

Реклама кондомов на трамвайной остановке. Желтый кружок презерватива, изображающий сердцевину ромашки с наполовину оборванными лепестками. Сверху надпись: «Он меня любит, он меня не любит, он меня...» Под ромашкой: «Прими участие».

А мосму парню уже одиннадцать. Наконец дышу спокойно — в его возрасте о таких вещах уже не спрашивают.

9. ПО ДУШАМ: ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЫСЛУШАТЬ ИСТОРИЮ?

— Да, о чем я? Не о Манделштаме же, в самом деле...

— Вообще-то вы говорили о том, что ежели не совершить преступления, то конкретно себя не узнаешь. Останешься абстрактным человеком. Не грохнешь старушку, то и не поймешь про вошь.

— Что вы понимаете? Достоевский — тот кое-что понимал... но именно только кое-что. Можно совершить пару убийств — и жить-поживать, но одно невольное предательство... Хотите, я-таки расскажу вам одну литературную историю?

— Не хочу. К тому же у меня скоро самолет.

— Правильно ведете себя. Вот потому-то я ее и расскажу к разедакой матери. Из вредности. Литературная история из жизни.

— Вашей?

— Или одного моего приятеля, не все ли равно, как говорил Атос. Почему бы не выслушать историю? Самолет без вас не улетит.

— А если?

— Тогда... тогда вы сами его к этому вынудите. Что вы так уставились? Спокойно, это еще не белая горячка. Я, правда, в калифорнийских пенатах отвык от столь тяжелой алкогольной атлетики, но... я только хотел сказать: может, вы и не хотите в эту гребаную Москву? Мало ли. Опасный город-с. А мысль материальна, правильно? Ну что смотрите, это неизбежно, если верить, как мы с вами, что, наоборот, материя одухотворена; так или не так? И вот материализуюсь я, захожу с вами пьяную беседу, и вы в полном согласии с естественными законами, то есть законами естества, с пьяныги опаздываете на самолет... да и тьфу на него, самолетик-то компании «Аэрофлот», сказать по совести, давно пора списать по аварийности, пока все живы и еще не поздно...

— У меня билет на «Люфтвафзу».

— О-о. Значит, долетите живьем. Умеете жить, для русского поэта. Ну, а там, в этой Москве-то самой — тоже ведь надо еще уцелеть...

Что вы все паялесь? Лучше слушайте. В некоторое полulegenдарное уже, но нам, старикам, еще памятное время, в некотором советском царстве, в не стольном уже, но еще желанном и труднодостижимом для многих городе Санкт-Петербурге жил один молодой ученый. Учился в ЛГУ, защитился там же, однако же за Питер-град не зацепился, зане был человек в этом смысле лопуховатый, не житейский, а был послан в один из созидаемых тогда, на рубеже шестидесятых-семидесятых, в одночасье по всей имперской поднебесной провинциальных университетов, в один волжский город — индустриальный гигант, послан в глубинку, однако же заведовать кафедрой теории литературы. Сразу заведовать кафедрой! причем не прилагая усилий к тому, а — просто так уж легли карты, так уж удачно пересеклась линия его личной судьбы с линией научно-культурного государственного строительства! неплохое начало ученой карьеры, то есть надо согласиться, что герой наш был человек, может быть, и не житейский, но за то и Богом облакан.

Дальше — больше, власти встретили его тоже по тогдашним меркам прекрасно, дали ему не общежитие, не комнату с подселением, а однокомнатную квартиру, правда, в неблизком краю, на опушке леса, вырубасемого для — и по мере — увеличения города, рядом с местной конфетной фабрикой, но — вдумайтесь, сударь — тогда, при совсем еще целом и невредимом царе Горохе, свою изолированную квартиру со всеми удобствами! Тут уже он и жена его окончательно поняли: о них хлопочут высшие силы, и надо пудовую свечку Богу ставить, что так удачно складывается их совсем еще молодая жизнь — здесь, на волжских просторах, вместо того, чтобы раньше срока устать от обычной научной и всяческой другой жизни, блуждая среди коммунальных болот и болезнетворных туманов и без них переполненного голодными филологическими волками Петербурга.

И жена его, сказал я; скажем же о ней и еще, ибо она не последний человек в этой истории. Жена его считалась, да, пожалуй, и была красавицей; красота же ее имела ту особенность... но об этом после. Главное, что досталась она нашему герою ценою больших усилий — и была дорога ему как воплощение именно этих самых усилий, с которыми ему пришлось отвоевывать у жизни свою долю. В чем состояли эти усилия? О них, пожалуй, тоже в свое время.

Итак, новая жизнь началась. Квартира, положение — все это замечательно. Но за все надобно платить. Вы же понимаете, сейчас там, как и во всем мире, за все платят деньгами. Ну, а тогда были приняты более артистичные формы расчета. Вот уже на нашего молодого ученого, даром что специализировался он по истории русской литературы, навесили еще не только введение в литературоведение на I-м курсе (это по-божески, коль уж скоро ты заведешь кафедрой теории — и за это имеешь то, что имеешь), но и помимо того литературу народов СССР на 5-м курсе, а ведь к литературе оной, сударь, напомним, — учитывая, кто тогда числился в народах СССР (а существовал, как и всякий народ, с древнейших, досоветских времен), — к литературе этой в равной степени относились и Олесь Гончар с Мирзо Турсун-Заде, и Гамзатов с

Ауэзовым, — и Хайям, Низами, Фирдоуси, Руми, Навои, Джами, — и Руставели, Саят-Нова, — и всяческие эпосы, числом без начала и конца и умением Липкина... хорошо еще, Польшу отдали, а то б туда же и Норвида с Мицкевичем, и Лесьмяна с Галчинским... ну, до Бруно Шульца все равно бы тогда не добрались, а надо, надо б его по месту жительства-убиительства прописать посмертным радяньско-українским письмэнніком... И вот, судари мои, вот, дорогие мои хорошие, герой наш, сам в свое время сдавший этот предмет только благодаря счастливому случаю, просто пропал в городской библиотеке, просто вечера отдыха не знал, пытаюсь успеть освоить хотя бы по-русски безграничную «Шах-наме», да еще и смолоть из нее лекцию-другую.

Он просто света Божия не взвидел из-за этих гениев, писавших на фарси, и толковых людей, писавших на любом языке прямо на Ленинскую премию. С утра до вечера он читал лекции по трем предметам на разных потоках, — а вечером он читал тексты, тексты о текстах и делал из всего этого собственные тексты, чтобы назавтра было с чем выйти и убить на рассказыванье о предметах, знакомых ему разве что чуть более, чем его слушателям, еще несколько часов. Притом далее, поскольку заведение называлось университетом, а не педвузом, а в университете положено быть солидным спецкурсам и спецсеминарам, ровно как демократической России иметь конституцию, далее предполагалось изобрести специально для него спецкурс-другой типа «Истории русской демократической критики», чтобы он уж совсем не вылез из литобзрений всех демократических критиков прошлого, как известно, слишком довольно писучего, писарского и писаревского столетия.

Нужно еще помнить, кто в провинциальных институтах составляет основной поток студентов филфака: девушки, едва ли не в большинстве райцентровские, но в любом случае почти все пошедшие сюда от невеликих способностей к естественным наукам — по какому-то общепринятому за аксиому недоразумению до сих пор еще есть мнение, что заниматься сверхъестественным (к каковому, согласимся по вашему умолчанию, безусловно,

относится поэзия) проще, чем естественным, — и, понятно, думающие больше о мальчиках, а к 4-му курсу уже прицельно о женихах с физ- или мехматфака, нежели о разновидностях пэона, теории мимесиса или суфистских началах у Руми. То есть он говорит, говорит и говорит с кафедры — для чего, между прочим, сидит, не разгибая спины и не позволяя распускаться извилинам, порывающим с перманентного прибалдения и недосыпа спутать Янко Франко с Иваном Купалой — а им все по известному органу; и их тоже можно понять — орган сей у них по естеству отсутствует. Такова уж их *Natura Naturata*, если не *Natura Naturans**.

Так идет время, он все читает, конспектирует и говорит — и все как об стену горох. То есть, как и везде, есть и прилежные, есть даже вдумчивые, есть у него и дипломники, как без них, не все же по другим кафедрам разобрались, не все заняты «Битвой в пути» или вопросами прямого дополнения примыканием к управлению; но, то ли по тому-сему, то ль еще почему, а только ощутимо всегда одно — нет и нет контакта. С преподавателями других кафедр филфака тоже не залаживается приятельство — все это в основном люди в возрасте, перешедшие сюда из местного пединститута, с нажитой жизненной, а не теоретической проблематикой, вполне, скажем так, местного свойства.

Ко всему — большой чужой город, из тех, о которых докатастрофных-то еще Бунин превосходно отмечал, что в них только одно прекрасно и удивительно — сама Волга, а уж с тех пор, как еще и Волгу претворили, наставили там всякого ВПКиО, наворотили коробок на 16 микрорайонов на все четыре стороны света, так, чтобы от одного конца света до другого добираться не иначе как едучи час стоймя в битком набитом автобусе, ходящем раз в сорок минут, — так просто обычный город-сад. Или ад, от потери буквы дух не выветривается. Если б не квартира, в которой он мог хотя бы предаваться семейным радостям, не статус заведующего кафедрой (пусть состоящей только из него и старой девы-лаборантки, да

*«Природа порожденная» и «природа порождающая» (лат.) — разграничение, идущее, кажется, от И.С. Эриугены (IX в.).

ведь никем-то заведовать и лучше всего) да не открывая, хоть и туманная перспектива, совсем бы человек завял. Но и со всеми сими плюсами близок он был бы к унынию и только восклицал бы: «Эх, Петербург, Петербург, что за жизнь, право!» — когда б...

Когда бы не один из его дипломников. Ну, вы что кончали не знаю, но, позволю себе, нарушая презумпцию невиновности, предположить какую-нибудь богемную шарашку вроде литинститута; так что все надо объяснять. Пропорция мужской и женской половин на столичных-то филфаках — один к пяти, а на провинциальных — один к семи-восьми, ну то есть из пятидесяти человек выпуска — шести-семи парней. Из них — трое взрослых, после армейской степгазеты или райцентровской многотиражки, с желанием получить корочку и стать газетчиком высокого местного полета, двое сбитых с панталыку школьничков-поэтов по молодости лет — и один, как водится, серьезный еврей, принятый по негласной процентной норме. Этот еще до вуза всего Чехова — а кто из серьезно читающей юной публики вообще Чехова, писателя «без тайны», читал, а не почитывал? разве что некоторые «девушки и молодые евреи», без которых, как сам же почтеннейший классик сказал на все времена, «хоть закрывай библиотеку»; причем и девушки, и евреи именно потому, что среди женщин и евреев велик процент людей не биологически, а от рождения взрослых, — этот еще в школе всего Чехова прочел непременно с письмами, неплохо знает английский и теперь так же серьезно берет немецкий.

Зачем, скажите, в глубоко советские времена, при отсутствии всяческих перспектив научной карьеры для этого племени, особенно в провинции, при отсутствии к тому же общения с иностранцами в закрытом волжском городе, зачем ему все это? Вот вы, человек с чутьем языка, второй год живущий в Германии, много ль знаете по-немецки? Я учу немецкий со школьных времен, а толку чуть. А какой-нибудь волжский, извините, еврейчик — не вы, а серьезный, настоящий молодой жидовин, с иссиня-черными волосами, усыпанными крупной перхотью, в синеву же бледным лицом и тускло, но жарко горящими

из-под очков глазами — сидит себе на скамеечке в городском саду и почитывает там себе что-нибудь компактное в оригинале, ну, там «Тонио Крегера», совершенствуя свой немецкий.

Вот такой-то точно парень-паренек начал отлавливать его сперва на переменах, задавая неслыханные в этих стенах вопросы, из которых явствовало, что юноша открывал и Потемну, и Проппа, и Тышняпова, и ему не надо объяснять, а он сам может любому объяснить, что есть единство, а что — теснота стихового ряда. Засим дипломник стал похаживать к своему руководителю домой, что вполне естественно. И очень скоро «они сошлись, волна и камень...», и, как и там, приятельству их несколько не мешала некоторая разница в возрасте, а соблюдаемая субординация только придавала всему некий благородный аглицкий тон.

Но вот в один прекрасный момент понял наш герой, что находится в положении отнюдь не только приятном. Именно же: с одной стороны, обрел он, наконец, необходимую отраду жизни, поскольку ничего так не любил, как потрендеть вечерок с умным собеседником о любимых материях — и уже отчаялся обрести это благо, столь им ценимое, в промышленном гиганте, как вдруг такой подарок судьбы; с другой же стороны, стал он примечать, что и жена его не оставила юношу без внимания, обычной, казалось бы, человеческой приязни, той же, что и у него самого, и объясняемой теми же причинами, — но его это вдруг сильно и неприятно, а главное, постоянно начало волновать...

Я употребил слово «вдруг»? Неверно, совсем не вдруг. Чтобы понять его резоны, надо вернуться к тому, о чем было сказано: «Об этом после»: к специфике красоты его жены и к былым его усилиям завоевать ее во времена его студенчества. Это время его жизни отмечено было, между прочим, своеобразным комплексом неуспеха у женщин. Говорю «своеобразным» потому, что вообще неуспехом у женщин страдают каждые двое из троих молодых мужчин, драматизируя тут все, что первым в голову придет: отсутствие высокого роста, усов, эффектного рельефа тела, угреватость, мужскую слабость или неопытность

при отменном обаянии — а равно и наоборот, отсутствие обаяния, без которого никак не предоставлялась техническая возможность продемонстрировать свою мужскую силу и опытность — словом, всякий бред, кроме того самого простого и человеческого, о чем и говорить-то лень. Но наш герой вообще успехом у девушек обделен не был, со всем дальнейшим потребным для девушек, стремительно превращающихся в женщин, тоже справлялся без особых затруднений и, в общем, о себе как о мужчине был мнения не чемпионского, но и не плохого, а просто достаточного. То есть вообще не думал бы много об этой стороне жизни, а просто не отказывал бы себе в ней по молодости лет, отдавая серьезные раздумья научным занятиям.

Но была у него одна слабость: по-настоящему его влекло только к тем немногим девушкам, которые соединяли бы в себе weiblich*, пусть даже weiblich** — с некоторой вообще-человеческой сосредоточенностью, знаете, такой вот хрупкой, тихой, но непарушимой сосредоточенностью, от которой, извините, просто разило для него за версту высотой человеческого прямоходящего достоинства, — и эту-то высоту только спал он и видел, как бы покорить.

Но как раз такие-то редкие девицы-красавицы, редкие, по все же имеющиеся в наличности, если пошарить по сусекам всех ответвлений Ленинградского филфака и истфака, так баб с семь-восемь, — они-то роковым образом никакого женского внимания на него не обращали. И это доводило его до белого каления: что, думал он себе, за чертовщина такая — ведь он и парень-паренек ничего себе, и в числе первых-заметных по всяким там уважаемым дисциплинам, а они — поль внимания. Чего им нужно, на кого они клюют? А клюют они, если понаблюдать, на таких, как его приятель из его же группы. Вот на таких они поглядывают, их слушают да не перебивают. А на каких таких? Ну ладно, помянем-таки же Юнга к вашему удовольствию: ловятся они на интровертов, людей в себе, со скрытой начинкой, которую интересно

*Женское.

**Бабые.

раскусить. Остальным девам только подавай врунов, болтунов и хохотунов, а этим — людей внутреннего сгорания. Но ведь он и сам не лишен был внутреннего сгорания, счастливым образом соединяя в себе, как многие талантливые русаки, возьмем процитированного только что пародного поэта, экстравертность с интровертностью. Но что-то тут не выгибалось, как падо. Не было в нем того, что в его приятеле: вот этого ощущения *сообщающейся* интровертности; нет, лучше так: соединения айсберга с вулканом. Ну, понимаете, у такого там, в душе, как у всякого порядочного интроверта, бездна незримых миров — но не потерянных безнадежно для окружающих (ведь столь тугой иной раз попадетсЯ интроверт-мучитель, что уж и не знаешь, как с ним четверть часа простоять-продержаться), нет — оттуда, из бездны внутреннего мира палит огнем живой доходчивой жизни, и любая дева, даже опытная, та, что не верит поэту, — все одно, стоит ей поближе подойти, этим огнем сама загорается.

Вот этого обжигающего и зажигающего горения в нем не было. Тогда как на огонь его приятеля они слетались, как бабочки, — а тот и не думал по сто процентной интровертности своей никого спалить, а в полной простоте так самовыражался. Наш же герой, сколько ни глотал колес под музыку «Вельвет андерграунд» и «Тэнджерин дрим», сколько ни читал самиздатского Кришнамурти, чтобы расширить сознание во все западно-восточные стороны своего дивана, был, при всех душевных безднах, снаружи неистребимо душевно здоров: весел, когда отдыхал, серьезен, когда занимался, и всего-навсего сведущ и толков в беседах.

И вот он, взрослея, набирая, матерясь, все не мог успокоиться, все думал: от каких пустяков зависят главные вещи в мире — симпатия, влечение, любовь-дружество; сколько уже было и прошло таких юношей со взором горящим, сколько вдохновений по прошествии времени оказывалось пустыми, ничем, кроме молодого огня, не наполненными, сколько молодых гениев пропадало в безвестности — и справедливо, поскольку рано или поздно узнавали их по плодам их, а плодов не

оказывалось никаких; тогда как толковый человек не пропадал никогда, потому что по определению знал он толк и набирал толку, и от него был только толк, и ничего другого и быть не могло — а потому на таких, как он, и держится вся культурная, разборчиво собирающая — толковая работа мира, цивилизации, семьи, всего... и как же эти юные, но смышленные красавицы могут не понимать этого всем своим женским толковым же естеством, как может их влечь не к нему, а к тем сомнительным, может быть, пустым, если не адским? Как они могли не разглядеть его, стержневого человека жизни?

Но он не продаст своей толковости за чечевичную похлебку мнимого избранничества, он останется собой и будет спокойно делать свое дело, богатея толковостью знания и понимания — и рано или поздно, если мир сам хоть отчасти толков, если мир просто есть *порядок* вещей, жизнь воздаст ему должное — и не кандидатской-докторской степенью (это просто неизбежное следствие его толковой работы), нет — а именно в лице кого-то из этих гордых красавиц. Если хоть одна из них и впрямь умна, то есть содержательна, то есть и впрямь та укрепленная Масада, которая только и стоит осады, — она-то вот и покорится ему.

АККОМПАНеМЕНТ

— Чему все-таки у вас на этике (гимназия, 5-й класс) учат?

— Этика — это особый урок, понимаешь... Урок для тех, кто не ходит на религион*. Училка считает, что на этике мы должны, во-первых, отдыхать от остальных уроков. Чтобы нам на этике было приятнее, чем вообще. Во-вторых, что мы должны учиться дискутировать.

— И о чем вы сегодня дискутировали?

— Ну, как... Ну, типа: фрау Боненбергер говорит: главное — чтобы все в мире было по справедливости. А разве справедливо, что мы, когда едем по Франции или Испании, за их дороги платим, а они, когда едут по немецкому автобану, ничего не пла-

*Урок католического или лютеранского (учеников сортируют на две группы, у каждой свой учитель) Закона Божьего.

тят?*) Нужно так: или сделать, чтобы и мы у них ничего не платили, или чтобы и они на немецкой территории платили как миленькие. Тогда все будет, как надо. По справедливости.

— А вы чего?

— Да чего мы. Ничего. Ежу понятно, она права.

— Ежу — приятно. Но человек нашел бы что возразить...

И что, вся дискуссия?

— Да это она только так говорит. У нее на лбу написано, что она дипломированная лерерин, все знает и не любит, когда с ней по-серьезному спорят. Тут у нас письменное задание было: «Дети у власти. Какие законы ты бы принял как политик?» Один говорит: «Больше любви к животным». Она: «Хорошо! За это я повышу тебе оценку на пункт». Другой: «Запретить атомные электростанции». «Отлично!» Ну, я не будь дурак, себе оба закона вписал, добавил еще, чтобы думать, как ауслендеру положено: «Открыть страну для эмигрантов из стран с несправедливыми законами», — и: «Никаких налогов», — это точно каждый так думает, и она тоже — и получил единицу**).

— А что бы ты написал, если бы писал, что думал? Какой закон принял?

— Не как положено, а прямо от полной дури?

— Да.

— Хорошо... Так. Первое. Чтобы подержанные тачки на ходу давали бесплатно детям от двенадцати лет. И второе — никаких ограничений скорости!

(Биологический верлибр):

— Проверь меня по биологии. Я буду отвечать, а ты проверяй по тетрадке. Главное — чтобы я не пропустил ни слова. Ни слова, понимаешь? Следи.

— Ладно. Только переводи слово за словом по-русски, чтобы я хоть малость осмысленно следил.

— Хорошо. Значит, так, по пунктам:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ — ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ и БАКТЕРИЙ:

* Действительно, в Италии, Франции, Испании водитель платит за пользование автомобильными дорогами; в Германии (существенное социальное завоевание) дороги бесплатны.

** Система немецких оценок обратна нашей, но амплитуда чуть более растянута: немецкая 1 = нашей 5, наша 1 = немецкой 6; во Франции эта амплитуда — от 1 до 20.

они все время должны себя насыщать;
они размножаются;
они выбрасывают из себя отходы;
однажды они должны умереть...

ННР

Реклама кондомов на плакатной тумбе. Между объявлением о приезде венского филармонического оркестра с концертом в честь «года Штрауса» и объявлением о концерте Каунасского оркестра под управлением сэра Иегуди Менухина — плакат. Сверху надпись: «Zeitgemäß» — «сообразно времени, современно». В центре — черный ремешок с желтым презервативом в виде круглых наручных часов.

Сколько часов разницы между мною и повейшим Гринвичем? И вперед или назад?

10. ПО ДУШАМ: ИСТОРИЯ С ОГОНЬКОМ

— ...И вот — подробно эту часть истории поведывать нет нужды — вот, наконец, сбылось: одна из этих немногих признанных красавиц ЛГУ-жского филфака, по отделению класфилологии, отличила-таки его, признала в нем достойную заинтересованного внимания личность. Признала самым существенным образом, каким только женщина, у которой высокая планка самооценки подтверждена повышенным спросом со стороны окружающего мужского состава, а кроме того, в том возрасте, когда выбирать можно еще очень неспешно, — самым серьезным образом, каким такая женщина может это признать: сошлась с ним с самыми фундаментальными намерениями, став, позволим себе плагиат, сначала его тайною, а затем явною для всех, зарегистрированную женой. И с тех пор жили они, казалось, душа в душу, во всяком случае, никогда не давала она ему почувствовать, что ей в нем чего-то не хватает, что ей подавай вот этих вот самых, с огоньком. Нет, она была ровно нежна, наша темно-и большеглазая, худощаво-округлая вороная брюнетка, гордость русской казачьей, а вовсе не средиземноморс-

кой какой-нибудь гоношистой породы, и в четком, суховато-правильном голосе ее никогда не слышалось — он, во всяком случае, не мог расслышать — томления духа.

И вот теперь, после некоторых лет покоя, залечивших, казалось, его своеобразный комплекс неполноценности, — этот паренек и ее явный интерес к нему, ее оживление!

Конечно, если ты приходишь домой раньше обычного, а они уже сидят рядком и пусть дистанцированно, на «вы», но преоживленно балакают, — конечно, это просто объясняется тем, что в их новом доме нет телефона, и человек — неотменимый стиль русской провинции — всегда приходит наобум, на ощупь, в простоте, всегда возможен такой непреднамеренно преждевременный приход не только к приятелю, но и к своему руководителю.

Но — ведь в равной степени возможно и другое объяснение: ты сам пришел раньше обычного! тебя не ждали! все слишком прозрачно, дорогой Ватсон... Но — ведь и сказать ничего нельзя: если паренек и впрямь ничего такого, если он и впрямь столь же интровертен, как студенческий его приятель (вообще вылитый он, столь же очкаст, иссиня-бледен; это-то сходство больше всего почему-то доставало; даже в том, что приятель его, как на грех, тоже был еврей — и вот уже наш герой, чего с ним отроду не случалось, потихоньку стал сползать в антисемитизм самого низменного, хотя и единственного здравого толка — антисемитизм на личной почве), столь же весь внутри себя, — то ведь он более чем удивится такому разговору, ведь это же, согласитесь, будет невообразимо дико, и в какое положение ты себя... а то и того хуже: ты ему, подняв веки, откроешь вежды на самую возможность новых горизонтов, сам пробудишь в нем лихо, которое в противном случае лежало бы себе тихо!..

И с ней то же самое — ведь все же очень может быть, что она ничего такого и не... и к тому же наш герой — человек гордый, и спрашивать свою собственную жену: «А не крутишь ли ты в мое отсутствие шапки с мальчишкой, которого я не для того же пустил в дом, чтобы пригреть змею на своих — или, что хуже и гаже, на твоих персях?» — по его понятиям, невозможно унизительно. Но и

терпеть это он чем далее, тем все больше не может, жгло его ужасно, несмотря на всю его занятость.

Хуже, сама эта занятость, от которой зависело все их настоящее благосостояние и будущее процветание, становилась все более непереносима, все валилось из рук, все не шло в голову, необходимость запоминать все новые сведения о небывалых Манасах и Джангарах, когда в это же самое время, в его квартире, может быть, происходило самое бывалое, но и самое невозможное... все это кромсало его мозг, калило бешенством душу. Он видит, наконец, ясно: если сейчас, сию же минуту, он не найдет решительного, радикального выхода из создавшегося невозможного положения — он вот-вот потеряет все: здравый рассудок, остатки мира в душе, работоспособность, положение, жену — словом, все.

Но он так же ясно видит, что никакого выхода, даже хирургического, быть не может там, где ему не дают никакого серьезного повода — для взрослого солидного человека — действовать и даже говорить. Он должен был говорить с *ними* как ни в чем не бывало и посить взрывчатое вещество в себе, зная: уже почти, уже совсем не вмоготу больше сдерживать, стискивать детонатор — и нет возможности разрядить его. Даже рассказать кому-то немыслимо, разве только психотерапевту — но какой еще попадется, вряд ли в этом городе (в те поры, напоминая) есть психоаналитик по призванию; да и кого спросить о нем, чтобы не напороться на обычного душелома под видом душеправа, надо ведь объяснить, назвать какого-то больного — для него, мол, не для себя, да ведь это неправдоподобно, все знают — у него тут ни родни, ни друзей, все поймут, и пойдет свист, в те поры если человек обращался к психиатру или психотерапевту... сами знаете, это вам не Америка, тут все знали: к психдокторам обращались только психи, а ненормальный человек не может заводить кафедру. То есть куда ни кинь — всюду клин.

Долго ли, нет ли был он в таком горестном состоянии, трудно сказать, но только однажды ноги сами понесли его куда не надо было, но куда он бессознательно все время стремился и вот в состоянии помрачения направился теперь — к дому молодого человека, где на последнем пятом

этаже хрущобы жил тот со своей пожилой уже матерью — как многие такие вот... ну, такие, был он поздним и единственным ребенком женщины с серьезными представлениями о вещах и потому не сложившейся личной жизнью, и был конечно же для своей матушки светом в окошке, вместилищем всех ее несбывшихся амбиций, родительских попечений и человеческих привязанностей. И вот уже, наверно, на четвертом этаже, словно проснулся наш герой, пришел в сознание, попытался отдать себе отчет — а куда и зачем он идет? что сейчас скажет? Постоял-постоял, подумал-подумал, покурил-покурил — да и, поняв, что и раньше понимал: нет у него в запасе и пары слов для несмешного разговора, нет и быть не может, и если он сейчас только позвонит в дверь, и паренек окажется дома, а не у его жены (у, какая сразу оскомина и изжога в душе!), то поставит он сам себя в нестерпимо глупое и неестественно гадкое положение, — словно заново сообразив все это с трезвым пониманием, бросил окурок, крикнул как застонал — да и пошел себе, солнцем ли, ревностью палим, восвояси.

А назавтра город, во всяком случае филфак университета, облетела весть: в доме, в котором жил этот мальчик-умник со своею мамой (а он конечно же был среди студентов первого выпуска самой заметной фигурой, так что об этом только и говорили), накануне случился пожар, и студент то ли сгорел заживо, то ли задохнулся от дыма, но, во всяком случае, не успел на своем пятом этаже ни выскочить из пламенеющего дома, ни дожидаться пожарной команды, — словом, безоговорочно погиб.

Ну, что вам сказать? Когда на похоронах он увидел лицо матери (хорошо хоть ее в момент пожара не было дома)... Н-да. Никто, конечно, не мог подумать, что всему виной наш герой; но сам-то он... Все сходилось — дом, по данным пожарной службы, загорелся примерно, плюс-минус, в то время, как он его покинул. И — он помнил, смутно, но и отчетливо, что лестничная клетка на этаже была завалена всякой дрянью, картонными коробками и упаковочной стружкой, кажется, от гэдээровского сервиза, еще чем-то таким, от чего — могло, могло, вот же ты ёкэлэмэнэ, не бывает, а могло загореться даже от окурка...

Тем более окуроч был не от местного «Дымка», гаснущего на ходу, а от любимых его старых добрых «Лаки страйк» без филтра, которые ему прислал по случаю из Питера один знакомый морячок дальнего плавания с дружеским приветом от молодых компанейски драчливых времен; а американские сигареты не гаснут, пока не догорят до конца. И он все думал — неужели черт догадал его швырнуть окуроч в ту кучу? но с какой стати? и не мог вспомнить. Но ему-то — ведь он был не следователь-формалист, а гуманитарно образованный человек, не чуждый серьезных мистических интуиций в духе, как говаривал академик Лосев, религиозного материализма Владимира Соловьева, — ему-то и без доказательств было ясно: он поджег, он. С *такой* стати. Ведь он этого — хотел, а мысль материальная, мы же с вами согласились.

Вот с этим он и жил. Что сказать? Даже мы с вами тому не позавидовали бы, что лежало у него на сердце. Но он с этим жил. И продолжал читать лекции. И что странно: как *до того* с каждым днем чувствовал он все более неприподъемную пошу, так сейчас ловил себя на том, что пошла эта ему с каждым днем приподъемнее. Представляете? Чем еще недавно-то, когда был он чист совестью, как мытая посуда, когда никакого страшного греха камнем на сердце его не лежало, когда мальчик был — жив (и сидел с его женой!). Он-то, человек с развитым сознанием, даже хотел бы, чтобы ему было тяжелее некуда, чтобы он чувствовал полную, невыносимую нагрузку на душу, чем и расплачивался бы по гамбургскому счету, — а нег.

И он все спрашивал себя: а почему? И ясно видел ответ: а потому — гадко, но факт — только потому, что произошла проверка: жена его не так убита горем, как если бы действительно... Потому что ужаснулась она не менее, но и не более, судя по ее реакции, чем на ее месте ужаснулся бы всякий живой, хорошо — но не более, не болес! — относившийся к погибшему человек. Женского здесь не было, определению. Определенно не было. И это значило для нашего героя, что сделанная когда-то и на всю жизнь ставка его на самого себя не бита, что прошедшие годы самоопределения и отвоевания своего достойного места под солнцем не перечеркнуты; это значило для него... да — все.

И он ясно, трезво видел, — сколько ни делал перед собой вид, что ужасается сам себе, — что если бы не этот несчастный случай, то никогда бы он не вышел из сумасводящего тупика, никогда бы не узнал правды — как по счастью оказалось, правды-на-его-стороне (странно, да? когда правда вдруг случайно окажется на нашей стороне, мы всегда думаем вовсе не о том, что это случай или что мы, возможно, подтасовали все, чтобы сошлось, а что именно так — вовсе не случайно и не вдруг, именно так все и должно было быть, как мы хотели, только это удовлетворяет нашему чувству справедливости! пошлые эгоцентрики!). Никогда не смог бы ничего проверить, но и никогда не смог бы ей поверить, что — «ничего нет», что бы там она ни говорила, если бы даже он унизился до допроса с пристрастием...

Одним словом, убедился он, что душа человека не менее странная штука, нежели человеческое тело; и ежели, скажем, пьяница испытывает грозную боль печени, то может еще неделями продолжать как раз со страху-то и пить — а попробуй заболи у него как следует зуб, всего-навсего зуб, заболи не стихая дня три, как он на стенку полезет — и таки пойдет к врачу, то есть бросит дурить... словом, казалось бы, грех убийства, пусть случайного (а тут ведь не совсем случайного, совсем не случайного), вещь из такого ряда вон выходящая, с приличным человеком не могущая случиться, обременяет душу невыносимую, но до конца дней носимую тяжестью, а такие, в общем, обыденно-житейские вещи, как ревность или там попираемое самолюбие — с ними-то вроде бы справиться каждый должен уметь, превратив в соответствующие их житейским причинам болячки тоже житейские, привычно переносимые, мешающие, конечно, жить и плодотворно работать, но не до такой же степени! к тому же тут всегда есть чем утешиться, чем сердце успокоить. Изменила жена — зато присудили докторскую степень. Оскорбил начальник — а ты сам стань начальник и будешь сам оскорблять кого захочешь, например, бывшего начальника.

Так нет же, душа не знает аристотелевой логики соответствия важности причины и серьезности следствия, а вытворяет, что сама захочет: с убийством на душе жить тяжело, но можно, это болезненно тяжелый, но осмыс-

ленный, даже величественный процесс самопознания в родовых, извините за трюизм, муках раскаяния, тогда как простенькая, почти безосновательная (ведь при любом раскладе событий до постели же у них дело не дошло, уж этим-то воздух был бы налит до краев!) ревность превращает человека в стопроцентного зверя, у которого в мозгу одно буйство, а перед глазами только кровавый гуляш.

Словом, поначалу испытывал он, натурально, необходимость облегчить душу, поведать кому-то все, чуть ли не наказание принять, что-то такое даже заяву на себя отнести в участок, но вовремя понял, что заварит кашу не с Порфирием Петровичем, а с бредовой машиной кривокудья, где в девяноста случаях из ста преступление с наказанием соотнесены, как мухи с котлетами — так пусть уж лучше они и будут отдельно.

Ну, дальше — что рассказывать? Дальше потихоньку-полегоньку время начало брать свое, да и совесть его не дремала. Совесть, скажем с Достоевским «хе-хе», сухоовато подперхивая из-за дурных колючих папиросок его колючих героев, совесть вообще существо недреманное, и где только увидит возможность себе жизнь облегчить — сейчас подсуетится, поработает на себя не за страх, а именно что за совесть. Видит, например, что время свое берет, стирает — и тут же подсказывает: так и должно быть, потому как ты и не слишком виноват. Ты же не для того, в самом деле, туда шел, и не для того швырнул окурки, а просто по привычке сорить в подъезде, ты ж не немец какой; да и не мог ты кинуть окурки в ту кучу справа... или слева... но точно сбоку — а окурки всегда швыряют под ноги, да и притом затаптывают. И ты затоптал, ей-богу, затоптал. Да и кто только не швырял окурков в подъезде, на бетонный пол, это тебе не курить в постели, нет, это все туфта, а там у них загорелась проводка или у кого-то самозапалился телевизор «Рубин», был как раз вторник, а по вторникам телевизоры этой марки чаще всего и... — и по времени это совпало, ты ушел, а минут через пять — десять оно и...

Почему нет? Все вероятнее, чем из-за копеечной свечки. Хрущевский дом — это вам не деревянная Москва. Ты вообще не виноват, а только хочешь тебе стать выше ростом и примерить на себя роль Великого грешника. Так ты

вот что: ты будь попросту скромнее, пойми, что ты обычный советский молодой ученый, каких у нас в Союзе миллионы, и перестань шить себе по мании величия из обычного несчастного случая, из *инцидента*, дело о Преступлении и Наказании. Плохо тебе? Тоже понятное дело. Плохо тебе потому, что погиб человек, к которому ты привязался, погиб страшною смертью, и к тому же тебе его сильно не хватает, тебе опять не с кем общаться, а ты уже привык — и слегка осиротел. Пусто тебе. Но ведь, сознайся, и легко. Конец ревности! Удаление зуба, невыносимо болящего, сгнившего до воспаления надкостницы. Теперь можно жить... налегке, каждый день заново по утранке наполняя утренней прохладой опустевшую на одного человека жизнь. Мальчик, безусловно, был. Но теперь его, безусловно, нет. И это — есть. И это есть самое плохое, но только оно делает жизнь возможной, и потому это наибольшее из зол есть — сознаемся себе по умолчанию — благо.

Далее? Далее при всей тяжести на душе взялся он за ум и уже не покладал его. Еще далее? Прошло много лет. Может быть, пятнадцать. А то двадцать. Долго считать. Прошли не впустую. Наш герой, уже в звании доктора наук и чине профессора, передвинувшись с должности завкафедрой теории литературы на должность декана филфака, не совсем бестолково занимался все это время историей литературы... скажем, рубежа двух последних веков в России. Жена его, продолжая преподавать латынь в здешнем мединституте, защитилась в Москве, что-то такое по Лукрецию — и готовила следующую защиту, что-то такое по Боэцию.

Как вдруг зовет его бывший приятель по ЛГУ, тот самый любимец красивых умниц, ежели не забыли, к которому испытывал он в молодые поры чувство благородного поревнования.

11. ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ (ОКОНЧАНИЕ)

Мы обнажили клинки. В ранней юности я полгода занимался фехтованием на шпагах в спортшколе, пока не был отчислен оттуда за регулярные опоздания. Полгода —

вообще ничто, я кое-как освоил только прямой выпад и 6-ю и 4-ю защиты, но благодаря удержанному в памяти от тех уроков сейчас, когда тяжеловатый павловский палаш слегка, только до крови, резанул мне в руку у кисти, я мог оценить умение противника. Если ему верить, он нигде не занимался специально; но действовал он быстрее меня, а главное — если я боялся боевого, не спортивного оружия и ворочал им очень осторожно, то он обращался с ним вполне решительно, не боясь ни меня, ни того, что меня случайно зарубит. Я чувствовал, что если он не зарубил меня, а только слегка пустил кровь, то потому, что такую цель себе и ставил; в противном же случае, лишив меня жизни — врукопашную! — был бы, пожалуй, так же спокоен.

Повесив палаши на место, промыли мне рану распиваемым джином «Бифитер». Дальнего родственника монаха-охранника звали Владимир. Владимир любил джин с тоником, и чтобы джин был «Бифитер», а тоник фирмы «Швепс». Чтобы все по-людски. Мы сидели в генеральской квартире на Фрунзенской набережной, что вообще-то было странно: в ведомственном военном доме не место чекисту. У чекиста есть свой ведомственный дом, военные же, как известно, чекистов терпеть не могут и жить с ними не хотят. Чекистов вообще никто не любит, может быть, потому, что сами они никого не любят, в первую очередь самих себя. Но чего только не бывает. Ведь и я, как все заурядные интеллигенты, не любил чекистов, а как приперло, пришел к чекисту за помощью, уговаривая себя, что он больше не чекист.

— Ладно. Изложенное вами дело я понял. Типовое. Теперь документы... Так. Составлено подробно, недвусмысленно. Печать, подпись. Так. Договоры в порядке. Уже хорошо. Можно начинать работать.

— А это что висит под дуэльными пистолетами? Волнообразное.

— Это? Это индонезийский крис.

— А почему он такой... э... змеевидный?

— А это для того, чтобы вам наверняка все кишки выпустить. — Владимир встал и подошел к коври с висящей коллекцией оружия. — Вот так.

Туда, к коврику, он сделал шага три, а назад — никаких шагов словно бы и не делал. Только в долю секунды крик, косо скользнув вместе с Владимиром в пространстве, был приставлен острием вплотную к моему животу.

— Считается, что крик может сам летать в поисках жертвы. Специально же как метательное оружие, честно говоря, не знаю, употребляется он или нет. Но, по-моему, неплох.

Крик полетел в дверь комнаты с нарисованной на нем мишенью в виде человека и вонзился в левую грудь. Дверь вся была в таких выбоинах, словно в нее не только метали ножи, но и стреляли большими пулями из старых пистолетов. Впрочем, может быть, у новых пистолетов тоже пули не малые. Жаль, в комнате не было пулемета, а то бы я узнал, можно ли хоть чем-нибудь пробить сталинскую дверь навывлет. Кругом стояли всякие лошади черного каслинского литья, коллекция оружия была вполне музейная, среди картин, висящих на стенах с ободранными обоями, выделялся отчетливо узнаваемый этюд Константина Коровина, а наборный паркет был затерт и выбит не меньше, чем дверь. Это поразительно, до чего иные генеральские сынки доводят квартиры покойных отцов.

— Что интересно — крик, тем более крик с длинной биографией, «пусака», не продается и не покупается. Отцу его подарили в знак вечной дружбы. Как оберег, гарантирующий долгую жизнь. Через год он умер. Я так думаю, вышла какая-то путаница с кармой. Энергия крика должна соответствовать карме его владельца, иначе... Словом, что яванцу здорово, то русскому смерть. В общем, так. Ваше дело представляется мне вполне реальным. Сейчас вы пишете заявление на такое-то имя. Это мой приятель из налоговой инспекции. Я продиктую содержание. Если до этого дойдет, мы его возьмем с налоговой стороны. Но думаю, достаточно будет его пугнуть. Говорите, он сейчас дома? Дайте-ка телефон.

Акоп и впрямь был дома. То, что сказал ему Владимир, в точности не воспроизведу. Отчасти потому, что был, скажем, выпивши и не все помню, отчасти же потому, что и будучи трезвым, я все равно не запомнил бы столько незнакомых слов; ну, и еще потому, что в наше время, когда печат-

тать можно любые слова, приводить их в больших количествах расхотелось. Не люблю общих мест. Могу сказать только, что Владимир преобразился совершенно, из молодого интеллигентного человека, сообщающего массу разнообразных сведений на вполне литературном русском языке, превратившись в профессионального... ну, непойми-кого, то ли гнусавого качка с растопыренными пятернями, то ли грозного начальника в фуражке, но — страшного сразу двояко; причем превращение это совершилось не только в словах, но прежде всего в тоне.

— Вот и хорошо, Акоп. Отдав деньги господину (он назвал мою фамилию) со всеми процентами и штрафными санкциями, ты избавишь себя от крупных неприятностей. Очень крупных. Понял? Хорошо понял? Прекрасно. Сегодня среда. Даю неделю на сбор. В следующую среду включаем счетчик... Так. Так. Понятно. Хорошо, пойдем тебе навстречу. Отдавать будешь по частям. Раз в неделю. Сумму устанавливаем на сегодняшний день, тоже идем тебе навстречу. Согласно договорам на сегодня натикало — сорок восемь штук. Третий, по последний шаг навстречу — скостим до сорока. Как раз десять в неделю. Где хочешь. Я сказал.

— Сразу не отдаст, понятное дело. И увеличивать сумму тоже... главное — не загонять клиента в угол, — сказал он другим голосом, чем говорил с Акопом.

— А вы не боитесь такие вещи говорить по телефону?

— Кто, я? — он посмотрел на меня как на дурака. — Я — не боюсь. Но вам — не советую. Значит, так. К контролю за вашим делом я подключу своего подчиненного. Он человек опытный. Старый конь борозды не испортит.

Старого коня звали Владислав, старший лейтенант. Он удовлетворился армянским коньяком 5 звездочек, найдя, правда, тоном русского Бонда, что «копьячные спирты темного жестковаты», провел у нас дома несколько часов, за которые успел поведать многое — например, что он в прошлом не из спецназа, а из войск разведывательно-диверсионного управления, что их дело вообще — взрывать объекты типа электростанций, желательнее атомных, хотя в Афгане, например, их нерационально бросали на караван.

— Сбросят вас впятером в пустыне: взять караван, мать твою! и берешь! песочком подтерся после большой нужды, гюрзу убил-зажарил-съел и — на караван, как снег на голову, — и берешь, барать меня жутким баром! Чего говорить, уже двадцать девять, а еще кое-что могу.

Он тут же сел в шпагат, потом в лотос. Потом сделал какое-то китайское балетное па в стиле Брюса Ли. Или другого такого же; говорю «Брюса Ли» только потому, что других не помню как звать, а этого запомнил по имени и в лицо, поскольку выражением лица он напоминал Виктора Цоя. Или Виктор Цой — Брюса Ли. Теперь они оба умерли и не скажут, кто из них косил под другого.

После Афгана Владислав работал в отделе по делам религий, где его использовали как человека знающего — в юности он пел в церковном хоре (тут он неплохо спел «Свете тихий», кажется, на глас шестый) — и с его диверсионной подачи ставили и смещали епископов.

Чувствовалась серьезная жизненная школа.

— Деньги мы возьмем до копейки, не сомневайтесь. Вот у меня только к вам какая просьба. С первой выручки, десять кусков, значит, пять Вам, пять нам, Вы мне свои 5 не одолжите? Мне надо срочно вложить бабки в стопроцентное дело. Свою часть — и еще нужно как раз пять штук. Изготовление гробов, самое верное дело, и все на мази. Даю любую расписку у нотариуса и расплачиваюсь через две недели под 10 процентов. Вы не сомневайтесь.

Мы с женой теперь во всем сомневались, но решили так: если он выбьет у Акопа первую часть денег и тем покажет себя с лучшей стороны, то мы ему, так и быть, поверим — не терять же его тогда. Но остальные деньги...

— О чем Вы говорите, право слово! День в день, до копейки! Куда он денется?

— А если у него нет денег?

— Это его проблема.

В последнее время я слышал эту фразу постоянно; мне советовали обратиться к профессионалам выбивания долгов, и стоило мне дойти до: «А если у него и в самом деле нет денег?» — всегда отвечали: «Это не твоя

проблема». «А чья?» «Его». «Но если у него нет денег, его проблема станет моей!» «Повторяю, это не твоя проблема». Понятнее от повторений эта фраза не стала, но я привык.

— Ну, как Владики? — сказал бывший монах. — Я же говорил — качественные ребята.

Ребята были, безусловно, качественные; однако через две недели денег как до того не было, так и после не появилось. Дальнейшие припугивания привели к тому, что мы уже проходили и без специалистов — Акоп на все отвечал: «Завтра будем рассчитывать», — а на завтра не рассчитывался, объясняя это чем ни попадя.

Вызов к налоговому полисмену, возможно, напугал его до смерти. Так, что он исчез из дому на неделю. Деньгами и не пахло.

— Все, — сказал Владислав. — Завтра едем на разбор. Забили стрелку. Либо утрем это дело, либо будем стреляться.

Он был по-хорошему возбужден. Будь я незаинтересованным лицом, я бы, глядя на его раздувающиеся ноздри и блестящие зрачки, на него поставил. Поскольку же я был лицом заинтересованным, мне все равно только это и оставалось.

— Все, — сказал он мне на завтра. — «Крышу» его мы снесли. Она его долгов на себя не берет, но их признает. Он будет платить.

— Ничего не понимаю! — позвонил он через неделю. — Ей-богу, я сделал все, что надо, и даже больше, гадом буду. Мы взяли его, отвезли куда надо, посадили в подвал — но! У-этого-армяна — Вы понимаете? я нет! в моей практике такой случай впервые! — у этого армяна действительно нет-денег! Убить его можно, а денег нет, барать меня раста... здовским баром!*

*Знакомый, служивший в армии во внутренних войсках и год охранявший зону, авторитетно (для меня) утверждал тогда (25 лет назад), что самое страшное ругательство для уголовника — это «барать меня (его) таким-то баром», превосходная же степень «барания», страшнее, гаже и торжественнее которой нет, — это «барать раста... здовским (или росто... здовским? — *Авт.*) баром». Так ли это, пусть скажут люди более осведомленные; но за то, что Владик 2-й употребил именно это заклинание, ручаюсь.

— Чем же он с «крышей» рассчитывался?
— Да ничем. Они тоже ждали, когда он раскрутится. Говорят, реальное дело эти носки, и почему только бабок нет? никто толком не понимает.

— А станки?

— Станки, блин! Станки заложены и сейчас принадлежат фирме, у которой он арендует помещение. Станки! Если эта фирма их за что-нибудь продаст... Бэнкка* его ржавая потянет штуки на две — если ее возьмут. Квартира Галина, не его, но если даже дадите приказ ее вместе с детьми оттуда...

— Ни за что!

— Но если даже, имейте в виду, это уже серьезно, она договоры не подписывала и может заявить, и тут уже мы засветимся, а если посылать других, они свою долю потребуют, а вся-то первоэтажная хрущоба потянет... Словом, у него на самом деле нет денег!

— А я говорил.

— Говорили, говорили... Ну что, выпускаем из подвала?

АККОМПАНЕМЕНТ

(Гость из России — хозяину, сидящему на социальном минимуме):

— А это дорого или дешево — 13 марок за бутылку водки?

— Немцам — дорого. А нам с тобой, Саш, дешево.

— Они что, каждую марку считают?

— Они считают каждый пфенниг. Поэтому у них столько марок.

— А ты?

— А что я? Представляешь, я начну считать. Ты знаешь, сколько в социалминимуме на троих — пфеннигов? Начнешь считать — заснешь от скуки, а не сосчитаешь.

— Вчера прихожу к врачу, фрау Вагнер (натурализовавшаяся русская немка-терапевт из Казахстана, открывшая свою практику, куда по наводке идут один за другим все вновь прибывающие в город русскоязычные)... Кстати, вы ее знаете?

*БМВ.

— Фрау Ирму Вагнер? Кто же ее не знает. Кто умер — тот умер, а кто выжил — тот выжил...

— Мои саратовские родственники пишут из Рейнланд-Пфальца: «Засунули нас в Вормс. Городок — дыра дырой. Но нулевой цикл худо-бедно закончен. Наконец мы сняли квартиру. Купили мебель — спальню, в гостиную горку и уголок, в детскую стол и кровать, в прихожую приличную вешалку с зеркалом. Купили люстры и всякие прочие мелочи. Взяли по дешевке подержанный «Форд». Теперь можно подумать и о серьезном — летом планируем поездку в Саратов».

12. ПО ДУШАМ: ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

— ...благородного поревнования. Они вообще-то друг друга долго не забывали и переписывались, а потом, как водится, надолго забыли и сноситься перестали целыми годами, косяками лет. А у того шла своя жизнь, питерская, тот зацепился за родную кафедру, по интровертности сам не замечая как, просто за гвоздь полой пиджака зацепился на ходу и остался. Линия жизни, знаете. Ну, а кто тогда в Питере жил полною внутреннюю жизнью, но не уединялся, а вращался в самом центре гуманитарных событий, тот — что первым делом сделал? Да что бы ни делал, а первым долгом — много душевных собутыльников проводил за бутор. Если сам, разумеется, не отчалил. Ну, что? Пожмем друг другу руки — и в дальний путь на долгие года. А долгие года — это такая штука, что не всякое дружество, даже неслучайное, эту пространственную пропасть времени преодолевает. И большая часть отъезжантов с годами, конечно, забыла активной памятью, кто там когда-то где-то кого-то — пусть и их самих, но других, прежних — провожал.

Но не все. А из тех, кто не забывает, какая-то часть, конечно, сменила окраску и ушла в таксисты-программисты, а какая-то, само собой, обречена была тою же линией жизни сохраниться и утвердиться в прежнем качестве — сиречь занять какие-то основательные места на кафедрах многочисленных штатовских университетов. Приобре-

ли репутацию. И чуть только стало можно, стали попечительно тянуть дружков из питерских топких блат за волосы, действуя своим именем.

И вот приятель нашего героя, будучи еще при Горби вытянут в Калифорнию и как следует помоги себе сам, то есть в свою очередь — и, разумеется, заслуженно — приобретя сурьезную репутацию, теперь вдруг вспомнил нашего героя... знаете, как там это в молодости пьется-гуляется, а теперь стареешь, и с каким-то вдруг, ни с того ни с сего вспомнятым, бывлым дружком случайно связываются самые лихие-залетные-случайные-дорогие воспоминания, связывается бессмертие молодости... и ему-то вот и звонишь внезапно для самого себя лет этак через десять после последнего звонка — и вдруг оказывается: вы счастливо совпали в тональности — и как будто и не было этой декады, его-то тебе со вчера и не доставало... Вот так оно и случилось.

И там после двух-трех звонков на четвертый: «А присхать не хочешь? Надумаешь — буду хлопотать о каких-то лекциях. Тему придумай — и позвони, а я тебя подам как крупнейшего специалиста по этой теме. Я в нашей глубинке фигура не самая последняя, а ты подработаешь, съездим-посмотрим на Золотые Ворота, всякое тут фуё-моё вроде Беверли Хиллз, пивка попьем, «Джеком Дэниэльсом» заполируем». Ну, наш и думает: а чего? Даром что я доктор-профессор, а жена — доцент-латинист, денег в семейном бюджете... то ли бюджет есть, а денег нет, то ли наоборот, бюджета нет, а денег и тем более, — а там, понимаешь, Беверли Хиллз. Ну, технические подробности, думаю, опустим. В общем, сошел он по трапу на полустаночке, в одном калифорнийском университетском городке, толкнул там с разворота про Серебряный век, чтоб не больно гордились Золотыми Воротами, заколотил кучу зеленых — тогда это казалась куча. Вернулся к жене на Волгу довольный, почти богатый. Ну, а через год стало даже в Рузаевке ясно: доллары хоть и по-прежнему зеленые, но уже не как изумруды, а точно такие же деньги, как любые другие, то есть, став обратной валютой, тают необратимо.

Но приятель его не забыл и через год, глянь-ко, зовет опять. Наш думает: надо же, какой хороший друг у меня —

и как вовремя объявился, когда тут хоть действительно членом стань, а все едино останешься членом страдательным, тебе и рубля не накопит лыко в строчках. Ну, смотался опять, врезал стилем, как писал когда-то писатель, а позже тоже американский славист Аксенов. Обсудили проблематику. По-американски слегка насобачился, я бы сказал, если вы поймете, в весткоустском стиле. Загорел. Был февраль ни то март, а он приехал назад весь бронзовый и с деньгами на кармане. Как в детстве игра, помните: «Предъявите вашу зелень»? Н-да.

А в третий раз приятель его предложил ему уже не разовую гастроль, а должность профессора по контракту — сначала, как заведено, на год, там, если все пойдет как положено, еще на два, а там и на пять, а тем временем университет будет хлопотать о выдаче ему грин-карт. Казалось бы, чего ж еще и желать. Конечно, страшновато оставлять место декана — но овчинка стоит выделки. Словом, как пелось, на душе и легко и тревожно. Потому что — невозможное стало возможным, нам открылись иные пути.

Да вот хрена лысого. Жизнь какая штука? идет себе ровно лет двадцать, ходит себе пешком; и вдруг — прокол! метафизическая перфорация — и как задует в дырку то неведомый самум, так что все кувырком.

Чтобы продолжить не хуже, чем начал, не знаю, как вы, а я должен принять еще огонь-воды по-тунгусски, как сказал мне некогда один осетин в былом московском ресторане «Нарва», филиале, как это ни маловероятно географически, ресторана «Узбекистан» — вперед, мой друг! — угу... горчичка у них нежновата для их же свининки, не находите? служебный долг горчицы — лютостию единой отбить вкус стылой жирнотцы; тем более в этом свином краю, тут куда ни ткни вилкой — либо колбаски эти баварские белые, либо шницель; положительно, животное это почтенное — то ли царь немецких зверей, то ли друг немецкого человека.

(Как раз в этот момент я было достиг состояния, при котором и рассказ профессора, и мои ужасные виды на самое ближайшее будущее — все во мне слилось в общий поток расплавленного ртутного времени, которое обяза-

но было течь из прошлого в будущее, но умножалось с каждой секундой лишь за счет разбухания, растекания настоящего. Впрочем, если бы только во мне, внутри меня, это было бы понятно. Все выглядело сложнее. В самом деле, наговорено нами, им особенно, по всем прикидкам было уже столько, что никак не могло уместиться в час с лишним, давно уже пора было мне сидеть в быстром самолете и по меньшей мере пристегивать ремни, — а между тем времени еще оставалось и оставалось, немецкие часы прямо напротив меня не давали соврать, время убывало куда медленнее положенного, как тянущая магнитопленка... Я не поклонник магизма в духе дона Хуана Карлоса Кастанеды, но второй раз в жизни сейчас я наблюдал, я участвовал во временном аналоге того, что дон Хуан Карлос называет визуализацией: если группа людей, пусть двое, из всех душевных сил хочет (пусть каждый по своим соображениям) замедлить время, если эти двое как одно существо погружаются во время, обостреннее живут в нем, растягивая его концы, — оно *действительно*, отнюдь не только субъективно, замедляет свой ход. Я как раз пытался из всех сил удивиться странной этой вещи, чтобы ее осмыслить, но как-то спяну ничему не удивлялось, и это было самое удивительное; но очередная филиппика профессора крайне неприятно подействовала на меня, эта приверженность, казалось бы, умного русского человека, вдоволь нахлебавшегося штампово-ярлычного отношения к себе, к таким же представлениям о других, взорвала мою пьяную оцепенелость и вывела из тупой слежки за сверхмедленно утрачиваемым временем.)

— Снова-здорово, — сказал я, сдерживая себя из всех сил. — Повторяем зады? Сколько можно, в самом-то деле, клепаться к немцам. Надоело, господин профессор. Ну, почесали язык, пощекотали германцу ребра — и хорош. Барон фон дер Шпик попал на русский штык — и лады. Отдыхай, Вася. Так нет же. А сами-то не меньше моего понимаете, что если Россия кем и жила, то Штольцами, а не Обломовыми, что бы там ни говорил Никита Михалков, да и сам он Штолец, которому на досуге приятно любить в себе Обломова. А уж сейчас-то России впору орать по-розановски: «Тону! Дай немца!», и именно немца, в ко-

тором, может быть, и жива еще память о 250-летнем его садомазохистском, сильном, как смерть, полюбовничестве с Россией, — а не Билли Грэма, которому что русский тысячелетний православный, что австралийский абориген, всё эгаль, оба с бородой — Билли дай только «поговорить с людьми». Для нас — с немцем — века, для них — ваших калифорнийцев — единый миг. И еще — немца, как и русского, до конца не просчитать. Вы скажете, вместе с Кафкой, что немцы не хотят *понимать*, а только владеть и повелевать. А я в ответ: народ, главным принципом юриспруденции которого с давних пор и по сей день является принцип: «Да, но...» — должен в крови нести понимание противной стороны, не то откуда бы и взяться самому принципу? Народ, в уличных беседах которого самая частая речевая конструкция — вопрос к собеседнику: «Ты будешь делать то-то и то-то, ты хочешь того-то — oder*?...» — я только эти «одэры» со знаком вопроса на концах оборванных фраз, предполагающих до полноты включение мнения адресата, и слышу без конца вокруг, — этот народ, по-моему, просто настроен на понимание.

Вы скажете: народ этот без конца твердил — и подтверждал на практике, что он народ тевтонов и нибелунгов. А я скажу — нет! я хочу видеть — и искренне вижу совсем другое: при всех положенных всякому националиту изъянах, немец лишен главного изъяна — национальной спеси, он гордится собой как человеком карьеры, фамилии, фирмы, как честным налогоплательщиком и правильным человеком, но не как человеком Германии; еще в середине прошлого века житель Баварии осознавал себя не немцем, а баварцем, а уроженец Тюрингии — тюрингцем, а не немцем, и пресловутый гимн «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес» ставил себе целью вовсе не превознести Германию над другими странами, а превознести общую Германию в душе населения над своей Саксонией или Швабией, сделать немца общенемцем. В XIX веке Бавария выступает на стороне Наполеона против, казалось бы, своих же — пруссаков и австрийцев, — совсем как в XIII столетии Суздаль идет войной на Новгород!.. Даже гитлеровский Зигфрид понимал и при-

*Или.

знавал, что Париж, а не Берлин. — подлинный пуп земли, потому-то и надо его завоевать.

Говорящий с акцентом никогда не будет ровней чисто-породному англичанину, а немцу — будет, если старается, работает, немцы это всегда заметят, и пригласят в дом, и будут рады... не по-русски, конечно, чтобы сидючи в трусах пельмени кушать и тебя без термина, прямо в трусах, за стол посадить — но и не по-английски! и, в частности, если на то пошло, немец хоть и любит свои картоффель-пфuffer, нюрнбергер вюрстхен и зауэркраут*, но любит по-домашнему, не кичась своей кухней... У меня немцы борщ хлебали — за ушами трещало, а попробуйте предложить борщ англичанину! настоящий полтавский борщ вместо его томатного протертого супчика! попробуйте просто у него в гостях проделать в обратном порядке манипуляцию с чаем и молоком, что во что вливать, ведь по смыслу-то — что в лоб, что по лбу все едино — и посмотрите, как он на ваши поиски смысла посмотрит...** Так что кончайте Вы эти игры в нелюбовь к себе, выдаваемую за нелюбовь к другим так, чтобы никто ни о чем не догадался, но все все поняли... а не хотите немецкого кушанья — чем выступать, закажите салат из плодов моря или моццарелу с томатами и базиликом, вас тут отлично покормят и по-итальянски, уж и не знаю, кто пуще немцев любит итальянскую кухню...

— Сыр — к водке? ну и вкусы у вас, чтоб я сгорел... нет, уж напитаемся убоинкой, тем более что спирт отлично эмульгирует жиры... но вообще, я вижу, с вами каши не сварить. Вы настоящий русский шизофреник: еврейский космополит и культурный немецкий националист

*Картофельные оладьи, нюрнбергские колбаски, кислая капуста (не квашеная, как у нас, а маринованная в белом вине).

**И это вопрос индивидуального опыта: в отличие от героя знаю случаи, когда немцы в гостях у русских подозрительно приступали к борщу (равно и вишнгрету), а затем крайне любезно, но твердо отставляли тарелку густого кисло-сладкого красного варева в сторону; то же и по поводу чая: большинство немцев пьет кофе, но если кто-то пьет чай, то чаще всего, по-своему, не менее англичан консервативен в представлениях о том, каким должен быть нормальный чай: строго стандартной порционной заварки, которую уже не разбавляют по вкусу (отношение такое же, как к кофе), — чай по-русски, с заваркой и кипятком, вызывает удивление, однако чаще всего доброжелательное.

почище всякого немца — в одном флаконе. Им с 45-го этого нельзя, они сами в себе этого стесняются, это только русскому интеллигенту разрешено любить в себе национальное — и даже, спятив, *чужое* национальное — и даже не левачить, и даже верить в Бога... Русский специалист... В вашем присутствии, так и быть, постараюсь из всех сил возгревать в себе, за неимением немецкого патриотизма, только интернационалиста... и все же, если позволите, хотя бы чисто литературно, с вершин бывшего советского ресторанного интернационализма низринувшись в дол устной национальной традиции, продолжим по-русски запутывать слушателя в словах, так что вы, присмурнев от ладоговорения, и не догадаетесь, что я приступил, наконец, к главному в этой истории, именно же: за последний год, между предыдущим приглашением и нынешним, в жизни нашего героя кое-что произошло. Может быть, даже не кое-что, а что-то; что-то весьма решительное. Во всяком случае, ему мало не показалось.

Случилось так, что на неких чтениях по «литературно-философскому наследию...» какая-разница-кого (жизни и творчеству которого наш герой отдал, однако же, часть и своей жизни — и в качестве одного из знатоков не мог не быть позван) — «...и современности», в одном только тем и славном городке, что был он родиной оставившего наследство, встретил он женщину.

Ну, женщина как женщина, моложе его лет на пять-шесть, то есть не первой уже молодости, да и красоты необыкновенной тоже как будто бы не... во всяком случае, с женой его соперничать не может. Что называется, привлекательная. Милая такая женщина, человеческая. С челкой. Такое, знаете, интеллигентское безвозрастное квази- (или, скорее, пара-) каре, как у большинства словесниц то ли после тридцати пяти, то ли после Марины Цветаевой. Оно, это недоделанное каре, иногда убираемое на затылке в хвостик, но непременно оставляющее челку на лбу, в основном бывает двух цветов — черного и серо-буро-малинового в рыжину, зане, как только они все поголовно воцерковились, то красить головы химическим «Лондаколором» перестали, потому что косметику — нельзя, но продолжающуюся седину так прямо на голове

и оставить — тоже нельзя, во всяком случае, не многие имеют христианский максимализм такого накала — и они подкрашивают волосы басмой или хной: то уже естественные красители и как бы лечебные средства, а лечебную косметику почему-то считается можно...

Любите человеческих женщин с челкой? Вот и я тоже, но как-то только по-человечески же. У нашей, правда, голова была природного светло-русого цвета, того тусклого оттенка, при котором начинающаяся седина почти незаметна, как-то уходит в общий тон; только ведь это дела не меняет. Но: как-то они на перерыве в курилке начали разговаривать, а закончили уже под вечер, уж после всяких чтений, в ее номере. Не надо ничего воображать: поговорили по-человечески — и он пошел к себе, ничего такого себе и не думая. И на завтра так же, и третьего дни. А там и разъехались, он к себе на Волгу, она к себе в Москву. И все.

Да не все: он день чувствовал — что-то не то, второй день то же не то, а на третий вдруг почувствовал, что ему без этой всего-навсего человеческой женщины — пусто. Что из жизни его ушла — жизнь.

А это значило, что с нею эта (отсутствующая, выходило, ранее; а ведь он никогда не чувствовал, что в жизни его что-то отсутствует; странно) жизнь — пришла. И он все думал: в чем же эта необходимая его жизни жизнь? чего у него не было-то? ведь столько уже умных разговоров состоялось в немалом его прошлом, и всегда про все ту же фому-ерему, что и на этих чтениях, при этой встрече, пора уж и устать, да он и устал, и сверх того, жена его дорогая всегда могла составить — и составляла — ему компанию, отличаясь, как сказал бы Бунин, доброй разговорчивостью.

Чего ему еще? Сексуальных приключений, что ль, ищет на свою голову, как положено «мужчине после сорока»? Но, во-первых, если сексуальность тут при чем-то и была — так уж повелось, что она почему-то всегда при чем-то, — то ведь надо еще подумать — при чем? то ли и там ли мы ищем? Я лично двумя руками подписываюсь под словами Фуко — пусть нынче всех этих пост-скрипторов, Дерриканов и Бодрилезов, во всех приличных обще-

ствах, кроме отсталых кухонь российских интеллектуалов, модно уже не брать себе в союзники по поводу и без, а использовать при любом удобном случае как мальчиков для битья, — под святыми словами гомосексуалиста Фуко, что «однажды будет уже не очень понятно, каким образом этим ухищрениям сексуальности удалось подчинить нас суровой монархии секса и обречь нас на бесконечную задачу выколачивать из него его тайну и вымогать у этой тени самые что ни на есть истинные признания». Одним словом, если сексуальность и была, то она так замаскировалась, что, даже подвергнув себя третьей степени устрашения на аутодопросе, он не мог обнаружить ее следов. Кроме того, приключения мужчин после сорока имеют какую цель? Так потряхнуть стариной, чтобы вытрясти из нее искомое омоложение плоти-духа, верно? Стало быть, такие *adventuries** целесообразно имеют поводом знакомство с молодой и свежей, правильно? с которой и заваривается неизбежная каша-с. Тут же ни молодости тебе, ни свежести, ни второй свежести — а что тогда?

Да вот что: совпадение. Герой наш вдруг увидел себя другим человеком. Ну, то есть он привык думать о себе как о некой человеческой константе; и вдруг он понял, что он давно уже — *другой*. Будто естество убитого-неубитого им мальчика странным образом было присвоено им, соединилось с его внутренней сутью, гибридно привилось, если неудобно, хе-хе, скажем с Достоевским щелкающим, сухо постреливающим юморком (как вы думаете, может ли быть на свете что-нибудь более дорогое, чем юмор тяжелого человека?), или еще как-то; но только со временем, прожитым им после *инцидента*, в поле его влияния, он словно присвоил, как эти всякие индейцы и аборигены, усвоил себе того, кого убил, огонь сгоревшего, то желанное и отсутствовавшее в молодости качество айсберга-вулкана. Усвоил, но, быть может, сам в себе до поры не замечал — теперь-то, в солидные-то его годы, оно ему было для какой надобности? — и вот вынужден был заметить, в себе — и в *ней*, потому что, совпав, сцепившись, оно зримо загорелось... вольфрамовой, что ль, дугой, могу соврать в сравнении, я в этих физиках ни бель-

*Приключения (англ.)

меса, но — зримо, явственно, это пламя, не ясный огонь, которого хотелось бы Булату Окуджаве, а как раз неясный, тусклый, но зримый, тот бледный огонь, моя радость, тот бледный огонь... Ёкорный бабай! как говорили у него на Волге. Выгнулось радугой от одного края земли, чтобы замкнуться на другом — да только вот... на каком другом? ес-то с ним не было.

Ах, как ему ее не хватало — и чем больше убеждал он себя, что она обыкновенная умная филологиня без особых примет, каких у нас в России всегда было, почти как водки и снега, чем больше убеждал себя: дурь, — тем больше чувствовал: пропадает. И он все думал: ну почему, что совпало в них — да так, что теперь, когда он узнал *это*, ему без нее жизнь не в жизнь?

И вдруг до него дошло: да только — то же, что и в нем, послевкусие мрака, сходный опыт чего-то долго-тяжелого на душе, какая-то горькая выжженность, какое-то чувство нуля, жизни без опоры на себя прошлого, что было теперь и в нем — но при том, в отличие от него, ровное горение без первической игры и перепадов; то есть она смогла решить по-своему, своим женским неопознанным путем ту же задачу, что решил Мандельштам: как стоять во аде, не отчаиваясь. И это-то зримое и от того только еще более непонятное решение нерешаемой, ему казалось, задачи, воплощенное в ее ровном поведении, в полных вдумчивого *последлушания* паузах после того, как он отговорит, перед тем, как ему ответить, в абсолютно — аб-со-лю-т-но — несбивчивом, ничем никогда не убыстряемом, лишенном какой-либо порывистости полынном голосе, этом остающемся после того, как она отговорит, не в ушах, но на губах голосе... словом, вот это ее непрозрачное, но исподволь просвечивающее *звучание* — знаете, так на картине Рембрандта подмалевок проложен белилами, и они просвечивают через все верхние слои и подсвечивают их — тянуло его-утягивало посылейшей телесных красот, душевных изгибов... ну и, ясное дело, всякой туфты типа молодость-красота-здоровье, кровь с молоком и молоко с кровью.

А жена его? спросите вы; да вот, жена... он что же, любил ее? Ну что вы. Если бы! Он дорожил ею по-прежнему

му, как... как мало... Собственно, кроме нее, ему и дорожить было нечем. Единственный близкий человек; к тому же, вспомним, стоивший ему когда-то стольких усилий: ее завоевание и удерживание было постоянным зримым знаком его человеческой и мужской состоятельности. Зримым не только для него — для всех.

Красота ее, как сказано, имела специфику, важную, быть может, только для него, но и кроме того — это была красота, очевидная для всех, могущая быть воспринята лишь как равная себе самой, то есть не миловидности по молодости лет, не привлекательности зрелой женщины, не пикантности умелой дамы, а — красоте. Сохранившейся — всякая вещь, наделенная субстантивной полнотой, сохраняется долго — и после сорока. Но все это слова, if you're not experienced*... Вот — имели вы дело с художаво-точеными женщинами, у которых в наличии лишь минимум того, что может стареть? Я говорю о женщинах, которым и хотелось бы, так не удастся отложить жирок мягкими складками на боках, отрастить второй подбородок и все прочие круглящиеся мяса, которые, по Джойсу, есть «полнота женского». Так уж, от рождения, туго-натуго обтянуты кожей их лишенные мясистости лица, чуть косоватые скулы и костистые подбородки, столь чистопородна их нервность, нервность Фру-Фру, разве лишь сквозь темные их глаза позволяющая себе просочиться вовне, и нервность эта, при таком внутреннем ее употреблении, лучше всякого «Гербалайфа» сжигает жиры, оставляя тонкими пальцы их маленьких кистей и лодыжки, схваченные пряжками сухих щиколоток... Если же не имели вы с ними дела, читайте по крайней мере Бунина, сударь, читайте у него об этих «маленьких», но «крепких телом» и «смуглых», непременно смуглых женщинах — что могу я добавить к им сказанному?

Разве вот: плохие времена для таких женщин наступают очень поздно, зато мгновенно и навсегда — слишком туго натянутая тонкая кожа, не имеющая подкладки сырого мяса, высыхает, идет мелкими крокелюрами, превращает лица их то ль в цветки и листики гербария, перело-

*Если у вас нет (этого) опыта (переживания) (англ.) — аллюзия на название альбома Д.Хендрикса «Are You experienced?» — Прим. ред.

женные папиросной бумагой, то ль в саму эту бумагу; но до поры — а жене нашего героя было еще, будем надеяться, далеко до роковой той поры — женщины этой породы остаются точено-компактными, худощаво-округлыми, определенными самой лаконичной из пластических формул Женщины.

Именно, именно — жена! Напоминаю, мы на умного человека идем частым бреднем. Вот этот умный человек по-умному и раскинул головой: там — три дня, а тут — на носу серебряная свадьба. Может первое противостоять второму в перетягивании каната? Хрена лысого. Двух минут не может. Нет, если там — типа: метель-она постлала мне постель и все такое, то чего и с кем не бывает, в пути, на ночлеге; но — если серьезно? если надо — выбирать? Тут и думать не о чем. Однако же вот — перетягивает. Значит, что? Значит, сами эти двадцать с лишком не имеют полновесной силы. В них чего-то нет. Чего? Разлюбил? Но что значит — разлюбил? Это чистый вздор. Раз-любить, пока любишь, вообще нельзя. Можно только от-любить, полностью вычерпать весь объем чувства. Но при этом непременно переживаешь континуум убывания, утекания любви. А он этого совсем не чувствовал. Тогда — ?..

И чем глубже копал он внутрь себя, тем ясней представало то, чего раньше видеть не желал ни за что: он — жену... он — жену... Угадали. Никогда. Вы спросите: «Но вы же только что сказали — она была ему дорога?» Да. Дорога. Он ею дорожил страшно. Но что же с того? и чем я себе противоречу, если он как раз это и понял теперь: «дорогой» и «любимый» — разные вещи. Он ее выбрал когда-то символом веры... в себя, — за то, что она выбрала — его, дав ему высокую цену; он жену себе во всех смыслах *назначил*, в том числе и — в любимые, и честно отработывал, наработывал то, что себе и ей назначил, тем более что она облегчала ему работу любви своей красотой, умом и верностью.

Но сейчас он ясно видел, что все, столь им ценимое некогда (да и потом, до сего дня — может быть, по неотъемлемому от человека желанию верить в дороговизну цены, им же назначенной своему другу или люби-

мой: по неистребимой вере в собственную правоту) в ней, столь схожее с тем, что и в нем было главным тогда, в пору выбора — ее, в одном слове, взрослая приверженность норме (не нормативности, а именно норме душевного и интеллектуального здоровья), — все это на глубине нисколько не было ему желанно, ни в ней, ни в себе, и чем больше он отстаивал в себе именно это свое качество, тем больше на самом деле хотел бы быть — *другим*; потому что на самом деле он и *был* другим, по крайней мере отчасти; был, да все не мог *стать*, пока, наконец, не освободился *случайно* от себя поверхностного, заплатив за этот случай сполна...

Или вот она занимается Горацием и Боэцием; но можно ли их любить — Горация, Лукреция, Боэция? Полноте, ими можно разве что интересоваться, любить все римское можно только за то, что у тебя хорошо получается им заниматься; то есть себя же в римской тоге и любить. Он литературой — живет, общаясь с живыми голосами мертвецов, которых *любит*; она же лишь *занимается* тем, что ей *интересно*.

И эта ее активность, неустанная ровная работоспособность, будто все равно — квартиру пылесосить или докторскую ваять... И ее постоянная требовательность, полная серьезность отношения к себе и своему званию кандидата или доктора, постоянное искренно-заботливое напоминание, мягкое подталкивание его к работе над первой диссертацией, второй диссертацией, что там — любым докладом, статьей... и всегдашняя уверенность в том, что во всякой вещи есть свое «правильно» и свое «неправильно» — и именно она всегда видит, что в данном случае правильно, а что нет, и до возмущения удивлена теми, кто этого не видит...

АККОМПАНеМЕНТ

- Устрицы пробовали?
- В смысле?
- В прямом смысле. Устрицы — пробовали?
- А-а... Не-а.
- Устрицы пробовали?

- Устрицы?
- Они самые. Устрицы.
- Это которые в «Нордзее» на Штаттмаркте*?
- Да.
- В раковинах?
- Да. Не в черных поменьше, не мушельн**. А в больших и серых.
- Так бы сразу и сказали. По две марки штука?
- По 1.80.
- Так бы сразу и сказали. Конечно, нет.

- Устрицы пробовали?
- Разумеется. Приехать сюда — и не попробовать устрицы!
- На что похожи?
- (Тоном безоговорочного знания):
- На-холодную-сперму.

13. ПО ДУШАМ: ОКОНЧАНИЕ

— А жена — она-то как к нему..? тут можно долго... из экономии вашего дорогого времени скажу только ключевое: он лишь сейчас отдал себе отчет, что именно в ее отношении к нему его существенно не устраивало, никогда не устраивало, только опять же он себе никогда не признавался. Именно то, что любила она его, так же серьезно, как делала все, что делала, только за то, за что его и выбрала: за взрослый серьез, отсутствие второго дна, высокую смысловую планку нормы — и только до тех пор, пока он не падал с этой высоты, не ронял себя. Собственно, он никогда и не пробовал падать, Бог уберег даже *тогда*, он просто не успел — но он все время жил в особом режиме, в непрерывном напряжении (которое увидело само себя, отрефлектировалось только сейчас, но бессознательно изнуряло и раньше), даже дома: жена его любит не просто так, а за что-то, и это «что-то» должно быть в нем всегда, с ней и при ней никогда нельзя расслабляться, как это ни малокомфортно, но и дома надо давать своему новому «я»

*Рыбный ресторанчик «Северное море» на городском рынке.

***Muscheln* — моллюски, мидии.

как можно меньше просвечивать из-под старого, иначе... иначе, пожалуй, она его меньше будет любить. И вообще, чего доброго, вообще не станет любить. Потому что она любила его не *всего*, а только «хорошего его». А значит, любила *не его*.

Свято место, под всеми драгоценными ризами, было пусто. И тут уже и три дня могли перетянуть, если это были три настоящих дня. Если эти три дня ты чувствовал отзыв на *твой* пароль. Отклик на тебя всего, не хорошего, не плохого, а целого, ровно такого, каков ты был на самом деле — был вчера, ныне и, может быть, во веки веков.

Целых три дня тогда, среди этих дурацких чтений, исполнялась — в пунктирах громов и молний, слов и молчаний — какая-то сердечнейшая музыка смыслов, сходно-несходных. И замолчав, она продолжала говорить, языком, обратно словам того же нашего узко-всенародного Жи(Оу)-И-Эм, семантической неудовлетворенности, не той дурной, что отторгает, скажем, интеллектуала от простеца и обратно, а той, что делает попытку своей расшифровки бесконечно интересной — и, само собой, нехватка наличного собеседника делает ее только более манящей.

Ну, тут пошла уже тургеневская «чепуха, художество, вздор», — но ведь, когда человек в возрасте за сорок, пусть от юности своя не вполне житейский, но все же сделавший какую-никакую карьеру, то есть житейский там не житейский, а — земной, живуче-ползучим плющом вьющийся, от мира сего (я бы сказал, от мира того-сего), начинает вдруг, себе же вопреки, ни с того ни с сего хотеть того не знаю чего — вот это уже, что ни говори...

И понял он, что залетел куда-то между небом и землей и заблудился там, что делать? да так, что хуже некуда: пока москвички той нет рядом, всегда будет куда стремиться от «здесь и теперь», невыносимого в ее отсутствии, стремиться быстрым током под напряжением в 380 вольт; а сделать так, чтобы она была рядом, — этого-то вот нельзя никак.

Потому что трех дней хватило, чтобы почувствовать: женщина эта — не из дам с собачками, и там уж обделена

она в своей женской доле иль оделена ею, а все едино имеет... так скажем, недешево ей доставшийся внутренний покой, нарушить который, вломиться без стука, можно (и это еще вопрос, можно ли, каков-то будет сопромат) мало-мальски достойно (не говорю — пристойно) только — на полном серьезе. На последнем дыхании. Чтобы — вложиться-в. Без остатка; понимаете, да? без-остатка. А то есть иначе не обойдется, как уйти от жены, бросить — то есть честно, без обмана, предать человека, его не предававшего за двадцать, повторю, с лишним лет ни разу. Бросить, предать двадцать лет прожитой жизни, то есть самого же себя — а ведь прочность их союза не с дерева же упала сама собой ему в рот созревшим яблочком, а несла в себе нажитые смыслы, пусть сейчас не интригующие, пусть их и не было в начале, а они были «назначены» и искусственно выращены — но ведь кровью и потом души, делающими и искусственное подлинным; а верность ее — проверена была им такою ценой... о конечно же тот *инцидент* за давностью лет как бы не имел к нему ссегодняшнему отношения. Как бы не имел. Но — кабы не имел!..

Ну, что? Это только говорится, что дурное дело нехитрое. Дурное дело очень даже хитрое. Первым долгом в дурном деле всякий взрослый человек пытается держаться. Стоять на месте, как уж умеет. Ну, а как умеет русский человек? Русский человек, чтобы удержаться, начинает попивать. А профессор наш был человек русский. Да, в общем, он и всегда мог как следует поддержать компанию, но один не пил — по занятости и отсутствию вкуса. А теперь начал. Выкроил время.

После лекций, вместо чтоб домой, заглянет по дороге в коммерческий киоск, а там пойдет на скамеечку по-над Волгой, да из портфельчика быстро фляжечку раз — и в дамки... глядя вдаль, по-за Волгу. То есть как раз не в прозаические дамки, а мерещится ему, среди огоньков на той стороне реки, все в этих огоньках — этакое ее лицо не лицо, глаза ее не глаза, а — чистый, без материалыных его орудий и носителей, без глаз, — ведь он даже не запомнил, какого они у нее цвета, — чистый взгляд, как одна только улыбка чеширского кота, один только внимательный

женский взгляд, поглощающий и тем *одобряющий* все, что у него на душе, что и составляет — его; то есть такой взгляд, который и есть все, чего мы хотим от женской искомой половинки...

— Мечтательность. Считается — большой грех.

— Правда?.. Значит, и вы тоже думаете, что, когда человеку на лавочке представляется в чьем-то образе берег очарованный, земля обетованная, это все дурная мечтательность, виртуальная местность... это всегда только игра между ним и ним же — и за этим междусобойчиком не стоит, пусть раз из ста, хоть как-то, в каком-то изводе, кто-то и в самом деле реальный *другой*?

— Наоборот. Думаю как раз, что стоит. И лучше бы его не было.

— Даже так?.. Но продолжим. Сидит-сидит, из фляжки пососет — и снова сидит. Но видит с каждым днем — алкоголь играет с ним злую штуку: выпил немного, притупил боль разлуки, слегка утомился в здесь-и-теперь, так ведь чего хочется? Еще большего притупления, еще большего укоренения в здесь-и-теперь, правильно? А значит, чего надо? Еще дербалызнуть, верно? А дерябнул еще — как вдруг вместо укоренения-то пойдет! такая гнилая романтика, такой дым коромыслом, как полоснет по сердцу — в Москву! в Москву! Хотелось, словом, как лучше, а получилось, как всегда, это всякий романтический пьяница знает как дважды два до всякого Виктора Степаныча — вот уже скоро все и звать как его забудут, а слово сие, сего Бояна вещего, так и будет шелестеть крылами над родами родов и видами видов, — но, главное, всегда все зная заранее, повторяет этот дохлый номер, как повторял его и бывший Виктор Степаныч, которому я сочувствую в его горькой задаче, как сочувствую и каждому русскому человеку, пока он от меня далеко и не может выплеснуть свою задачу на меня, как я сейчас — на вас.

Кроме того, жена стала посматривать на него дома несколько... ну, это мягко говоря. Сначала посматривать, а там и расспрашивать. Сначала участливо, потом — поскольку оставлял ее расспросы он без какого-либо вразумительного для умной женщины ответа — недоуменно; потом... смотрит — и ни слова, только тонкими пальцами

похрустывает. Словом, попить надо было кончать. Чего же еще придумать? И не придумал он ничего умнее, — но поймите, от безвыходности, от не то что нетерпения сердца, а уже от неможения себя держать, — как туда, в Москву, позвонить. Ну, доложу же я вам, вот этого то лучше бы он и не делал.

То есть поговорила она с ним с тою же милой охотою, что и тогда, в их первую и последнюю очную встречу, но именно — с тою же. Она и не узнала сразу его по голосу! то есть чувствовалось без дураков, что жизнь ее течет — и вполне насыщено — отдельно от него, и если ее существование и омрачено чем-либо, то уж никак не его отсутствием. Хотя опять-таки же чувствовалось, что он ей вполне симпатичен, и если бы как-то без особых сложностей, просто-запросто встретиться, то посидеть-потрендеть с ним на московской кухонке — она с удовольствием, вполне завсегда.

И тут его — сорвало. Как гайку с винта. Ведь — чем он крепился *до звонка*? Тою мыслью, тем чувством, что между ними что-то взаимно важное, сокровенно-драгоценное *происходит*, и тогда пусть это будет такая тайная дружба, которая сильнее страсти, нежнее, чем любовь, так? так, я вас спрашиваю? тогда, пусть *это* и имеет примесь эроса, иначе б то была не *особая* дружба и ничем бы не отличалась от других его дружеских чувств к разным мужчинам и женщинам, совершенно не мешавших ему жить как живется, — но эроса *sui generis**. До того особого эроса, что там и копать не хочется, и так ясно: это не та обычно-страстная мужская влюбленность, при которой надо выбирать, какую из женщин ты больше любишь — и к той и уходить; а если ты этого не сделал и длишь свое раздвоение, то должен по крайней мере понять: ты безусловный прелюбодей в сердце своем.

То есть вы понимаете? понимаете? он надеялся так устроиться, такую особую выгородку создать в пространстве души, при которой его отношение к жене, назвать ли его любовью или нет, не важно, когда люди сто лет совокуплены, — его отношение в жене и его отношение к этой женщине имели бы столь разные акциденции, что были

*Своего рода (*лат.*).

бы не рядомположимы, разнесены, как килограммы и километры, были бы дальше друг от друга, чем Леопольд Блюм от Ангония Блума, — и так уничтожить ненавистное ему изменническое чувство в себе — как и все, он ожидал от себя и мог простить себе многое, но не то, что он предатель. Поскольку более всего наш профессор дорожил чувством самоуважения, то очень хотел бы быть взаимно честным... семейным контрагентом. По крайней мере сделать так, чтобы грубо-прямолинейный вопрос об измене был бы в таком тонком деле, не побоимся дурацкого слова, нерелевантен. Следите, да? И невинность соблудости, и капитал приобрести.

Ну и вот. Ни хера из этого — простите великодушно эвфемизм, конгениальнее было бы сказать сильнее, да ведь все же о поэтических материях заводим песнь-с, — ни хера из этого, натурально, не вышло. Потому что та-то, москвичка-то, — не полюбила этой вот самой тайной и особой, и вообще никакой. Но этого же быть не могло! он же чувствовал натяжение радуги, он слышал ток электрического телеграфа, а такие вещи по определению нуждаются в двух участниках, двух полюсах. Это не могло быть не взаимно! А вот и дудки. Не могло, а было.

Но не могло. Она лгала — ему ли только, по каким-то своим причинам, или и себе, чтобы не нарушать своего покоя, или еще что-то, но она врет, точно. Надо расколоть ее, взорвать этот по-женски искусный равнодушно-доброжелательный голос — просто мировой справедливости ради! И вот, думая уже только об этой справедливости, начал он ей названивать совсем безбожно, — и все, разумеется, безрезультатно, все тот же радушно-равнодушный голос, но, вот же холера ясна, милый-милый голос! и чем больше он понимал: невпротык, тем больше распалялся желанием хоть гвоздем, а пробить ее сердце, как опять же удачно пошутил черный юморист Достоевский; тем больше приставал, ровно парень к деушке на улице; а значит — что? А значит, даже чисто технически все чаще *допускал* себя до общения с ней, все больше *позволял* себе эту привычку общения, все больше прилипал к этой вредной привычке, — а значит, происходило именно то, чего он как раз больше всего боялся: все необрати-

мее вкладывался он сюда *весь*, со всеми вообще, а значит, и со всеми мужскими потрохами.

Вы еще следите? а то все-таки треснем для поднятия внимания? как вы это сказали — до уровня бреда? так и выпьем же за увеличение уровня бреда, уменьшающего уровень стыда и страха!

И вот — включитесь, сударь, ключевейший пункт — настал день, когда он, в каком безумии ни пребывал, просто не мог не отдать себе отчет (то есть пробил-то он не ей сердце, а себе), что игра в одни ворота, игра в прикровенную дружбу, не препятствующую откровенной супружеской любви, кончилась. Он тривиально втюрился, а точнее, позволил себе влюбить себя по уши в по-стороннюю женщину, а то есть — он простой изменник, обиденный предатель. И предал уже действием, хотя до москвички и пальцем не дотронулся. Потому что пока он все свое нес в себе, он еще боролся с помыслом, так или не так? а помысел был — не от него, извне, согласны? ну, а теперь он начал действовать сообразно с помыслом, а значит — впустил его в себя, и теперь все исходило уже от него, из-него. Вся полнота вменяемости лежала теперь на нем.

А как он это почувствовал, рассказать? Да самым простым и отталкивающим образом: почувствовав неприязнь, физическую неприязнь, к своей красавице жене, к которой вчера еще, пусть привычно, но ровно, правильно и достойно влекло его по-мужски; и что же гаже, но и доходчивей того чувства, что женщина, по-прежнему тебя любящая (пока еще любящая), видящая, что с тобой творится что-то несусветное, пытающаяся тебя понять (потому что думает не: это органичное тебе, из тебя пришедшее твое падение, а, ничего не ведая, думает: что-то происходит, какой-то извне нашедший неясный форс-мажор), вывести из штопора, а того не знающая, — по счастью для нее же, — какой такой это штопор, — что она вызывает у тебя...

Вы понимаете, что это за несчастье, когда жена твоя, еще в полной поре своей женственности привычно тянущаяся к тебе за своим женским счастьем, вызывает у тебя... Вот, ты ненавидишь ее за постоянное это ее похрустыванье пальцами; двадцать лет она ими похрустывала,

и это тебе не мешало, и вдруг ты это заметил — и не можешь работать под этот хруст. Н-да. И вороновы ее волосы, еще вчера приятно непокорные на ощупь, теперь так неприятно, жестко пружинят, стоит провести как бы ласково рукой по ее голове, и отблескивают и курчавятся, как металлическая стружка. И ты ненавидишь себя за то, что смеешь ненавидеть ее. И снова — ее, за то, что за ненависть к ней ненавидишь себя; и еще за то, что она — зеркало твоего гадства. Причем, что всего смешней, и гадства-то неполного и потому бесцельного, — ведь предал-то наш герой, не предав до конца, не попользовавшись плодами, не испытав того, из-за чего — будь что будет, а стоило гадом быть и век свободки не видеть: увлекательнейшего совлечения с предмета своей страсти всех и всяческих косметических масок.

Потому что он в конце концов так прямо и открылся по телефону, и спросил, и услышал ровное: «Нет», — и даже, вот же стыд-то-позор, даже удивление в этом ответе, словно чего-чего, а уж такого от него она никак не ожидала; и удивление это и было окончательным ответом, правильно? Вот вы умный человек, коль все время молчите, вот я вас и спрашиваю: ведь правильно? Ведь это же приговор?

— Кто его знает. Если смотреть на дело не глазами человека... который, простите, от долгой привычки уже не может смотреть на вещи иначе, чем через кривую призму русской литературы под немецким названием «Das Urteil»*, — то кто может знать, о чем на самом деле думает женщина, что она там чувствует своим женским естеством, пока в ее телефонном голосе звучит ровное удивление?..

— Да-да, конечно... его глаз поневоле замылен, он жизнь провел в библио... И все равно — я вам говорю, это приговор!.. И тут как раз звонит его калифорнийский друг и зовет профессором по контракту надолго, а там, глядишь, и навсегда. Причем добавляет: «С Натальей, само собой, как положено, — и этак фатовато шутя (никогда не боялся быть пошляком, завидная степень свобо-

* «Приговор» — название как рассказа Кафки, так и рассказа Достоевского из «Дневника писателя».

ды, а?), — без красавицы Натали я тебя на кафедру приглашать не порекомендую». Ну, мужику уже ничто не дорого, кроме телефонных звонков в Москву, а разговоры те отравлены и потому тоже не дороги, и хочет он одного — чтобы ничего этого бы не было вовсе, а он бы жил, как *до нее*, как все, и дышал бы воздухом. На фиг ему всякая Америка и вообще все, так? когда у него все из рук валится, правильно? но все ж таки он еще мужик — и остаточным мужиковством, значит, решает: ехать — и никаких, поступать по волевому уму-разуму, а главное — может, это-то как раз и даст возможность радикально *оторваться*, ведь из Калифорнии на Казанский вокзал и спяну не угодишь, как с Волги, не будет возможности даже часто звонить — и так он себя от нее вынужденно отрежет, как Одиссей привяжется к мачте, чтобы его эта безлюбовная сирена, сама того не зная и не желая, не пожрала.

И вот они с женой в Калифорнии, и условия жизни у них — дай Бог каждому, и уж не знаешь, кто вокруг обходительнее — люди или климатические условия, и перед глазами уже не Волга, какая ни есть хорошая река, а совсем уже задумчивый Тихий океан. Великий океан. Мировой. Пасифик. Любите, когда много-много воды? Вот и я люблю. И он любит. Для него это большое благо. И теперь он этим благом может долго наслаждаться. А он не наслаждается. Он смотрит *за* океан и грустит. В тоске нечеловечьей.

Днем, так сказать, *ex cathedra**, он из последних сил соответствует новой занимаемой должности, а вечером втихаря мешает слезы с соплями и водку с томатным соком в дурацком коктейле «Bloody Mary»**, глядя на океанический закат; а затем, приняв ласковый вид, отправляется к замечательной своей, неоценимой жене в замечательный домик, отведенный им в университетском городке, и там любительски старательно перевоплощается в любящего... Нет, вы вообще представляете себе, что такое — все это в себе носить?! А?! Слушайте, а то, может, задержитесь на денек, а? Не бросите в бидэ пожилого профессора? Я сам не пробовал, но что-то такое слышал,

*С кафедры (*лат.*).

**«Кровавая Мери» (*англ.*).

что билеты на нормальный, не ерофлотский ероплан можно сдать хоть за пять минут до отлета.

— Я уже зарегистрировался.

— А вещи?

— Только эта сумка, со мной.

— Ну, вот видите. Это знак. Давайте хотя бы попробуем! Мало ли что зарегистрировались. Давайте попробуем, а? Если выйдет, я вам возмещу потерю за аварийную сдачу билета. Чего, процентов 25 от общей стоимости, не больше. Точно. Возьмем вам тут же билет на завтра, и мы еще посидим, выпьем и снова нальем, и не спеша потрендим о Мандельштаме. Тренд у нас пойдет — заглядение. Я вам не осветил еще статную фигуру Еликоницы Поповой, маячащую в конце его недолгой жизни, ведь мы с вами почти уже дожили до его итоговых 47, а разве мы пожили на этом свете? тоже была дама, скажу я вам... так что после всего пережитого-перемершего, в леденящем кровь ожидании окончательного решения своего вопроса его опять повело на подвиги, всюду жизнь! — не за то ли Господь и не отвел, в конце концов, жирную длань Навуходоносора от нашего щегла... я это не в плане суждения, тем более осуждения, а в плане вопроса к себе. Спросим у кого-нибудь еще. Спросим вон того, с какой стати он так дружелюбно на нас смотрит? Чего он на нас пялится? Любит, что ли? С какой стати? Узнал бы сначала лучше. Мы его ща спросим по всей строгости нашего сурового, но справедливого: а ваши кто родители? И если не так ответит, мы его положим прямо носом в шницель, от двух бортов в середину. Правильно говорю?

— Драку заказываете? Хотите, подставлю свою морду?

— Вы-то с какой стати? Вас я полюбил. А его положу с первого удара, со всей большевистской строгостью и прямотой. А потом выберем кандидатуру для вас. Оставайтесь, а? Москва не убежит.

— Ничего я не останусь. Сейчас пойду на посадку. И вам же лучше. Останетесь один — сразу бросите эти игры. В русского богатыря Ивана Повидлова. Главное дело, чтоб не перед кем было выступать. Только это и смиряет. Но уж если вам по-настоящему приспичило дать кому-то в рог... я видел, я знаю, хоть сам не русский, у на-

стоящего русского после этого почему-то, правда, легчает на душе, — лучше найти понимающего человека. Натейте, только в сторонке. Не то ваше профессорство закончится через пять минут. С баварской полицией каши не сварить. Жалко вашу жену.

— А моего героя? Его вам жалко? Вы его хотя бы понимаете?

— Насколько один пьяный может понять другого.

— Немало. Хотя и немного.

— Нет, чего там... все путем. У вас — свой конек: предательство. Нет, даже не так. Просто — es gibt* казус предательства. И чтобы его оправдать, сделать чуть ли не духовной практикой, Вы шьете теорию: предательство как искусство самопознания. Клеите к этому делу Мандельштама — наконец-то и его, бестолкового, придумали, как приладить к стоящему делу. И все вроде бы честь по чести. То есть это вы доказываете, что у предателя бывает честь. Доказываете себе — и ладно. Значит, вам это необходимо. Значит, вам от этого легче. Каждый вечер. Но я-то зачем вас или там вашего героя должен понимать? Меня попрошу не записывать ни в искатели, ни в простые попутчики! Не симпатизируется что-то вашему профессору... Да ну его вообще на! не люблю я актов самопознания за чужой счет... Там, в Москве, не так давно славно поживились за мой счет... Вы говорите о предательстве без обмана — ну, а у этих обман безо всякого предательства!.. И вообще — чем ваш герой недоволен? с жиру бесится. Мне бы такую жену, чтобы от меня хотела какой-то там высоты и меня бы куда-то подталкивала... Думаете, слаще, когда тебя любят — или терпят? — черненького? И не надейтесь... Да, впрочем, мне и это вряд ли бы помогло. Хотят от тебя того, чего ты в это время дня не хочешь, терпят ли таким, каким ты и себе не нравишься, — все едино ты один на один с собой. Как говорил Амброз Бирс: «Иначе=не лучше»... К тому же — в вашем квазирусском повествовании не звучит заветная русская тема детства. Детским духом не пахнет. Правильно я понимаю — герой рассказа бездетен? причем рассказчик даже не считает важным это сообщить. До такой степени вдалеке от

*Имеется.

этого, что и не ведает: это все меняет. Не всем так везет, как не повезло — в его случае — вашему приятелю. С детьми в нынешней экономической ситуации даже лицам свободных профессий, даже последним раздолбаям вроде меня не до романтических порывов и экзистенциальных прорывов... Но вообще — молчу. Скажем так — соболезную всякому, кому неподдельно нсйметсся.' Это единственная реальность, данная мне в ощущениях.

— Уже много. Благодарю за внимание.

— Честно говоря, оно мне недорого стоило. Я спьяну, когда молчу, то как бы внимателен, но на самом деле слушаю одним ухом, а сам торчу себе. Если вас это не обижает, можете меня еще чуток проэксплуатировать. Но только чуток. Время! Время пулям по стенкам, по Стенькам в стельку.

— Обижает? Да это великая вещь! — когда просто долго не перебивают. О самом внимании я уж не говорю, когда даже его эрзац редок и драгоценен. Какая разница — почему, если тебе дают договорить до конца. Это единственное, что нам остается, пока не наступит конец: договорить до конца. Но обычно нас лишают и этого. Все сами хотят успеть до конца высказаться. Спасибо. Так потерпите еще? Немного осталось. Возьмем еще хлебного вина № 21?

— Себе. Мне генуг. Я многообразно ангажирован. Мне и вас слушать, и о своем думать, и главное, расслышать, какой самолет — мой. Однако странно.

— В смысле?

— В смысле — странно не то, что удалось растянуть время...

— Как, вы тоже заметили?

— А вы что думали — вы один такой наблюдательный? Много мните о себе. Дураков нет.

— Но это вы... это ведь вы тянули временное одеяло на себя! Я-то пил себе да рассказывал, а вы что-то такое сделали...

— Три волоска вывинтил из своей бороденки?

— Ну, этого я не говорю... но что-то такое.

— Ага. Ну, а я грешным делом подозревал в том же вас. Вы тут что-то такое озвучивали, хотите — не упомяну что.

Пока я с вашей помощью ушел в немеющее время... Но странно не то, что кому-то удаются чудеса. Странно, что чудеса все равно подлежат законам не-чудесного. Если отрицать чудесность самого Закона. И время удалось растянуть только на время. Как ни придерживай стрелку, она все равно подходит к нулевому старту. Вон часы висят. Сейчас объявят. Поэтому продолжайте быстрее.

— Спасибо... В общем, дело такая дрянь, что ни словом сказать, ни вздохом. Кажется, хуже некуда. И тут — новый поворот винта, с позволения Генри Джеймса, Джеймса Джойса, Джойса Кэри и кэрри из цыплят с рисом. Как-то одним закатным вечером с тошнотворно-сказочным видом на океан приятель ему за третьим стаканом хайбола и говорит без задней мысли: «Да, с Наткой тебе повезло. Бродили-таки неподдельные красавицы и в наших яйце-головых джунглях. Тутюшные нашим в подметки не годятся, но сохраняются лучше, по средствам молодежи по мере старения. А твоя еще и сохранилась не по средствам. Честно говоря, я тогда думал, что она — не для тебя. Не для таких, как ты, извини. Но к счастью для тебя, ошибся. В тебе».

Сказал и сказал. И обижаться не на что, фраза скорее комплиментарна, да? Что до восхищения его супругой, пусть бы даже оно и не совсем бескорыстно, — ему теперь какое дело, казалось бы, ежели у него одна москвичка на уме? наоборот, ежели между женой и приятелем что-то этакое хоть слегка пробежало (не больше же, не так же быстро, солидные же люди во всех отношениях), а она ему не говорит, то и его обман — не такой уж обман, а? когда он взаимен, да? Ан не тут-то было. Тут вдруг его осеняет вспомнить и другие фразочки приятеля, и самое его приглашение, вроде бы шуточное... И тут еще вспоминает он посиделки последнего времени, и начинает ему мерещиться, что между женою его и приятелем вообще что-то такое знакомое происходит, но что же, что?

И здесь его бабах-прибабах: да это же то самое, японский перец, двадцатилетней давности в-глазах-оживление, тот же, цирлих-манирлих, адский огонек, что тогда между ней и сгоревшим мальчиком!.. опять оно, значит, все-таки тогда он не зря, значит, ей в нем и тогда и теперь

чего-то не... ей, как и всем гуманитарным пошлячкам-интересанткам, подавай таких, как... а ведь какой казалась правильной!.. да, но главное: значит, сам он, все его кровное-завоеванное — коту под... значит, он-таки того огня — не приобрел, если она ищет его в дру... о-о! у-у!.. Но хоть теперь, Вы думаете, его увело, наконец, голубчика, оттянуло-утянуло куда надо, к кому положено? При таком накале оскорбленной самости *здесь* — стало ему, наконец, безразлично, что его не любят *там*? Да как бы не так! Вот она, подлянка на полянке, вот какая драма на охоте! Он, продолжая думать о жене с приятелем, как компьютерщики говорят, перетащил мысль из воображаемой здешней ситуации в воображаемую московскую. Какую мысль? Мысль, что вот — по тому же самому, по неимению-то огонька, светлой там уж харизмы или темной чары, но по неимению вот *этого самого* и москвичка-то его не...!

Растянуло его в два разных, по-разному, но равно адски жгучих несчастья, словно его привязали — простите уж бывшего знатока Манасов и Джангаров — к двум скачущим в противоположные стороны кобылицам, при том что каждая из двух этих женщин, невзирая на промелькнувшее сравнение с Фру-Фру (к слову, согласны вы, что-таки это караковое животное не только для его обладателя, но и для автора явно больше, чем просто лошадь? Вы, конечно, помните «энергическое и вместе нежное выражение» ее «фигуры и в особенности головы», ее «веселые глаза», ее «прелестные, любимые формы», от «зрелища» которых «с трудом оторвался» Вронский? согласитесь, текст дает неплохую возможность человеку специфически одаренному, вроде Бориса Парамонова, всласть порассуждать о своеобразии плохого отношения Толстого к женщинам в связи со слишком хорошим отношением к лошадям), — при том, что каждая из наших двух женщин имела не больше общего с кобылицей, чем Александр Блок с блоком НАТО, уж простите очередной дешевый каламбур. Я сам замечаю в себе склонность к навязчиво-однообразным каламбурам и, вглядываясь в глубь — или в глупь? — в глупую собственную душу, вижу в ней стремление, противоположное стремлению моего

любимца Джозефа-Ossip'а Э.: не «знакомить» незнакомые прежде слова, а как раз раззнакомить все прежде знакомое, до нуля, до полной посторонности, из интереса: как-то они там заново перезнакомятся — по-другому или все равно опять в ту же дуду?.. Все-все раззнакомить — слова, вещи и людей. Начиная с омонимов и кончая анонимами.

— Что за онани... простите, но все дурное заразительно. И давайте же быстрее.

— Прощаю. Даю быстрее. Так вот, растянуло по обе стороны Тихого, но Великого океана... Собственно, все на сегодня. Пункт*. Или нет? Нет, все-таки — пункт. Так всегда — говоришь-говоришь, без начала и конца, и вдруг понимаешь — все уже рассказано. Так и жизнь... Но неужели Вы не попадали в такое положение, что и героя моего понять отказываетесь? совсем ничего подобного? даже на заре туманной юности?

— Да нет, что-то такое было... Но всдь это когда было-то. Кто в 20 лет и кому не изменял, а ему в ответ платили тем же, и кто теперь разберет, ты тогда первый начал — или защищался, или все-таки первый — но вынужден был нанести превентивный удар? Какие вообще могут быть измены, когда дует ветер мая? Это все не измены, а перемены. Стоп! Объявляют мой самолет.

— Да-да... Это все переносимо. В молодости всяк хочет жить, чтоб мыслить-и-страдать. До какого-то момента страдание переживается как Страдание: что-то лестно-высокое и, главное, контрастно обостряющее радость жизни. Но у всего есть временной ценз. Когда тебе как следует после сорока... Вы замечали, в нашем возрасте, когда страдаешь, именно что не хочется мыслить. Вообще не больно живется страдаючи. А жить-то надо, пока не умер, что подло, какому-то образу-представлению-в себе-о себе надо соответствовать! Хоть за что-то же себя уважать надо, верно?

— Думаете? Может, напомниме тогда заодно, кто и когда вменил это в обязанность?.. Куда занесло кельнера?

— Бегите, я расплачусь, мелочовка... Вообще-то вы правы. Но не с нулевым же итогом... Впрочем, и это тупф-

*Punkt — точка.

та. А все ж почему-то чему-то соответствовать надо. Для чего-то. Вредная привычка. А вот попробуйте в таком состоянии — и про Серебряный век, а?

— И пробовать не стану — не получится. Зачем козе баян, когда она и без того смешная, — я застегнул куртку и взялся за сумку.

— То-то же. А у меня пока еще получается!

— Ну, уж тогда и не знаю, сочувствую я вашей доле или завидую силе вашей воли. Извините, я без тени иронии, но — пора, совсем пора. Рад был... давненько не брал я в руки... а если и в Вашингтоне будете, скажите мои поклонны Биллу Клинтону и его прелестной супруге. Выражаю поддержку их мужественной борьбе за нетрадиционный подход к укреплению позиций верности последнему оплоту натуральных семейных ценностей. Так и передайте — заявляет солидарность! и умоляет последний оплот и впредь крепить нетрадиционный подход — и больше не послаблять!

— Я вас догоню, еще минуту не улетайте, ну, пожалуйста, — он, видимо, расплатился и через минуту на-шел меня уже в очереди у паспортного контроля. — Вот и я. У меня к вам просьба. Вот письмо в Москву. Бога ради, выберите время и отдайте ей его лично, если она дома. Можете, конечно, опустить его и в ящик, только уже в Москве, а то я слышал, половина заграничной пропадает где-то по пути, — но лучше лично, посмотрите на нее. Если надумаете, напишите мне, как она вам показалась. Беспристрастно. Может быть, я ошибаюсь. Может, даже скорее всего, она вам не покажется. Может быть, я тогда вас послушаю и... Вот визитная карточка. Тут указан мой абонентский бокс. Телефон тоже, хотя он вам, конечно, не пригодится. Возьмете письмо? прошу Христа ради.

— Ага. Волшебное слово. Например, вы Христа ради просите героя, а я Христа ради должен буду дать... Лучше вот что. Если вы в самом деле готовы послушать меня — послушайте лучше прямо сейчас. Хотите, я вас попробую привести в чувство? Потому что мне безо всяких дальнейших смотрин не нравится вся эта история.

— Что так?

— А так. Ни в вашем отношении к жене, ни в вашем отношении к москвичке я не вижу не то что истины, но даже момента истины. Тут что-то только плохое. Или очень плохое. Но в чем, по-моему, по крайней мере ничего плохого нет, так это в том, чтобы в создавшейся ситуации по крайней мере не преда... ей-богу, даже хваленый ваш опыт самопознания не стоит... того, что за двадцать лет, пусть опираясь на изначальную ложь, было честно наработано... Для пользы дела, простите, по пьяному опять же делу попробую задействовать ваши самые низменные... Как, по-вашему, — моя очередь подошла, я протянул паспорт, — слушайте внимательно: как, по-вашему, пока вы мне тут под банкой повествуете о своей романтической амазонке из коммуналки, но на сером в яблоках коне, — уверены ли вы, что ваша жена в вашем отсутствии с вашим приятелем не...? Нет, я не о том, что раз — и квас, что уж тут, Сергей, мы, что ль, Есенины, певцы мы, что ль, сумерек? но — уверены ли вы, что, почувствовав в вас пусть латентное, но — ведь я правильно понимаю, она умная женщина? — какое-то... не столь бережное отношение к ней, какого она, безусловно, и хочет и достойна, — она не может найти то, чего достойна, в дру... и если ваше присутствие, как бы вы себя ни вели, просто могло не дать ей этого как следует разглядеть, оттягивая на себя большую часть ее привычно верного внимания, то сейчас, пока вы тут сидите, в любовной лихорадке порываясь вслед за письмецом в Москву, то — что же делает супруга, *не одна* в отсутствие супруга? Когда она на берегу вечеряющего океана имеет много свободного от вас времени оглянуться окрест себя, взглянуть в лицо не заслоняемой вами и вашими нестерпимыми безобразиями прекрасной, совсем не яростной жизни, согрстой ровными лучами заходящего калифорнийского светила...

— Милостивый государь, вы поэт... из Азэфов. Искусствовед в штатском! Я вам... я тебе сейчас лицо набью, поэт пархатый...

— Метко замечено. Хотя одна помянутая вами сегодня дама уже утверждала что-то в этом роде, — и как назло, опять же стихотворно, — но вам без цитаты не положено. Вообще-то я и говорил, что больше подхожу для мордо-

боя, чем любой из присутствующих здесь. Пожалуй, что и заслуживаю его — правда, бить пограничники вам не дадут. Но в данном случае старался не для своего удовольствия. Шоковая терапия. Между прочим, эффект налицо. Посмотрели бы на себя. Как это писал лет тридцать пять тому один тогдашний поэт не из Азэфов? «По лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл». Вот вы бы сейчас прочувствовали как следует этот ожог, вывели бы его в полное сознание, но зафиксировали в чистой эмоции, сопрягли — да тогда и смогли бы... сделать как лучше. Как вам же лучше будет.

— Аминь. Беру свои слова обратно. Вы не негодяй. Вы добрый человек из Аугсбурга*. Поэтому возьмете письмо.

— Что, неужели не берет даже... то, что я только что...? До того дошло?

— До-то-го.

— Вот сейчас искренно говорите. Головушку хорошо повесили. Прямо поникли ею. Молодцом. Без чувства незаконного удовлетворения. Ладушки. Давайте сюда.

— А это... Спать не забудете? Руки дойдут?

— Дошли бы ноги. Серьезно. У вас своя история, у меня — своя. Моя серьезнее. Но если не доверяете мне, то и не надо. Пошлите по почте.

— Почте я не доверяю еще больше.

— Тогда у вас нет выбора. Давайте сюда. Счастливо! — крикнул я ему уже назад, уже из мира иного. — Постарайтесь все же удержаться от мордобития. Через две минуты однозначно загребут в ментуру, вышлют по месту подданства, занесут в компьютер и будете невыездным в Европу и Штаты до конца своих дней.

— Может, я этого и хочу! — крикнул он мне вдогон.

— Тогда, — остановился я в последний раз, — бесспорно оптимальным будет заехать в рыло первому попавшемуся. Во всяком случае, желаю вам того же, что и себе: действительно узнать, чего вы хотите на самом деле. Буду жив — дам о себе и о вашей-не вашей знать. Пока.

*Фактографическая подкладка аллюзии на название пьесы с явно завышенной репутацией: ее автор (и пьесы, и в большой степени ее — и своей в целом — удивительной репутации) родился в Аугсбурге.

АККОМПАНеМЕНТ

— Приезжает, значит, ко мне теща с Херсона. Навеки поселиться. По происхождению из немецких колонистов, но языка совсем не помнит и учить не может. Способности нулевые плюс склероз. Вся жизнь на сале. Значит, эти разбираются, какую ей графу дать, но 4-ю* не дадут — это хундерт процент. А она, не дожидаясь паспорта, в первый день пошла в «Вулворт», увидела там на выносной тумбе босоножки — и сперла. Представляешь, на тумбе, редуцир**, 30 марок за пару, которой цена все 90, даром, возьми купи — а она не выдержала: пропадает же добро прямо на улице... А ее в полицей, а она по-немецки — цацки-печки! Вызывают меня. Стыдо-баа... Вроде как-то замяли, мол, думала, это выброшенное. Вроде все-таки не вышлют по первому разу... Нет, но ты представляешь — немецкий она еще не выучила, а босоножки уже сперла!

— Я раньше думал: иностранец с похмелья страдает — таблетку принял, протрезвился. На душе иностранцу плохо, таблетку принял — захорошело. Помирает иностранец, таблетку принял — уже умер, а еще живет. А теперь я сам иностранец, табле-

*4-я, 7-я и 8-я графы (параграфы) — одна из насущных и постоянно обсуждаемых тем в среде аусзидлеров: кому из них дадут (уже дали, не дали) вождеденную 4-ю графу (полнота «германства», насколько я мог понять), а кому — только 7-ю (всего-навсего «член семьи немца», если ты русский по паспорту или даже немец, но не сдал языковой экзамен), а то и вовсе 8-ю («член семьи члена семьи немца»). Все это не только означает степень полноты прав или поражения в правах, но и — различные льготы или их отсутствие. Человек, натерпевшийся от многолетнего фундаментального присутствия в его жизни 5-го параграфа, долго удивляется тому, что другие, в отличие от него, хотя не отмены всех параграфов вообще, а получения 4-го или по крайней мере 7-го. Но потом привыкает и даже любопытствует, вполне бескорыстно. Казуистика немецкого закона, сгущенная иррациональность того, что призвано быть предельно рациональным, иногда головокружительна. Мне известны случаи, когда стопроцентный немец по происхождению получил всего лишь 8-ю графу (не сдал языковой экзамен и получил въезд в ФРГ только как муж жены, «являющейся дочерью немца», — 7-я графа), полукровка — 4-ю, а русская жена человека с 7-й графой, имеющая, стало быть, право только на 8-ю, — почему-то тоже 7-ю, как и он. Каждый такой непостижимый для «внешних» прецедент, однако, строго и детально мотивирован; посвященному ясно, что решение в данном случае могло быть только одно.

** «Редуцир», «купить по редуциру» — жаргон русскоязычной диаспоры. От нем. reduziert — (цена) снижена.

ток — на все случаи жизни, а не хорошеет. Иностранцем надо родиться. И думаю: до чего ж ему, собаке, и тут повезло...

(У синагоги):

— Вот что интересно: как только на конте* денег нет, особенно если они почему-то задержаны, резко обостряется тоска по родине. Приходят деньги — тоска, конечно, остается, но в терпимых пределах... Вообще, знаете, когда мне бешайд давали на квартал и деньги аккуратно приходили каждого первого числа, я шел себе в «Норму», а то и в «Глюс», набирал того-сего и думал: «Чего тут устраивать баррикады, чего кровь портить завистью, когда и так на жизнь хватает? Ведь я же дома никогда так не ел, и в Вену меня от юдишгемайнды** по дешевке на автобусе не возили!» А теперь, когда меня отслеживают и дают бешайд только на месяц, все, собаки, ждут, что я вот с этого первого числа с их шеи сползу на шею арбайттебера — размечтались! — уж и не надеются, а все ждут, и почему-то теперь и деньги стали с задержкой приходиться аж на неделю, так что совок в страшном сне снится, — я, знаете, в эту безденежную неделю, когда иду мимо, где они на улице сдят и денег не считают, берут ребенку цветочную вазу мороженого на 7 марок и себе бокал пива за 5, которое в магазине стоит те же поллитра марку! иду мимо, а у самого на все про все 3 неполных марки мелочью, — и вот тут я отлично понимаю незабываемые строки: «Рабочий тащит пулемет, сейчас он, суки, вступит в бой!» Долой, думаю, господ, понимаете? Помещиков — долой! Я былые скажу: в голову приходят слова бессмертной «Варшавянки». Помните:

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Долго ли, братья, мы станем молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

— А? Сила! Мощь, а?

— Да, что-то есть. Я только не понял, кто кого пугает? Левит — Эшафота или все-таки Эшафот — левита?

— Ну что, едете завтра на экскурсию по Мюнхену?

— Не получается. Завтра же 9 мая.

*Все русские склоняют несклоняемое Konto — личный счет, обязательный в западных странах для всех; деньги из собеса не выдаются на руки, а приходят на konto.

***Judische Gemeinde* — еврейская община.

- И что?
— Как что. Это же День Победы.
— И что же?
— Ну, так землячество обратилось в регирунг фон Швабен с просьбой отвести нам на завтрашний вечер помещение для празднования нашего Дня Победы над фашистской Германией.
— Смеетесь?
— Почему смеюсь (обиженно)? Не вижу, что здесь смешного.
— Да? воля ваша... И что они?
— А что они, не люди? Разумеется, дают помещение. В самом центре, по самой льготной цене.

ННР

Реклама кондомов на трамвайной остановке. Сверху надпись: «Для влюбленных». Под ней — изображение очков, где вместо стекол — кружки розовых презервативов.

Нет слов.

14. DRANG NACH OSTEN

Человеку свойственно планировать. Даже такой человек-под-вопросом, как я, что-то планирует. И какие-то вещи он (я), если он не последняя скотина, планировать и должен. Количество детей, например, если его фамилия не Роллинг-Стоун. Пусть только скажут, что я не благочестив! я найду, найду, что сказать в ответ — от лица человека, который именно что *был* благочестив, который, зная себя, зная, что он, как ни бейся, козлиного молочка принесет своим деткам вместо средств к существованию-образованию, все равно остался безрассудно, безответственно благочестив — и тем-то сам себя загнал в угол — и хорошо бы одного себя...

А... а если бы их было *трое*?

Глупо поступает человек только тогда, когда начинает планировать свою внутреннюю, душевную деятельность. Например, думает так: «За свои деньги я получу множество разнообразных наслаждений. Сначала я с удовольствием выпью и закушу в ресторане в аэропорту. Потом

прямо перед посадкой наслажусь дешевизной цен на спиртное в «Дьюти-Фри» — выберу пару литровых пузырей чего-нибудь шведско-голландского для друзей-приятелей. Потом я всласть прочувствую разницу между самолетами «Аэрофлота» и первым в жизни самолетом «Люфтханза», гарантированной безопасностью полета, комфортом, сервисом, выбором вин — там, поди, чего такого только не дадут! Затем, по прибытии в Шереметьево, я не стану ни напрягать знакомых, чтобы кто-то меня встретил, ни тащиться с вещами к автобусу до «Речного вокзала», а как человек сяду в такси и откинусь...» — и т.д.

Иначе говоря, человек понимает мир душевных событий как простую временную рядоположенность воздействий (в данном случае приятных) на душу, рядоположенность, осуществляемую посредством денежных вложений. Сколько добрая жизнь ни учит его уму-разуму, до него, долдона чалдонского, чулиды мудиловатого, никак не дойдет: во-первых, его душа — не от него, она только вверена ему, проживает в нем, но проживает своей автономной, не до конца подотчетной ему жизнью — и так задешево, деньгами, по плану не управляется; во-вторых, каждая минута внутри нас никогда не бывает просто следующей. Все следующее следует только из предыдущего и с изменением предыдущего превращается в неведомое-следующее.

Нужно очень серьезно подумать перед началом любого мало-мальски активного взаимодействия с собственной душой, пока еще в твоей власти запустить механизмы, дальнейшее действие которых ты уже не сможешь просчитать. Любое начальное воздействие на душу не просто вызывает в ней приятные или неприятные ощущения, но прежде всего изменяет ее саму, создает, пусть на время, *другую душу*.

Это в корне меняет ситуацию, в ходе которой события души теперь уже не пойдут через запятую, а будет, например, так, что именно включение кнопки «событие» 1, якобы подразумевающее начало дальнейшей цепи душевных событий, следовательно, и события 2, — оно-то, событие 1, как раз наоборот, отменит — а вовсе не спродуцирует — самую возможность события 2; что же до события 3, то оно может спокойно совершиться, не глядя на

исчезновение события 2, а может тоже накрыться за милую душу, а с ним и события 4, 5 — 11, а вот с 12-го все пойдет чин чинарем...

Например, я так полноценно выпил в аэропорту (событие 1), что о «Дьюти-Фри» (событие 2) просто забыл, да и некогда было — профессор меня порядком задержал, пришлось бегом бежать на посадку; удовольствие же от всего, что я думал получить от «Люфтханзы» (событие 3) за разницу между ее ценой и аэрофлотовской, пошло на смарку. В пьяном тумане я не мог — да не в состоянии был и пытаться — почувствовать разницу. Те же тесные кресла по трое в ряд, что и в родном «Ту» (я все же имел совесть и взял билеты в экономический класс, но ведь лететь бизнес-классом и в аэрофлотовском «Ту» было просторно), те же объявления, только на чистом немецком языке, большая вышколенность стюардесс, спьяну кажущаяся искусственной. Спьяну все кажется искусственным, а особенно то, что таким и является, — и спьяну все искусственное противно, при этом противно форсированно, то есть искусственно же; противно, как стрезва оно было противно разве что таким искусственно естественным людям, как Лев Толстой. Для наслаждения же чувством повышенной безопасности я должен был выпить на порядок меньше — в теперешнем состоянии мне достаточно безопасной показалась бы и аварийная посадка на брюхо при невыпускающихся шасси.

Далее — выбор напитков. Ставлю месячное социальное пособие на семью из четырех человек против пары ношенных носок, сданных милосердным немцем в благотворительную организацию «Каритас» (где паупер с бешайдом, удостоверяющим легитимность его нищеты, имеет право раз в месяц бесплатно набрать нужного барахла первоклассного происхождения в прекрасном состоянии в потребном количестве): любой знаток вин, если он выпьет сначала виски, потом коньяку, потом рому, а потом уже много водки, не отличит не то что рейнэссенского рейнвейна от рейнвейна района Рейнгау или Рейнпфальц, но сегодняшней фальсифицированной «Хванчкары» от «Хванчкары», шедшей некогда на стол лично товарищу Сталину.

Наконец, люфтханзовская еда. Сказать по правде, ее я вообще не запомнил. Не запомнил даже, ел я в самолете или не ел. Вообще я из каких пьющих? Я, значит, сразу, как выпью, человек человеком, то есть хочу закусить; а вот потом, когда закушу, а затем еще много выпью, на еду глядеть не хочу, а только бы мне на подвиги — а нет возможности подвига, так заснуть. Подвиги мне еще предстояли, в самолете же из подвигов возможен только один — угон самолета. Если бы я послушался профессора и мы взяли бы еще бутылку, сейчас можно было бы подумать и об этом; но если бы я послушался профессора, я бы точно не попал на свой самолет, так что вопрос об этом в любом случае отпадал. Кроме того, если бы, например, Мухтар захотел доказать мне, что когда жизнь заставит, то мне и геройство такого замаха будет по плечу, ему следовало бы для начала меня вооружить. Невооруженный человек просто не имеет технической возможности, а значит, и морального права угонять самолеты, сказал бы любой честный немец. Поэтому я погрузился в сон.

Через какую-то дурную временную бесконечность, где-то уже над Варшавой вдруг проснулся от крайне неприятного ощущения: полного протрезвления. То есть протрезвления, полного остаточным пьянством. Что такое? что мешает мне спать? а вот что: чувство невыполненного долга. Ведь я постановил себе еще дома, еще до аэропорта: в полете продумать план действий. Если я с самого начала не буду придерживаться намеченного, я не имею права пить. Во-первых, потому что морально не отработал полученных денег, во-вторых, тогда мне не сносить головы. Мне ее и так-то не сносить, а так и тем более.

Хорошо, профессор выказал запасливость и кроме письма дал мне несколько колес «Алказельцера». Все свое носит с собой. Поделил пачку по-братски. Битте минераль-вассер. Нох айнмаль, вэн'с гейт*. Филен данк, данке зэр, данке шён. Зашипело. От двух полегчает. Терпи, скоро.

**Noch einmal, wenn's geht* — еще, если можно. Формально фраза составлена как бы правильно, но, судя по реакции моего сына, звучит смешно — по его словам, настоящий немец никогда такого не сморозит, а скажет что-нибудь вроде: «Konnte ich bitte noch ein bisschen Mineralwasser haben?» (Букв.: «Могу ли я, пожалуйста, еще немного минеральной воды иметь?»)

Займемся. Что у нас есть в активе? Что ты вообще знаешь об этом деле? Кого в принципе можешь подозревать — за незнанием всех остальных, которых можно заподозрить? Это даже хорошо, что ты всех не знаешь — у тебя глаза-то бы с разбега да на лоб и полезли! Кто может дать тебе стартовую информацию... хотя бы больше той, что имеешь сейчас... если захочет дать. Или если ты *поможешь* ему захотеть. Так какие у тебя концы?

Их всего... их всего три. Или — еще кто-то? Концентрируйся! Сосчитай по новой... Все равно только три.

Первая Галя. Она должна что-то знать о своем муже, помнить о его последних встречах. Может быть, даже о *самой последней* встрече. Когда, с кем. Она может знать. Может не знать. Могла сойтись с тех пор с денежным человеком и переехать с первого этажа черемушкинской хрущобы куда-то получше. Могла сама сменить адрес, если Акоп ей что-то оставил. Наконец, ее могли убрать, не обязательно вообще, но из Москвы. Но вполне возможно, она живет, где жила. Россия не Сицилия, мужа грохнут, до жены руки не дойдут.

Во-вторых, двое из ларца. Владики. Эти по крайней мере знают точно, завалили они Акопа, как предположил Мухтар, или отпустили его живым и с тех пор не видели, как младший Владик доложил мне в наш последний разговор. Если все-таки нет, это уже хорошо. Для моей внутренней уверенности. Для очистки совести. А для Мухтара? Их алиби, и не только для него, но и для меня? С какой стати я должен им верить? Но все же если не соврали и сейчас это докажут, это — уже. А чем я могу их принудить расколоться? Хотя бы одного из них? Напугать их? Я? Хе-хе, как говорят профессор с этим... которого все западные хотят знать в оригинале. Да, большой был оригинал. Кабы они его узнали бы на самом деле — вздрогнули бы. Сами не знают, чего хотят. Вернемся. Если мне их не испугать — тогда что у меня есть такого, чего у них нет и им было бы нужно? Одна Германия. Хе-хе. А почему, собственно? Ахтунг! Владик-младший любит своего большого папу... Штоп. Возьмем на карандаш.

Третье. Алексей Анатольевич. Из разговора с ним в свое последнее посещение Акоповой фабрики я выяс-

нил, что он вложил в дело 9000 долларов и еще рублями 6 миллионов (всего, стало быть, 11 000 баксов по тогдашнему курсу), что Галя считалась с ним особенно — как с самым крупным вкладчиком (ее слова в его передаче; я, судя по всему, был вторым, а третьей — одна пятидесятилетняя бухгалтерша из бывшего почтового ящика, а ныне какого-то ТОО на Варшавке) — и пасла его еще предупредительнее, чем меня, до того, что всегда звонила накануне: «Завтра приезжайте за деньгами, пожалуйста!»

Он поделился со мной вынашиваемым планом — создать инициативную группу из серьезных вкладчиков (под его, разумеется, руководством), нажав на Акопа угрозой суда и яростью масс, взяв на себя его долги и сохранив его формально директором, но поставив под контроль вновь организованного АО (главой которого был бы по всей справедливости он, Алексей Анатольевич), заставить его первое время работать только на то, чтобы рассчитаться с должниками — сколько понадобится, а затем уже совсем выпихнуть Джагубяна и раскрутить обороты, какие Акопу и не снились...

Он уговаривал меня войти в инициативную группу и акционерное общество, но для этого надо было, как он, верить в перспективность чулочно-носочного предприятия — и он верил, он сам был производственник, и по его компетентным прикидкам, у дела этого были неплохие шансы, собственно, потому он и не побоялся вложить такую крупную сумму; я видел — он человек знающий, но к этому времени, огулев от всех на свете знающих людей, я доверял только своему чутью, а оно говорило: Акоп — профессиональный Колобок, и сколько его ни паси, ни вкладывай в него, ни урабатывай его кнутом и пряником, ни бери на страх и совесть — он и от дедушки уйдет, и от бабушки уйдет — и денежки возьмет, и станки с собой прихватит, и всех оставит с носом, пока не наткнется на свою лису — и вот ею-то одной и неплохо бы ненароком, но предусмотрительно оказаться... в общем, как только я услышал, что первым делом надо будет собрать деньги на закупку пряжи, чтобы запустить остановившееся производство, затем, тоже не без денежных вложений, разобратся с Акоповыми соучредителями (интересно, поче-

му он решил, что такие борзые, как худоглазый Олег Георгиевич, позволят ему с собой разобраться? или еще: какие деньги он намеревался собрать, в том числе с меня, чтобы дать им отступного?), я понял: начинается новый марафон, от 1001-го дня армянской сказки про вот-вот-завтрашнюю-клянусь-мамой обналичку черного нала отпочковывается уже родная русская сказка про белого бычка, где вообще не ведут счета дням и ночам, — и сразу от всей души пожелал Алексею Анатольевичу удачи, дав, конечно (а вдруг получится? вдруг у него легкая рука?), свое согласие на включение в игру... не сейчас (сейчас просто нет свободных денег, знаете ли, все в жестком обороте), но на дальнейших, реально продвинутых этапах — обязательно.

Он мог долго стараться. Но в конце концов должен был разувериться. Я на 99 процентов точно знал, что со дня последней выдачи, того мешка денег, Акоп никому не отдал ни копейки. По крайней мере до моего отъезда. Если после моего отъезда положение не изменилось, Анатолий Александрович должен был окончательно разувериться. И, насколько я его понимал, он был не из тех, кто мирится с такой потерей. Тогда... тогда он должен был пойти тем же путем, что и я. Путем всех людей доброй воли, вынужденных недоброй волей обстоятельств прибегнуть к услугам людей, более соответствующих обстоятельствам. Разумеется, он в жизни не собрался бы убивать Акопа — хотя бы потому, что это сводило шансы вернуть деньги к нулю. Но то же самое сказал в свою защиту и я. Я сказал Мухтару, что должников не убивают, убивают кредиторов, а должников берегут как зеницу ока. А что мне на это ответил Мухтар? Что выбиванием долгов занимаются либо люди несерьезные — и тогда все в любом случае остаются живы и не возникает вопросов, подобных данному, — либо занимаются этим люди серьезные, добросовестные, которым из любви к делу случается перестараться, — и это увлечение делом приводит к случайным, никому не нужным трупам.

Если это его люди, а не мои? Или не его, но он знает — чьи? Может он знать? Может. А должен он тебе сказать? Должен он тебе дырку от бублика. Тогда чем ты его — пуг-

нешь? купишь? думай! Ладно, начнем с Гали, а там будем думать дальше, по мере продвижения.

С чувством некоторой проделанной работы, косметической очистки совести я позволил себе снова выпасть в сон. Когда я проснулся, время было пристегивать ремни. Я бросил еще «Алказельцера» в оставшиеся полстакана минеральной и освободился если не от остатков похмеля, то от следов погрома во рту. И стал смотреть в окно. Еще несколько минут я мог смотреть на землю своей родины сверху вниз.

Когда стопы мои сровнялись с землей моей родины, в голове прояснело окончательно. Я был больше не в трех тысячах верст от зоны далеких и потому всегда завтрашних действий; нехотя, но необратимо оказался я уже внутри этой зоны, в круге реальной и неминуемой опасности. Каждая точка моего естества ощутила: хорошая доза адреналина — трезвительнее всех народных и фармакологических похмеляющих средств.

На прощанье, пожимая мне руку и вкладывая в нее пачку наличных и свой московский телефон, по которому я должен был время от времени отчитываться о предпринятых действиях и полученных результатах, Мухтар сказал: «И запомните. Сколько бы вы ни отпирались, что в такого рода криминально-цеховых делах сам черт ногу сломит, но я уверен, я знаю: *это* дело — в основе своей просто. Как говорил патер Браун о «Гамлете»: «Все оно — вокруг простой фигуры человека в черном». У Вас все получится. Бог в помощь». Все как рехнулись с этим Шекспиром. Которого не бывало никогда, даже если он когда-нибудь и был. Кому быть — тому не бывать.

Было Шереметьево-2.

Между будок пограничного контроля, внутри которых сидели строгие люди в форме, давая понять, сколь это серьезно и ответственно — быть пропущенным внутрь, по ту сторону государственной границы России, — над головами людей, выстроившихся в несколько очередей, чтобы попасть в то тяжелое и сомнительное, то чумазое и прекрасное, что было их домом или станет временным пристанищем, протянуты были рекламные плакаты. «Шторы, жалюзи, — читал я. — Компания «Блиц»». Телефон такой-то.

И представил себе: дождь, гром, молния* — а ты стоишь и смотришь в окно, вглядываясь в освещаемую молниями темноту из-за опущенных жалюзи. Прекрасно. Хочется иметь жалюзи. Хорошее название. И место для рекламы отличное — любой деловой, возвращаясь из Цюриха или Нью-Йорка, неизбежно прочтет, со скуки перечтет и запомнит. Недешево же, должно быть, стоит купить место прямо на границе. На высоте ровно двух метров над ее грозной чертой.

Унглук, мой друг, унглук**...

АККОМПАНЕМЕНТ

— Сколько туда ехать на трамвае от Кёнигсплац? Приблизительно 9 с половиной минут?

— Именно них.

— Слушайте, Вы теряете русского языка!

— Да. Почти-уже-не-имею-его***.

— У нас осталось 10 марок. На день хватит, если мы не будем торт.

— Сама решай. Ты же знаешь, не люблю я эти торты. Поэтому их никогда не бываю.

— Папы не пришло.

15. КОНЕЦ — ЗАВЯЗКИ?

Прямо на меня при въезде в Москву выскочили рекламный рабочий и колхозница еще большей величины, чем их натуральные 28 метров. В руках они, в отличие от себя же стальных нержавеющей, держали не серп-молот, но гигантскую пачку сигарет. «Золотая, — написано было на ней, — Ява». Подводя подо всем этим черту, как

* *Blitz* — молния.

** *Unglück* — несчастье.

***Ср. у М.Безродного: «Старшая дочь-эмигрантка в ответ на упреки: „Почему это я не чувствую русского языка? Я русского языка очень даже чувствую!“» (М.Безродный. Конец цитаты. СПб., 1996, с. 30).

подпись под протоколом, стояло грозное: «Ответный удар». В ответ — на что? По ком звонил колокол? Не спрашивай, еще окажется — по тебе. Даром что ты бросил курить.

Я давно не был здесь. Город был неокоемно огромен. От него рябило в глазах. Он производил сильное, резкое впечатление. Он не мог быть моим домом. Он не мог быть ничьим домом. Он был домом десяти миллионов людей. Остатки похмелья вновь погрузили меня в полузабытие — в сладкую послепохмельную дремоту перед окончательным вытрезвлением.

Пропустив весь Ленинградский проспект, эстакаду у Рижского, Сушевский вал, весь долгий путь, — я очнулся в начале Щелковского шоссе.

За тещин стол я сел уже совсем свежий, готовый наново пропустить пару рюмок. Покуда я не приступил к поискам и не вызвал огонь на себя, я имел моральное право жить у нее — и заказать по случаю свидания винегрет, рассольник и блины. Чего-то я ей там наврал с три короба, зачем прилетел, а она и поверила; теща славная, простая. Да вот беда, и после второй блины, даже смазанные маслом, застревали в горле: скоро уже пора и баиньки — а там наступало неизбежное завтра.

Пока сидишь в Германии, русское телевидение, в противовес немецкому, где даже эротические программы* со свирепыми женщинами в черной коже с орудиями пыток («Ты идешь к мужчине? Не забудь с собой плетку!») и студенистыми, белесыми мясами всех возрастов (иногда показывают в деле чуть ли не семидесятилетних проституток, да еще и, как на грех, — хорошо сказал? — не просто очень старых, но очень старых и очень жирных), стимулируемых естественным способом или при помощи многочисленных приспособлений, даже такие программы очень пресны однообразием эксплуатации скотской стороны человека, — русское телевидение, в противовес немецкому, вспоминается как очень разнообразное, изобре-

*Например, популярнейшие передачи «Liebe Sünde» («Любовный грех» или «Грех любви» — канал 7 «ProSieben») и talk-show «Peer!» («подглядывать», «глазок» — канал RTL 2), с характерным немецким юмором, неуследимо переходящим в академический серьез, и с видеорядом, способным вогнать в краску автора «Луки Мудишева».

тательное даже по части дешевки (именно по ее-то части особенно) и забавно-прикольное.

Не быв в России год, потеряв вкус к этим приколам, не понимая уже толком самих их тем, со свежа включив телевизор, никак не можешь, как принято нынче выражаться, въехать: куда что подевалось? что за вялая дешевка? и что смешного-то? Ну совершенно же дворовая команда. И где выискали они этих новых ведущих взамен старых — и чего ради? Тем по крайней мере объясняли, что по-русски, как и на любом языке, надо хотя бы стараться говорить с правильным произношением.

Ткнув пальцем первую попавшуюся кнопку, куда мы выйдем? я попал на передачу «Империя страсти», где пара молодых людей обоего пола должна была сначала письменно дать свое согласие при всех раздеться до трусов, а потом и поступить согласно взятому обязательству. Смотреть на них было стеснительно не менее, чем им это проделывать, но я смотрел. Нужно было хотя бы чем-то отвлечь себя от предстоящего, хотя бы насыщением своего гадкого любопытства. Я ждал-ждал: а дальше что? когда запахнет страстью? да не тут-то было — раздетые молодые люди начали по команде одеваться. Это что же, все? И только-то? Они-то за свои жалкие раздевалки что-то получают, какой-то вшивый приз, может, их даже заметят, голышом, — ведь голый среди одетых очень заметен, — а там пойдет раскрутка; у них свой резон от студийного холода покрываться гусиной кожей; но меня-то, меня чего ради надувать, маня страстью, и не просто страстью, а имперским ее размером? В Америке таких кидал, как автор проекта и ведущий Фоменко, если верить Гекльберри Финну, таскали по городу напоказ, привязанных к шестам и вывалянных в смоле и перьях.

Неврастенически щелкая кнопками, я переключился на московский канал, передачу «Дежурная часть» — и застыл, оглушенный.

«Последнее сообщение. Час назад у подъезда собственного дома в Крылатском несколькими выстрелами в голову убит некто Мухтар Чингизбаев, 1951 года рождения, уроженец города Баку. Личность убитого, чье лицо обезображено выстрелами до неузнаваемости, установ-

лена по паспорту, найденному при нем. Орудие преступления на месте не найдено. Мотивы преступления выясняются; что до самого убитого, утверждают, что Чингизбаев, занимавший достаточно скромную должность коммерческого директора торговой фирмы «Агартха», входил в элиту московского криминалитета. Загранпаспорт, найденный при убитом, имеет отметки, из которых следует, что две недели назад Чингизбаев вылетел из Москвы во Франкфурт и вернулся в Москву только вчера». Труп, как это обычно бывает в таких случаях, из деликатности показали в сторонке, накрытый простыней; зато показали паспортную фотографию покойного. Он был похож на себя, каким я видел его два дня назад.

При всей любви к русской кухне не нахожу я вкуса в кислом русском ржаном хлебе, предпочитая ему европейский пресный, и белый, и черный, даже к селедке под водку. Хлеб должен оттенять вкус блюда, а не забивать его. Но сейчас я пережил момент прозрения: вкуснее той русской чернушки, что была во рту и в кадре, нет ничего. Убийственная сила вкуса и духовитости. А рассольник, а винегрет? А холодная горькая водка? Что может быть вкуснее? А родниковый родной язык и уморительный юморок выдающегося русского ведущего Коли Фоменко!

Двадцать лет уже не испытывал я с такою детской незащищенностью великого обаяния жизни. Двадцать лет не чувствовал, до чего жизнь — хороша. И во все эти двадцать лет она оставалась хороша, как во дни моей молодости; это я потерял чувство жизни — и тем потерял целых двадцать лет. Но двадцать лет можно прожить и за один день, и за один час, и за один миг можно вернуть себе все потерянное — если... если, как сейчас, огромный камень свалится с твоей души, и она круто взмоет воздушным шаром, освобожденным от всего балласта сразу, — и, как в молодости... Меня не убьют — ни завтра, ни через неделю, мне не надо заниматься делом, непосильным ни моему малому хитроумию, ни моей слабой воле к победе, ни нулевой квалификации сыщика. Жив, здоров и невредим легчик Вася Бородин!

Чего нельзя сказать о Мухтаре. Еще позавчера я видел его живого, говорил с ним живым — и не мог представить

его по-настоящему мертвым; он не успел ничего сделать, чтобы я внутренне породнился с ним и страдал от мысли о его смерти — и все же я слегка породнился и теперь испытывал небольшую печаль оттого, что интеллигентского полку моей памяти, сильно поредевшего в переделках последнего десятилетия, убыло еще на одного; зато он успел сделать многое, чтобы я испытал от внезапного извещения о том, что он больше не появится в моей жизни, отныне и навсегда, — нечаянную радость. Радость, которую оттеняющее ее легкое сиротство делало еще острее.

Сиротство? не так, не то; что-то иное. Он был не просто одним из нас, немногих. В том единственном очном, долгом нашем разговоре я по временам путал его с собой — на какую-то часть он был мною, а я им. И на эту часть, убив его, убили меня. Но на ту часть его «я», что не имела со мной ничего общего, он был *другим*: врагом. И лишив меня *другого*, меня будто родили заново. Или я сам родился — усилием воли? Ну-ну. Не бери на себя так много. Не ты же его убил. Но ты *хотел* этого. А волевая мысль материальна, сказал тот, в аэропорту. Тот — тому, кто с ним сидел: мне? Хотел ты ему смерти? Говори правду. Нет, не хотел. Но чего-то же ты хотел? Да. Но не смерти. А только чтоб *его не стало*. Чтобы его просто *не было*. И вот его не стало. Как будто и не было.

Жутко молвить, гадко сказать, но — какой могучий жизненный импульс, какое крылатое чувство жизни в одном человеке в районе Измайлова может вызвать устранение другого человека в Крылатском. Устранение, насильственная смерть, убийство — не важно! не важно? не важно. Пуля, пробивающая нежный мозг, уродующая и без того малопривлекательное на вид вещество, сложнее и тоньше которого, однако, ничего не придумано в мире, потому что оно-то все остальное и придумывает, — пуля, безобразно взламывающая венец создания — мозг, тренированный годами упражнения, вчера еще наслаждавшийся остроумными комбинациями созидательной бизнесовой мысли, а сейчас умирающий в непредставимых муках вечности смертного мгновения, — тем самым пробуждает в чем-то пока живом мозгу и сердце ни с чем не сравнимые легкость и ликование. Да так и быть долж-

но, — хотя так ни в коем случае не должно быть, — потому что, когда бы не так, не убивали бы. Убивать — не пиво пить с ребятами. А ведь убивают.

Да, теперь мне уже не открыть свой ресторанчик, а это жаль. Зато для того, чтобы его открыть, мне уже не придется лезть в то не знаю что, идти туда не знаю куда, связываться с теми не знаю с кем (но знаю, *какого сорта*) — и перманентно рисковать головой; а это хорошо. Лучшее же — враг хорошего, и кто хочет как лучше, получает, как всегда. Прав профессор, за этой правдой — роды родов, выдавших виды.

Прекрасно; но что дальше? Что имеем — на выходе из этой истории, из-вчера-в-завтра?

За вычетом знакомства с Мухтаром (мир ему), с профессором (редким долларово-океаническим удачником по нынешнему времени, с точки зрения его коллег, оставшихся в рублевой зоне с видом на Волгу, — и бедолагой-невзначай, чуть ли не страстотерпцем, в его собственном представлении), да еще некоторой пачки зеленых, оставшейся теперь честно-неподотчетной в моем кармане (вот это уже кое-что, но и только: разве это деньги для хронической жизни на Западе? это деньги — на раз со вкусом оттянуться в пространстве своей души, в Москва—Париже), — ничего нового. По возвращении в Дойчланд — тот же тупик. Отсутствие перспектив. Семья на безруких руках да головная боль за нее в дурной башке.

Своя игра. Счет в ней по-прежнему открыт; и этот счет по-прежнему 0 — 0.

Все по нулям.

Я хотел, чтобы что-то произошло — и наконец судьба поманила меня. Поманила — да и обманула. Да, слава, слава Богу, она меня бросила на полпути; и все же она меня — бросила. Все происходило, все наконец *начало* происходить — и ничего не произошло. Живая ль жизнь пожелала того, мертвый ли Мухтар, того совсем не желая, — но они обманули меня. Все ложь. Все, хотя или нехотя, конвертируется в ложь; обман, тяготея к честности, становится худшим из всех — искренним обманом.

Ради жизни в нестерпимо лучшем из миров.

...Но что-то случилось. Где-то *между*. Сколько часов, сколько минут, сколько мигнов — и во все самые дальние их уголки, в полный размер своего сердца, даже под балдой, — как же я боялся на самом-то деле — с каким нетерпением ожидал — и как переводил теперь дух!

Переводил дух от приключений духа. Где-то между. Мной и Мухтаром, хотевшим познать другого за свой счет. Между мной и профессором, напоротившимся на дело самопознания за счет ближнего — и вознамерившимся оправдать блудный путь познания тяжестью блуда. Заведомо дохлый номер. Имеет вполне бледный вид. И я довел до сведения литературоведа, что ни история его, ни сам он в ней — мне не показались. Ни оправданными, ни даже и в греховности своей — по силе греха ли, несчастья — сколько-нибудь существенно значительными. Имел наглость сказать. Открыто. Весомо — по пьяной лавочке. Как человек. А между тем сам... своих-то... сам-то я разве уже второй год — или сорок седьмой? — не тем же ли...? не то же ль...? Духовная практика. Ха. Тетя Лея из Казатина честнее меня, живя за немецкий счет, но не мня о себе по крайней мере, что она в Германии не в (само) изгнании, а в (само) послании.

За чужой счет.

Где-то между.

Между нами, русскими умниками. И между нами, русскими умниками, — и остальными людьми, людьми недоброй и доброй воли всех времен и народов; окутывая нас, вяжа воедино, входя в наши легкие и изменяя наш состав, витал выдыхаемый нами же углекислый газ первородного греха: измены. Дело измены; совесть тирана; чернота осенней ночи. Как нараспев глаголил так давно, целых полдня тому профессор-ямболюб? Предательство, обман, изме-на... Предательство, обман, измена: Изведаннее рубежей — Нет; мечет т(Т)алью Мельпомена, И с(С)пасу нет от гаражей*. Ночь, улица, фонарь, шар-касса**. Вдали — промер или прогал. Но нету спасу, нету

* «Церковь Спаса на Гаражах» — прозвание, данное в знакомом мне круге московского люда новоделному храму Христа Спасителя.

** Sparkasse — отделение немецкого сбербанка на любом углу.

Спаса... — Здесь поят mass' ом* или квасом?.. Как говорил Торквато Тассо На пляс Пигаль: «Мне все эгаль: Я пригвожден к трактирной стойке. Но если по дороге куст...» Кто может — Зойку ложит в койку. Кто должен — плОтит неустойку. И нежен — только денег хруст.

Ничего не произошло, но все свершилось. Я поглядел не окрест себя и не в себя. Я наконец поглядел себе в лицо. Я — увидел. На дворе стояла предрождественская католическая неделя, сквозь которую им уже светила звезда на востоке, а душа моя погрузилась в ночь, черную, как дело измены. Чтобы, пройдя сквозь нее, наконец, прикоснуться — лишь прикоснуться безо всякого понятия, к чему прикоснулась — к тому, что *на самом деле*.

За два дня жизнь замкнула круг двух лет.

А я остался цел — и делать буду не то, что от меня, а то, что мне — угодно; как двадцать лет назад... да еще в кармане неразменный рубль... Свобода! Я пишу твое имя, свобода, как сказал поэт, сюрреалист, коммунист. Француз, женившийся на русской женщине, ушедшей от него к испанцу, сюрреалисту, антикоммунисту.

Все случилось, не произойдя; романическому сюжету моей жизни, едва начавшись, суждено было завершиться. *Оставим пока*, говаривал один из его персонажей, — пока не оставил этот мир. Последуем и мы его примеру (только осторожно) — и оставим пока. Будем надеяться, продолжения не последует. Мне, во всяком случае, оно представлялось излишним.

Чудеса случаются — расстрельное дело развязалось само собой; значит — с этим делом я завязал. Если не считать поручения, данного бедолагой профессором. По всей видимости, раз я остаюсь живым, предстоит-таки завязать знакомство с его пассивей. Но завязал с одним — завяжу и с другой. Знакомство, неизвестно, приятное или нет (скорее второе), но, надеюсь, разовое. Длящееся ровно столько, чтобы я честно мог составить о ней первое (и последнее) впечатление — и доложить ему.

Разовое ли, двухразовое — как угодно: то уже другая история. Эта — кончилась.

* Mass — большая, литровая кружка пива.

Будет завтра. И будут десять дней. *Incipit vita nova**. А по возвращении — опять двадцать пять? Исхода — нет? Поживем — увидим. И если и впрямь *увидим* — поживем. Из жизни всегда есть исход — и только в жизнь. Как это? Я еще не понял сам себя; но, не поняв до конца, *начал* понимать это именно я.

Я посмотрел на тещу, она на меня; не могу сказать, чтобы я раньше плохо к ней относился... а приятно все-таки любить человека — совершенно бескорыстно; приятно смотреть на человека, которого внезапно любишь, — и видеть, что он чувствует это и в ответ дарит тебя тем же.

АККОМПАНЕМЕНТ

На прогулке с детьми по Северному кладбищу, ставшей в нашей семье одно время традиционной, почти ежевечерней. Старший, глядя на красивую надгробную плиту с датами жизни и смерти:

- Смотри, он умер ровно неделю назад.
- Да. Ну и что?
- А похоронен, значит, четыре-пять дней назад?
- Выходит. Ну и что?
- Но мы все эти дни тут гуляли, мимо проходили — а такой красивый памятник проглядели.
- Допустим. Ну и что? Они тут все красивые.
- Как — что? Человек на наших глазах умер — а мы и не заметили.

(Конец — завязки?)

Аугсбург, 1998

*Началась новая жизнь (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

5	Ониксовая чаша
51	Привет из Калифорнии
83	Любью
211	Проза поэта

Юрий Иосифович Малецкий

ПРИВЕТ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Редактор
Младший редактор
Художественный редактор
Технолог
Оператор компьютерной верстки
П. корректоры

Е.Д.Шубина
С.Е.Сошникова
С.А.Виноградова
С.С.Басипова
А.В.Волков
В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский

Издательская лицензия № 065676
от 13 февраля 1998 года.

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции
ОК-005-93, том 2:953000 — книги, брошюры
Подписано в печать 14.03.2001.
Формат 60×90/16.

Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная. Объем 27 печ. л.
Тираж 5 000 экз. Изд. № 1630. Заказ № 724

*Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14*

Издательство «ВАГРИУС».
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1.
Электронная почта (E-Mail) —
vagrius@vagrius.com
Книги почтой:
109390, г. Москва, а/я 57 «ВАГРИУС»

Получить подробную информацию о
наших книгах и планах Вы можете,
посетив сайт издательства в сети
Интернет: <http://www.vagrius.com>;
<http://www.vagrius.ru>
Новости «ВАГРИУСа» на сайте:
<http://www.OMEN.ru>

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор
издательства «Клуб 36'6»
г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3
Тел./факс: (095) 265-13-05,
267-29-69 267-28-33, 261-24-90
E-mail: club366@aha.ru
107078, г. Москва, а/я 245 «Клуб 36'6»

Фирменный магазин
«36'6 — Книжный двор»
(мелкооптовая и розничная торговля):

Проезд: Рязанский пер., д. 3, этаж 1
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93,
523-92-63, 523-25-56.
Факс: 523-11-10

КОРФ «У Сытина»:

125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70
Факс: (095) 154-30-40
Электронная почта: sytin@aha.ru или
shop@kvest.com

ISBN 5-264-00609-1




9 785264 006098 >

Интернет-магазин:
<http://www.24x7.ru>
Доставка в любую страну

И з д а т е л ь с т в о  В А Г Р И У С


ВЫПУСТИЛО КНИГИ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЗАИКОВ

Василий Аксенов	Александр Генис
<i>Негатив положительного героя</i>	<i>Довлатов и окрестности</i>
Петр Алешковский	Анатолий Гладилин
<i>Владимир Чигринцев;</i>	<i>Большой беговой день</i>
<i>Седьмой чемоданчик</i>	Юрий Давыдов
Юз Алешковский	<i>Жемчужины Филда</i>
<i>Карусель, Кенгуру и Руру</i>	Николай Дежнев
Чабуа Амирэджоби	<i>В концертном исполнении</i>
<i>Гора Мборгали</i>	Нодар Джин
Сергей Бабаян	<i>Учитель</i>
<i>Моя вина</i>	Андрей Дмитриев
Григорий Бакланов	<i>Закрытая книга</i>
<i>Мой генерал</i>	Борис Екимов
Андрей Битов	<i>Пиночет</i>
<i>Неизбежность ненаписанного</i>	Венедикт Ерофеев
Юрий Буйда	<i>Записки психопата</i>
<i>Скорее облако, чем птица</i>	Фазиль Искандер
Дмитрий Быков	<i>Софичка</i>
<i>Оправдание</i>	Александр Кабаков
Борис Васильев	<i>Последний герой; Самозванец;</i>
<i>Утоли моя печали...;</i>	<i>Путешествие экстраполятора</i>
<i>Картежник и бретер, игрок и дуэлянт</i>	Николай Климонтович
Михаил Веллер	<i>Последняя газета</i>
<i>А вот те шиш!</i>	Юрий Коваль
Марина Вишневецкая	<i>Суер-Вьер</i>
<i>Вышел месяц из тумана</i>	Андрей Лазарчук
Владимир Войнович	<i>Все, способные держать оружие</i>
<i>Запах шоколада;</i>	Эдуард Лимонов
<i>Сказки для взрослых</i>	<i>316, пункт "В"</i>
Эдуард Володарский	Дмитрий Липскеров
<i>Дневник самоубийцы</i>	<i>Сорок лет Чанчжоз;</i>
	<i>Последний сон разума</i>

И з д а т е л ь с т в о  В А Г Р И У С

ВЫПУСТИЛО КНИГИ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЗАИКОВ

Владимир Маканин	Дина Рубина
<i>Андеграунд, или</i>	<i>Высокая вода венецианцев</i>
<i>Герой нашего времени;</i>	Анатолий Рыбаков
<i>Удавшийся рассказ о любви</i>	<i>Тяжелый песок</i>
Юрий Мамлеев	Ольга Славникова
<i>Черное зеркало</i>	<i>Стрекоза, увеличенная</i>
Наталья Медведева	<i>до размеров собаки</i>
<i>А у них была страсть...</i>	Алексей Слаповский
Митьки	<i>День денег</i>
<i>Про заек</i>	Александр Солженицын
Анатолий Найман	<i>На краях</i>
<i>Славный конец бесславных поколений;</i>	Людмила Улицкая
<i>Любовный интерес</i>	<i>Медея и ее дети; Веселые похороны</i>
Олег Павлов	Борис Хазанов
<i>Казенная сказка</i>	<i>Город и сны</i>
Виктор Пелевин	Марк Харитонов
<i>Жизнь насекомых; Чапаев и Пустота;</i>	<i>Возвращение ниоткуда</i>
<i>Generation "П"</i>	Михаил Шишкин
Людмила Петрушевская	<i>Взятие Измаила</i>
<i>Дом девушек; Настоящие сказки;</i>	Галина Щербакова
<i>Найди меня, сон</i>	<i>Год Алены;</i>
Евгений Попов	<i>Подробности мелких чувств</i>
<i>Подлинная история</i>	Асар Эппель
<i>"Зеленых музыкантов"</i>	<i>Шампиньон моей жизни</i>
Вячеслав Пьецух	Сергей Юрский
<i>Государственное дитя</i>	<i>Содержимое ящика</i>
Эдвард Радзинский	Борис Ямпольский
<i>...и сделалась кровь</i>	<i>Арбат, режимная улица</i>
Ирина Ратушинская	
<i>Одесситы</i>	

И з д а т е л ь с т в о  В А Г Р И У С

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Аркадий Арканов

Рукописи возвращаются

Анастасия Гостева

Притон просветленных

Александр Кабаков

Поздний гость

Юрий Петкевич

Явление ангела

Валерий Попов

Ужас победы

Владимир Рецептер

Ностальгия по Японии

Валентин Распутин

В ту же землю

Михаил Шишкин

Всех ожидает одна ночь

Галина Щербакова

Моление о Еве



Юрий Малецкий дебютировал в 1986 году в журнале «Континент», тогда еще «тамиздатском». В 1997 году вышла его первая книга «Убежище», повесть «Любью» вошла в шестерку финалистов Букеровской премии — и о Малецком заговорили как о писателе, органично соединяющем в своих произведениях замысловатый, острый сюжет и оригинальную философию.

Так, на первый взгляд, роман Малецкого «Проза поэта» — сочинение из жизни эмиграции с «разборками», концы которых прячутся еще в России, заложниками и убийствами. На самом деле, авантурная интрига — лишь фасад многослойного психологического романа с героем, мучающимся «достоевскими» вопросами, — о грехе и покаянии, о предательстве и измене (прежде всего самому себе).

Но серьезные темы рассматриваются писателем и с юмором, как, например, в рассказе, давшем название всей книге, — «Привет из Калифорнии». Герой, решая для себя вопрос «уехать — не уехать», сталкивается с представителем «свободного мира», и ничего, кроме курьеза, от диалога двух «менталитетов» не получается...

В А Г Р И У С